Лариса Рейснер

Избранные произведения

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Избранные
произведения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Вступительная статья
Б. Брайниной

Составление и подготовка
текстов А. Наумовой

Оформление художника
Э. Гинзбург

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Рожденная революцией советская литература подарила миру столько необычных, ярких писательских биографий, такое количество новых, талантливейших и разных книг, что мы до сих пор не в состоянии всего этого по достоинству оценить.

Недолог был путь талантливой писательницы Ларисы Михайловны Рейснер — она умерла в 1926 году на тридцать первом году жизни. Но разве дело в сроках? Есть короткие жизни, но память о них живет и живет...

Лариса Рейснер самозабвенно служила революции: революционер-коммунист и художник слова в ней слились воедино, гармонично и навсегда.

Революция была ее стихией. Огонь революционной борьбы делал легендарно мужественной эту молодую красивую женщину, выросшую в респектабельной тишине профессорской квартиры с большими, тяжелыми книжными шкафами.

Со свойственной ей независимостью и резкой решительностью Лариса Рейснер отбрасывает все, что мешает служению революции, и с такой же решительностью берет лучшее, что дала ей культура прошлого. У нее была органическая потребность жить «на средства своей души», жить обязательно щедро, широко, неустрашимо, упиваясь свободой, которую дала революция.

Живительный воздух нового мира врывался с нею повсюду, где бы она ни появлялась.

Буржуазных эстетов, шипящих и негодующих, Лариса Рейснер называла «маляриками духа». «Их солнце давно закатилось, — пишет она Сейфуллиной. — Только узкая полоска полярного света на их небе»[1].

[1] Неопубликованное письмо Ларисы Рейснер к Лидии Сейфуллиной (1924 год, число и месяц неизвестны); письмо хранится в архиве З. Н. Сейфуллиной.

Лев Никулин рассказывает характерный эпизод посещения Ларисой Рейснер «Дома литераторов» — в то время пристанища эстетствующей буржуазной интеллигенции: «Стекла старенького особняка дрожали от разбега грузовиков, алые знамена питерских заводов насмешливо заглядывали в окно «Дома литераторов». Но бархатный профессорский баритон все еще пел виолончелью о «неприятии хаоса». И вдруг в этот затхлый мирок, в тихую обитель старых эстетов и дев ворвался иронический кашель и смех Ларисы Рейснер. Она вошла среди сердитого шипения и негодующих возгласов и ушла, вызывающе стуча каблуками, на улицу, в разлив толпы, в неукротимый прибой флагов» [1].

Творческий путь Ларисы Рейснер начался в десятилетие 1907—1917, когда под знаком аполитичности и «чистого искусства» декаденты всех мастей выступали против великих традиций революционно-демократической литературы, отравляя сознание молодежи ядом мистики, эротики, пессимизма.

В 1913 году в журнале «Шиповник» Лариса Рейснер печатает написанную в абстрактно-аллегорической манере драму «Атлантида», пишет под влиянием акмеистов, в частности Гумилева, изысканно метафорические стихи. Но ни влияние Леонида Андреева (оно сильно в «Атлантиде»), ни влияние Гумилева не смогли подавить в ней страстного стремления к гуманистической теме: даже в столь отвлеченной «Атлантиде» человек ценою жизни спасает общество от гибели.

В 1914 году девятнадцатилетняя Лариса Рейснер вместе с отцом, Михаилом Андреевичем Рейснер, издает и редактирует прогрессивный журнал «Рудин», где печатает критические и публицистические статьи, стихи, сатирические зарисовки, в том числе и свои собственные, направленные против войны, против предателей международной солидарности пролетариата. Для издания журнала они вынуждены были заложить все, что у них было. Когда средства иссякли и журнал закрылся, Лариса Рейснер стала сотрудничать в горьковской «Летописи». Манера ее письма еще отдает эстетско-декадентской изысканностью. Освобождает ее из этого плена Октябрьская революция; тем не менее путь писательницы к реализму был крутым, трудным, и следы формализма, эстетства оставались и в ее зрелых вещах.

В революцию, в гражданскую войну Лариса Рейснер вошла сразу, безжалостно порвав с привычным укладом жизни, с комфортом, с прочными устоями рафинированно-интеллигентского бытия.

---

[1] Лев Никулин. Записки спутника. «Советская литература», М. 1933, стр. 69.

Вс. Вишневский в беседе с работниками Камерного театра рассказывал:

«Когда она пришла к нам, матросам, мы ей сразу устроили проверку: посадили на моторный катер-истребитель и поперли под пулеметно-кинжальную батарею чехов. Даем полный ход, истребитель идет, мы наблюдаем за «бабой». Она сидит. Даем поворот, она: «Почему поворачиваете? Рано, надо еще вперед». И сразу этим покрыла. С того времени дружба. Ходили в разведку. Человек показал знания, силу. Мы сначала не верили: «Пришла, какая, подумаешь!» [1]

В 1918 году Рейснер — комиссар Московского генерального штаба. Одна из первых (если не первая) она пишет о гражданской войне, о героях Царицына и Волги, о походах волжско-каспийской флотилии, о революционных боях, в которых сама принимала участие. Первая написала она и о десанте рабоче-крестьянского Красного Флота в Энзели, занятом англичанами, о знаменитом персидском партизане Кучук-хане, возглавившем национально-освободительное движение в Персии.

Ее своеобразные лирико-драматические очерки-рассказы о гражданской войне уже в 1918—1919 годах печатались в газетах, а в 1924 году вышли отдельной книгой под названием «Фронт». В этой книге нет пространных описаний, планомерно развивающегося сюжета; большинство очерков состоит из подглавок миниатюр, — отрывочных воспоминаний, беглых характеристик, лирических описаний; из этой своеобразной, тончайшей художественной мозаики возникает прекрасный и трагический образ революционной эпохи — самых первых, самых молодых лет революции. Разрозненные и пестрые на первый взгляд эпизоды складываются в цельную, законченную картину трехлетнего похода, начатого под Казанью и Свияжском, — от обрывов и холодных елей Камы до знойных прикаспийских солончаков, от волжских плесов до Астраханского рейда, где корабли по мелям и минам пробивались к «настоящей воде». И читатель видит: «...как это было от Казани до Энзели», как шумели победы, как народ отстаивал революцию на Волге, Каме и Каспийском море...

Герои книги «Фронт» взяты из жизни и, одухотворенные высокой романтикой борьбы за социализм, за советскую власть, продолжают жить в книге Ларисы Рейснер, воспитывая в людях революционную отвагу, доблесть, мужество. Они продолжают жить потому, что писательница бесстрашно раскрывает всю трагедийно-суровую, трудную и оттого не менее величественную правду горячих, незабываемых дней 1919—1920 годов.

---

[1] «Оптимистическая трагедия», ГИХЛ, М. 1933.

Одни герои названы по имени, другие безымянны, одним посвящено несколько страниц, другим несколько строк, но всех их помнишь, все они становятся родными людьми.

Их много, этих самоотверженных борцов за революцию: доблестный матрос Миша Калинин с взъерошенными, торчащими, как колючки, волосами; крестьянин-совдеповец Иван Иванович из села Солодники со своей немного смущенной и величавой улыбкой; старший артиллерист, ученый и солдат товарищ Кузьминский; Кожанов — легендарно отважный начальник десантских отрядов Волжской флотилии; благородный и стихийно горячий Маркин — командир славного парохода «Ваня-коммунист»; необузданный романтик революции командарм Азин; здесь и ветеран революции Александр Васильевич Сабуров, участник эпопеи Шмидта, обретший «свое новое, безумно молодое призвание» в борьбе за советскую власть; здесь и «командующий всеми морскими силами республики» аристократ Беренс, который, порвав с прошлым, всего себя посвятил служению революции...

И все они вместе составляют великое, бескорыстное, святое братство революционного народа.

Не успели смолкнуть раскаты боевого грома гражданской войны, как Лариса Рейснер, буквально не переводя дыхания, отправляется в новый, трудный и далекий путь — едет в Афганистан. Еще из Энзели она вынесла романтически-пристрастную любовь к Востоку. Попав в Афганистан, она с веселой и неукротимой энергией путешествует по стране, изучая местную жизнь, быт, нравы, природу. Иногда целые дни проводит она в седле, не страшась сокрушительного зноя, усталости, мучительных приступов тропической лихорадки, которая коварно и настойчиво подтачивала ее жизнь. Результатом этой поездки явилась увлекательная, музыкально-выразительная книга «Афганистан».

Надо помнить, что книга эта — историческая. Она рассказывает о первых годах независимого существования Афганистана, когда страна еще была скована веками сложившимися обычаями, когда она только-только начала преодолевать тяжелые последствия колонизаторского рабства.

Лариса Рейснер любит декоративную, яркую, своеобразную прелесть Востока — неотразимо синюю, просвеченную солнцем глубину неба, ослепительно белые меловые горы, медовые метели цветущих деревьев или пышное золото абрикосовых рощ. Ее горячий и зоркий глаз художника пленен экзотикой необычных красочных сочетаний, великолепной самобытностью памятников старины (идолы Бамиана,

таинственные надписи джелалабадских гробниц, старинные балюстрады, знаменитые гробницы и минареты), колоритностью неожиданного, столь же древнего быта

В «Афганистане» та же точнейшая художественная мозаика, что и во «Фронте». Только здесь больше красок, звуков, запахов в живописно-лирических, иногда напряженно-насыщенных патетических описаниях — сам материал позволил писательнице раскрыть эту столь счастливую особенность ее письма.

Почти физически ощущаешь воспламененное дыхание роз, дуновение мяты и лаванды, дикий вешний запах, напоминающий запахи моря, аромат садов такой крепкий и густой, что хочется «закрыть глаза, лечь на раскаленные плиты маленького раскаленного двора и быть легче ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят в густом воздухе старинные балюстрады...» Этот аромат неотделим от звуков и красок· сухая, скрипичная музыка кузнечиков, плеск водопадов, жемчужное шелестенье жерновов, поющая струйка воды, металлический шелест верхушек финиковых пальм, красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор, драгоценная металлическая киноварь на мазанках пастухов, пропитанные пурпуром обрывы скал, букеты из мрамора — желтого, розового, серого, черного, небо из лучшего золота, пески, желтее которых ничего не может быть...

И в контрасте с этим великолепием, с патетическим утверждением полноты и прелести жизни идут гневные, обличительные картины нищеты и убожества, жестокого феодального рабства.

Лариса Рейснер рассказывает об афганских деревнях, полных первобытной нищеты и грязи, о мученической доле солдат, служба которых обязательна и пожизненна, о женщинах, отделенных от жизни складками своей чадры, о каторжном труде на крепостной фабрике, где нещадно эксплуатируются дети безземельных крестьян.

Но писательница отнюдь не становится бесстрастным летописцем. Она ищет корней зла, заглядывает в самую глубь жизненного процесса. Она ставит со всей резкостью и прямотой вопрос: «Почему так происходит?» И с неменьшей прямотой и правдой отвечает на него.

Главная вина и главная беда здесь — оголтелое хищничество европейских и американских колонизаторов: «Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время от времени удается оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия».

Глава «Фашисты в Азии» — бьющий в самую цель политический памфлет, где с большим мастерством написаны гневно-сатирические, переходящие в гротеск портреты международных гангстеров.

Эти авантюристы, рвачи, спекулянты «с утюгообразными, тяжелыми лицами, на которых, как следы чего-то раздавленного, пятна глаз и рта»; эти рослые молодчики во фраках, «вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем не отличались бы от миллиона им подобных, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма».

Их наглая решительность значит не только «деньги ваши будут наши», но и «нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками, в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей».

Прошло почти тридцать пять лет с тех пор, когда были написаны эти строки, но гневная их сила до сих пор жива.

Лариса Рейснер показала и глубокую, подспудную, стихийную борьбу народа за свою национальную независимость. Горные кочующие племена, или, как их называют афганцы, просто «племена», неуклонно, неустрашимо восстают против английского владычества. Они хранят своеобразный бытовой уклад и замечательное национальное искусство (боевая песнь, танец и музыка, его сопровождающая), вдохновленное столетней борьбой за независимость Востока.

«Племена» вносят столько героического, самобытного в ежегодный праздник «национальной независимости», что этот праздник стал по-настоящему народным, оставляя «в толпах предчувствие общественных отношений, пронизанных, как этот день, горячим и прямым светом». Лучший певец племени, стоя в середине, поет стих, сопровождаемый дробью барабана:

«Англичане отняли у нас землю... но мы прогоним их и вернем свои поля и дома».

Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.

«Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву, — вы нас никогда не победите».

Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей.

«К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги, — есть большевики, которые идут заодно с мусульманами».

И толпа смеется, рокочет, теснится к трибунам».

Лариса Рейснер едет в Германию и здесь по живым следам создает книгу «Гамбург на баррикадах», книгу о героическом восстании немецкого пролетариата в 1923 году, которое, как пишет она во введении, «является классическим примером настоящего революционного восстания, выработавшего интереснейшую стратегию уличных боев и единственного в своем роде безукоризненного отступления, оставившего в массах чувство несомненного превосходства над врагом, сознание моральной победы». В том же введении она говорит о мотивах, которые побудили ее написать книгу: «Для рабочего в пределах буржуазного государства нет истории; список его героев ведет военно-полевой суд и фабричный педель из меньшевистского профсоюза. Побив оружием, буржуазия душит забвением ненавистную память о недавно пережитой опасности».

И писательница воссоздает историю гамбургского восстания. Ее «Гамбург на баррикадах» — достоверный исторический документ и в то же время художественное повествование, написанное со свойственными Ларисе Рейснер экспрессией и драматизмом. Люди и события изображены здесь отдельными, резкими штрихами, с рембрандтовской четкостью, суровостью, изображены в той же манере, в какой она на родине рассказывала близким друзьям свои впечатления о Германии. «Рассказывала совершенно необычайно, — вспоминает Лидия Сейфуллина. — Двумя-тремя словами дала внешний облик одной немецкой работницы. Я ее точно вот здесь, около себя, глазами видела. С величайшей простотой рассказала один трагический эпизод. Холодок пошел по коже от рассказа» [1].

В «Гамбурге на баррикадах» передана атмосфера единодушия и сплоченности, царившая в рабочих кварталах Гамбурга в период восстания, которым руководил вождь немецкого пролетариата Тельман. «Безлюдная улица, спящий дом, сонная, душная, храпящая квартира. Семья беднейшего рабочего. Он встал и оделся, не спросив зачем, не промедлив ни минуты. Спокойное рукопожатие и медленно удаляющийся уголек папиросы в темноте.

Другая щель — в одном из рабочих кварталов. Дверь открывает жена, помогает мужу собрать вещи, держит огарок свечи над кухонным столом, на котором разложена карта. Долго крепится и затем из глубины души, с чувством глубочайшего облегчения: — Наконец-то, начинается...»

Следствием поездки в Германию явилась и серия оригинальных политических памфлетов-фельетонов, объединенных под общим названием «Берлин в октябре 1923 г.».

Перед нами грозная картина экономического кризиса после Вер-

---

[1] Л. Сейфуллина. Собр. соч., ГИХЛ, М. 1931, т. VI, стр. 222.

сальского договора: безработица, вымирание от голода целых рабочих семей.

А в это время в парламенте политиканствующие филистеры с ловкостью шулеров плетут интриги, продавая свою честь, предавая интересы народа — «немножко похоже на черную биржу, но в общем благозвучно, благоуханно и изгибисто». Стрелы иронии Ларисы Рейснер попадают в самую цель, разоблачая подлость и лицемерие буржуазной лжедемократии.

«Итак, они интригуют, торгуются и воюют за власть.

...В этом высоком доме ее давно нет; но вокруг ее запаха, вокруг жирных следов, оставленных на страницах конституции немытыми руками прежних депутатов, все еще роятся надоедливые, неотступные и неистребимые рои политиканствующих филистеров. Как мухи. Осталась одна бумажка, пустая, скомканная, выброшенная бумажка, но ее облепляют, по ней ползают, вокруг нее жужжат...»

Подготовляя материалы для своей книги о Германии, Лариса Рейснер пристально наблюдает жизнь пролетариата сперва Берлина, потом Гамбурга. С толпой безработных, голодных людей она простаивает часами у хлебных лавок, посещает больницы, участвует в демонстрациях. Рабочие и работницы чувствуют в ней своего человека и с сердечной откровенностью рассказывают ей о своих тревогах, горестях, надеждах.

Вернувшись на родину, Л. Рейснер тут же отправляется в новое путешествие — едет на Урал и там опять живет среди рабочих, знакомится с их семьями, участвует в заседаниях профсоюзов, завкомов, фабричной администрации; она с горячим рвением изучает работу шахты, снабжающей рудой Билимбаевский чугуноплавильный завод; едет в Бахмутскую долину, чтобы во всех подробностях увидеть работу рудника «Шевченко» (огромный, безмерно богатый соляной колодец); посещает Ревдинский завод, знакомясь с трудом рудокопов, угольщиков, мастеровых, наблюдает процесс добывания стали на Шайтанке, работу Лысьвенского завода и Кытлымского золотого прииска. И результат этой поездки — горячая, политически острая, талантливая книга «Уголь, железо и живые люди» (1925).

Книга эта появляется вслед за романом Гладкова «Цемент» — первым большим художественным произведением, где отражена эта эпоха народной жизни. И в большом психологическом романе Гладкова, и в экспрессивно-драматических очерках-новеллах Ларисы Рейснер показана конкретно-историческая правда эпохи — новое, социалистическое в характерах людей, с огромным напряжением воли, ума, сердца строящих социализм.

То было время, когда советский народ под руководством партии коммунистов, с «перекопским энтузиазмом», по словам Маяковского, перешел от разрушения старого, буржуазного уклада жизни к творчеству нового, социалистического — от гражданской войны к хозяйственному строительству. Началась героическая битва на мирном фронте.

Конечно, и литература социалистического реализма рождалась и развивалась в непрерывной, временами очень острой борьбе с идеями и настроениями, враждебными социализму.

В этой борьбе Лариса Рейснер отстаивает партийные, революционные позиции.

Она ратует за новую технику, поэтизирует борьбу за новую, высокую производственную культуру, но все это для нее отнюдь не самоцель, а лишь необходимое условие совершенствования, процветания творческого труда людей, закладывающих фундамент социалистического общества.

«Рудник, сорок лет ведрами таскавший пресную воду из отдаленного колодца, так что бабье его горе с вьюгами и обмерзлыми ведрами успело войти в старинные песни, вдруг получил водопровод. И люди и котлы напились хорошей, мягкой водой. Затем началось введение новой трудовой дисциплины. Прогулы, отношение к машине, как к няньке, которая за младенцем и сама за собой присмотрит, — все это кончилось».

Мастер-бурильщик рудника «Шевченко» товарищ Орлов, тридцать лет ломавший каменную соль тяжелым, вышедшим из употребления, варварским сверлом («вся его жизнь — железный перпендикуляр, вбитый в упрямую породу»), получает новый электрический бур.

Главное, — человек, его замечательные руки, которые не только не вытесняются машиной, но именно они, эти руки, связывают воедино отдельные фазы производственного процесса, требующего от рабочего величайшего внимания, быстроты, мастерства.

Лариса Рейснер умеет взволнованно, лирично, с помощью неожиданных, колоритных сравнений и метафор раскрыть великолепие и радость творческого труда.

«Из сплава достают ложку самого чистого и ослепительного сияния, чего-то ни с чем не сравнимого, кроме несуществующей человеческой души... Как на большом пиру, наполняет руда один пудовой кубок за другим, шумя и вскипая со дна, как источник, и убирая чугунные края венками искр. Точно великаны собираются поднять эти в ряд поставленные, вместо льда, пеплом охлажденные чаши за мощь и радость труда».

Этот пафос, эта лирика — следствие горячей любви и уважения к человеку труда. Вот почему писательница не только не лакирует

действительность, но всегда с суровой и резкой правдой раскрывает тяжелые условия, в которых людям приходилось тогда не только восстаиавливать, но н совершеиствовать иародное хозяйство.

«Машнна, как иаглый курильщнк, обдает его (Кураева — рабочего Лысьвенского завода.— *Б. Б.*) голову облаком горького пара, н коммуиист-доброволец восемнадцатого года хрипит среди хрипа, скрежещет среди скрежета, кричит вместе с кричащей жестью:

— Нет, лучше иа фроите, чем здесь гореть...

Но это только мииута, только один нз молниеносиых оборотов машнны, одио из слов, неразличимых в победоиосиом вопле металла. Пусть только посмеет частица, пушинка какая-ибудь приклеиться к оголеииому листу, Кураев смахиет ее беззаботиым движением руки, едва защищеииой рваиой перчаткой».

Эта рука в рваной перчатке, заботливо смахнвающая пушинку с раскалениого листа железа, — одна из художественных деталей, раскрывающих и тяжелые условия труда, и героизм их преодолеиия. Кураев, как и все рабочие-коммунисты ие только Лысьвенского завода, ио н всего Урала, ие дрогиет перед препятствнями, ие уйдет с «баррикад производства».

На дие билимбаевской шахты, этой «мокрой могилы», человек с киркой в руке говорит о социализме, о судьбах мира.

На шахтах, на заводах, иа рудниках — повсюду люди готовы иа любые трудиости. «Если без этого нельзя, — согласимся». Неслыханное мужество рабочих... Ведь все исходит нз положеиия, которое «никем, инкак, ни прн каких условиях ие оспаривается. Краткая социальиая аксиома: власть советская должна быть».

К очеркам-иовеллам Ларисы Рейснер о новом возрождающемся Урале можно было бы поставить эпиграф: «Власть советская должиа быть». Здесь смысл, пафос книги, пафос героического труда, пафос преодолення препятствнй. И потому, что власть советская нерушнма, производствеииые баррикады Лысьвеиского завода украшает, как зиамя, плакат: «Помните о Ленине». Живая память о Лениие — это едииение, кровиая связь трудового народа с партией коммуиистов...

В кинге «Фроит» показаны герои граждаиской войны, которые сражалнсь с грозиыми снлами старого мира за священиое право народа на труд, на строительство долгождаииого, справедливого общества.

Когда великие бои отгремели и победа была одержаиа, эти же самые герои, только в новом обличье, входят в киигу «Уголь, железо н живые люди».

Большииство из иих «старые солдаты революции, по четыре года таскавшне винтовку». Олехов, дежурный по щиту, коммуинст восемнадцатого года, солдат 5-й армии, прошедший с ней от Глазова до

Байкала; Горшков, регулирующий наводку валов, комсомолец, бравший Пермь, и Омск, и многие другие города уральские; известный нам рабочий Кураев тоже пришел на завод с фронтов гражданской войны...

Лариса Рейснер называет борьбу за восстановление Урала «трудовой войной», а рабочих — бойцами: «бойцы с расстегнутой грудью, в валенках и старой красноармейской шапке, сдвинутой на затылок»; манера рабочих-горняков одеваться (кожаная фуражка, отливающая металлом, черная рубаха с белой пуговкой у ворота, высокие сапоги) — это своего рода «военная форма заводского Урала, какая-то, черт ее знает, неподкупная, что ли, негнущаяся, строгая».

В книге «Уголь, железо и живые люди» пафос, героика хозяйственного строительства показаны с таким же воодушевлением и силой правды, как некогда в книге «Фронт» героика и пафос гражданской войны.

Последние два года своей жизни Лариса Рейснер работает над исторической темой. Она задумывает роман-трилогию из жизни уральских рабочих: в первом романе — крепостная фабрика во время пугачевского бунта, во втором — фабрика в XIX веке, в третьем — строительство социализма. Смерть помешала ей осуществить эту работу, так же как и задуманные портреты предшественников научного социализма: Бабефа, Бланки, Мора и др. Из предполагаемой большой работы о декабристах до нас дошли только четыре этюда.

Когда отмечалось столетие декабрьского восстания, в газете «Известия» появился рассказ-очерк Ларисы Рейснер «Князь Сергей Петрович Трубецкой».

Здесь Рейснер выступает не только зрелым художником реалистической школы, но и талантливым историком-марксистом, философом, политиком.

Рельефно, пластично, без единой лишней черточки нарисован образ молодого блестящего аристократа князя Трубецкого, который с упоением, порхая с бала на бал, пируя до зари, упивался «революционным» краснобайством.

Переходы от одного психологического состояния в другое, от упоения «прекрасными фразами» к истошному, заслоняющему все остальные чувства, страху (за красивые слова придется отвечать головой), потом, когда заговорил голос крови и класса, к коварной борьбе с Пестелем и Рылеевым, а когда восстание на Сенатской площади осуществилось, снова к малодушию, — все эти переходы сделаны с удивительной отчетливостью и тонкостью психологического анализа.

С приходом Рылеева декабристское движение сделало попытку вырваться из замкнутого аристократического кружка, ибо в ссору царя и дворянства решительно вмешалось третье сословие. «С момента вступления Рылеева Трубецкой непрестанно чувствовал у себя за спиной эту новую силу, выпиравшую откуда-то снизу, из канцелярий, из первых крупных торговых контор, литературных и чиновничьих салонов. Купцы! Боже мой, Рылеев чуть не ввел в общество купцов! А когда миновала эта опасность, принялся за «катехизис», читателями коего предполагались уже вовсе простые солдаты...» И князь Трубецкой из светского позера, легкомысленного краснобая превращается в блестящего, остроумного и коварного борца с «левыми» — с пестелевским и рылеевским вариантом восстания.

Борьба все усиливалась и усиливалась: Трубецкому удалось облепить со всех сторон Пестеля соглядатаями и доверенными людьми, окружить все Южное общество сетью шпионов и провокаторов. Он «до последней минуты камнем висел на шее восстания, душил его и ослаблял, и отвалился только тогда, когда беспорядочные толпы неудержимо потекли на площадь Сената, на это голое лобное место, заранее для них выбранное и приуготованное. Николай только воспользовался плодами чужой победы, победы севера над югом». И Лариса Рейснер делает исторически и политически точное обобщение: «Восстание разбилось прежде, чем было разбито!»

Душевное состояние Трубецкого в день восстания раскрывается с помощью скупых, но реалистически отчетливых и очень выразительных деталей: рано утром он слышит звон чайной посуды и старается убедить себя, что ничего не произошло, ничто не нарушило такой любезный сердцу, привычный и необходимейший распорядок жизни; он трусливо бегает по дворцовой площади, стараясь попасть на глаза царю, чтобы тот убедился в его верноподданнических чувствах; в ушах князя «звенит железо», серое утро представляется ему «серее тюремных стен, и из глубины души страх спросил голосом, который князю пришлось услышать через несколько часов в Петропавловской крепости:

— А что вам известно о Зеленой книге?»

Рассказ о Трубецком построен так, что все время ощущается нарастание жестокой политической борьбы между севером и югом.

История для Ларисы Рейснер всегда живой процесс, в котором она видит истоки революционного героизма великих Октябрьских дней. Рассказ о Трубецком кончается так:

«Как раз напротив Кронверкского Вала и того места, где вешали декабристов, наискось через небольшой канал, стоит теперь небольшой белый дом. С его балкона через сто лет после казни декабристов говорил Ленин».

В этом финале подчеркнута преемственность революционных традиций, бессмертие борцов за великое обновление жизни.

Лариса Рейснер была и талантливым писателем-революционером и человеком огромной эрудиции, высокой культуры. Как-то во время работы над этюдами о декабристах, в конце 1924 года, приехала она к известному историку Павлу Елисеевичу Щеголеву для консультации. Щеголев слушал ее с восхищением и удивлением: он ничего не мог добавить, — Рейснер было известно все, что он знал, известны и следственные дела декабристов, которые в то время еще не были опубликованы и хранились в глубоких архивах.

Независимость и непримиримость революционерки, блеск ума, высокая культура у Ларисы Рейснер неотделимы от горячей любви к людям, которая обычно в народе называется простым и скромным словом — доброта. Она была добра к людям и любила делать добро не только в героической борьбе на фронтах гражданской войны, но и в обыденной, «маленькой», частной жизни. В небольшом очерке «Алеша» Лидия Сейфуллина рассказывает, как Лариса Рейснер приютила и перевоспитала, казалось бы, совсем безнадежного, беспризорного мальчонку. «Она была столь красива, — пишет Сейфуллина, — что всегда казалась слишком богатой и праздничной для тягостных мелких жизненных забот. И не многие знали, что она мало зарабатывает, трудолюбива, слишком боязлива в оценке своих достижений и безбоязненно добра. Не убоявшись ни лишаев, ни грузного прошлого мальчика, обреченного на беспризорность, она взяла его к себе. Не рассчитывая, хватит ли у нее заработка на содержание приемыша, не оробев перед трудностью перевоспитания бродяжки и вора, она протянула ему руку».

В образе Ларисы Рейснер, писателя и человека, видны те черты нового, социалистического, которые хочется назвать бесстрашием ума и сердца — способность безбоязненно рвать со старым, преодолевать препятствия в настоящем и видеть величественные перспективы будущего.

* * *

Молодые писатели и писатели старшего поколения, как бы заново рожденные Октябрем, каждый по-своему, в силу особенностей своего стиля, своей манеры, передают героизм, пафос, музыку революционной борьбы. Писатели эти явились подлинными новаторами, ибо выразили в искусстве небывалые исторические сдвиги — события, по размаху, по силе, по содержанию знаменующие новую эру в мировой истории; они сказали новое слово в искусстве.

Белинский писал, что «пограничные линии» жанра «существуют больше предположительно, нежели действительно; по крайней мере их не укажешь пальцем, как на карте границы государства. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примиряющая обе стороны» [1].

Революционная эпоха, с такой щедростью открывая новые, небывалые области деятельности, когда человек становится хозяином истории, творцом жизни, конечно, способствовала разрушению «пограничных линий» в искусстве: это помогало художнику живее, непосредственнее вмешиваться в жизнь, наиболее всесторонне и непосредственно воздействовать на читателя. Романист в какой-то мере становился и мемуаристом, и очеркистом, и научным исследователем, а очеркист, в свою очередь, обогащал свой жанр всем тем, что ему необходимо было взять из смежных областей искусства и науки.

Основные книги Ларисы Рейснер («Фронт», «Гамбург на баррикадах», «Уголь, железо и живые люди») — это лирико-героические очерки-рассказы, объединенные общей темой. Синтетичность этих вещей несомненна: беллетристика здесь сочетается с публицистичностью, фельетоном, политическим памфлетом, историческим экскурсом. Наиболее органичен такой синтез в книге «Уголь, железо и живые люди», которая является и наиболее зрелой книгой.

Живописно-яркую метафоричность сменяет сдержанно-строгий, резковатый, деловой тон публицистической статьи: «Рядом уживается самая строгая дисциплина, чувство ответственности и фантастическое неряшество, все границы преходящее пренебрежение к тому, что при самых малых затратах люди могут и должны получить новый быт».

Здесь же и элементы политического памфлета: «Зачем Колчаку было идти в Кытлым? мостить болота трупами, дышать гарью лесных пожаров, чувствовать со всех сторон уколы партизанщины, проваливаться в трясину со своими пушками и обозами? Но по полевому телеграфу, по стальной бечевке, висевшей от сосны к сосне, — из Парижа и Лондона шли длинные и повелительные приказы:

— Черт возьми, адмирал, для чего же мы вас нанимали?

Телеграф икал от иностранных слов, от этого взбешенного irgent, irgent, irgent, с которыми Европа стремилась к серебристой платине, мирно дремавшей в земле под оборванным пологом из мха, хвои и снега».

Выход за пределы беллетристического письма у Ларисы Рейснер

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. III, стр. 805.

естествен, свободен, необходим для более сильного и непосредственного воздействия на читателя.

Говоря о новом, социалистическом стиле работы на Кытлымском золотом прииске, о зарождении там новой морали, нового быта, писательница закономерно пользуется средствами публицистики, когда ей необходимо обрушиться на непростительное пренебрежение к этим росткам нового: закономерно здесь и памфлетное обличение «платиновой лихорадки», охватившей иностранных капиталистов, лихорадки, которая калечила столько жизней, насаждая дикую эксплуатацию и оголтелую жестокость.

Но все же переход к деловому стилю публицистической статьи в книге «Уголь, железо и живые люди» не везде оправдан, закономерен. Показывая людей Лысьвенского завода, Лариса Рейснер пишет о работнице Балковой: «Это настоящая новая работница, с мужем и прежней семьей, оставшимися где-то на перекрестке исторических дорог, которыми прошли голод — тиф — Колчак и революция. Одни из тех самостоятельных людей, которые без посторонней помощи нашли дорогу к партии и книгам, спокойно бедствуют, работают, делают жизнь своего цеха более выносимой и, не замечая, весело тащат на плечах большой и нужный кусок заводской жизни».

Здесь публицистика превращается в авторские риторические пояснения, которые расхолаживают, утомляют читателя, которые в одинаковой мере не нужны ни очерку, ни рассказу, ни роману.

Эти промахи — следствие еще недостаточно устоявшейся манеры письма и настойчивых, противоречивых поисков новых сочетаний, новых синтезов различных жанровых форм.

А между тем Лариса Рейснер умеет отдельными резкими штрихами создать четкий, краткий, будто высеченный по металлу, портрет: «Много кричит старик: борода — уголь пополам с седой рудой. Круглое злое лицо, которым он лягается, как копытом. Полосатый кафтан, как-то равномерно загрязненный».

Лариса Рейснер мастерски изображает производственный процесс. Это всегда яркая, живописная картина, способная взволновать, заинтересовать человека, который даже и в общих чертах не знаком с производством. Вот описание производственных процессов на чугуноплавильном Билимбаевском заводе: «Подвешенный как бы к подвижному железному плечу, большой совок ходит над пламенем от одной кучи к другой, везде просительно протягивает руку и со всех сторон собирает железную милостыню... С особенным, только ему одному свойственным спокойным величием течет кипящий чугун в приготовленные ложницы, наполняя их сот за сотом, медленно подергиваясь первой пурпурной тенью.

Рабочие то подгоняют огонь к своим грядкам, то заграждают его течение».

Это лирико-эпическое описание подчинено психологической задаче: раскрытию того нового и гордого чувства ответственности, эстетического ощущения красоты труда, которые вырастают из сознания великой цели этого труда.

Блестящая эрудиция помогла Ларисе Рейснер сделать ряд великолепных исторических экскурсов в прошлое уральских шахт, фабрик, заводов. Так, к примеру, мы узнаем о «добродетельной косности и несколько тупом усердии, при помощи которого европейская буржуазия диккенсовских времен наживала свои капиталы в соляной Бахмутской долине», или о прошлом советской Ревды, Ревдинского завода, когда-то принадлежавшем Демидовым.

Эти экскурсы раскрывают антинародность, бесперспективность капиталистического, хищнического отношения к огромным естественным богатствам Урала, а также материальное, физическое и моральное разорение рабочего человека при капитализме.

Книга «Уголь, железо и живые люди» построена так, что настоящее, отталкиваясь от прошлого, устремляется в широчайшие просторы будущего.

Мысль о будущем, чувство будущего — этой, по выражению Горького, «третьей действительности» — никогда не покидает Ларису Рейснер. Изображая, к примеру, штамповальный цех Лысьвенского завода, она пишет: «Они первые должны быть открыты воздуху и свету. Им самое солнечное окно, самый сильный поток свежего воздуха в новой, будущей фабрике».

Сложны были поиски нового у Ларисы Рейснер.

О стиле ее хорошо сказала Лидия Сейфуллина: «Стиль ее был пышен (не знаю, можно ли так выразиться, трудно подобрать слово), пышен от огромного ее богатства. Неутомимый художнический аппетит ее к жизни побуждал ее набрать полней, полней, больше и рассказать обо всем этом многообразии праздничными словами. Но она никогда не боялась искать. «Декабристы» написаны уже скупей. Она неустанно совершенствовалась: отбрасывала, добавляла, добивалась»[1].

Она не боялась искать и умела добиваться, отчего самоцветы ее образов становились чище, ярче, неотразимей...

От замысловатой метафоричности, эстетской изысканности языка «Атлантиды» и ранних стихотворений, написанных под влиянием

[1] Л. Сейфуллина. Собр. соч., ГИХЛ М. 1931, т. V, стр. 220.

формалистско-декадентской литературы, она постепенно шла к реалистической ясности и выразительности письма.

В книге «Фронт» еще встречаются искусственные пейзажи, метафоры, сравнения. Лица моряков, несущих павшего в бою товарища, «окутаны горящим вуалем музыки», умирающие дети «за час мучений, за одну ночь бреда... переживают целую жизнь и отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями». Тринадцатилетний мальчик напоминает «воинственных ангелов Византии». Третья глава очерка «Лето 1919 года» начинается словами: «Эдгару По ворон явился в худшие часы его жизни. Черный ворон влетел в окно и, одинокий, сел на мраморном челе Афины-Паллады. Ворон — страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынник и судья». Символика этой небольшой главы настолько туманна, что так и остается загадкой.

Но это лишь частности, уступки старой манере; для книги «Фронт» более характерны ясные, реалистические сравнения и метафоры: «Лицо наблюдателя в часы борьбы отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе». Или: «Нищета (в Баку. — *Б. Б.*) по-прежнему сочится из всех скважин, течет, как нефть, по всем сточным трубам, ею насквозь пропитаны улицы».

В «Афганистане» тоже есть еще нарочитость, искусственность в портрете и в пейзаже: на фабрике «старики и дети, или то и другое вместе, огромными ножницами дьяволов Гойи как бы отрезывают себе ткань на саван»; «обезображенное лицо (женщина в больнице. — *Б. Б.*) под таинственной чадрой, вылезающее из сказок «Тысячи и одной ночи» с дьявольской усмешкой».

В последней книге («Уголь, железо и живые люди»), а также в этюдах о декабристах язык, не утрачивая своей яркой образности, живописности, которые характерны для стиля Ларисы Рейснер, освобождается от следов искусственности, изобразительные средства здесь всегда служат образу, поэтически подтверждают идею произведения.

...Д. Писарев писал, что главная прелесть поэзии Генриха Гейне «заключается в неотразимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас во все глаза из-за каждой строки...» [1]

---

[1] Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, М. 1957, т. IV, стр. 209.

Эти слова невольно вспоминаются, когда читаешь книги Ларисы Рейснер и покоряешься горячей искренности каждой строчки ее неровных и неспокойных книг. Да, то был ее мир... Она жила в нем героически расточительно, мудро, беспокойно, независимо, жила как солдат революции и как поэт, влюбленный в красоту человека, горьковского человека с большой буквы.

Б. Брайнина

Из цикла „Фронт"

ОТ АВТОРА

В Москве есть большие, грязные, обширные здания, в которых учатся тысячи солдатскнх, рабочих и крестьянскнх детенышей. Им скверно жнвется в переполненных общежитиях, и воздух их аудиторий гуще, зловоннее, сырее воздуха, которым дышало старое студенчество, шагавшее по бесконечному н солнечному корндору петербургского университета, — этн новые люди, которые — «левой», «левой», «левой» — в несколько курьерскн-быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру, н не только одолеть, но н переплавить ее лучшие, нужнейшие элементы в новые идеологические формы, — эти новые людн рабфака — завтрашние судьи, наследники н продолжатели этого десятнлетня.

Революция бешено нзнашнвает своих профессиональных работников... Еще немного лет, н из штурмовых колонн, провозглашавшнх соцнальную революцию в Октябре велнкого года, дравшнхся под Петербургом н Казанью, под Ярославлем, Варшавой, на Перекопе и в Прикаспнйской пустыне, в Снбири н на Урале, под Архангельском н на Дальнем Востоке, не останется почтн ннкого. И новую пролетарскую культуру, наше пышное возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции, не ее защитннкн и герои, а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, переварнвают науку, продают последние штаны н всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича...

Это буйиый, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего миросозерцания он со спокойным мужеством выкииул все закоиомериости и красоты, все сладости и мистические утешеиия буржуазиой иауки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и оии— свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» — ломают стулья и уходят из залы. Правильио.

Но, освистывая и осмеивая буржуазный сентимеит, вы, молодые, вы, пролетарские дети, ие попадитесь в старую буржуазиую ловушку, отлично пережившую эти годы и защелкавшую старыми пружииами. Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любвей, порывов и вдохновеиий, то есть Бессмертие этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.

Это эстеты из «Аполлоиа», это утонченные зиатоки и любители российской словесности брезгливо морщились от величавой и голой бабы Веиеры. Они же зажимают нос от революции. Говорить такие пошлые, первобытные слова, как — «героизм» — «братство народов» — «самоотвержение» — «убит на посту»! Ах, да ие только говорить, ио и делать все эти грубо-прекрасные вещи, от которых у человека с хорошо воспитаииым вкусом сосание под ложечкой начинается! Вот примеры: стайка кораблей, иесколько десятков обшитых в железо барж и буксиров, 20 тысяч кронштадтской и черноморской матросии, составляющей ее команды. Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке иа грязных койках, в нищих вошиых госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнейшего своего, втрое сильнейшего противиика, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензииа, и еще получая из тыла голые, голодиые, злые письма... Надо было иметь порывы, — как вы думаете? Надо было изобрести слова, которые побеждают прирождеиную, неизбежиую трусость мяса, своей крови, своей тоикой человечьей кожи, которую легко прокниуть любым ржавым гвоздем?

Красная вода так легко вытекает, и все кончено. Надо было видеть за кровью и грязью, за томительными столами Соцобеза, который даже ноги резиновой ие даст за

свою, оторванную, который по приемным и прихожим измает бабу, если завтра его, матроса миноносца «Карл Либкнехт», имеющего красное знамя, разольет и размажет в кашу на грохнувшей под снарядом палубе. А умирать? Без поповского бога и черта, которые все вывелись от революции, без всякой утешительной лжи. Только успеет сказать «мои сапоги — тебе» и перестает быть.

Что это, красота или нет, когда в упор из засады по кораблю бьет батарея и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы, встают и бегут к орудиям. «Приказываю вам именем Республики — кормовое, беглый огонь», — и кормовое стреляет.

И творчество тоже есть — наше, а не буржуазное. Вот: надо было подорвать несколько особенно сильных кораблей снабженного англичанами, великолепно вооруженного белого флота. И никому не ведомый инженер-коммунист Бржезинский изобретает гениальную вещь: под килем обыкновенной парусной шлюпки устраивает минный аппарат, вооружает таким образом целую серию парусников. Конечно, находятся люди, готовые взять на себя это отчаянное дело. Покушение не удается только благодаря предательству мальчика-рыбака. Тов. Попов (очень старый коммунист) погиб. Больше не видали его длинного сюртука, светлых обмоток и белого веселого шпица — собаки, бегавшей за ним и в ЧК и в штаб флота, — погиб изумительно, под пыткой ничего не сказал. — Революционная психология или нет?

Эту книгу посвящаю рабфакам. Пусть ругаются, пусть у них поперек горла застрянет иное еретическое слово.

— «Любили».

— «Прекрасно умер».

— «Психология».

Но пусть дочтут до конца о том, как это было, от Казани — до Энзели. Как шумели победы, как кровью истекали поражения. На Волге, Каме и Каспийском море во время Великой русской революции. — Все.

Автор.

КАЗАНЬ

Город еще не взят, но поражение решено. Хлопают двери покидаемых комнат — везде на полах бумаги, брошенные, разрозненные вещи.

Нет хуже отступления. Изо всех углов появляются лица неприметных соседей, не бывшие в течение многих месяцев.

Какие-то пуговицы с потертым блеском, нечто похожее на кокарду, даже на орденскую ленточку, — но это все еще под спудом, в полумраке опустошенных бегством коридоров, не смеющих крикнуть свое трусливое и бешеное «ату его», «ату»! Перед крыльцом — смутный очерк батареи, пыльные, сжатые и злые лица, резкие окрики, — где-то по мостовой грохочут колеса, стучит конница. Готовится последнее сопротивление. Окна дребезжат от несущихся мимо грузовиков — их шумное бегство убивает последнюю надежду, от них страшно.

У дверей, на которых еще ненужно белеют вывески — «оперативное», «секретариат», — несколько женщин прощаются со своими близкими, а за ними, по красным половикам наглые лакеи выметают революционный сор — летит пыль, царапают вызывающе щетки. Вот где горечь и грязь неудач — в лакейской метле, выкидывающей за дверь наши неостывшие следы.

Странное это чувство — идти вдоль незнакомых домов с крепко захлопнутыми дверями и окнами; знать, что там, в этой проклятой гостинице, будут драться до последней крайности.

Кто-то должен быть и будет убит, кто-то спасется, кого-то поймают. В такие минуты забываются все слова, все формулы, помогающие сохранить присутствие духа. Остается только острое, режущее горе — и под ним, едва просвечивая, смутное «во имя чего» нужно бежать или оставаться. Сморщенное, захлебываясь от слез, сердце повторяет: надо уходить спокойно, без паники, без унизительной торопливости.

Но, когда снаряд шлепается сперва мимо — в болотистый лужок у Кремля, а потом в самый штаб, — где они, где последние, которые уйдут, — когда уже невозможно будет уйти, — все сдержки летят к черту, неудержимо тянет назад.

На мне навешаны бумаги, печати, еще что-то очень секретное, что велено унести и передать в первом штабе, который удастся встретить. Не оборачиваюсь на свист снарядов, которые все чаще ударяют в белый карниз «Сибирской гостиницы». Стараюсь не думать о лакеях, взметающих клубы пыли; о броневике и ужасной, размытой дороге, которой он пройдет — или не пройдет?

Рядом бежит семейство с детьми, шубами и самоварами; несколько впереди женщина тянет за веревку перепуганную козу. На руках висит младенец. Куда ни взглянешь, вдоль золотых осенних полей — поток бедноты, солдат, повозок, нагруженных домашним скарбом, все теми же шубами, одеялами и посудой. Помню, как много легче стало в этом живом потоке. Кто эти бегущие? коммунисты? вряд ли. Уж баба с козой наверное не имеет партийного билета. При каждом выстреле, при каждой вспышке панического ужаса, встряхивающего толпу, она крестится на все колокольни. Она просто — народ, масса, спасающаяся от старых врагов. Целая Россия, схватив узел на плечи, по вязкой дороге пошла прочь от чехословацких освободителей[1].

За городом русло беглецов стало мелеть. Женщины, дети, подводы продолжали идти все прямо, не озираясь, не разбирая пути, гонимые могучим социальным инстинктом. Одиночки, шагающие под проливным до-

[1] Речь идет о корпусе военнопленных чехов и словаков, оставшихся в России после первой мировой войны и поднявших с помощью эсеров и Антанты контрреволюционный мятеж в мае — ноябре 1918 года *(прим. ред.)*.

ждем без пальто и без шляпы, некоторые с портфелем, судорожно зажатым под мышкой, свернули на боковые тропинки или прямо по липкой целине, спотыкаясь, падая, подымаясь опять, вышли ночью к отдаленным деревням.

Летний дождик превратился в ливень, поля почернели и стали нескончаемо тяжелыми. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой. Орудийный гром притих, и в грозовом небе бесшумно запылали зарева пожаров и далекие зарницы. Вороны скучной стаей потянулись в предместья.

Сколько мы шли и куда — не припомню. Все вспаханными полями, по мокрой глине, задерживающей шаг, в сторону, как мы думали, Свияжска. Во время бегства, особенно в первые его часы, многое зависит от смутного чутья, заставляющего из трех деревень выбрать одну, из нескольких дорог — единственную. Все чувства заостряются — взгляд прохожего, силуэт дерева, лай собаки — все принимает окраску опасности или спокойного «можно».

Впереди всех шагал с обнаженной головой, в намокшем, нелепо приличном пиджаке ответственный работник товарищ Б.

Этот ничего не понимал в тайных приметах нашей общей дороги — плохо видел, плохо соображал. Ему больше всего хотелось лечь и уснуть после судорожных последних ночей в городе. Вел нас маленький матрос. Своими немного кривыми ногами он крепко обхватывал комья глины, дождь не мешал видеть его единственному, весело синему глазу, и, вообще, с ним было спокойно. Поспорив с «Портфелем», который несся очертя голову, гонимый ветром и усталостью, он круто взял влево, заставил далеко, чуть не на десять верст обойти первое селение, за которым мы нашли светлевшее в темноте шоссе и, уже не колеблясь, пришли по нему ко второй деревне. Наш командир скомандовал «швартоваться» и постучал в темную избу. Спали на полу, с восторгом отодрав от ног промокшие тяжелые сапоги. Сено, человеческая духота, лампада в углу. И в полусне, утишившем все отравленные мысли, — еще кусок теплого черного хлеба. Утром оказалось, что вся комната полна беженцев, но в этом никто не сознавался. Начиналась травля, каждый защищался и прятался на свой риск. Наш «ответствен-

ный», или, как мы его звали, Портфель, с наивностью истого горожанина и интеллигента решил сгустить свое непроницаемое инкогнито. Его шляпа с проломом куда-то вдруг исчезла и заменилась отчаянного вида кепкой, в которой Портфель сразу стал похож на каторжника.

Хозяином приюта оказался сельский учитель. Ему страшно хотелось взять тон победителя, но побежденных было так много и такого мрачного вида, что он ограничился одними нравоучениями. В общем, добрый был человек, всех накормил даром и честно показал дорогу на Свияжск. Даже до тропинки проводил, размахивая руками и горячась, — мы все-таки немного поспорили об Учредительном собрании. Эта учительская тропинка нас спасла: на большой дороге, которую выбрало большинство, уже ждали засады.

Свияжск — почему именно Свияжск? Название этой маленькой станции на берегу Волги, сыгравшей впоследствии такую крупную роль в обороне и обратном взятии Казани, ставшей горном, в котором выковалось ядро Красной Армии, возникло, было повторено, запомнилось как-то стихийно, в самый разгар отступления и паники.

Назначил ли штаб местом своего закрепления именно Свияжск, бросил ли это имя в бегущую толпу инстинкт самосохранения, — но именно туда стремилась вся волна отступающих.

Гражданская война господствует на больших дорогах. Стоит свернуть на проселок, на тропинку, бегущую по теплым межам, душистым межам, — и опять мир, осень, прозрачная тишина последних летних дней. Идем босиком, сапоги и хлеб на палке через плечо. Матрос где-то подобрал пастушеский длинный кнут и так щелкает им за спиной Портфеля, что тот приседает и готов расплакаться. Нет, надо сознаться, не из храбрых был наш товарищ Б. В деревни мы почти не заходили — и то больше в сектантские: там и чище, и хозяева сочувствуют, и молоко густое, как в царстве небесном, и бабы свежи, как сотовый мед. Ни разу нас сектанты не подвели и не отпустили голодными.

На третий день, впрочем, чуть не попались. Портфель поранил как-то ногу, устал, заныл; два моих товарища моряка до того устали шагать по сухому, глотать пыль и вообще притворяться штатскими, что их объеди-

ненное скуленне подействовало даже на благоразумие «Мишкн» (имя нашего вожака). Он сдался, н после маленькой разведки мы залезлн в первую встречную деревню. Сперва все шло хорошо: прохладное крылечко, яйца вкрутую, чай, огурцы н безразлнчный ко всему хозянн. И вдруг, только мы разблаженствовалнсь, — вынырнул откуда-то господин в сней суконной поддевке, красном кушаке, с бородой «а-ля рюс» — нечто вроде урядннка на покое или воннствующего помещнка. Наш хозянн только глянул на него боком н стал еще серее н молчалнвее. А тот все бегает любопытными глазкамн от Портфеля к его портфелю, от Мишкн, покойно пьющего чай, к очень благопрнстойно н даже благожелательно настроенным морякам. И начался у нас самый невнннный, самый тнхий разговор.

«Вы нз Казанн, беженцы?»

Отвечает за всех предводитель: «Нет, дачннкн. Ищем домнк с хорошим видом на реку и вообще с удобствами. Не порекомендуете ли?» У нашего «старшего» рожа небрнтая н зверская — он чнстокровный южаннн, черный, веселый н отчаянный.

Поддевка хнхнкает: «Ну, господа, не притворяйтесь? Выгналн вас нз Казани, здорово выгналн? Вот товарнщ даже портфель захватнл второпях; да вы, верно, нз нашнх?» — н подмнгнвает глазом — шарнком масла.

Мншка делает вольт. Начннает распнсывать подкреплення, полученные Красной Армней: «Помнлуйте, 20-дюймовые орудня из Кронштадта, бомбы, начнненные лунином — через два-трн дня...» — и вдруг прнстально глянул на хозянна, повернул голову куда-то в сторону, к открытой степи. Очень далеко маячат тени верховых, как черные нголочкн нх пнкн. Поддевка всполошился, но тут Мнша так весело опустнл руку в карман, а все мы (Портфель, конечно, впереди) так быстро смылись через сад в блнжнее поле, что ему не прншлось ннчего сделать.

Весь остаток дня проспалн в золотых душных снопах, недалеко от дорогн. Несколько раз проезжалн мнмо казакн, н тогда тов. Иподи буднл Портфеля, чтобы тот не храпел слншком громко.

Какая-то деревня — в темную, бурную ночь. Бесконечные, в полнеба, зарннцы, скрип повозок, тревожное ржанне лошадей.

Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода. Куда — в Свияжск. Застаем часть штаба, уцелевшую воинскую часть, работников из Политотдела. Нас узнают. Кто-то подошел, посмотрел на нас беглым светом фонаря...

Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте, шлепанье шагов, и опять двигаемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес, и при каждом пылании зарниц видно крестьянина, поддерживающего дымный, трепещущий от усталости бок своей лошади, и чье-нибудь белое сонное лицо, мокрое от грозы. И оно тухнет.

Не стоит описывать подробно утро следующего дня: оно как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена, боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат, особенно когда они острят, сидя на задке походной кухни — место отдыха, занимаемое всеми по очереди. Прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шеймана. Не видит, не слышит, ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает наверное, жив или убит, но предчувствие сильнее с каждой минутой — видно, как оно овладевает ею все крепче и жесточе. Чужим делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец — Волга, переправа, станция, сон на полу холодной, продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром — толчок, скрип колес, долгожданное, милое дергание — и через час мы в настоящем Свияжске. В комендатуре толчея, разговоры, расспросы... Мелькает еще раз каменное бескровное лицо Шейман. Ее муж действительно убит.

Тут мы с Мишей и решаем идти обратно в Казань. Товарищ Бакинский пишет на крохотной папиросной бумаге пропуск через все наши линии. И, лукаво подмигнув голубым глазом, «Пойдете, говорит, к командиру латышского полка, он вам, наверное, даст двух лошадей до передовой линии. А оттуда уж пойдете пешком».

И правда, латыши помогли... Достали мне шинель, штаны, сапоги, вывели кавалеристы двух лошадей, но, боже мой, как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, — и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены громаднейшие шпоры? Поехали шагом — ничего. Потом рысью — мученье и страх. А проехать надо все сорок верст.

В первый же день знакомства с рыжим «Красавчиком» началась наша с ним нежная дружба, длившаяся три года. Далеко за Волгой, у самого полотна железной дороги, на опушке, конь вдруг заволновался. Я его — хлыстом, а у него дрожат нервные уши, блестит скошенный на меня, горячий глаз, — и ни с места. Сопровождающие кавалеристы тоже остановились и смеются. И вдруг перед самым нашим носом один за другим три столба, три пыльных и красных грохота, три смерти. Пришлось свернуть в лес.

Много тут было пораненных деревьев — и с каким-то ломающим, продирающимся визгом падали снаряды в этой чаще.

Деревья стоят тихо, как приговоренные, — удивительно тихо и прямо. И так же тихо лежат люди на маленькой поляне, среди рыжих пахучих сосен. Солдаты и два командира возле своей притихшей, притаившейся батареи. Они как раз обедали. В мягкой от жара траве дымились суповые чашки, из них хлебали по два-три человека вместе. Почему-то шепотом, точно боясь выдать свою прогалину, опросили нас, проверили документы, потом предложили вместе пообедать. Смешно пахло от этого их супа: крутой, разбухшей в кипятке, одутловатой бледно-зеленой капустой и лесной земляникой, которая повсюду краснела среди тонких, сухих трав — копий. В затишье, когда где-то там, за лесом, потный, черный и оглохший артиллерист при помощи нескольких чисел и своего мудрого звериного инстинкта отыскивал наше смутночаемое убежище, в минуту перерыва, когда прикованные к месту сосны переводили дух, где-то рядом начинала нерешительно пощелкивать лесная птица, вернее всего — синичка. Щелкнет, щелкнет, помолчит. Солдаты перестают есть и внимательно слушают. Один подобрал на ложку занятого суетливого муравья и в застывшем, тяжелом внимании наблюдает его беготню. И всем нам легче, когда над головой опять провоет не-

видимый снаряд и в чаще затрещит и брызнет белыми, смолистыми щепами пораженная сосна. Не нашли, мимо, — и все ложки опять в щах.

Опять мы едем завороженным, мертвым лесом, пока на опушке не начинают попадаться большие пустые дачи. За дачами полотно — какое-то странное. Стоят отдельные вагоны, по двое, по одному, на больших расстояниях друг от друга. Кажется, что они играют в «колдуна». Стоит отвернуться, и они подбегут ближе; взглянешь — опять остановятся в своих застигнутых врасплох, нелепых позах. Кое-где мертвые лошади, и на все это пустое, обрыдлое место от времени до времени шлепают снаряды. Штаб совсем рядом, в ближайшей от станции даче. Что-то через час после нашего ухода и в него попала далекая, косноязычная, за несколько верст отыскивающая батарея. Был убит один из лучших наших командиров, товарищ Юдин. Но тогда он еще был жив, сам нас принял, и в последних часах его повышенно пульсирующей жизни, напряженной, как налитая и готовая лопнуть вена, мы заняли несколько быстрых, острых, громко отщелканных минут. Посмотрел документы, оставил их перед собой на столе, велел накормить и дать постель. И пока мы отдыхали и пили чай, в соседней комнате (через дачную стену все слышно) телефон вызвал Свияжск, Реввоенсовет. «Вы знаете такую-то, Лейзнер, — да, Лейзнер? Давали пропуск? Да? Хорошо. А мы думали... Ну, ну, будьте здоровы».

Человек, по какому-нибудь делу попавший в банк, всегда начинает себя чувствовать вором. Решетки, несгораемые кассы, всеведущие счетные книги, самое безупречное сияние паркета — вся эта оградительно-щелкающая замками вежливость предполагает в каждом посетителе взломщика и мошенника. И на минуту, когда телефон расспрашивал Свияжск о некоей Р., я вдруг почувствовала, что мое поведение должно казаться страшно неправдоподобным, наружность подозрительной. Черт возьми, а голос? — Я сказала громко: «Иду в Казань по секретному делу». До чего чужой, лживый голос. Ну ясно — шпионка.

Уже в сумерки товарищ Юдин зашел к нам в комнату. Его лица почти не было видно, но вся фигура — шершавые большие галифе, шпоры, руки, спокойно засунутые в карманы, показались дружественными. И, расспросив

еще немного, куда мы н как, посоветовал сейчас же идти дальше, раз уж решились на такую отчаянную глупость. «Ну, прощайте, надеюсь, увнднмся». И крепко пожал руку, подумав про себя, что мы-то вряд лн выйдем жнвыми из этого леса. Смерть, стоявшая за его спнной, цнннчно улыбнулась в темноту.

Уныло оглядывая свон исполннские сапоги и брюкн, я заметнла, что н красноармеец хохол, прнносившнй чай, заннтересован нмн не меньше меня. «Товарнщ мадам, давай-ка поменяемся, ты мне муницию, а я тебе настоящую дамскую одежу — с оборам и перамн». И пpннес откуда-то с чердака шнкарный парнжский корсет, камергерскне брюкн и, на мое счастье, темный дамский костюм. Камергерское золото вскоре заблнстало на поджаром заде мальчншкн-рассыльного, однн из красноармейцев прнмернл розовый корсет, а мы с Мншей вышлн нз маскарада настолько прнлнчнымн буржуямн, что первый же передовой пост нас снова арестовал, несмотря на все паролн, бумажкн н пропуска. Бешеный Иподи Мнша под конвоем отправнлся обратно в штаб, н, пока он вернулся, окончательно стемнело. На прощанье часовой дал добрый совет — как можно дальше уйтн от железнодорожного полотна и пробнраться лесом. «А тут — в темноте непрнятно яснели рельсы — вас мнгом хлопнут».

Несколько часов тнхой лесной дороги. Встретнлн двух разведчнков-кавалернстов. В темноте онн испугались нас, а мы нх.

Немного поговорнлн, согрелнсь о человеческнй разговор, — и дальше.

Лес ополаскнвает усталость, как большое черное озеро — нзмученные ходьбой ногн. Помню еще звезды, страх темноты, страх быть без дома, без постелн, без завтра. Вообще непрнятное чувство горожан, отвыкшнх от большой дорогн. На какой-то тропнннке, в какой-то деревне, возле какого-то дома отчаянные женскне крнкн: в бане, на полу, молодая кнргнзка третьн суткн рожала н нnкак не могла роднть.

Стук дверн, новые лнца, прнкосновенне незнакомых рук, вероятно, помоглн ее нервам, ее желанню жнть — страшной судорогой она выкннула ребенка. И сразу почтн успоконвшнсь, держа меня за руку, бормотала среди своих мокрых от пота волос какие-то картавые, за-

сыпающие слова. Так и уснула, не разжимая своих сухих и горячих, как у птицы, пальцев.

Одним словом, на крестины киргизенка ушла нижняя юбка, а в шелковом носовом платке поехал в церковь младенец и какие-то, на всякий случай прихваченные, языческие божества. От посещения церкви мы воздержались. Поп, терпимый к старому Яриле, мог учуять более опасную бесовскую силу в новоявленных крестных.

После крестин счастливый отец предложил в знак благодарности провезти нас на собственной лошади в Казань.

«Уж я вижу, вы люди хорошие, порядочные. Не первый день живу на свете, слава богу, понимаю, кто к кому относится».

«А если нас остановят, что вы скажете?»

«Скажу, что дачники, домой едут господа. Меня ведь знают, поверят».

И правда, теплым росистым утром телега киргиза повезла нас тихими проселочными дорогами. Колеи, заросшие яркой лесной травой, стук дятлов, запах смолы и земляники. И от времени до времени, спотыкаясь о чистый утренний воздух, визгливые кегельные шары над головой. Через лес бьет тяжелая артиллерия.

Русская провинция вообще ободрана, безобразна и скучна. Все ее города и городишки похожи друг на друга, как черствые калачи. Но среди них все-таки особенным уродством блещет Казань. Единственное, что в ней вообще имеет стиль и архитектурный характер, — это башня Сумбеки. Остальное, по сравнению с этим чисто татарским памятником, носит более чем монгольский характер. Арбузы, пыль, дощатые заборы, дома, в которых нет ничего, кроме вывесок и витрин. И мостовая из каменных желваков, мозолей, гранитных флюсов...

Ни один патруль не остановил нашу телегу, и в Адмиралтейскую слободу мы въехали, едва веря своей удаче, хотя непреложное уродство улиц и домов со всех сторон спешило нас уверить, что это уже не сон, а сама кривобокая, скуластая, охваченная белогвардейским бредом, Казань.

«А куда же вы нас везете, кум, у кого устроите?»

Киргиз обернул веселое, лукаво улыбающееся лицо.

«Вам, ведь, надо, где поспокойнее. Так уж лучше не найдете — к приставу слободскому вас отвезу. Человек свой, то есть надежный и положительный. Мы с ним старые друзья, — и радостно щелкнул вожжами по круглой спине лошади.

Мы с Мишей только переглянулись. Угодил нам кум, нечего сказать. Пристав!

Телега въехала в пыльную широкую слободскую улицу. Деревянный тротуар, во всех его щелях простодушная трава; одноэтажные деревянные домики, ворота с петухами и скрипом, зеленые и белые всегда сонные ставни. Словом, сплошная голубизна купеческого неба, облачки, как пар от послеобеденного самовара, городок Окуров в шелковых, ярких и жирных красках Кустодиева. Догадливый кум остановил повозку перед самым нарядным и сдобным домиком, поцеловался с нами на прощанье и отечественно сдал на руки вышедшему на крылечко куму — приставу.

Собственно, мы с Мишей сразу попали в «театр для себя». В верхних комнатах приставского дома, на чисто вымытых, натертых воском и устланных половичками полах, разыгрывалась с виду вовсе безобидная мещанская комедия в постановке художественного театра, с геранями на окнах, с иконами в углу и с фотографиями местного окружного суда над письменным столом. Среди старинных сюртуков, высоких и тугих воротничков легко было узнать выпученные глаза, скулы и плоский, засиженный мухами, лоб нашего хозяина. Как и полагается, у неторопливого, негромкого, равномерно наседающего на людей пристава была сухая, с облизанным злым черепом, скрипучая жена. Дочь их, Паша, розовая, полная, «вся в лапках и глазках, глазках и лапках», проводила время, положив на низкий подоконник свою пышную грудь и сплевывая семечки на редких прохожих. Как беззаботная наследница, она в политику не вмешивалась и, только в разгар острых, истерических грубых скандалов, затеваемых ее матерью с жильцами нижнего этажа, недовольно морщила розовую пуговку и говорила: «Мамаша, какая вы необразованная, нельзя же так громко». Внизу, под приставом, его вощеным полом и геранями жили, снимая углы, несколько рабочих с семьями. Революция на время прервала простые и ясные отношения, существовавшие между нижним и

верхними этажами. И даже Пашино приданое грозило остаться неполным. Приставские корешки, равномерно, благодушно и даже патриархально тянувшие живой сок из подвала, вдруг остались без пищи и даже ощутили там, в углах, несколько явных укусов и повреждений. Дошло до того, что один из жильцов, рабочий, реквизировал для своих детей пушистую и белую приставскую козу.

Но затем, в июле, бог вмешался в грязные человеческие дела. Справедливость и суд, выскочив из рамки, потрясли мертвыми листами законов, и пышная Пашенька нисколько не встревожилась и не удивилась, когда мимо нее провели по улице буйного жильца, который больше никогда уже не возвращался. Тут все вошло в норму, и по мере того как новая власть на телегах свозила к Волге голые трупы рабочих, на домик пристава слетали идиллические тени. С мирным и счастливым чавканьем все семейство принялось сосать свой притихший подвал, где боялись плакать и шуметь. В это-то время, когда суд божий, а также и чехословацкий, находился в полном разгаре, мы и поселились у пристава. Сперва он несколько стеснялся, как еж, которому неудобно кушать живую лягушку среди белого дня, да еще по старой ежовой привычке начиная это лакомое блюдо с дрыгающих задних лапок. Но затем, попивши с гостями чаю, поругав жидов и коммунистов, убедился в нашей политической благонадежности и совершенно успокоился. Растягивая удовольствие, не чаще, чем один раз в три дня, он ехал в город, причем вся улица и «подвальные» отлично знали, что «сам» опять отправился в штаб с доносом на кого-нибудь из них. Вечером полиция чинно забирала очередного жильца; наверху пили чай, мамаша чутко прислушивалась к возне внизу, папаша невинно, бесконечно долго и радостно толковал о том, что ему и самому жаль, но как христианин и офицер он не имеет права укрывать и пр. Если бы пристав мог видеть черный яд, который его рассуждения разливали по нашим нервам.

Паша, вся в розовом ситце и душой в безоблачном небе, где порхают бумажные голубки и незабудки, тихонько наливала шестую чашку чая соседу учителю, которого в подвале звали просто «жених», вкладывая в это

евангельское имя невыразимую ненависть к его дрянной бороденке, очкам и вообще интеллигентности. И, когда внизу начинался долго сдерживаемый вой, мамаша смеялась, как масло на сковородке, папаша величественно изумлялся поверх очков и листа «Нового времени» за 1911 год. Паша немного морщилась, и учитель нежно объяснял ей, что такое значит учредительное собрание.

На следующее утро Миша, взяв деньги и бумаги, ушел в город на разведку. Пристав отправился в обход отыскивать и отнимать оружие у рабочих, мамаша опустилась в сладчайший ад, в подвал, снимать пену с горького и едкого горя, как с молока, свернувшегося в гнилой темноте этого дома. Паша уселась за роман с неизбежным Раулем, я за газету, в которой среди имен казненных не было упомянуто единственного имени, меня интересовавшего. Таким образом, все обитатели приставского дома занялись своими делами, довольно разнородными.

Толстые черные мухи жужжали на стекле, все потихоньку погружалось в дремоту. Однако часам к двум глухие раскаты, звучавшие накануне очень отдаленно, значительно придвинулись к городу. В купеческом сатиновом небе стали вспыхивать и рассыпаться молочными плерезами дымки шрапнелей. Безлюдная наша улица опустела окончательно, обычный ее сон сгустился до грозовой тишины. Внизу уже не плакали и не шептались: там ждали. Пристав вернулся домой взволнованный, и как раз за обедом, когда он только что пустился в подробное описание обыска, над самой его крышей треснул первый железный орех. Семейство испугалось, но затем непобедимое словоизвержение превратило разрыв снаряда в простую случайность. Все, прижатые было страхом, чертополохи опять оправились и высоко подняли свои колючие шишки. Я, как «жена офицера», должна была еще раз успокоить своих собеседников насчет полной несостоятельности Красной Армии: «Конечно, разве это войска? Банда, сброд, шайка, которая побежит от одного выстрела».

— Сударыня, совершенно верно! — Бац! В это время над нашей головой снова разорвался снаряд. У меня сердце задрожало от сумасшедшего пляса красных весе-

лых чертей, а пристав, оставив высшие стратегические рассуждения до другого раза, надел на себя вторую пару теплых брюк и со всеми домочадцами спрятался в баню. Вот тут-то мы и позиакомились с подвальиыми соседями.

Я их застала на верхией ступеиьке лестницы. Приподияв голову иад низким порогом, женщиины и дети с каким-то одеревеневшим ожиданием посматривали то в небо иа кудрявые разрывы, то иа дверь бани, из-за которой тревожно блеяла запертая коза. Поняли мы друг друга с полуслова. Жеиа последнего, только этой иочью арестованного рабочего подвииулась ближе, шепотом спросила фамилию и, подумав: «Нет, этот убежал, в газетах писали, что убежал, зря вы пришли сюда». Поправила ребенка, который никак не мог поймать ртом широкий и коричиевый сосок ее худой груди, и опять стала молча слушать артиллерийские раскаты.

«А как думаете, моего уже расстреляли? Если сегодия войдут красиые — ослобонят, или уже поздио?» И, ие ожидая ответа (ответ уже был в ией самой, плоский, деревяиный, темный, как потолок подвала), погрузилась в симфоиию иаступления, от которой дрожал весь дом.

Сперва громы все приближались. Они разражались долгими залпами, увереино покрывая более мелкие и частые волны ответного огия. Потом откуда-то с другого берега вступили иовые, отрыгающие железо, железиые глотки. Сперва оии били как бы иаугад, потом с ужасающей правильностью. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором иельзя ошибиться. Разрывы их приходились ие иа Казаиь, зиачит — зиачит иад иашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном иебе — потом как будто отодвииулась. Все реже и реже рвались иад городом снаряды, потом затихли совсем. И только издали, уже ие уходя, ио и ие приближаясь, как черта бурунов, пеиилась далекая стрельба. Час, два, а может быть и дольше, пролежала моя соседка, положив голову иа порог, ие шевелясь, ие говоря ни слова. Теперь оиа подияла лицо. На ием были следы слез, размазаиная грязь и наше поражение. Взяв со ступеиек уснувшего ребеика, камениая, прямая, оиа спустилась обратио в подвал.

Нужио ли говорить, что два слова иа ухо приставу могли спасти эти семьи от белого террора и что иикто из

семнадцати подвальных жителей не пожелал воспользоваться этим средством.

Ни вечером, ни утром следующего дня не вернулся мой спутник. Я осталась одна, без денег и без документов.

Пристав заволновался, но затем решил, что моего «мужа» как офицера-добровольца могли просто мобилизовать в штабе, куда он явился, — и посоветовал съездить в город, навести справки.

Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе, — словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции.

В предместье трамвай остановился, чтобы пропустить подводу, груженную все теми же голыми, торчащими, как дерево, трупами расстрелянных рабочих. Она медленно, с грохотом, тащилась вдоль забора, обклеенного плакатами: «Вся власть Учредительному собранию». Вероятно, люди, налепившие это конституционное вранье, не думали, что их картинки станут частью такого циничного, общепонятного революционного плаката.

Белый штаб помещался на Грузинской улице. В общем, без особого труда удалось получить пропуск в канцелярию; мимо меня пробежали штабные офицеры, всего несколько дней тому назад служившие в Реввоенсовете. У всех дверей часовые — гимназисты, мальчики 15—16 лет. Вообще, вся провинциальная интеллигенция встрепенулась, бросилась в разливанное море суетливой деловитости, вооружилась и занялась государственными делами в масштабе любительского красного креста, любительского шпионажа и самопожертвования на алтарь отечества, декорированного лихими галифе, поручичьими шпорами и усами.

Боже, как хорош белый режим на третий день от своего сотворения! Как бойко стучат машинистки, какие милые, интеллигентные женские лица над ремингтонами. У дверей кабинета два лихача-солдата, вроде тех, что каменели в старину у царской ложи, — и из этих дверей

порою выплывает в свежей рубашке, в распахнутом кителе и душистых усах, о, какой, если не генерал, то вроде него — полковник или капитан, и как нежно, одухотворенно и скромно плавают на чиновничьей и военной поверхности жирные, хотя и редкие, пятна истинного просвещения; как кокетливо выглядывают из-за обшлага наши университетские значки.

О, alma mater, гнездилище российской казенной учености, и твой тусклый луч позлащает сии эполеты, аксельбанты и шпоры. В одно из посещений штаба мне даже довелось видеть в приемной поручика Иванова, этого Мадемуазель Фифи белогвардейской Казани, настоящего профессора, в крылатке, в скромной шляпе с мягкими полями, с теми пышными и чистыми сединами, какие после Тургенева носили все ученые-народолюбцы, кумиры «чуткой передовой молодежи», который вполголоса быстро-быстро сообщал лениво и пренебрежительно слушавшему его юнкеру всякие особые секреты по части неблагонадежных элементов, спрятавшихся в его квартале...

Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую; от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей. Пора было подумать об обратном исходе.

Пристав, тщетно прождав моего без вести пропавшего «мужа», начал проявлять признаки беспокойства; денег не было ни гроша, и мои подвальные соседи настойчиво советовали уходить, пока не поздно. Да и жизнь в постоянной лжи, в ежедневном разговоре на тему о жидах, коммунистах и грядущих победах святого православного оружия становилась невыносимой. Однажды утром я тихонько оделась, ощупала в кармане засохшую корку хлеба, в которой окаменел запрятанный в мякиш пропуск, и решила уйти из дому, чтобы уж не возвращаться в него никогда. Жена рабочего успела всунуть мне в руку трехрублевую бумажку. Но у ворот меня остановил пристав: «Вы куда, сударыня, в такое раннее время?»

— В штаб, сегодня обещали дать точную справку.

— Позвольте вас проводить, я помогу, окажу, так сказать, протекцию.

— Да не беспокойтесь, я отлично доеду сама...

— Какое тут беспокойство — нет — уж разрешите старику поухаживать за дамой.

Как я ни отговаривалась, пристав стоял на своем, и мои слова прилипали к его сладкой настойчивости, как мухи к сахарной бумаге.

В штабе точно из-под земли вынырнул расторопный секретарь, а пока мы с ним проходили через общую залу, за спинами просителей и барышень, с любопытством провожавших нас глазами, блеснул уже белесый холодок штыка.

Кабинет поручика Иванова помещался наверху, в трех маленьких комнатах. Первая из них, приемная, была густо набита просителями, арестованными, родственниками всякого рода и часовыми. Пока мой почетный конвоир бегал докладывать Иванову, тому самому, который «за революцию» бил по пяткам казанских железнодорожных рабочих, я успела оглядеться.

И вот в двух шагах, лицом ко мне, группа знакомых матросов из нашей флотилии. Матросы, как все матросы 18-го года, придавшие Великой русской революции ее романтический блеск. Сильные голые шеи, загорелые лица, фуражки «Андрея», «Севастополя» и просто — «Красный флот». Боцман смотрит знакомыми глазами, пристально, так, что видно его голую душу, которая через двадцать минут станет к стенке, — его рослую душу, широкую в плечах, с крестиком, который болтается на сапожном шнурке, — не для бога, а так, на счастье.

Стучит, стучит пульс: секунда, две, три, не знаю сколько. И глаза, громко зовущие себе на помощь, уже не смотрят. Они, как орудия в сырую погоду, покрылись чем-то серым. Стукнули приклады — матросов уводят. В дверях боцман осторожно оборачивается. «Ну, — говорят глаза, — прощай». Комната вертится, как сумасшедшая; откуда в ней этот блеск воды, блеск моря в ветреный день, с такой короткой, сердитой, серебряной рябью.

Зеленый стол, за ним три офицера. Конечно, этот слева и есть Иванов. Бледная лысая голова, до того белая, что кажется мягкой, как яйцо, сваренное вкрутую. Светлые глаза без бровей, белый китель, белые чистенькие руки на столе. Второй — француз; его лица не помню. Так, нечто любопытно брезгливое и бесконечно холодное. Смотрит кругом, стараясь все запомнить связно, так, чтобы потом можно было остроумно рассказать у себя дома. Третий — протокол. Перо, прямой пробор, заглав-

ная буква вверху листа с размашистым, нафиксатуаренным хвостиком.

— Ваша фамилия? — Возраст? — Общественное положение?

На мои ответы Иванов улыбается широкой, почти добродушной улыбкой...

И вдруг этот человек, только что выдержавший такие художественные паузы, жеманившийся, как сытый кот с ненужной ему мышью, подмигивавший офицеру-иностранцу на белье, снятое с меня во время предварительного обыска и аккуратно сложенное перед чернильницей Иванова, — вдруг этот изящный, небрежный, остроумный прокурор треснул кулаком по столу и заорал по-русски, вскочив с места от истерического бешенства: «Я тебе покажу, так твою мать, ты у меня запоешь, мерзавка». И грубо офицеру-иностранцу, имевшему бестактность засидеться на отеческом допросе: «Идите вниз, когда можно будет, позову». Француз прошел мимо легкими шагами, полоснув меня и своего коллегу и союзника презрительными, равнодушными, почти злорадными глазами.

И опять Иванов заговорил спокойно, со всей прежней мягкой, двусмысленной, неверной улыбкой: «Одну минуту, нам не обойтись без следователя».

В комнате было три двери. Направо та, через которую вышел Иванов; посредине — зимняя, заколоченная войлоком, запертая. И третья, крайняя слева, — в приемную. Возле нее — часовой.

Бывают в жизни минуты сказочного, безумного, божественного счастья. Вот в это серое утро, которое я видела через окно, перекрещенное безнадежным крестом решетки, случилось со мною чудо. Как только Иванов вышел, часовой, очевидно доведенный до полного одурения нервной игрой поручика, его захватывающими дух переходами от вкрадчивой и насмешливой учтивости к животному крику в упор, — часовой наполовину высунулся за дверь «прикурить». В комнате оставались только растопыренные фалды его шинели и тяжелая деревянная нога винтовки. Сколько секунд он прикуривал? Я успела подбежать к заколоченной средней двери, дернуть ее несколько раз — из последних сил — она открылась, пропустила меня, бесшумно опять захлопнулась. Я оказалась на лестнице, успела снять бинт, которым было завязано

лицо, и выбежать на улицу. У окна общей канцелярии, спиной ко мне, стоял пристав и в ожидании давил мух на стекле.

Мимо штаба неслышной рысцой проезжал извозчик. Он обернулся, когда я вскочила в пролетку.

«Вам куда?»

Не могу ему ничего ответить. Хочу и никак не могу. Он посмотрел на мой полупрозрачный костюм, на лицо, на штаб, стал на облучке во весь рост и бешено хлестнул лошадь. С грохотом неслись мы по ужасной казанской мостовой, все задворками и переулками, пока сивка-бурка, вспотев до пены и задрав кверху редкий хвост, не влетела в ворота извозного двора. У моего извозчика сын служил в Красной Армии, а кроме того он был мужем чудесной Авдотьи Марковны — белой, красной, в три обхвата, теплой, как печь, доброй, как красное солнце деревенских платков и сказок. Она меня обняла, я ревела как поросенок на ее необъятной материнской груди, она тоже плакала и приговаривала особые нежные слова, теплые и утешные, как булочки только что с жару. Потом прикрыла мне голые плечи платком, и тут же на крыльце, выслушав всю историю с самого начала, таким матом покрыла яснейшего поручика Иванова, что пышные петухи, крепкой лапой разрывавшие теплые от солнца навозные кучи, загорланили от восторга.

— Идем, мать, чаек покушаем.

Через часа два, завернутая в платок с розанами, имея при себе фунт хлеба и три рубля деньгами, я уже выходила за казанскую заставу. Занятый осмотром проезжавшего воза, дозорный пост меня легко пропустил; мимо другого я пробралась кустами.

Попутчик-крестьянин, который согласился меня подвезти до первой деревни, еще раз милостиво даровал мне жизнь в этот счастливейший день моей жизни. Протрусив рысцой верст шесть, он сказал голосом, который был голосом моей подвальной соседки, и рыжебородого извозчика, и Авдотьи Марковны, и всей российской бедноты, которая в те дни первоначальной революционной неурядицы, поражений и отходов, безусловно была на нашей стороне и нашу победу спасла так же просто и крепко, как меня, как тысячи других товарищей, разбросанных по ее большим дорогам:

— Ну, слезай, девка. Полно врать, — я вижу, кто ты

есть за птица, иди в село налево — там твои. А направо вон ходит облачко, будто черное; это чехи, кавалерия.

Пробежав полем версты две, я действительно встретила нашу передовую цепь. Один из красноармейцев, очевидно узнавший меня по штабу товарища Юдина, сел рядом на ком вспаханной земли и деликатно, делая вид, что не замечает моих расстроенных чувств, сказал, скручивая цигарку:

— Ну, что, нашла ты своего мужика?

КАЗАНЬ — САРАПУЛЬ

I

Ночные склянки, отбивающие часы на палубе миноносца, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости.

Но, вместо Невы, величаво отдыхающей, вместо тусклого гранита и золотых шпилей, отчетливый звон осыпает необитаемые берега, чистые прихотливые воды Камы, островки затерянных деревень.

На мостике темно. Луна едва озаряет узкие, длинные, стремительные тела боевых судов. Поблескивают искры у труб, молочный дым склоняется к воде белесоватой гривой, и сами корабли, с их гордо приподнятым носом, кажутся среди диких просторов не последним словом культуры, но воинственными и неуловимыми морскими конями.

Редкое освещение: отдельные лица видны и отчетливо видны, как днем. Бесшумны и так же отчетливы позы. Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы.

Пляшущие руки сигнальщика с его красными флажками, красноречивые и лаконические, танцующие в ночном ветре условный, обрядовый танец приказаний и ответов.

И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма, — высоко, выше мачты и

мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда.

Давно пройден и остался за поворотом реки наш передовой пост, лодка под самым берегом, и командир Смоленского полка, Овчинников, спокойный, всегда неторопливый и твердый, отчетливый и немногословный — один из славной стаи Азиской 28-й дивизии, прошедшей с боем всю Россию, от холодной Камы до испепеленного желтыми ветрами Баку.

Где-то справа мелькнул и исчез лукавый огонек,— может быть, белые, а может быть, один из отрядов Кожевникова, шаривший в глубоком тылу у белых и иногда совершенно неожиданно вылезавший навстречу нашей «Межени» из непролазной чащи кустарника, запутавшего обрывистый камский берег.

При первых лучах рассвета необычайна красота этих берегов. Кама возле Сарапуля широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоится между островов, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт — и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки.

На мелях сотни лебедей распростирают белые крылья, пронизанные поздним октябрьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел. И хотя противоположный луговой берег занят неприятелем — ни одного выстрела не слышно из мелкорослых кустарников. Очевидно, нас не ждали в этих местах — и не успели приготовиться.

Из машинного люка до пояса выставляется закопченный и бледный моторист и, стирая с лица черноту и пот, с наслаждением вдыхает острый утренний воздух, за одну ночь ставший осенним и северным.

Лоцман на мостике, всклокоченный и крепкий, похожий в своих сединах и овчинном тулупе на лешего, пророчит ранний мороз.

«Снегом пахнет, воздух — снегом пахнет», — и опять молча отыскивает узкую дорогу кораблей среди предательской ряби отмелей, тумана и камней. За эту ночь пройдено больше ста верст, и вот вдали показался кружевной железнодорожный мост и белые макушки Сарапуля. Команда отдыхает, полощется возле крана, дразнит двух черных щенят, взращенных с великой любовью среди пушечной пальбы и непрерывных походов.

Резкий крик наблюдателя:

— Люди на левом берегу, — и снова напряженное ожиданье. Но те, на берегу, уже разглядели нас, и в воздухе радостно пляшут красные полотнища. И дальше, на берегу, и на мосту, и за песчаным прикрытием вспархивают и трепещут красные флажки. Малые фигуры пехотинцев в серых шинелях бегут по берегу, машут, кричат и перебрасывают на железные палубы миноносцев какие-то благословляющие приветствия.

Прошли мост, повернули левее, а за последним судном, идущим стройной кильватерной колонной, уже трещит ружейная перестрелка. Это белые обстреливают охрану моста, сбежавшуюся посмотреть на проход нашей флотилии.

В бинокль ясно видна набережная Сарапуля, занятого дивизией Азина, Сарапуля, со всех сторон обложенного белыми, и, наконец, благодаря приходу флотилии, соединенного с нижнележащими армиями.

Подходим ближе. На крыше поплавка, на перилах, на дороге — красноармейцы, чуйки, платочки и бороды, и все это радостно изумленное, свое, дружеское. Оркестр на пригорке гремит марсельезу, барабан, заглядевшись на корабли, образует брешь в мелодии, труба несется далеко впереди рассерженного дирижера, радостно играя громовыми переливами и не останавливаясь ни на чем, как конь, сбросивший всадника. Уже приняты концы, борт плавно примкнулся к пристани, матросы высыпали на берег, и пошли разговоры:

— Как же вы прорвались? Побили их корабли?

— И побили, отец, и в реку Белую загнали.

— Врешь.

— Да не вру.

Чрез толпу пробирается молодая еще женщина, вся в слезах. «Матроска», — говорят окружающие. И начинаются новые причитания. Плач матери и жены, пронзительный однообразный вопль: «Моего увели на барже, на барже стащили. Матросом был, как вы». Платочек мечется от одного моряка к другому, слепнет от слез, гладит шершавые рукава бушлатов, это последнее свое воспоминание. Да, жестокая штука война, гражданская, — ужасна. Сколько сознательного, интеллигентского, холодного зверства успели совершить отступающие враги.

Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапуль — все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев и даже грудных пискунов не пощадили. В другом — на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи, и вокруг них великолепный румянец осенних кленов кажется следом избиения.

Жены и дети этих убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве был день, — вспомните вы, бывшие на борту «Расторопного», «Прыткого» и «Ретивого», на батарее «Сережа», на «Ване-коммунисте», на всех наших, зашитых в железо, неуклюжих черепахах, — разве был хоть один день, когда мимо вашего борта не проходила эта молчаливая спина в шинели, этот солдатский затылок с такими редкими, куцыми волосами (все после тифа) и танцующей по воде рукой, то всплывающей, то опущенной ко дну. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы не выли от боли в час вашего прихода, где бы на берегу, среди счастливых и обезумевших, которые так неумело (рабочие, ведь, не моряки) принимали ваши «чалки», не было десятка осиротелых баб и грязных, слабых и голодных детей рабочих. Помните этот вой, которого не могло заглушить даже лязгание якорной цепи, даже яростный стук сердца, даже красный от натуги голос предисполкома, который еще издали, за полверсты кричал вам, что Самара взята Красной...

Между тем к первой женщине подошла вторая, совсем маленькая и старая. На ее лице те же шрамы горя.

«Не плачь, расскажи толком».

И мать рассказывает, но слова ее теряются в причитаниях, ничего нельзя понять.

А дело вот в чем: отступая, белые погрузили на баржу 600 человек наших и увезли — никто не знает куда, кажется в Уфу, а может быть и к Воткинскому заводу.

Через час пронзительная сирена собирает на пристань разошедшихся матросов, и командующий отдает новое

приказание: флотилия идет вверх по реке на поиски баржи с заключенными. И, подгоняя команды, как-то особенно отчетливо повторяет: «600 человек, товарищи».

II

Они нас не ждали: окопы, проволочные заграждения, пикеты, все это оказалось неприкрытым со стороны реки и видно, как на блюдечке. Медленно скользя вдоль берега, миноносцы выбрали удобное место, и комендоры отыскивают цель. В кают-компании полуоткрыт люк в пороховой погреб, и оттуда быстро передают наверх снаряды. Раздается команда:

— Залп.

Из дула выплескивается огненная струя, с легким металлическим звоном падает пустая гильза, и через 10—15 секунд в бегущей цепи неприятеля подымается пепельно-серый и черный дымовой фонтан. Управляющий огнем изменяет прицел:

— Два больше, один лево. Залп.

Вот и на «Ретивом» открыли огонь, и «Прочный» из кормового орудия зажег церковь.

Пользуясь всеобщим смятением, мы засветло будем в Гальянах (35 верст выше Сарапуля).

Еще один переход в 10 верст, и мы у цели. Красные флаги спущены, решено всех взять врасплох, выдавая флотилию за белогвардейскую — адмирала Старка, которую с таким нетерпением до сих пор поджидали себе на помощь ижевцы. Из-за островка и поворота Камы суда полным ходом появляются перед пристанями Гальян, проходят село, расположенное на горе, и выше его делают поворот, разворачиваются — маневр очень трудный на таком узком и мелком месте.

— Без приказаний не открывать огня, — передает сигнальщик с одного миноносца на другой.

Обстановка следующая: в 20—30 саженях на берегу, возле церкви, ясно видно тяжелое 6-дюймовое орудие. Дальше на пригорке много любопытных крестьян и среди них кучки вооруженных солдат. На колокольне второе орудие, быть может пулемет. Под левым берегом баржа с десантом белогвардейцев. В кустах мелькают белые палатки лагеря, расстилается дымок походных кухонь, и,

отдыхая, солдаты лежат на берегу, с любопытством следя за маневрами миноносцев. Посредине же реки, охраняемая караулом, целая плавучая могила, безмолвная и недвижимая.

Рупор с «Прыткого» вполголоса передает порядок действий на другие суда. «Ретивый» подходит к барже, и, не выдавая себя, удостоверяется в присутствии драгоценного живого груза. «Прыткий» наводит орудия на 6-дюймовую пушку, с тем чтобы разбить ее в упор при первом движении неприятеля, но одновременно наблюдает за пехотой.

Но как же снять с якоря баржу, как вытащить ее из узкой ловушки, образуемой мелями, островом и перекатом? К счастию, тут же у пристани дымит неприятельский буксир «Рассвет». Наш офицер в блестящей морской фуражке передает его капитану безапелляционное приказание.

— Именем командующего флотилией адмирала Старка приказываю вам подойти к барже с заключенными, взять ее на буксир и следовать за нами через реку Белую на Уфу.

Приученный белыми к беспрекословному повиновению, капитан «Рассвета» немедленно исполняет приказание: подходит к барже и берет ее на буксир. Бесконечно медленно тянутся эти минуты, пока неповоротливый пароход, шумно шлепая колесами-жабрами, подходит к барже, укрепляет тросы, дымит и разводит пары. Команда наша замерла, люди страшно бледны и верят и не смеют поверить этой сказке наяву, этой обреченной барже, такой близкой и еще бесконечно далекой. Шепотом спрашивают друг у друга:

— Ну что, двигается или нет? Да она не двигается.

Но «Рассвет», напуганный строгим окриком капитана, чудесно исполняет свою роль. На барже заметно движение. Сам караульный начальник и его команда, сложив винтовки, помогают выбирать якорь. И понемногу тяжелая громада выходит из равновесия, трудно разворачивается ее нос, натянутые канаты слабеют и снова тянут свою упрямую спутницу. «Прыткий» окончательно успокаивает смущенных тюремщиков.

— Именем командующего приказываю вам сохранять полное спокойствие, мы пойдем впереди и будем вас конвоировать.

— У нас мало дров,—пробуют возражать с «Рассвета».

— Ничего, по дороге погрузите, — отвечает комфлот, и миноносцы, не торопясь, чтобы не вызвать подозрения у наблюдающих с берега белогвардейцев, начинают отходить к Сарапулю.

А там, в трюме баржи, уже началась тревога: «Зачем везут, куда и кто». По отвратительному, грязному полу пробирается на корму один из заключенных, матрос. Там, в толстой доске перочинным ножом проверчена дырка, единственный просвет, в который видно кусок неба и реки. Долго и внимательно наблюдает он за таинственными судами и их молчаливой командой. Читая луч надежды на его лице или новое опасение, искаженные лица окружающих кажутся одним общим лицом, неживым и неподвижным.

— Да, ведь, они все одинаковые, серые, длинные. Белогвардейские или нет? Смотри внимательно, смотри скорее.

— Да нет.

— Что нет, черт тебя дери?

Наблюдатель сваливается с табуретки.

— У них нет таких железных, это наши, это балтийские, на них матросы.

Но несчастные, три недели пробывшие в гнойном подвале, спавшие и евшие на собственных экскрементах, голые и завернутые в одни рогожи, не смеют поверить.

Уже в Сарапуле, когда на пристанях кричал и плакал приветствовавший их народ, когда матросы арестовали белогвардейский караул и, не смея спуститься в отвратительный трюм, вызывали из этой могилы заключенных, еще тогда отвечали проклятиями и стонами. Никто из 430 не верил в возможность спасения. Ведь вчера еще караульные выменивали корку хлеба и чайник на последнюю рубашку. Вчера на рассвете из общей камеры на семи штыках выволокли изорванные тела трех братьев Красноперовых и еще 27 человек. Уже целые сутки в отверстие на потолке никто не бросал кусков хлеба (по $^1/_4$ на человека), единственной пищи, утолявшей голод в течение трех недель.

Перестали кормить, значит уже не стоит тратить даже объедков на обреченное стадо, значит ночью или в серый, бескровный, утренний час придет конец для всех, — конец еще неведомый, но бесконечно тяжкий. И вдруг привезли, открыли голубую и серебряную дыру в ночное небо и зовут всех наверх странными, страшно взволнованными го-

лосами, и зовут каким именем — запрещенным, изгнанным — «товарищ». Не измена ли, не ловушка ли, новое ухищрение?

И все-таки в слезах, ползком, один за другим, они воскресли из мертвых. Что тут творилось на палубе! Несколько китайцев, у которых никого нет в этой холодной стране, припали к ногам матроса и мычанием и какими-то возгласами на чуждом нам языке воздали почести и безмерную преданность братству людей, умирающих друг за друга.

Утром город и войска встречали заключенных. Тюрьму подвезли к берегу, опустили сходни на «Разина» — огромную железную баржу, вооруженную дальнобойными орудиями, и через живую стену моряков 432 шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавали какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света. И в толпе, еще потрясенной этим зрелищем, уже просыпается чудесный юмор.

— Это кто же вас так нарядил, товарищи?

— Смотрите, смотрите, это форма Учредительного собрания, — каждому по рогоже и по веревке на шею.

— Не наступай мне на сапог, видишь — пальцы торчат. — И выставляет вперед ногу, обернутую грязным тряпьем.

Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь марсельезу. И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов... Неописуемые лица, слова, слезы, когда целая семья, нашедшая отца, брата или сына, сидит возле него, пока он обедает и рассказывает о плене, и потом, прощаясь, идет к товарищам-морякам благодарить за спасение.

В толпе матросов и солдат мелькают шитые золотые фуражки тех немногих офицеров, которые проделали весь трехмесячный поход от Казани до Сарапуля. Давно, я думаю, их не встречали с таким безграничным уважением, с такой братской любовью, как в этот день. И если есть между интеллигенцией и массами чудесное единство в духе, в подвиге и жертве, оно родилось, когда матери рабочих, их жены и дети благословляли матросов и офицеров за избавление от казни и мук их детей.

МАРКИН

Каждое утро боцман флагманского судна «Межень», довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме.

Сегодня термометр остановился на $^1/_2$ градуса, в воздухе — ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды судов, совершивших всю трудную кампанию от Казани до Сарапуля, готовятся к зимовке, команды веселеют, предвкушая отдых. Еще день-два, и флотилия уйдет из Камы до следующей весны.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дороги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами.

Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов, — не за себя, конечно, но за великий 18-й год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь, на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерченные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов.

Кто знает, против кого и в каких водах придется начать борьбу через год, какие товарищи взойдут на бро-

нироваиные мостики судов, таких зиакомых и дорогнх каждому из нас.

Тяжело стуча колесамн н высоко в темноте покачивая сигиальный фонарь иа мачте, уходнт в Нижиний кто-то нз «транспортов».

Оставшнеся суда провожают удаляющегося товарнща прерывнстым ревом снрен, который долго не умолкает: каждый из ннх знаком, как голос друга. Вот резкнй крнк «Рошаля», вот произительный н короткнй свисток «Володарского», вот «Товарнщ Маркнн» со своей грудиой, оглушнтельной трубой.

Самые тяжелые воспомииання связаны для иас с этнм прощальным приветом моряков. К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасностн.

Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-коммуннст», зажженный неприятельскнм снарядом, пылающнй среди ледяных вод реки, окруженный всплесками, со сломанным рулем и оборванным телеграфом. Как долго, как непрерывно крнчала его снрена.

Все чаще подымалнсь вокруг фонтаны воды, уже на поверхности рекн замелькали черные точки — люди, бросившнеся вплавь к берегу, н теченнем понесло вниз обгорелые щепы, какне-то ведра и табуреткн, а она все ие умолкала — окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смертн. Странно и неожнданио подошло это несчастье.

Еще накануне военная флотнлня одержала значительную победу над белогвардейской флотнлией: после двухдиевного боя у села Бнткн последняя должна была бежать выше, н нашн суда прорвались в тыл белым, расположенным на обонх берегах. Преследованне продолжалось еще целые суткн, н только иа утро третьего дня флотнлня стала на якорь в чудесном плесе Камы, голубом, бнрюзовом н янтарном под ясиым солнцем ноября.

Решено было на время остановиться, подождать прихода десанта, так как разведчики прннесли тревожные нзвестня о сильных береговых укреплениях в селе Пьяный Бор, которые нельзя было взять с рекн без поддержки нашей пехоты; к тому же запас снарядов совершенно нстощнлся, на кораблях и барже оставалось по 18—50 выстрелов. В ожнданни пехоты, которая всегда сильио опаздывала, моторные катера пошли на разведку, н матросы с удовольствнем нздали иаблюдали неуловимо

быстрые, стремительные тела, едва заметные в облаке пены, по которым белые открыли совершенно бесполезный ураганный огонь.

В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.

И Маркин не выдержал. Маркин, командовавший лучшим пароходом «Ваня-коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор, таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.

Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.

Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предрешена.

На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх, — этой гнусной болезни никто не был подвержен, — но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».

Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:

— Маркин, в кого вы стреляете?

— Мы стреляем по батарее.

— По какой батарее?

— Вон за дровами, видите, блестит дуло.

— Немедленно дайте полный ход назад.

Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним, — белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед носом, — кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катясь и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.

Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.

Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-коммуниста» первым же снарядом разбило штуртросс и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.

«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти.

Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.

Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица: и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.

Он отплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и один под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал малейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.

Маркина ждали всю ночь, — Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные, и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол, которые вдруг казались мутно водянистыми от непролитых слез.

Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.

Погиб «Ваня-коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.

Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.

Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усатые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.

Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но едва поравнявшись с «Зеленым островом», торжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.

Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.

Покидая Каму, быть может навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так

прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые подготовляют и делают возможной победу.

Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.

Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров, и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит, Россия выздоравливает и собирается.

И их не мало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

Вот спокойный, немногословный Елисеев, чудесный наводчик, подбивавший лодчонку на 12-верстной дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц, глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.

Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который поцарски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.

Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».

Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и наопер[1] флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образованных моряков, служивших безукоризненно советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем

[1] Наопер — сокращенное «Начальник оперативного управления». *(Все примечания, кроме помеченных особо, принадлежат автору.)*

его, вместе с несколькими младшими офицерами, насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса — стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и колесом штурвала, вращающемуся в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте — гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облекают в минуту опасности.

После 10 дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепко пожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального Интернационала.

И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь — ах,

эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, — а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов — его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, одев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

— Во-первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

Раз — передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеды на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, — взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

— Второе, с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье, вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели — лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи... но...

Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны северных и южных штатов».

АСТРАХАНЬ

I

Первые дни.

Ночи темные, голубые, и бесконечная степь.

У насыпи нахохленные, как хищные птицы, смуглые даже при свете узкой и отдаленной половецкой луны, отдыхают татары.

Такими же они были при князе Игоре, в своих теплых мерлушковых шапках, прикорнувшие к земле, похожие на природный камень. И, как сотни лет тому назад, мимо них идет Русь воевать на Юге.

В сумерках на пути скрипят и лязгают воинские поезда, но люди на одиноких степных полустанках спокойнее, крепче, увереннее, чем на страшных столичных вокзалах, где бивуак и больница, ночлежный дом и лагерь отвратительно смешаны. Чистый ветер разносит по безграничным просторам последние остатки привезенной нами городской пыли, самый дым паровоза отдает полынью.

Здесь уже вступает в свои права война. С первым раненым, которого подсаживают на высокую подножку вагона, она входит в нашу жизнь, чтобы не уходить из нее до конца.

Это человек лет сорока, с узловатой, коротко остриженной головой и маленькими глазами, в которых все время видно ровное золотистое дно его души. Большой загорелый лоб, покрытый следами изнурительного южного солнца, но где ни одно сомнение не оставило

своей язвительной борозды. Рука у него в локте перерублена казацкой шашкой, и до сих пор на сером полотне рубашки затертый кровяной след. При отце — тринадцатилетний сын, совсем уже большой, красивый и ничего не знающий о своей красоте, полуребенок, полувоин, в профиль напоминающий воинственных ангелов Византии.

Как долго и ясно запоминается лицо этого мальчика: оно все целиком обращено в одну сторону, как бы навстречу сильному ветру, и на нем рдеет отблеск революции, которая прошла так близко и коснулась его детства горящим крылом.

Вероятно, он не узнает зрелых лет, никогда не возмужает, не прочтет книги, не коснется женщины. Это быстро идущее время унесет его где-нибудь среди зеленой степи, неожиданно окруженного конницей калмыков. Он будет долго защищаться, плечом к плечу со своими братьями и отцами, будет, вероятно, сломлен, и в безгранично голубом небе над его головой хищная птица опишет медленный стелющийся круг. Страх смерти, который на слабых лицах застывает, как жир на остывшей тарелке, на этом милом и мужественном лице зарисует свои лучшие морозные узоры, сказочные, бесконечные, неподвижно улыбающиеся.

Так гибнут дети революции.

II

Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.

Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.

Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание.

Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве в единственном парке, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. По середине, в тени кленов, светится освещенный изнутри, большой стеклян-

ный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкои сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.

III

В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.

Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.

Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно-длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.

В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума падают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы, — под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.

Высоко в небе, над млеющими садами слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, — но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.

Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.

И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебных птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.

Навстречу трем низколетящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.

Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.

Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямоту его полету?

Там, внизу, лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побеги жизни.

И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов, и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.

Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта закончена и огромна, а глаза пристальны и блестящи, глаза давно исчезнувших воинственных птиц.

IV

Где вышиты золотом осы,
цветы и драконы...

Розовым пожаром заходит солнце.

Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полу-

круг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество.

Его лицо того же темно-зеленого цвета, и на нем, цветущей ветвью среди листвы, улыбается густой, острым полукругом очерченный рот. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой — песочные часы, но не одинокие часы Дюреровой Меланхолии, по крупинкам мерящие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни. Над головой дружественно стоят рядом, разделяя изумрудное небо, — справа солнце, слева луна. Оба светила окружены клубящимися облаками, несколько мягче окрашенными, чем алый нимб, с которым они сливаются. За ними — бесконечность.

Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Это глаза самых загадочных портретов Возрождения, но без их двусмысленной слабости и художественной лжи. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. На руках, совершенно женских, — красные браслеты. Но грудь зелено-пурпурной Эос не обозначена ни единой чертой. Таким образом, она, прекраснейшая среди богов и древних людей, непорочная, с торсом юноши, смеющаяся заря, в очах которой вся радость и печаль еще не наступившего дня. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине.

V

Виделись с Беренсом, командующим всеми морскими силами Республики. Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля.

Его европейский ум нашел неопровержимую логику в буре и, убежденный ею почти против воли, добровольно сделал все выводы из огромной варварской истины, озарившей все извилистые галереи, парадные залы, сады и капеллы его полупридворной, полуфилософской души. И хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами ходуном заходил лощеный пол Адмиралтейства, его светлая го-

лова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады.

Наконец к его опустошенному дому пришла новая власть, заставила себя принять и потребовала присяги в верности. Он принял ее взволнованный, со всей вежливостью куртуазного XVIII века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне дней еще раз побежденного страстью: последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа и пришедшему наконец судить мир. Революция заставила Беренса — теоретика и сибарита — засучить кружевные манжеты и собственными руками рыть могилу своему мертвому прошлому и своему побежденному классу. Беренс вооружает корабли против реставрации и верит, вопреки всем догмам, что его маленькие флотилии, нагруженные до краев мужеством и жаждой жертвы, могут и должны победить.

После падения нашего Царицына Беренс сидит у себя в каюте, и глаза его становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына.

VI

10 июля 1919 года.

— Товарищ командующий, исполкомцы на ту сторону просятся, разрешите их переправить.

— Нельзя, они с нами пойдут в поход и будут показывать деревни, занятые казаками.

Вперед выступает коренастый, загорелый, с веселыми живыми глазами председатель какого-то сельского комитета, бежавший из своей степной резиденции с приходом кадет и сообщивший очень интересные сведения. Оказывается, в двадцати пяти верстах выше по течению прибрежная деревенька уже занята двумя казацкими полками, и на площади за церковью спрятаны четыре орудия. На заре вся эта сила должна двинуться на наш штаб в Р. А где же они теперь?

Кто? казаки? Купаются. Сегодня до ночи у них отдых. И люди и кони все в реке. Очень жарко.

И действительно, день огненный. Река неподвижно разметалась среди золотых песчаных берегов. Парит. Изредка из воды блеснет тяжелая рыба. Если бы не береговые батареи, как хорошо подойти сейчас по сонной и разгоряченной реке к этому берегу, где дикая орда полощется в реке, где среди брызг блестят на солнце широкие спины наездников, совсем как у Леонардо в его «Купающихся воинах». Ночью назначен поход.

Чудесная ночь. Опять эта низкая розовая луна, железная и жемчужная, жестокая, как запах полыни, и нежная, как цветение виноградников. Миноносцы тихо идут против течения, время исчезает, реи, как сеть, трепещут в небе, и в них полный улов звезд.

Проходим деревни, где спят, отдыхают и думают о завтрашнем набеге сотни врагов. Корабль в темноте выбирает место, наводит орудия, и по тихой команде из огромных тел выплескивается огонь.

Там, на берегу, уже умирают.

Маленький крестьянин-совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо, с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен, — но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величавая улыбка, какое-то смущенное, неосознанное, почти детское отражение власти. Вот он стоит в лаптях, русский мужик в лаптях, на бронированной палубе военного корабля, и весь этот быстроходный, бесшумный гигант, со своим послушным механизмом, с кругами радиотелеграфа на мачтах, с знаменитым моряком-артиллеристом у дальномера, принадлежит ему и служит верховной его воле, его, Ивана Ивановича из села Солодники. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целой Россией, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией.

Вынимая вату из уха, светило Морской академии Векман наклоняется к безмолвному, сжавшемуся в комочек и торжествующему Ивану Ивановичу и спрашивает его в темноте:

— Товарищ совдепец, выше или ниже колокольни, правильно ли мы бьем?

Иван Иванович ничего не отвечает, но по его блестящим глазам и сморщенному лбу видно, что стреляют верно.

Светает.

Вот совсем у берега грохнул снаряд.

— Это не иначе, как в дом Микиты! Богатый мужик — десять коров имел, не меньше, у него и приезжие офицеры останавливаются.

Белые не отвечают, но в темноте чувствуется их отчаянное бегство. Едва одетые, на своих необъезженных лошадях они всю эту горячую и долгую ночь проскачут степью, и за ними внезапно воскресший призрак монгольского первобытного страха. Дом Микиты горит, пушки давно замолчали.

Миноносец выбирает якорь и спускается по течению.

VII

Прекрасны старики революции. Прекрасны эти люди, давно пережившие обычную человеческую жизнь, и вдруг на том месте, где обыкновенно опускается занавес и наступает темнота и сон, завязавшие нить беззаконной молодости духа.

Вот Сабуров, Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне, жена незаметно свернулась в клубочек легких, мягких пепельно-серых стареющих мыслей и чувств. Сам он прошел всю гамму — от лейтенантских эполет до эмиграции в Париж еще во время Шмидта, в деле которого косвенно был замешан.

В эмиграции Сабуров жил, как тысяча политических изгнанников: из простых слесарей на фабрике дослужился до ее управляющего. Большие чертовы часы показывали Сабурову 58 лет, когда случилась революция, и он, все бросив, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера.

Наверное, еще переплывая седую Балтику, он сидел где-нибудь один на спардеке, слушая, как тяжелые волны бьются о борта, как торопливо пробегают матросы по палубе, как дышит и курится море; считал свои потерянные годы и видел перед собой свое новое, безумно молодое призванье.

Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему под Казанью дали тяжелую, медленную, зашитую в железо баржу, на которой по очереди грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия.

Как он чудесно управлял огнем! Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазками и французскими приговорками, Александр Васильевич присядет у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню Сумбеки, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.

С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пыхтя и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов.

О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты и мимо которого каждый день проходит смерть, слепая, с распростертыми крыльями, влажными от фонтанов отравленной, кипящей и рвущейся воды.

Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости.

VIII

> Le jour de gloire est arrivé,
> Formes vos bataillons...[1]

Черный и красный цвет окрашивает наши знамена. Черный — в дни медленных похорон.

Через раскаленный город идет отряд моряков-музыкантов.

Трубы блещут, по мертвой мостовой гремят шаги, и флаги кажутся изваянными из черного камня, — так они тяжелы и суровы. Складки шевелятся, как в забытьи, и видят сон о глубоком, прохладном небе, о ранней север-

[1] День нашей славы наступит,
Стройте свои батальоны... *(Из марсельезы.)*

ной весне, о первых чайках над Кронштадтом, о первых снежных каплях, текущих в апреле.

Астрахань вокруг задыхается. Только легким мачтам рыбачьих лодок легче дышать на воде. Город лежит, закрыв глаза, влажный от пота и пыли, не находя отдыха у каналов, где жар курится еще сильнее, пропитанный малярией.

Ровно и ритмично идут через город матросы. Над пустырями, среди развалин и над всей скучной пустыней, из камня и безобразных крыш, — парит, трепещет и зовет марсельеза. Она коснулась высоких, неспешных нот, уже прошедших всю гамму горя об убитом. Она на вершине. Там, прямо под небом, песня-орлица озирает и видит всю жизнь, которая стелется дорогой далеко внизу без конца и начала.

И видит: вот широкая голубая река, текущая среди соленых песков к морю. Марсельеза крепнет и подымается выше. Гроб тихо качается, прохожие оглядываются на небольшую процессию, на лица моряков, которые и видят и не видят вокруг себя, окутанные горящим вуалем музыки.

А она между тем, опираясь на медь трубы и широкую грудь барабана, приветствует продолговатое судно, идущее против течения по безлюдной, знойной реке. На крыльях памяти траурный мотив следует за ним.

Знамя проснулось и задрожало. Его как бы коснулся свежий ветер с моря, напитанный угольной пылью трех широких серых труб. Моряки не подымают глаз, и, сворачивая к пригородам, один из них вспоминает: это было на «Расторопном».

На минуту в мощном горле труб раздается хрипение слез, но они оправляются, и снова революционный гимн царит и плавает в чистом небе мужества и гордости.

Это было на «Расторопном». Он был в разведке, далеко от своих, и обнаружил засаду на берегу реки. Миноносец открыл огонь из двух орудий, сам расстреливаемый в упор.

И в напряженной суете защиты, когда комендоры, обжигаемые дуновением своих орудий, ищут и меняют цель, звенят пустые гильзы, лоцман боязливо склоняет голову при свисте близких снарядов; когда маленький командир, став на пустой ящик, видит свое судно, от носа до кормы окруженное всплесками и зависящее от

малейшей вибрации его голоса и его воли, — в это время был ранен и молча умер матрос Ериков. Вот и все.

Марсельеза окончила свой рассказ. Плавно покачивается гроб на братских плечах. Быть может, тот, лежащий внутри, хочет спросить — в последний раз — о своей пустой койке или о том, кто теперь по утрам, стоя высоко на мостике, передает с корабля на корабль изысканную азбуку сигнальных флажков? Но смерть не снимает руки с синевато-белых губ, и никто не слышит несказанных слов. Гроб покоряется, и за ним бегут, расходясь бесконечно, как за кормой корабля, две дружных волны печали. На случайные лица в чужом и враждебном городе они роняют свою чистую и соленую пену.

IX

Ночью телеграмма от Н.

Комфлот идет вниз, чтобы завтра вечером попасть на совещание.

Жаль уходить из В. в разгаре белого наступления, которое продолжается два дня и ночь. На реке редкий артиллерийский гром, армия тревожно спит, не раздеваясь, положив под голову оружие и хлеб. Все огни потушены. При свечах секретарь принимает и передает последние распоряжения, по бумаге бегает нетвердое перо, ветром задувает свет, на который летят тихие темные бабочки. В воде колеблются звезды, и с голосами ночи сливается непрерывное, однообразное стрекотание радио. Вероятно, в перерыве между двух сухих земных телеграмм тоненькая заостренная мачта посылает нежный и неслышный привет небу. Из тускло-голубой тучи ей отвечают зарницы.

X

Полозенко — это огромного роста матрос, тяжелый, медленный, с темным лицом и темными волосами.

За столом невольно замечаются его большие мозолистые руки, быстрые и гибкие, всегда берущие вещи в том месте, где у них скрыта точка тайного равновесия. Все, чего касаются титанические пальцы Полозенко, невольно распадается на равные и пропорциональные части, и эти

части в его руке уже живут и поддерживают друг друга в пространстве.

От локтя до кисти на его загорелой руке синеет выжженный японской иглой изящный и грозный дракон. Полозенко — летчик, и, когда он подымается на своей разбитой, никуда не годной машине, возле которой белеют клубки шрапнели, — его рукава засучены и, обвеваемый бурей, облитый солнцем, гонимый безумством храбрых, он видит на руке непреклонное маленькое азиатское чудовище, ожившее, с клубящейся разверстой пастью и занесенным, как кинжал, острием хвоста.

Тогда Полозенко смеется, ветер срывает с его губ этот смех, и далеко внизу рвется брошенный им чугун.

На днях умер в душной Астрахани шестимесячный сын Полозенки. Он подымается после этого по три-четыре раза в день, вопреки всем предупреждениям. Теперь на его большом лице появилась еще черта — прямая и резкая, как он сам, значение которой неизбежно и непреклонно и перед которой опускаются человеческие глаза, не смея ее узнать.

Этой чертой бессильной силы отмечен Геркулес Фарнезе.

XI

В Астрахани, в Морской госпиталь помещена семья, вернее остатки семьи, Крючкова.

Они сидели за нищим обедом, когда случаю было угодно сбросить на их дырявую крышу бомбу с английского аэроплана. Все погибло, разорванное, распыленное, похороненное под обломками дерева и комьями земли. Уцелела мать, мальчик восьми и второй двух лет, которому пришлось до колена отнять ногу.

Мать после операции двенадцатые сутки сидит на больничной койке и держит на руках бессонного ребенка, который не может лежать. У нее рыжие волосы, широкое скуластое лицо финского типа и ничего не видящие, испуганные животные глаза.

Ребенок на ее руках совсем голый, завернут в белое одеяло, маленький, с огромным пучком марли и бинтов на худенькой загорелой ножке. Руки беспокойно шевелятся, но голова этого двухлетнего спокойна, бледна и осмысленна, как у умирающего бога. Он в изнеможении

закрывает глаза, но у него тогда лоб светится такой тайной и мыслью, что мать испуганно перестает причитать и развязный доктор отдергивает от неподвижной щечки свои привыкшие ко всему и неделикатные пальцы. Когда умирают дети, им, вероятно, является вся их не бывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом. За час мучений, за одну ночь бреда они переживают целую жизнь и отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями.

Веки полуприкрыты и дрожат. На голом тельце жалко заметны пятна грязи, и на повязке все проступает и проступает розовая сырость. Мать смотрит на него неподвижно, оцепенелая. И, сидя на соседней койке, матрос с завязанной грудью вполголоса утешает: не всем нужны ноги. Мальчик умненький, его можно учить и сделать, например, телеграфистом. Почему телеграфистом? Раненый сам чувствует, что сказал неудачно. Но нужно чем-нибудь утешить, остановить слезы, заговорить кровь.

Маленький Федя совсем спокойно смотрит на бинты, которые сматывают с его тела. У него огромная душа.

XII

Бывают дни, когда события растут и сгущаются до крайних пределов. Даже мелочи кажутся многозначительными, восход пророчит долгий и неизвестный день, вечер рдеет и длится, как воспоминание. Становится понятен суеверный страх древних перед криком птицы, падением камня, скрипом и перешептыванием мертвых вещей. Откуда спускается на людей, спускается редко, горным туманом на долины, этот страх, это предчувствие неизвестного, это неизбывное томление духа?

Нет, не бои, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины сильные и молодые, не борьба иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто.

Это делает тайная болезнь души; назовите ее как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок, — вот неизлечимый и таинственный недуг войны.

Самая здоровая часть может проснуться больной, зараженной, охваченной всеобщим головокружением ужаса. И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, которые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих.

День испытания настал, наконец, и для нас. Как началось, почему и откуда — никто никогда не узнает. По степи промчался всадник, окруженный облаком пыли.

Вот и все. Конь и седок летят между нашими и неприятельскими окопами без смысла, без цели, гонимые фуриями. Движение лошади, наклон ее головы, хлопья пены на груди и губах, трепетание и хрип, — все это слилось в один неудержимый, последний порыв: бежать, бежать, бежать.

Ничто, по-видимому, не изменилось. По-прежнему на синем зеркале реки солнце плавит отображения кораблей, тряская фура, запряженная унылой лошадью, везет раненого, обернутого охапкой свежего сена, — а на вышке, где притаился наблюдательный пункт, уже господствует тревога.

В безлюдном поле десятки глаз ищут враждебного движения. Побледневший солдат со всей силой прижал к уху телефонную трубку. И уже они что-то видят — далеко, на горизонте, правее, левее, ближе. Целое фантастическое облако неуловимых врагов — везде разбросанных, отовсюду приближающихся.

По десяти проводам растекается ожидание с вышки в окопы. Где-то выстрел, где-то беспорядочный пулемет. Наблюдатель стоит у перил, не решаясь поднять к глазам бинокль. Его руки дрожат и похожи на концы испуганных крыльев. Подобно электрической волне, страх разливается до незримых пределов. Два любопытных аэроплана чертят небо: они, как хищники, почуявшие падаль за много верст. В течение пяти дней этот же наблюдатель, не смущаясь, высматривал со своей шаткой каланчи наступление озлобленных и быстрых кочевников.

С этой же вышки, не думая ни о чем, кроме дистанции и целика, он управлял бурным и разрушительным огнем наших кораблей, хотя волна всадников уже заливала пригород и из-за углов жужжали первые шальные пули уличной борьбы.

Лицо наблюдателя в часы борьбы — отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе.

Пять дней маленький гарнизон спал не раздеваясь, спокойно убирал убитых и, отражая атаку за атакой, просто не замечал ни закатившихся, полуприщуренных глаз смерти, ни ее землистой бледности, выступающей среди обрывков платья. С павших снимали оружие и о них не говорили.

Даже страшное для пехоты слово «обход», даже оно было забыто. И хотя Черный Яр действительно был обойден со всех сторон и только спиной прислонялся к Волге и флотилии, обхода никто не признавал. И вдруг — эта слабость.

Вызванный трепещущими красными флажками сигнальщика с корабля, на вышку приехал старший артиллерист товарищ Кузьминский. Пока он своими морскими глазами щупал сады, овраги, отдельные села, остальные напряженно смотрели на его лицо, наполовину скрытое биноклем, лицо, которое знали и любили: сперва губы сильно сжаты, потом, после первого напряжения, он переводит дыхание, вытирает хрустали. Глаза призрачные, как бы отсутствуют. Как дорогие оптические стекла, они поставлены сейчас на большое расстояние и не могли бы ни читать, ни улыбаться. Опять молчаливое наблюдение. Потом щеки, редкая черная борода, хищный нос — вся маска воинственного фавна приходит в движение. В улыбке блеснули золотые зубы. Бинокль отложен, глаза уже вернулись в себя — они человеческие и лукавые.

— Товарищи, да ведь это же не конница, а коровы.

На вышке сразу успокоились. Но через час напряжение опять возобновилось, и все росло, и стало мучительным.

Степь по-прежнему спокойна, из песчаной и дымчато-серой голубеет и розовеет к закату. И постепенно, не сговариваясь, наблюдатели отвернулись от далеких очертаний монастыря, откуда все утро ждали зла, и не могли уже оторваться от широкого степного моря, открытого и освещенного на сотни верст, где не видно ничего, кроме медленных огромных орлиных полетов.

И спокойный, почти мечтательный, похожий на человека, которому слышна отдаленная подземная музыка,

опять вернулся на берег артиллерист и, не колеблясь, назначил сложную и совершенно неожиданную дистанцию своим дальнобойным морским орудиям.

Одинокий выстрел как-то неслыханно громко прокатился в степь — и снова все умолкло.

Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой серебряны и поклонились до земли.

На вышке, в окопах, на мачтах, куда забрались марсовые, — везде напряженное ожидание.

Неужели тонкий математик Кузьминский ошибся, ошибся со всем своим инстинктом ученого и солдата, и брошенный им в неизвестность снаряд мирно разорвется в поле, никого не задев, к ужасу полевых цветов, уничтоженных огнем и отравами.

Еще два раза с большими перерывами ударили по тому же направлению и с тем же результатом. И вдруг команда — «беглый огонь».

Они появились как бы из земли, густыми, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было 3 тысячи, калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в 15 верстах от Черного Яра для ночного набега.

Они уходили, теряя людей на каждом шагу, неутомимо-озлобленные против этих северян, шесть дней простоявших на месте и чудом избежавших резни.

По извилинам карты, по слабому намеку моряк предугадал целую повесть: бурный летний дождь, крохотную балку, размытую ливнем в целую яму, и тихую ночь, когда, скользя копытом по глинистому скату, фыркая в темноте и под мохнатой мокрой буркой зажигая спичку, спустилась на ее дно кавалерия.

О, как спали следующую ночь в Черном Яре. Как весело чистили лошадей и оружие и как легко перешли на заре в наступление.

ЛЕТО 1919 ГОДА

I

Началось наступление.

После боев отряды флотилии настолько сблизились, что могут непрерывно сообщаться по радио.

Корабли живут напряженной тайной жизнью: ведь они пробиваются к морю. Ежедневные походы, самая осада Царицына, которая будет жестокой, совершаются сами собой, как во сне. Главное — морская карта Каспийского моря, над которой по вечерам текут молчаливые часы размышлений.

Эта карта не похожа на обычные речные — воды испещрены на ней плавными линиями течений, звездами маяков и бесчисленными знаками предостережений. Она очень глубока в своем строгом черном и белом цвете. Эти извилистые черты берегов, хитрые мели, стремительные потоки, несущиеся от края до края, наконец ямы, уходящие в неизмеримую глубину и на поверхности тихие, как озера: сколько раз фантазия шествует через них, не замочив крылатых ног.

Слабый свет лампы лежит на лицах, на склоненных к столу — шахматной доске. Они играют с партнером, находящимся за сотни верст, по ту сторону лукавой, трудной карты, в Баку, Порт-Петровске и Эмбе.

Иногда глаза наоперов застилаются туманом в предвидении отдаленных ходов, иногда краска приливает к вискам теоретиков: среди тысячи возможностей им блестит победа, потом опять грызущие сомнения перед

двумя равноценными ходами, перед соблазнительным, легко доступным входом в безопасную, голубую персидскую бухту.

Есть теоретически неразрешимые узлы...

Тогда по волнам летит корабль Летучего Голландца, невозможное становится возможным, падают преграды, тает туман и дерзкая ладья готовит шах белому королю.

В ожидании похода старые матросы много курят и много молчат, улыбаются неизвестности и пишут длинные письма домой. А молодые испытывают какую-то особенную радость и полноту жизни.

Будут долгие дни без берега, без женщины, а потому особенно великолепным кажется лето, которое шествует по пояс в виноградниках и до кудрей погруженное в спелые ржи. Никогда ночи не были полнее звездного свечения, степь не цвела белее и пьянее под ризой мелких сухих цветов, никогда кровь не пела веселее в такт бегущему коню.

Поле кажется морем, солнце печет, золотисто-рыжий жеребец легко дышит и легко бежит, ветер отодвинул с диких глаз бронзовую гриву, и лебединый, широкий шаг укачивает.

О море, о синее море!

II

О море написано бесконечно много. Оно шире гекзаметра, громче славы, и нет человека, чья усталость и печаль не исчезли бы в его далях. Все остается позади, когда беспорядочный плеск реки вдруг тонет в победоносном голосе Каспия.

Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах, и луна окружена невыразимо белыми молодыми облаками. Волга идет навстречу Каспию, все шире раскрывая объятия, идет тысячами рукавов, и ее плечи теряются в тумане. Иногда парусник снежно пройдет мимо на своих ласточкиных крыльях, озирая взморье, где не должна проскользнуть ни одна лодка лазутчиков.

Иногда винт запутается в рыбачьих сетях и долго тянет их за собой, как водоросли, — если лоцман не заметит спящей лодки, которая стережет свой улов.

Никто не спит. Лунный свет скользит по давно знакомым фигурам. Черноусый рослый пулеметчик, и коротко

остриженный затылок «флажка» [1], и обычно вялое, а сейчас охваченное тоской о море, широкое лицо боцмана. Красивый юнга присел на корточки и грезит: тоже морем.

Только узкая полоска Каспия принадлежит нам. Но и этой полосы, где весь поток Волги не может заглушить соленой горечи прилива, — ее уже достаточно, чтобы опьянить навсегда.

Очень медленно, издалека начинается день.

Корабли в море становятся видны за много верст, вырастают фантомами, кажутся неподвижно далекими островами. Черная, как скала, плавучая батарея; возле нее семейство крылатых шхун, и на горизонте дымки остальных.

После отчаянной качки на катере, необычайное спокойствие огромной железной палубы, середина которой едва заметно дышит.

Чай дымится в жестяных кружках, которые медленно и застенчиво расставляют серьезные матросские руки. Почти два часа незаметного похода — вся ночная усталость тает в равномерном скольжении, в трепете воды со всех сторон. Дремота сглаживает последнюю резкость очертаний, и, кажется, у самого изголовья движется рейд.

И нервами, всей способностью осязать, всем существом люди предчувствуют и знают цель похода по утреннему морю; знают и еще два часа могут спокойно отдыхать, развешивать выстиранное белье на припеке, и курить, и дремать. Только лица — спокойно напряженные, как улыбка сквозь дурной сон.

У старинных кораблей на носу, лицом к ветру и высоко над водой, там, где только в бурю курится и плещет пена, прикреплялись точеные из дерева фигуры: наяды, и орлицы, и святые девы, руками и складками плаща хранившие свое судно от несчастья, — так вот у них в очах, неподвижно вперенных в даль, это же выражение воли, застывшей как бы навек.

Наконец и боевая тревога, и силуэты врагов вдалеке, и остов их потонувшего на мине парохода «Араг».

Становится страшно легко и празднично. Нет лукавых извилин реки, ее засад и вечной тесноты. Белые со

[1] Флаг-офицера.

всех сторон, и открыто совершают свои маневры. Две подвижных тени кружатся около тяжелой, неповоротливой, похожей на наш плавучий форт, упорно не открывая огня и соблазняя приблизиться.

Гораздо правее на горизонте еще четыре дыма, всего семь белых против четырех красных. Мы останавливаемся — начинается артиллерийская дуэль. Белые обеспокоены — первый залп дымится у них за кормой. Они не знают, что сегодня огнем управляет скромный невзрачный человек, с русой близорукой головой мыслителя, для которого вся жизнь сосредоточилась на корабле и который всю нежность и творчество своей молодости, поглощенной нищетой и наукой, сосредоточил на боевом огне, на дальности его и точности, на тончайших оттенках и особенностях орудий.

Белые хорошо отвечают. Большой незнакомец оказывается обладателем 6 пушек, и у нашего борта дымятся рядом три могучих всплеска. На воде крупными рыбами блестят и трепещут осколки, и потом доносится запоздалый вой и свист разрываемого воздуха.

Спустя неделю, когда на батарее не было холодного Соболева, ее командир, старый матрос 11 года, Елисеев, сошелся с «Хаджи-Хаджи» вплотную, сам получил 39 пробоин и сбил у белых одно орудие. Комиссар, с железом в боку, не ушел с мостика. Капитана унесли умирающим.

С моря мы шли туманом, и только утром из него вышла теплая, веселая земля.

III

Эдгару По ворон явился в худшие часы его жизни. Черный ворон влетел в окно и, одинокий, сел на мраморном челе Афины-Паллады. Ворон — страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынник и судья.

Но с тех пор как высшая и лучшая жизнь ушла из траурного кабинета идей сперва на улицу, и дальше, за пределы города, — не слышно больше возвышенного и высокого клича. Осиротелый ворон распростер свои ночные крылья, украшенные оттенком седины, и между складок вечно трепещущих занавесей улетел и скрылся в утренних сумерках. На вспаханном поле, среди влаж-

ных комьев земли, над которыми уже парят пепельные нити ранней осени и дымится туман, — ворон совершил долгую прогулку, одинокую и молчаливую.

Важно переставляя свои сильные ноги, наклоняя голову то направо, то иалево, он шагает по пашне «поход-кой лордов» и ие прикасается к низкой земной пище.

Иногда из его пурпурного горла вырывается хриплый возглас, от которого утренний ветер становится холоднее и которому не смеют отвечать невежественные сельские птицы. «Никогда, — восклицает ворон, — никогда!» Это крик монаха в черной рясе, который не верит великим переменам и освобождению пленника, одиночество которого он злорадно наблюдал в течение долгих ночей. И, взмахнув суровыми крыльями, с карканьем, похожим на захлебнувшийся смех и странное клокочущее ворковаиье, он улетает на юг.

Ворон достиг печального города, расположенного там, где голубая река впадает в мертвое море, безвыходио замкнутое сушею со всех сторон. Тепло и запах лета коснулись его утомленного тела, и, черный, ои приблизился к зелено-желтой воде.

Здесь, в легком царстве приливов и отливов, рыбачьих сетей и тростника, господствуют чайки. Весь день с жалобным криком они рассекают молочный воздух крыльями, узкими и выгнутыми, похожими на новорожденный месяц. Их глаза блестят черным жемчугом в белых и розовых раковинах. Сухими кисточками пальцев они касаются воды и улетают, роняя вырвавшуюся рыбешку или разорванные четки брызг.

И черный король в изгнании, уголь среди летучих хлопьев снега, обрывок пиратского знамени, принесеиный северным ветром, тяжело и нерешительно помахивая сизыми крыльями, ворон смешивается с беззаботной стаей птиц-буревестниц. Опускаясь к воде хищным движением, которым прежде он опускался на плечи могильного креста или перекладину эшафота, расправив острые когти, попиравшие в древности мудрейшие кииги магов, — ворон бьет грудью зеркало вод, но, видя под собой подвижную, прозрачную, неуязвимо-живую влагу, спешит отпрянуть в смущении и злобе.

Чайки плачут и смеются, опьяненные своим неустанным полетом, как на воздушных качелях, с безумной скоростью падают и поднимаются их ангельские крылья.

А он тяжело бьется среди них и налитыми очами ищет неба, высоты и дали.

— Никогда, — кричит ворон, — никогда, — и удаляется, отягченный, как совесть.

Там, где над горючими песками болезненно рдеет закат, где редкие ядовитые бабочки означают близость ночи, где на растрескавшихся берегах весь день в пыли и зное продолжалось сражение и лошади без седоков, разрывая удила, бросались вплавь к противоположному берегу, — там новая отчизна ворона. Его крылья благословляют низкий страх беглецов, бросивших орудие; и когда они, униженные и голодные, зажигают костры на болотистых островах и надеются на спасенье, — он, злорадный, кричит им с высоты: «Никогда!»

С мертвых полей к нему летят сытые стаи, почуявшие в голосе ворона самое смерть. Сотни, тысячи птиц скопляются в безобразное облако; они летят низко, отыскивая добычу, то вытягиваясь над кустарником в форме извивающегося червя, плотоядной гусеницы, расстилаясь, как черная шаль, продетая сквозь кольцо, и в воздухе, насыщенном тлением, преследуя незримую тропинку пуль.

От берегов, где началось бегство, по течению плывут продырявленные челны, полные воды, через борт которых склонились головы убитых. Ночь поглощает их, вода слизывает текущую кровь, а река, добрый лодочник Вечности, переправляет их через черный Стикс и покидает на далеких отмелях.

И когда их утром находят, и слушают сердце, и подымают веки, — гневный ворон летит прочь и кричит в лицо солнцу: «Никогда!»

IV

— Я — жена Желиховского.

Какой-то кусок льда быстро-быстро тает и, наконец, приходят легкие, облегчающие слезы.

Жена. На ее лице, на красных, воспаленных веках, на волосах, сбившихся под белым платком, на всем ее существе еще теплится отпечаток и дыхание большого друга, которого не стало, который убит в бою. В ее расширенных глазах, впавших под широкий лоб, на неизъяснимо тонком хрусталике еще не изгладился его облик,

когда он уходил рано утром, перед рассветом, полный тоскливых предчувствий, почему-то оставив на столе нетронутым свой бедный матросский завтрак.

И даже голос, даже голос ее похож на резкий и прямой выговор, на высокий грудной тон, которому невольно училась подражать ее любовь.

Сейчас жена Желиховского — почти он сам; это его руки, из воды протянутые за помощью, это его глаза, ослепленные огнем, его голова, беспомощно охваченная руками, милая разбитая голова, готовая пойти ко дну.

Не говорить с ней, не трогать ее. Она жена героя, одного из лучших, погибавших за РСФСР. Ее великому горю нельзя помочь, она имеет мужество жить и не боится увидеть страшное его тело, медленно плывущее где-нибудь по течению, мимо самого колеса парохода.

Жена спокойна и знает: все-таки его вынесет к морю, которое он любил. Из тесной реки в бесконечность: это ее высокий бред.

И хочется просить взбалмошный, неумолимый случай: пошли тем, кто дороже всех, любимым, пошли им смерть гордую и чистую, спаси их от плена, от предательства, от тюрьмы. Пусть в открытом бою, среди своих, с оружием в руках. Дай умереть так, как умер Желиховский, как умирают сотни и тысячи за эту республику каждый день.

V

Накануне. Ночью штурм Царицына, а сейчас все еще живые, радостно возбужденные. Что будет завтра — неизвестно, но сегодня хорошо.

В тесном и чистом штабном дворике цветут олеандры, и весь белый старомодный дом, где живет Азин, против воли пропитался его неистовой радостью. Сердитая богатая вдова, улыбаясь, разносит чай в пузатых чашечках, от малейшего движения дрожат высокие горки золоченого стекла; изразцовые листы комнатных растений простодушно и торжественно зеленеют на фоне белоснежных широких печей.

Чистота, олеографии с пухлой четой Адама и Евы в раю, и занавески на окнах, и ситцевые полога у постелей. И нужно же, чтобы под этой крышей, облитой с мирного неба серебряной осенней луной, собрались накануне

штурма самые решительные головы: сморщенное, как уже увядший воздушный шар, личико Миши Калинина, окруженное, как колючками, взъерошенными волосами. И помолодевшая голова Азина, на которой лежит невероятная тяжесть ответственности, и комфлот. Через час домик на лунном берегу, быстрые лошади азиатской тройки, дорога к реке и последние рукопожатия — все унесено временем. Дольше всего звучит в памяти хрупкий голосок музыкального ящика, да, музыкального ящика старых годов, который целый час мешал заседанию из соседней, сердито запертой комнаты.

И сейчас, когда вокруг уже ночь и за кормой истребителя кипит пена, — он все еще стоит на столе в опустевшей столовой и, прерываясь, лепечет свои колокольчиковые музыкальные фразы. Валик заржавел, ключ потерян, а он поет и смеется, и под хрустальной крышкой, улыбаясь, таится целый мир устаревшей грации и жалобной любви.

Всю ночь на реке безумствует грозная музыка войны. Первый начинает «Маркс», мимо него в туман и темноту, как призраки, проходят корабли. Один, второй, и еще, вдоль противоположного берега, где уже падают снаряды. Лесной яр сперва тоже полон золотых вспышек. Со дна реки встают густые столбы всплесков. Моряки тревожно замечают восход звезды, огромной, ровной и белой, белой, похожей на фонарь. Она так велика и бестрепетна, что сначала кажется сигнальным огнем, и посылают особую шлюпку его потушить.

Впереди разрывы краснеют во мгле, кажется, что без конца открывается и захлопывается дверца раскаленной печи. Стрельба перешла уже в тот единодушный, опьяняющий гул, который означает начало штурма. Каждый корабль окутан пороховой завесой, движется и борется самостоятельно, один на один с тем незримым противником, которого он нашел и вызвал в ночи.

За мыс выходит стайка истребителей, за ними черные тральщики, эти рыцари ночи и сумерек, идущие на свой пост со спущенным забралом — печальные ловцы мертвого груза.

К рассвету огонь стихает. Армии пора перейти в наступление, и катер, посланный за известиями, встречает на голой глиняной вершине первую нашу цепь, идущую к Царицыну.

Трудно об этом писать. Надо видеть эти черные фигуры, часто-часто перебирающие ногами, такие бесконечно слабые издали, идущие в первой, самой выдвинутой цепи, заранее обреченной, каким бы ни был исход наступления. Матросы с кораблей их тоже видят. Вдруг кто-нибудь вскрикивает — что? Ничего, задохнулся. И старшина кричит не своим голосом: «Не распускаться, сволочь!» А у самого губы прыгают: первая цепь, еще бы.

С рассветом начались налеты аэропланов. С шести утра до самой ночи непрерывное сбрасывание бомб, притом специально на реку. Обыкновенно эти налеты действуют удручающе. Но после бессонной ночи, после отчаянной борьбы, когда голова сладко и болезненно кружится и все друг другу говорят «ты», — нет! не страшно. Два гудка означают: «Вижу аэроплан неприятеля».

Один за другим корабли повторяют пронзительный свисток и снимаются с якоря. Начинается лотерея неудач.

На одно судно приходится в среднем 4—8 бомб. Видно, как они падают, сопровождамые отвратительным визгом и глухими взрывами. То одна, то другая палуба покрывается осколками. «Бесстрашному» повредило нос, командир и еще трое ранены, команда спешит подвести пластырь под поврежденное место и отчаянно отбивается от бомбовоза, опять возобновившего нападение.

Один за другим — легкие катера, батареи, широкобедрые суда первого дивизиона исчезают в облаке пара и осколков — и счастливо из него выплывают. Истребители — с сердитым фырканьем моторов, в седых усах пены, батареи медленно и спокойно, сознавая невозможность укрыться, остальные — горячечно защищаясь и вышивая небо белыми клубами заградительного огня.

К вечеру на высоком берегу четко чернеет несколько одиноких фигур. Через час их уже сотня, и вся дорога покрыта беглецами. Наши отступают.

Но идут хорошо, с винтовками, за повод ведут усталых лошадей; верблюды, с обычной покорностью и грацией полных и немолодых женщин, влекут за собой орудия, повозки и людей. Штурм не удался.

На диване в канцелярии положили упавшую на берегу сестру милосердия — в трудные минуты из моря чужих людей всегда неожиданно и просто являются такие лица. При одном взгляде на них чувствуешь глубо-

кое успокоение, и память о них не гаснет, как бы коротка ни была встреча. Они и не исчезают, а просто отодвигаются жизнью.

У этой девушки до смешного тонкий голос, из-под одеяла видны оборванные сапоги. Один глаз, щека и подбородок скрыты повязкой, кругловатый нос в веснушках и иссечен шрамами. Самое зрелое и печальное в ней — ее отрывистый, нехороший кашель.

Шла она в свой полк откуда-то из глухого угла Украины, едва оправившись от раи. Мучительный и долгий путь. Чистилище больших дорог, ад поездов и эта жгучая боязнь оторваться от своих навсегда, потерять имена и лица, с которыми ее связала революция.

На Волгу, где дымятся сейчас милые ей кубанские костры, довела непреклонная воля и простодушная, ситцевая чистота души, перед которой невольно расступилось грязное человеческое море. С удостоверением вместе лежат письма из роты, которые начинаются с бесчисленных поклонов и по лестнице беспомощных прыгающих букв взбираются на какую-то огромную высоту. Она смотрит на эти письма боком, одним своим глазом, серо-синим, с темными крапинками, какие осенью выступают на дрожащих листах осины.

Такая она, навсегда обезображенная и милая.

Белогвардейские врачи, к которым она когда-то приползла после боя, не зная, кто они, отказались ее перевязать и в виде милости прогнали на улицу, под дождь, ночью. Тогда она сама, сидя на их крыльце, не в силах двинуться с места, сорвала со своего лица что-то холодное и мешавшее видеть — это была щека. К счастью, утром «лазарет» бежал, и скрюченное существо у двери подобрали свои.

У революции, лицо которой никто еще не удостоился видеть, должен быть этот же сквозисто-синий глаз, и, может быть, повязка, и на выпуклых деревенских губах (такие губы целуют просто и прохладно) — розовая пена.

Ночью кают-компанию убирают букетами из красной осенней рябины, стол залит светом, и собеседники, смыв с высоких сапог грязь окопов или масло машин, спокойно совещаются о завтрашнем дне.

Случай расположил их так: слева быстрые глаза, бас и жестокая воля Шорина. Рядом с ним его штаб-офи-

цер, мягкий и подробный человек, никого не способный стеснить, как походная карта, старательно сложенная и повешенная через плечо.

Дальше профиль, неправильный и бледный, выгнутый, как сабля, с чуть косыми глазами и смутно улыбающимся ртом, словом, один из тех, которые могут позировать художнику для тонкого и выносливого бога мести в казацкой папахе. Бесшумная походка, легкий запах духов, которые он любит как девушка, и на черной рубашке красный орден — это и есть Кажанов, ставший почти легендой начальник десантных отрядов Волжской флотилии.

Голландцы, достигшие совершенства в групповом портрете, любили изобразить в центре картины, среди всех этих господ в черном платье и крахмальных белых воротничках, одну сосредоточенную и тонкую физиономию какого-нибудь славного молодого врача, вооруженного скальпелем, скептика и атеиста, стоящего к зрителю вполоборота со своим высоким белым лбом и насмешливой улыбкой.

В кожаной куртке и с кончиком «Известий», торчащим из кармана, эта фигура в наше время называется — «член Реввоенсовета Михайлов».

Осколок разбитого чертом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате революции немного скучно желание обмануть себя и других — изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным человечьим пятном. Но бурный 19-й год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувства.

Дальше, — но как рассказать Азина? Во-первых, он дикий город Огрыз, почти отрезанный от Камы; он — часовые, притаившиеся вдоль полотна; он — душный, жаркий вагон третьего класса, залитый светом бальных свечей с высоты двух гудоновских канделябр, взятых в разоренной усадьбе; он — в непролазном дыму папирос,

в тревожной бессоннице дивизионного штаба, где комиссар какой-то отбившейся части, пришедшей для связи за 25 верст через заставы белых, — теперь свалился и спит на полу обморочным, блаженным сном. Он — изорванные карты на липких, чаем и чернилами залитых столах. Он — черный шнур полевого телефона, висящий на мокрых от росы ночных кустах, охраняемый одеревенелыми от холода, сна и боязни уснуть часовыми.

Азинскими шпорами изрезаны клопиные бархаты вагонов; им собственноручно высечены пойманные дезертиры; им потерян и взят с бою город Сарапуль и десятки еще несуразных городов; им ведена безумная, в лоб, кавалерийская атака против Царицына; им изрублены десятки пленных офицеров и отпущены на волю или мобилизованы тысячи белых солдат. Азин ездит верхом на горячих спесивых лошадях, не пьет ни капли, пока не кончено дело, страшно ругается со своими комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежовых держит свои невероятные, из ушкуйников и махновцев набранные части, дерется и никогда не бегает; плачет от злости, как женщина, если из-за раненой руки ему приходится лежать в самый разгар наступления.

Это Азин сам себе устраивает парадную встречу и, видя, что на берегу оркестр еще не готов, заворачивает с пароходом назад, чтобы через 10 минут, обливаясь пóтом в своей великолепной бурке (это в июле-то месяце), все-таки принять почести, Интернационал и натянутые рапорты товарищей, успевших по поводу победы пришить пуговицы к единственным штанам и побрить три недели немытые рожи. Так надо: без праздника, без музыки и встречи армия не почувствует роздыха, своих 24-часовых боевых именин, и на утро ее не сдвинешь с места на новые боевые недели.

Это Азин избивает нагайкой наглых своих и любимых денщиков за отобранного у крестьян поросенка — и Азин же гуляет, как зверь, целые ночи, ночи чернее сажи, с музыкой, с водкой и женщинами, — но не иначе, как поставив все заслоны и пикеты, послав разведку, убедившись, что город крепко взят, и заслонив его со всех сторон. Азин просто, едва ли не каждый день водит в бой свои части, забывая, что он начдив и не имеет права рисковать своей жизнью.

Но над картой Азин стынет, как вода в полынье, слушается, как мертвый, длинных шоринских юзолент, вылезающих из аппарата с молоточной стукотней, с холодными и точными приказами, с отчетливо отпечатанным матом и той спокойной, превосходной грубостью, с которой старик Шорин умел говорить с теми, кого любил, кого гнал вперед или осаживал назад железной оперативной уздой.

Разве такого, как Азин, расскажешь? Любил, страстно любил свои части, любил и понимал всякого новобранца, извлеченного из-под родительских юбок, — юнца с оттопыренными ушами под непомерной фуражкой, в шинели до пят, и с одной мыслью: где бы бросить налитое тяжестью ружье? С такими умел воевать, с такими делал победы, голодал, валялся в тифу и всю Россию прошел из конца в конец, чтобы после Камы и Волги, после Царицына и Саратова нелепо погибнуть под Перекопом чуть ли не накануне его взятия, бесславно погибнуть в плену, да еще оклеветанным белыми, распустившими слух о его измене Красной Армии.

Это Азин — герой, солдат, пистолет, так воевал, так голыми руками в подкову согнул свою дивизию, таких чудес наделал и солдат и комиссаров себе воспитал, что и после его смерти 28-я дивизия оставалась Азинской, и на пыльные площади Баку, и к грузинской, и к персидской границе подошла своим старым походным шагом, пыльная, пестрая, оборванная, в лохмотьях и генеральских лампасах, боком, просто и железно сидя на своих низкорослых неизменных лошаденках, набранных от Перми и до Астрахани.

В этот вечер за чаем собеседники начали спор о героизме. Тема странная среди людей, давно привыкших к войне и в большинстве награжденных всеми возможными знаками отличия.

Скептик в кожаной куртке, помешивая ложечкой в своем стакане, спокойно отрицал все признаки романтики в деле революции, ставшей для него ремеслом. Отличительная черта интеллигента: излечившись на фронте от фразеологии, он понемногу выздоравливает и мужает, счастливый, что может, наконец, без оглядки и сомнения подчиниться могучим и простым двигателям жизни. Чувство долга, братской солидарности, повиновения и жертвы становятся здоровой привычкой,

И, боясь потерять это еще хрупкое внутреннее равновесие, интеллигент, ставший солдатом революции, крепко цепляется ногами за землю и без конца повторяет себе успокоительное «дважды два — четыре».

Слушая умного комиссара, солдат в генеральских эполетах потупил лукавые глаза и положил себе в стакан лишний кусок сахару. За последнее время вокруг его размеченных карт и твердых приказов все чаще жужжали вот такие же теоретические долгие беседы за полночь, суть которых он плохо понимал, но с бессознательной мудростью старого военного человека ежечасно опровергал всей своей работой.

Красным орденом на груди гордился и, читая сводки с фронта, между строк угадывал такую же, как у себя, ревнивую тоску о победе. Ни с какой стороны ко всему этому нельзя было применить того идейного середнячества, уравнения в сером цвете и торжества будней, которое сейчас, сидя пред Шориным, ровным голосом разрушало какой-то белый, высокий и праздничный строй его мысли. Азин, у которого на лице еще не потух гордый румянец стыда за какое-то незначительное поражение на фронте, рассказанное при стольких чужих людях; Калинин, слишком утомленный своей действительно бесплодной храбростью, которую он считал обязанностью коммуниста и комиссара, — оба они не решались говорить, наслаждаясь папиросой и тем, что кто-то спорит и можно молчать.

Но царапающая речь все больше и больше разрушала атмосферу тыла, света и покоя, вообще редких в этих местах.

Казалось странным, что милая жизнь, каждый раз после опасности еще более любимая и желанная, кажется такой голой и серой этому спорщику, готовому свои собственные мозги распластать и облить кислотой в припадке холодного любопытства.

Особенно Азин: ноги у него еще болят от седла, во всем теле разлилась сладкая усталость от осени, от красных и золотых деревьев, от зелени лугов, цветущих последней яркостью, от добрых глаз и плавной походки верблюдов, влекущих через степь тростниковые повозки. Утром его чуть не убили в разведке, а вечером столько невозмутимой земли, воздуха, горьких, возбуждающих запахов осени.

И еще такая нежность, — он не мог вспомнить, к кому она относилась: к матросам ли, встреченным на берегу, пришедшим из царицынского плена с шрамами на горле, или к письму, полученному так поздно и издалека. И вдруг кто-то тут сидит, отрицает сущность жизни, ее чудеса и дивный произвол. Отрицает героизм.

«Ах ты...» Азин заметил чьи-то предупреждающие глаза — и из-за них не выругался. Хотелось взять карту, найти на ней красный венок республики, в течение двух лет одиноко цветущий среди всего мира и героически обороняемый истощенным народом. Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать.

АСТРАХАНЬ—БАКУ

I

Дни шагают нестерпимо быстро, жизнь превращается в мелькающий сон, в котором смешались лица, города, новые земли.

Вот оно, наше близкое вчера: Астрахань, едва согретая ранней весной, с мягкой пепельной пылью, с нежнейшими бледными травами на бесплодных полях, с покинутыми старыми монастырями, вокруг которых блаженно цветут яблони и персики, белые и святые под небом, которое к ним нисходит для любви. Невозможно представить себе более торопливого, напряженного, молчаливо-светящегося цветения, целого бело-розового пожара среди совершенно голых и неподвижных холмов Каспийского побережья.

Вот самый город — полуразрушенный и сожженный, голодный и оборванный, как бывают голы только нищие Востока; город, лишенный света и тепла, боязливо отогревающий под солнцем апреля свои отмороженные крыши, стены, насквозь пропитанные стужей и сыростью, свои давно потухшие, незрячие окна и трубы без дыхания. Но как дорог революции каждый камень астраханской мостовой, каждый поворот ее улиц, неровных и искривленных, как отмороженные пальцы. Каких неимоверных трудов, каких жертв стоила Советской России Астрахань, эта ржавая и обезображенная дверь Востока.

Если защищался Петербург, защищался пламенно и единодушно, — то он этого стоил, со своими площадями, освященными революцией, со своей надменной красотой великодержавной столицы.

Красный Кронштадт и петровское адмиралтейство, Зимний дворец, в котором живут только картины и статуи, унылые заводы, в холоде и голоде продолжающие ковать оружие для Красной Армии, — они могут вдохновить на сопротивление. Каждый шаг пролетарских войск, идущих умирать за Петербург, будит металлический отклик по всей России, он не забываем, не преходящ. Но сколько нужно мужества, чтобы защищать Астрахань. Ни любовь к этому городу, ни революционная традиция, — ничто, кроме чувства долга, не поддерживало ее бойцов. А много ли найдется людей, способных во имя голого отвлеченного долга нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах.

И даже не долг, даже не долг спас Астрахань, а общее и бессознательное понимание того, что уйти нельзя, что нельзя пустить англичан на Волгу и потерять последний выход к морю.

Вся Астрахань с ее голодом и героизмом запечатлелась в одной прощальной картине: ночью на заводе Нобеля рабочие, прожившие всю зиму без хлеба, без тепла и одежды, оканчивали при ослепительном электрическом свете спешный ремонт. В док подняли целого гиганта: железную баржу-батарею, поврежденную английской миной. На реке холодно и темно, но далеко сияет электрический маяк кузнецов, и среди бесчисленных подпорок на развороченное, пробитое тело корабля с лязгом и грохотом падают целительные удары молота. И так всю ночь. Железо размягчается и припадает к железу: бешеные швы пересекают пробоины, и молодая сталь покрывает их несокрушимой гладью.

Это Астрахань и ее оборона.

Вот, наконец, и рейд, бледный, бурный, и остров кораблей, стоящих на якоре в открытом море. Ночью вдали является зарево — на скудных астраханских берегах горит камыш. На палубе судов отдыхают перелетные птицы, скрипят якорные канаты, и мачты, равномерно покачиваясь, описывают в воздухе ровные дуги.

II

От Астрахани до Петровска морем. Суда в кильватер проходят минные поля, минуют брандвахты, и, наконец, играя, идут совершенно свободными, бесконечными, навсегда открытыми глубинами. После трех лет речной войны море бросается в голову, как вино.

Матросы часами не уходят с палубы, дышат, смотрят и, сами похожие на перелетных птиц, вспоминают пути далеких странствий, написанные на водах белыми лентами пены. Как чудо, выходят из воды горы. Как чудо, проходит мимо первая баржа с мазутом для Астрахани, а корабли все еще наслаждаются: то ускоряют, то останавливают свой согласованный ход, и мачты пляшут, как пьяные, и люди не могут ни есть, ни спать.

III

От Петровска до Баку железная дорога лежит у подножья гор. И вдоль этих гор, вдоль дороги — непрерывный живой поток. В облаке легкой пыли идут люди, кони, повозки, артиллерия. И как ни величавы предгорья Кавказа, их фиолетовая тень меркнет в этом неустанном, жадном, быстром беге наступающих войск.

Дымясь, точно струя кипятку, двигается конница. Удивительная посадка, удивительный шаг у этих всадников и людей, прошедших Россию от Архангельска до Астрахани, от Урала до Каспия.

В Баку перед тысячами и десятками тысяч зрителей, затопивших собой тротуары, плоские крыши, балконы и фонарные столбы, 1 Мая был дан торжественный парад.

Сперва продефилировали местные полки, добровольно перешедшие на нашу сторону, — великолепно одетые англичанами, ими же обутые, накормленные и вооруженные. Всё в облике этих национальных гвардейцев европейское. Идут очень в ногу, держатся прямо, ряды выведены, как по линейке. И даже лошади не по-нашему круглы, сыты и крупны — не чета нашим горбоносым, маленьким, лохматым конькам, прошедшим тысячи верст своей легонькой бережливой рысцой. Нет, тут что ни всадник, то монумент от Николаевского вокзала. Пыль, грохот, музыка — и промчались, как дым. Бала-

ханка блестит голубыми глазами и смеется: «Платком махнуть, и вся их войска разбежится. Одна прыть и видимость. Где же это наши?» И наши действительно идут. Запыленные, оборванные, почерневшие от солнца и усталости, но идут ровно и просто, без особенной муштры, настоящим походным шагом, которым прошли всю республику и предгорья Кавказа. Не торопятся, ни перед кем особенно не тянутся, никого не хотят удивить, — а земля гулом отвечает этому вольному и железному течению полков. Откуда он у них, этот классический шаг, любимый Цезарем и тщетно искомый в тюремных казармах Европы? Каждый буржуа Баку и каждый рабочий из Балахан чувствует, поддаваясь неотразимому ритму упругих, вольно текущих масс, что их путь здесь, в Азербайджане, не остановится, что людская волна, в пыли и пене докатившаяся до Баку, не спадет, но пройдет дальше, далеко за его пределы.

Со своим вином, блеском и богатством Баку не поглотило ни армии, ни ее духа. Солдаты и матросы гуляли по нарядным улицам с независимым видом, и их спокойное любопытство пугало буржуазию больше, чем пугали бы большевистские грабежи и насилия. Армия прошла дальше, на ближайший меньшевистский фронт. Ни разложения, ни распущенности. Богатый город, ожидавший победителя с психологией продажной женщины, остался как-то в стороне. Его не тронули, почти не заметили.

Зато Черный Город и Балаханы ожили. На чистеньких улицах Баку все чаще видно выходцев из нефтяного квартала. Их бледные лица и промасленные лохмотья странно отражаются в нарядных витринах, за которыми навалены горы иностранных товаров. Правда, настоящей революции еще не было. Разница между нищетой и богатством, от которой мы успели за 3 года отвыкнуть, здесь выступает на каждом шагу. Нищета по-прежнему сочится из всех скважин, течет, как нефть, по всем сточным трубам, ею насквозь пропитаны улицы. Но Октябрь уже вошел в город, потерялся в темных закоулках предместий, и муссаватисты со злобой ждут близкой социальной бури.

Уже три ночи город не спит. Возможно восстание, резня, попытка буржуазного переворота. Три дня прожектор с моря обливает ближайшие горы безжалостно-

белым светом, ползает по трещинам и скатам, озаряет целые селения без жизни и движения — память последней армянской или турецкой резни. О, пусть бы началась, пусть бы скорее началась славная наша игра. В тишине бескровной, как бы февральской революции, так душно дышать рабочим кварталам. Они не находят покоя, им снятся тревожные сны.

Только земля не знает тревоги. Ей стало легко — и блаженно спокойно. От закрытых нефтяных источников отвалили, наконец, камни, и из черных недр хлынули набухшие потоки. Как мать с переполненной грудью, ждала она Россию, и теперь, когда к ее черным сосцам припали тысячи жадных губ, она дает бесконечно много, счастливая, раскрепощенная, вечно молодая земля. По толстым жилам-нефтепроводам живая влага хлещет в резервуары, — и корабли не успевают вывезти миллионы и миллионы пудов.

БАКУ—ЭНЗЕЛИ

I

В Баку флот чинился и пил нефть, пополняя свои скудные запасы, вообще нежился в роскошных верфях и обширных мастерских, как раненый, наконец попавший в богатый тыловой госпиталь.

У кораблей заныли все старые, едва залеченные пробоины, залепленные бедными временными заплатами; их содрали и отремонтировали, наконец, по-настоящему, не считая каждой гайки и проволочки, не дрожа над каждой лишней каплей нефти.

Привыкший работать в скудных условиях Астрахани, флот за две недели бакинского отдыха совершенно приготовился к походу на Энзели.

И утром 17-го мая любопытная толпа не нашла в заливе узких, неторопливых стрел-миноносцев, еще накануне так беспечно и царственно резавших стеклянное море.

Они ушли ночью, один за другим, с потушенными огнями, чтобы, встретившись за голым островом Наргин, выстроиться и призрачной вереницей уйти на юг.

Через два дня стало известно о пленении всего белого флота, интернированного в персидской гавани Энзели, о капитуляции английских войск, занимавших этот порт, одним словом, об окончательном освобождении Каспийского моря, — отныне вольного советского озера, огражденного кольцом дружественных республик.

Так окончился трехлетний поход, начатый под Ка-

занью и Свияжском, растянувшийся на тысячи верст — от обрывов и хмурых елей Камы до знойных прикаспийских солончаков, от глубоких волжских плесов — до мелкого, беспокойного, изменчивого Астраханского рейда, где корабли среди бесконечной морской шири выбивались к настоящей воде по мелям и минным полям, искусственным морским каналом.

Год тому назад волжско-камская флотилия стала сильным каспийским флотом и теперь, взяв Энзели, закончив свою последнюю военную задачу, демобилизовала свои старые боевые корабли. Пушки стали исчезать с палуб, обшитых железом; трюмы, хранившие снаряды и оружие, открыли свои недра для нефти и риса. Один за другим старые бойцы сбросили тяжелый панцирь и ушли обратно в Астрахань уже не грозными «дредноутами», а сильными рабочими судами, могучими буксирами, вожаками ленивых, до горла нагруженных барж, медленными караванами ползущих против течения к изжаждавшемуся фабричному сердцу России. Но прежде чем старые морские тяжеловозы, столько лет таскавшие пушки на своих мирных палубах, нажившие порок сердца благодаря артиллерийскому огню, потрясавшему их крепкие машины, покинули Бакинский рейд, так странно выделяясь своей темно-стальной окраской среди жаркой суеты залива, — они сделали еще одно, большое и важное дело: кулаком, зашитым в броню, ударили по глухозапертой двери Востока.

В Энзели английская колониальная политика столкнулась с реальными силами рабочего государства и потерпела поражение. 18-го мая 20-го года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были побиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись из позорного плена. Не где-нибудь, а в Персии, скрученной всякими вымогательскими договорами, разоренной и ослабленной вынужденным союзом с Англией. И, покидая берега Каспийского моря, англичане не смогли скрыть от злорадных глаз населения смешные и жалкие стороны своего скандального поражения. Уходя, они в хвосте обоза вытаскивали какие-то ванны (частное имущество майора), рояли и вообще культурные принадлежности. Весь город, бросив свои обычные дела, сидел на пристани, бросал в воду апельсиновые корки и наблюдал, как вчерашние высокомерные господа сегодня,

по первому требованию русского командования, смиренно грузились на катер и ехали на борт «Карла Либкнехта», чтобы как-нибудь выклянчить почетную капитуляцию.

Всем известно на веселом солнечном базаре, как сильно укачало англичан на русском миноносце, как они во время переговоров перегибались за борт и на вопрос, «как могут страдать морской болезнью офицеры сильнейшей в мире морской державы» — принуждены были отвечать невнятными и неблагопристойными звуками и телодвижениями.

Ах, восточные люди наблюдательны, и раз заметив черты страха и слабости в своем вчерашнем владыке, — никогда их не забудут.

В дыму душистых папирос уже текут нескончаемые насмешки и пересуды. Еще вчера согнутые в бараний рог — персы сегодня смотрят прямо в лицо иностранцам и не уступают им дороги.

И еще одно обстоятельство озадачило, а затем крепко привязало к Советской России персидских бедняков: русские, занявши Энзели, пощадили индусов и тюркосов, людей «низшей расы», сражавшихся в рядах британского оккупационного отряда. Ни один европейский парламент, ни одно министерство иностранных дел не осквернили бы себя нотой по поводу исчезновения с лица земли нескольких сот «цветных». Надо было видеть ужас этих солдат, когда они оказались во власти страшных большевиков. Рослые, стройные, с бронзовым профилем богов — и с бедной, запуганной лесной душой — они плакали, как дети, не надеясь на пощаду. И вдруг не только освобождение и жизнь, но такое спокойно-братское отношение, какого никогда не знала презренная англичанами Индия.

Многие из этих людей, участвовавших в штыковой атаке против десанта матросов, ушли нашими друзьями и до своей рубиновой родины донесут отклик новой, преображающей мир, братской солидарности.

Лукавый и тучный губернатор Энзели, вежливый до приторности и осторожный, как грех, очень быстро и правильно оценил создавшееся положение: нанес официальный визит the bolscheviks, честно отдал дань морской качке и при помощи юркого переводчика допытывался: скоро ли дорогие гости покинут персидские воды, или

они думают осчастливить страну более длительным пребыванием...

Переводчик кланяется, губернатор облизывает лимон и, удерживая приступ слабости, тоже кланяется засахаренной улыбкой, кланяется блестящий командир флагманского миноносца Синицын, три года безукоризненно водивший свои миноносцы, кланяется Чириков в своем промасленном кителе, со своей спокойной физиономией старого морского волка, никогда и ничему не удивляющегося, кланяются дула орудий на палубе и насмешливые кончики мачт.

— Нет, — отвечает командующий, — нет, не беспокойтесь, господин губернатор. Восторженная встреча, оказанная морякам персидским народом, не позволяет мне думать о скором уходе. Мы не хотим вас обидеть — и остаемся.

Опять поклоны, ласковый губернатор, зеленея от качки и прилива гостеприимных чувств, исчезает за бортом.

— И кроме того, — раздается ему вслед с высокого серого борта, — я ожидаю к себе на корабль вашего национального героя — Кучек-хана.

На берегу уже слушают первого оратора-перса. Внимание отливает толпу, как из бронзы. В живых и непринужденных позах первые ряды ложатся прямо на мягкую пыль у ног говорящего. Бронзовые, тонкие, исхудалые руки, сухие плечи, проступающие из лохмотьев, пыльные волосы нищих, повязанные старинной бисерной повязкой, даже великолепные бороды, окрашенные хной в огненный цвет (как у давно умерших царей), — все это в каменной неподвижности, в ненарушимом напряжении. Они не проронят ни слова, ни слова не забудут и с ясной простотой своего полудетского языка передадут их от соседа к соседу, от одного низкорослого кудрявого сада в другой, от водопоя к водопою, через пустынные нагорья и сыпучие пески до границ Индии и Месопотамии. Без радио и телеграфа здесь знают уже о таинственных и многолюдных сборищах на границах Афганистана, которым не могла помешать вся власть колониальной Англии; о бесплодной кровопролитной войне, которую приходится вести Великобритании в Египте, — и под тесной рабской одеждой Иран начинает понемногу оживать: дышит и думает.

Самое трудное сделано: распалась великая вера

Востока в непобедимость Англии, потеряно навсегда очарование ее золота, оружия и неслыханного высокомерия.

Революция на Востоке приходит, как женщина — с закрытым лицом и вся, с головы до ног, завернутая пестрой тканью предрассудков и стеснительных узаконений. Восточный город долго и бесшумно тлеет, его гнев выстаивается, как вино, и, как вино, крепнет и хмелеет в тишине и прохладе.

Бедняк Персии лениво и насмешливо наблюдает пестрый поток жизни. Нужно совершиться чему-нибудь особенному, чтобы вывести его из мертвящей, томительной апатии. Первым из чудес, разбудившим северный Иран, было поражение англичан, вторым — появление в Энзели Кучек-хана и посещение им русского корабля. Еще задолго до его прибытия весь город был полон этим именем. И когда все и вся вдруг сорвались с мест: торговцы бросили лавки; фанатики — свои молитвенные коврики; когда толпа бедняков облепила кого-то высокого, далеко видного над тысячью голов; когда сам чистильщик сапог босыми смуглыми ногами влез на свой красный ящик, чтобы лучше видеть; когда из всех щелей и углов хлынула темная и жалкая нищета, — пришел Кучек-хан. Старики падали в пыль, чтобы поцеловать его неподкупные, справедливые руки.

Последние три года Кучек прятался со своими верными в горах, и англичане напрасно сулили мешок золота за его голову. Вот она, эта оцененная голова.

На фоне ослепительного неба она кажется очень темной. Волосы, окружающие ее черным ореолом, сами собой ложатся отдельными, круто завитыми прядями, как на старинных персидских монетах. Глаза серьезные и простые — со всеми живыми оттенками металла и воды. Движения медленны и торжественны: Кучек три часа молился и спрашивал своего бога, прежде чем явиться в Энзели и навсегда связать свое имя с национальной революцией Персии. Но голос у этого лесовика, окруженного верными курдами в волчьих шапках, неожиданно тихий, мягкий и гибкий. Когда, выслушав переводчика, он наклоняет над европейским столом свое бронзовое чело, чуть улыбаясь некоторой условной торжественности этой встречи, по звуку его женственного голоса никак нельзя догадаться, что речь идет о передаче оружия, о славе Персии и ее возрождении.

II

Так близко от нас эта чудная страна, этот необычайный родственный народ.

Стоит отвернуться от моря, оставить слева его совершенно эмалевый проблеск, лежащий голубым челом между двух песчаных холмов на ковре из пены, стоит оставить за собой бухту Энзели с ее японскими крытыми лодочками и ядовитой водой, — и в полях, полных сырости и роскоши, уже дышит, уже открывается Персия. Какие тайные и глубокие ароматы от первых же зарослей граната, от первых акаций, обрамляющих пастбища. Автомобиль отгоняет от дороги стадо чудесных черных волов, горбатых, блестящих, с коричневой меткой между небольших и, как брови, разогнутых рогов.

Мутный источник, как бы из жидкой глины, то подходит к самому шоссе, то отклоняется, чтобы омыть сухие и жадные корни плодового дерева, изгородь из тростника и, наконец, дать пищу рисовым полям.

Изумрудными шахматами лежат в низинах эти поля. Вечером они кажутся чем-то опасным. В стоячих болотцах гаснет жгучая тропическая заря, и согнутые вдвое, вросшие в липкую грязь, фигуры женщин, работающих по колено в топи, выступают уродливые, как тени неизвестной звериной породы. Днем другое.

Вода почти спадает, и из нее, как сквозь стекло, выступают зеленые иглы риса. Так беспомощны худые ножки персидских девочек, осторожно переступающих от стебля к стеблю, не смеющих поднять от болота своих отуманенных глаз и запачканных рук. А солнце печет ровно, легко, как бы с улыбкой; величавые вершины едва шелестят, пьют и вдыхают благоухания, и к ним примешивается едва заметная, отливающая холодом, дрожь малярии.

На поворотах дороги первые персидские постройки: глиняные с высочайшей тростниковой крышей, на воздушных подпорках.

Идя гуськом по краю дороги, возвращаются крестьяне. На гибких перекладинах несут вязанки сена, на плечах глиняные продолговатые кувшины, весла, сети и влажные паруса. Лица, как из золота, с темными глазами, вдоль которых свешиваются ровно подстриженные надо лбом и на висках, одинаково спадающие до плеч,

темные волосы. Чуждый язык, смуглая кожа, не по нашему легкая, босая поступь, но лица знакомые. Не переставая идти, цветковые, бесплотно сухие, золотистые головки долго оборачиваются вслед автомобилю. Это крестьяне, они похожи на свой любимый рис: стройны от вечного труда, бедности и зноя, гибки, как бронзовые стебли, и ничем не напоминают жирный, белый и черный тип лавочника-перса, в полдень дремлющего на своих товарах в тени полосатого навеса.

Еще верблюды, целый их караван, с маленькой головой, увешанной от подбородка цветными кистями, с длиннейшими голыми шеями и ковровыми седлами. Мулы, едва-едва переступающие крепкими, как железные стаканчики, копытцами под тяжестью симметричных тюков. Розовые сады, рисовые болота, розовый ветер, таможня и, наконец, Решт.

III

В окно протянуты ветви платана. Слышен крик птиц, пестрый и яркий, каким он никогда не бывает у нас на севере. Тысячи роз от солнца дымятся и горят сладким, душным огнем. Дом бывшего губернатора в них утопает. Окна, открытые на север, вдыхают утреннюю тень.

Несколько ковров по стенам, письменный стол, пол из лакированного светлого дерева, — вот кабинет наместника Решта, покойный, просторный. За столом сидит Кучек-хан. Сегодня он с нами прощается и, обернувшись лицом к свету, даже не старается скрыть своих необычайных глаз, как обыкновенно делает, следуя инстинктивной осторожности восточного князя.

Утро сильное, свежее, несмотря на зной, хранящее в своем влажном венке росу и аромат, — и Кучек спокоен и силен, как близящийся полдень. На нем скромная коричневая одежда, на рукавах и воротнике белое полотно, от которого еще темнее прекрасная голова. Как он сегодня печален, как его жаль почему-то, этого единственного революционера Персии, обреченного погибнуть в борьбе с англичанами или продажными ханами, на оружие которых он временно опирается.

Переводчик передает последние приветствия, и вдруг среди трагических масок, обращенных друг к другу на

фоне кровяного ковра, — совсем детское, смешное и самодовольное: над городом поднялась старая приятельница каспийского флота — надутая, любопытная и зоркая «воздушная колбаса». Сколько раз ее пузатое тело бабочки с ощипанными крыльями поднималось над берегами Волги, над Царицыным и Астраханью, высматривало и предупреждало, направляя огонь судов. Матросы к колбасе привыкли: под ней не страшно, она все видит.

И вот милый урод поднялся в эмалевом небе Персии и со своей высоты озирает тропические заросли, изумрудные поля и дороги белее молока. Базар в панике: бегут мальчишки и муллы; верблюды, покинутые своими вожаками, испуганной толпой загромождают мост. Колбаса производит ошеломляющее впечатление: весь авторитет революции, держась за землю тонким стальным шнуром, ходит под облаками, важно покачивается на ветру, занимает собой все небо — и кажется мне, веселая ее рожа показывает язык милым союзникам.

Кучек счастлив. Из окна ему виден и взбудораженный базар, где среди чалм и волчьих шапок развеваются матросские ленточки, и небо с белым аэро посредине.

На Востоке самая сильная вера — это вера в машину, в техническое превосходство Запада, — ею англичане сотни лет душили свои колонии. И вот, наконец, техника в руках персидского революционера и обращена против англичан, постыдно бежавших от Каспийского побережья.

Дребезжит телефон. В 15 верстах от Решта завязалась перестрелка. Кучек прощается. За ним уходят его сподвижники: маленький, толстенький и умный командарм, самый левый и самый смелый человек в лагере, и комиссар финансов — в очках, с винтовкой за плечами, озабоченный жалованием для войск и гомоном нищих, провожающих Кучека прожорливой толпой.

Через полчаса машина летит обратно в Энзели — навсегда исчез тихий твердо-кованный голос Кучека, его лицо древнеперсидского героя. Когда мы встретимся опять и где?

У шлагбаума последний матрос-доброволец, загорелый, полуголый, в своем просторном синем воротнике, кричит нам вслед веселое, дерзкое, неотразимое:

— Даешь Тавриз!

На полпути два всадника проносятся навстречу: индусы, бежавшие к нам от англичан. Бесконечно обрадованные лица и сияющее, как их зубы в улыбке, приветствие — «За Советский власть», — и мимо на бешеных лошадях.

На самом толстом буке, там, где дорога от болот поворачивает к рощам и холмам, обмакнув кисть в ведерко с клеем, какой-то человек, весь в поту, сдвинув шапку на затылок, мажет кору столетнего гиганта, — и первый советский плакат разворачивает свое красное полотнище в тропической чаще.

Тишина, густой душистый воздух, стрекотание насекомых, безлюдная дорога, по которой лениво ползут сытые волы и верблюды, — и на стволе старейшины лесов этот огненный знак мировой революции.

ПЕТЕРБУРГ

Вернуться в Петербург после трех лет революционной войны почти страшно: что с ним сталось, с этим городом революции и единственной в России духовной культуры?

На военные окраины республики доходили печальные слухи: холод, голод, Питер вымер, Питер обнищал, это мертвый город, оживающий только для отпора белым, ползущим к нему то от форта Красная Горка, то от Нарвы и Ревеля, то со стороны Польши. И что же? Он не только не умер, Петербург, но к строгости своих проспектов, к роскоши соразмерных пространств, охваченных гранитом, зеленью садов и поясами каналов, прибавил еще спартанскую скромность, пустынность, простоту, — тысячи неуловимых примет, свидетельствующих об отдыхе и перерождении города.

Отдыхают камни мостовой, опушенные робкою зеленью, освобожденные от гнета снующих толп, отдыхают когда-то смрадные кварталы, забывшие теперь о копоти и чаде, о гнусном запахе прелых торцов и облаках душной автомобильной гари.

Сады, не стесненные людьми, безумно и счастливо зарастают, глохнут, роскошно и праздно наверстывая свои былые искалеченные весны. Синеет Нева. Острова превратились в зеленый рай, где вместе отдыхают деревья, травы, старинные наконец растворенные решетки оград, и тысячи больных детей, и тысячи измученных илотов труда.

Что же это в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломан-

ных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий русский Брюгге, город XVIII века, очаровательный и бездыханный? Неужели смерть? Нет.

Есть последняя слабость, есть головокружительное изнеможение выздоравливающего, есть молчаливый отдых огромной гранитной сцены, с которой только что, рушась и громыхая, ушла целая эпоха, и куда еще робко и неуверенно вступает новая мировая сила.

Тишина Петербурга — это тишина больничной палаты в первые теплые дни, тишина Марсового поля после тяжелых боев, вместе с трудной победой узнавшего безмолвие братских могил.

Петербург не мертвый — в нем сохранилось то невыразимое, то лучшее, верно и крепко хранящее от гибели некоторые гениальные человеческие порывы, некоторые эпохи и памятники.

Последний красноармеец, дерущийся на одном из наших десяти фронтов, отлично это понимает: вот почему всякая попытка взять Петербург так невыносимо, так дико-больно сказывалась там, где-то на берегах Каспийского моря, в малярийных болотах и мертвых, золотых песках Астрахани. Вот почему за Петербург молились, молились в пустоту, в отчаяние, в лицо смерти, как за самое дорогое и единственное.

Перерезанная по суставам Волга, парализованная Сибирь, охваченная гангренозным огнем Украина, отпадавшая от России гнилыми кусками, никогда не вызывали такого гнева и бешеного энтузиазма, как угрожаемый Петербург, — да, этот безлюдный и дичающий, но осененный знаком вечности пролетарский Петербург.

[1918—1921]

Афганистан

Глава первая

НАША АЗИЯ И АЗИЯ ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ

I. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

На протяжении нескольких сот верст одно и то же: мир. Бледный дол едва отогревается, и от поля к полю, справа и слева до края неба ходят медленные пахари.

За их плугом дымится легкое облако теплой земляной пыли. Вернувшийся домой кавалерист сидит на худой крестьянской лошади, и за ним, подпрыгивая, ползет борона, касаясь земли своей жесткой лаской. Как безумно далеко ушла война! Весенние реки заливают старые окопы, — невозможно себе представить падение снаряда среди робкой зелени озимей, на опушках болотистых рощ.

Бесконечный покой.

II. СТАНЦИЯ

Все торгуют: азиаты, и крестьяне, и проезжающие красноармейцы. Ничто не сравнится с лицами, составляющими «толчок». Это не люди, а лес. Около крестьянки, предлагающей полотенце, столпились рыжие дубы, несколько пней, сожженных грозой, ветки без листьев, покрытые отсырелой корой, гиблые, изогнутые ивы. И там, где кора лесных лиц нежна и красновата, живет их голос, и этот голос шелестит, поскрипывает или рокочет.

— Сколько? Десять? Даю пять косых,

И, смеясь как у себя в чаще, великаны качают мохнатыми шапками. В пальцах, разгибающихся, как прутья, приготовленные для плетения корзин, у них зажаты бумажные деньги. Белки глаз из снега, не успевшего растаять на колючих хребтах этой страны. Зрачок — таинственно текущие вешние воды, невидимые, пока молодая луна в них не бросит кусок серебра.

Чистильщик сапог, азиат, сидит на голой коричневой земле и сжимает между колен свою подставку, точно ящик с драгоценностями. Это пушкинский Черномор: это — его огненные глаза и мшистая волна волос на бородѐ. Равнодушный к судьбе волшебник сидит со своими глянцевитыми ваксами и красной бархатной тряпочкой, вырванной из плаща Людмилы, и бесстрастно наблюдает босые ноги прохожих, до колена выпачканные в грязи. Его лицо темно, а ремесло эфемерно.

III. ТУРКЕСТАН

Между совершенно плоским небом и плоской землей — дым, уходящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы нетающего снега и замурованная тишина на протяжении сотен верст. Дороги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей; пустыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.

Читать невозможно; жгучие слезы Гейне всасываются черной рыхлой землей. Даже дебелая пышность Елизаветы Петровны, ленивые и грязные анекдоты ее царствования, даже холод Бестужева, мужицкая широта Разумовского, даже шуваловские кружева и ломоносовские оды блекнут в этой степи, где камни из лунного света и облака, окаменевшие в пустоте.

Здесь не может быть истории, этого искусства мертвых. Все относительно на куске земли, где песок смешан с солью и солнечным светом.

IV. ПОЛУСТАНОК

Киргизка, поставив под овцу неопрятный глиняный сосуд, лениво выпрастывает ее продолговатые сосцы. Возле матери шелковистый ягненок на больших и слабых ногах. Его мордочка, которой он тыкается в подол

дикарки и в пустое вымя матери, имеет чистый античный рисунок, — тот беспомощный и порочный профиль, который так любил ампир. Пахнет азиатским жильем, горькими травами и мехом. В степи нежнейший звон ветра в сухих прошлогодних травах. Поют песчаные холмы, где согретые солнцем пески пересыпаются, как жемчуг, восходят волной, падают в мгновенные долины и опять ссыпаются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой музыкой.

Воздух полон степных жаворонков. Тысячи влюбленных крылий трепещут в синем и золотом и с легким стоном тают в ослепительном блеске неба, и небо ими полно, как ангелами.

Холмы золотого песку, с которого верблюды неторопливо снимают зеленоватый пушок.

Долины, точно янтарные чаши, поставленные рядом, полные запаха трав и, как пену, источающие червонный свет. Холм у холма — это сот возле сота: они медленно наполняются огненным медом дня.

V. ПРОШЛОЕ

...Как далеко мы уже уехали. Не на сотни и тысячи верст, а на много сот лет, на целую вечность в прошлое. Здесь ведь скалы, пески и ущелья — как вчерашний, едва истекший день — помнят Тамерлана; и скрип его диких повозок, иноходь его конницы еще живет там, где теперь лежит железная дорога.

Сколько солнца, меда и целебных запахов источает пустыня, каким темным изумрудом пылает Ташкент, и, наконец, эта средневековая Бухара!

Здесь есть крытые базары, которые тянутся на две-три версты. Они прохладны, под крышей воркуют голуби, в щели льется золотой полуденный дождь, а справа и слева, у порога крохотных лавок, сидят пестрые халаты, чалмы белее снега, и старики с бородами пророков, высчитывая барыши и плутни, покоятся с видом богов и нюхают влажные розы.

Везде бегут крохотные ослики с вьюками свежего клевера и тростника, с женами в чадрах, бог знает с чем. Иногда среди этой толчеи проезжает наш кавалерист в высоком шлеме, и со спины он выглядит как победитель Иерусалима, паладин Красной Звезды.

Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорослых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, палаток, граната, голубизны, пчелиного гудения и старинных построек, да и аромата, конечно. Такого крепкого и густого, что хочется закрыть глаза, лечь на раскаленные плиты маленького раскаленного двора и быть легче ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят в густом воздухе старинные балюстрады. Под деревьями расстилают ковры, подают чай с пряными сластями. И тишина такая, что ручьи немеют, и деревья перестают цвести.

А вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит много дверей. За каждой дверью — белая комната, расписанная павлиньими хвостами, убранная сотнями маленьких чайников, которые стоят в нишах парочками, один большой и один маленький, совсем как голубь с голубкой. И в каждой комнате живет женщина-ребенок, лет тринадцати — четырнадцати, низкорослая, как куст винограда.

Все они опускают глаза и улыбку прикрывают рукой. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они бегают по коврам босиком, и миниатюрные ногти их ног выкрашены в красный цвет. Лукавые и молчаливые, эти бесенята в желтых и розовых шальварах уселись вокруг меня, потом придвинулись, потрогали своими прохладными ручками, засмеялись и заболтали, как птицы. Кажется, мы очень друг другу понравились. В общем, они — очаровательнейшее вырождение из всех, какие мне пришлось видеть.

VI. КУШКА

Кушка — пограничный пункт между Россией и Афганистаном. Вокруг его старинной крепости громоздятся пыльные песчаные горы. Ветер подымает на их склоне тучи желтого праха и разносит его, как пепел целого мира, сожженного неизвестным завоевателем.

Но улицы городка тенисты, вдоль тротуаров шумят ручьи, ленивые тутовые деревья, разомлев от жары, роняют переспелые ягоды на чистые дворы казарм, на крыши и пороги выбеленных домов, в которых расквартирован гарнизон. Словом, настоящий пограничный городок, белый, зеленый и крепкий, со своим военным на-

селением и тревожной бдительностью, превозмогающий и жару, и лень, и лихорадку. Лихие, деловитые коменданты, седые трубачи и племена, угоняющие друг у друга еженощно стада жирных баранов; эти угоны и есть преткновение нашей восточной политики, знаменитый джемшидский вопрос.

От столба, вбитого в лысый затылок какой-то старой горы, начинается настоящая Азия, огороженная синеватыми линиями гор и золотым поясом пустыни. До самого Чильдухтерана, первого привала в Афганистане, нас провожает эскадрон кавалерии. До вечера звучит нам русская речь, и среди белых чалм мелькают красноармейские шлемы. Вечером они уходят; при свете фонаря над разгоряченной головой лошади наклоняется милое и взволнованное лицо кушкинского коменданта, и затем его руки, пожимавшие наши, и вся его славная фигура времен «Капитанской дочки», и глаза, в которых влажный блеск, — все исчезло, и мы остались одни.

VII. ИЗ КУШКИ ДО ГЕРАТА

Ночь — надо начать с нее.

После целого дня, проведенного в седле, после солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому полдню и, как река, разливающегося к вечеру, ночь — такое огромное счастье, награда за всю усталость, слабость и жажду.

Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в другую, от песчаных гор к плоскогорьям, ровным, твердым, похожим на плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла надписи.

Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг от друга, отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное небо.

И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригнулась лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в пыли, в увядшей листве — везде живое. Пепельные ящерицы оставляют на пути извилистые следы; упрямые скарабеи среди золота и янтаря раскаленной дороги скатывают свои навозные шарики. В колючих кустах шелестит саранча, кузнечики дождем сыплются из-под конских копыт, и воздух полон их сухой скрипичной музыкой.

Проходит час, другой, третий — время превращается в длинную, красную ленту, дорога — в содрогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так близко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его длинными и вместе мгновенными вспышками.

И тогда мне предстает Белая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.

VIII. БАШНИ ТИМУРА

Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и животные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудренной поверхности.

После короткого отдыха трубит гортанный рожок, дикая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые медленно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони, цепью скованные друг с другом, продолжают свой путь и только изредка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием старается сбросить со спины гнетущие ящики. Постепенно долина сменяется холмами, и первые всадники вступают на горный перевал. Дикая и прелестная картина: горы как-то неожиданно, почти внезапно сменяют плоскогорье.

Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями тенистых пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому не ведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творческого акта, который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденным жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на их несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, вот башни, поднятые к солнцу и не знающие головокружения на своей орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. По лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные ручьи.

Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спускаются, наконец, на дно новой долины, где по каменистому ложу бежит горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чистую и холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились приготовлять современники, высится конусообразная башня — сторожевой пост Тамерлана.

Дальше, уже на краю пустыни, лежит его дворец, преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной — груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчатая палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи и удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых сводов, похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропускающие солнечный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и пряный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными корками, — может быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бряцание кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоватой, с ногтями, окрашенными хенной, спешили десятки слуг, белея чалмами, постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфель. Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных игр, горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую лошадь под белым чепраком, с ожерельем бирюзы на молочной шее. И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый хазареец и бледнел, если за нею раздавался смех.

Издали трубит гортанный рожок, и наши лошади несколькими скачками выбираются из развалин на палящий простор. Высокая, пошатнувшаяся арка провожает нас молчаливым благословением: ее мягкие очертания — две сомкнутых руки, усталых, готовых опуститься.

Опять дорога по плоскогорью, ровному, безмолвному, горячему. Одинокая деревня без построек, даже без устоев из дерева. Глина, скомканная человеческими руками и высушенная солнцем. Шатры из черной прокопченной и промасленной ткани, низкие и широко разостланные по земле. Под их сенью, в грязи и полумраке,

целые семьи: дети поразительной красоты, пастухи и их стройные жены, которых нищета и труд освободили от чадры. В широких тазах они подносят воду и кислый кумыс утомленным всадникам так же просто и величаво, как это делали библейские женщины.

Изредка — колодезь, прячущий свои влажные ладони, полные утомления и прохлады, под остроконечной каменной шапкой. Полдень, потом заполдень; весь мир охвачен торжествующим солнцем, погружен в голубые и белые бездны огня. Вся земля в сладостном, смертельном головокружении сползает в золотую пустоту.

Уже не помня себя, ничего не чувствуя от усталости, приближается караван к подножию гор, к расселине, где источник дает жизнь нескольким деревьям и пастбищам. И тут на голом месте возникает целое чудо: уже ждут палатки, устланные коврами, с накрытым столом посредине.

С ржанием и щелканьем бичей останавливаются грузовые лошади. Конвоиры, сбросив винтовки и нелепый кавалерийский мундир, превращаются в толпу слуг, быстрых, бесшумных, как духи «Тысячи и одной ночи». Они несут кувшины с водой, ковры и веера и накрывают ужин прямо на траве; зажигаются ночные лампады: это — хрустальные тюльпаны на длинной серебряной ножке, и в матовом их пламени архаические персидские львы заносят над мягко тлеющим фитилем свою державную лапу. Лагерь кострами, лампами и палатками, как сновидение, белеет и блестит средь пустыни.

Падают крупные звезды, иные нисходят до темных ночных деревьев и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!

IX. ОТ ГЕРАТА К КАБУЛУ

Нигде мертвое так близко не прикасается к живому.

Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Герируд. Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву, сосет прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь над рожью вечная све-

жесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов — вино и вода в стакане солнечного цвета.

Среди безмятежных полей частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и усмирений хазарейцев.

Красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близкие небу, в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга, и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит, как свистящий, стремительный, пенистый меч.

Тропинка бежит под нависшими валунами: они, как исполинские каменные жабы, прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг — кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или, утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить и идти и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немым покоем. Но все кругом, — обрывы, скалы, пыль и щебень, — все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов — из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.

Из такой глины был вылеплен человек.

X. ВЕРШИНЫ

Вершины. Их покатые плечи в цветах, едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором. Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они — неописуемы. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу поднимаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы; громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого, — когда они вместе.

Может быть, большой поэт, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил весь свет, пролитый на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и солнце подымаются в вечность, как неслыханные цветы, — и легче, чем медузы. Или дикарь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том, что ею нельзя владеть вечно.

XI. ЖИВОЕ

Среди пологих холмов встретили большие стада овец — маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой, и много птиц, почти синих. Встретили и семейство гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.

Был еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо, как всегда на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней, в дуновение мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.

Последние девять верст вдоль реки, имеющей зеленовато-мыльный цвет, летим как безумные по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни острее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные кряжи ослепительными потоками, не имеющими окраски.

XII. БАРАН

На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого гератский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру. Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка, два шара, сросшихся над его

желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы с шлемом. Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознавая нелепость своего положения, баран не ест и худеет, и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой, разговорчивой козой: может быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полусмерти, если с ним что-нибудь случится. Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне сгоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу.

И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости.

XIII. РАБАТ

Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати — пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид: расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей, — все это, как тысячу лет назад.

Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого, тоже крепко огороженного двора, выведена сводчатая галерейка, и тут под арабскими нишами пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего огня, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром — золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.

Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло синее, на нем розовое, на грязно-розовом — грязно-фисташковое, а сверху «хануми сафир-саиб», сне-

даемая отвратительными «верблюжьими» клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники-слуги с чаем, и сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.

Странные люди — эти афганские слуги.

Сами они лишены всяких потребностей, — им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана, — и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед — великан и красавец — подает к столу солонки, только солонки, не больше и не меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение, — эти дешевые базарные штучки со своим никелем и мелкими дырочками.

Худодад — вообще не Худодад: он — тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые зашлепали всю его жизнь, то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, но недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами, Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды, — он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного, и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвоиров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, повинуясь инстинкту, бессмысленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия.

И точно так же, как Худодад относительно своих солонок и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Герируда. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устий и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды,

дающей ему хлеб и виноград, но, как правоверный свою молитву, лениво и механически исполняет великий обряд орошения.

И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук, и песок не засыплет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища.

Худодад, у которого разбита тарелка или недостает солонки, перестает быть человеком.

Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубит вечернюю зорю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.

Вечер — время чая, походных дневников и писем.

Так как мы — «сафир-саиб» (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унизительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах.

XIV. ВОДОЛЕЙ

Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя: пыль, смешанная с водяными брызгами. Это водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи, и на него спускаются концы длинных, грустных усов. Водолей получает 4 рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под вьюка черные уши на белой подкладке.

Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных — с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снедаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы, — так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, отставшие от длинного, бесконечно изнуренного каравана.

Водолей — самое низкое лицо на рабате, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.

XV. ВЫСОКО

Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они — корона цепи 14 000 футов вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи со слабым, как бы выветрившимся дыханием — единственные цветы мертвых гор.

У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга северной Греции.

Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.

XVI. КАМНИ

Все тот же возвышенный холод.

Горы обрызганы темной росой редких трав, они пологи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни, и на них страшно смотреть, — так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И, обглоданные, источенные веками, они сами еще больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немыми усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных

краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней, нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор, и розовый и серый с черными венами, — все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.

И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были, — и облачные и ясные; все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек, и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорили земле: «Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах».

XVII. СМЕРЧ

Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острие в мягкую пыль, вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном воздухе, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку. В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее и вдруг это уже пляшущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец. Он движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано. Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, в безветренной буре развевает свои ветви, согнутые в дымные хлещущие луки.

XVIII. НОЧЛЕГ

Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.

Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо. Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безыменное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро-режущие, прозрачные и сладостные края.

XIX. ВНИЗ

Взяв приступом последние перевалы — скалистые, цветущие самыми яркими разнообразными породами камней, — дорога, наконец, спустилась на дно Кабульской долины. Это — самый цветущий и оживленный край Афганистана, по крайней мере его юго-восточной части. Шоссе покрыто тенью богатых садов, и скалы, ее обрамляющие, только своим багряным цветом напоминают дикие застенки горных перевалов.

Несчастные лошади, привыкшие переходить под палящим зноем тысячефутовые кручи, исхудалые, как скелеты, с опущенной головой и огромными натертыми ранами у передних ног, теперь оправились, пошли веселее, бодро покачивая пятипудовые яхтаны. Все чаще навстречу нам идут караваны верблюдов, груженных хлопком. За гладкими, как бы голыми матерями, у которых при каждом шаге мягко раздается широкая сильная ступня, похожая на исполинскую руку, бегут тонконогие верблюжата, мигая темно-голубыми влажными глазами новорожденных. Среди зелени высоких, узеньких тополей мелькают пестрые одежды купцов, свесив ноги, медленно едущих на сильных мулах или нетопливых лошадях под тенью старого, грозно растопыренного черного зонтика. Обгоняем несколько женщин, идущих с открытым лицом, — это крестьянки со смуглым, низким лбом, глазами и профилем античного еврейского типа. Круглые, костлявые головы горцев и узкие глаза цвета янтаря и заржавленного железа здесь, в Кабульской равнине, уступили место мягким овалам и бледности породистых хищников. Люди красивого, крупного сложения. Особенно хороши дети. Они, как темные птенцы, унизывают глиняные стены домов, блестя агатовыми глазами из-за их зубцов и башенок.

Возле горы, покрытой белыми обломками античной крепости и кубическими постройками афганской дерев-

ни, в роще из странных деревьев, покрытых узкими, тусклыми, как бы шелковыми, листами, расположены священные пруды. Бассейны не особенно глубоки и наполнены холодной, прозрачной водой горного ручья, сохранившего голубоватый цвет снега.

К их поверхности ниспадают ветви пепельно-зеленой ивы, где покачивается клетка добродушной и крикливой перепелки, — любимицы всех афганских садов и базаров. Она пронзительно и все же музыкально покрикивает, обчищая о прутья свой коралловый клюв. Изредка какое-нибудь зерно падает в воду, и тогда вся ее светлая поверхность вдруг оживает, темнеет и бросается к одному месту, отбрасывая на дно тысячи темных теней, свинцово-синих стрел. Это — форели священных прудов. За каждой крошкой хлеба их неуловимые стада летят так стремительно, что вода кажется собранной и завязанной в кишащий переливчатый узел.

Свесив одну ногу к источнику и положив руку с серпом на согнутое колено другой, жнец, отдыхающий от работы, сидит совсем неподвижно. Он дремлет с открытыми глазами или погружен в напряженную мечтательность, для которой быстрые хищные рыбы в холодном зеркале чертят серебряные лезвия.

Женщина, оставив на верхней ступеньке свои туфли и отстранив от лица покрывало из синего полотна, моет круглый кувшин, потом наполняет его и, не спеша, удаляется. Все вместе — спокойствие, шелест, плеск и тепло, смягченные трепещущей тенью.

Жатва между тем уже достигла в долине того напряжения, которое делает ее похожей на старый языческий праздник. По межам, которых еще не коснулся серп, движутся все те же, собранные на затылке в тысячу плавных складок, покрывала женщин. Занятые совершением неведомого нам обряда, они не опускают чадры, и в синеве одежды и золоте хлеба видны их сосредоточенные, темные и правильно архаические лица. Они идут, изредка нагибаясь, и каждая из этих матерей, освящающих поле, собирает в своей руке пучок самых крупных и червонных колосьев. Со снятых полей ветер доносит щекочущую пыль соломы и зерна. Здесь хлеб сложен огромным костром, на котором пылает весь огонь плодородного лета. Черные волы, заменяя собою цепы и подгоняемые всей семьей, медленно переступают

круг за кругом и топчут снопы, из которых течет зернистый дождь. Жницы, отделяя солому, встряхивают ее высоко над головой, и сквозь янтарную и сияющую дымку сухой пыли и солнца просвечивают их синие холщевые покрывала и красные шаровары. Жар в зените. Утомленные стада прячутся в тени частых, но еще юных и пронизанных светом тополей, которые образуют аллею не вдоль дороги, а вдоль ручья, влагу которого они и пьют и охраняют. На самом солнцепеке, среди местности совершенно пустынной, сереют прижатые к земле постройки. Ветер издали доносит их запах, запах нагретой глины и абрикосов. Старик, безразличный ко всему, разложил в пыли свои огненно-желтые товары.

Вот, наконец, и последний рабат. Лошади ускоряют шаг в виду его квадратных стен и равномерных, землистых башен, какие воздвигают термиты. В последний раз — рожок у ворот, ведущих отлого вниз, точно в глубину. Два солдата, приложившие руку к запыленным вискам. Пронзительный крик барана, которого режут на ужин, облако пыли, поднятое ветром из-под стреноженных, непрерывно жующих грузовых лошадей, — все, что составляет в пустыне покой, отдых, почти счастье.

XX. В КАБУЛЕ

Еще очень рано, очень тихо. Садовники поливают свои клумбы — тысячи пестрых, незатейливых, но очень душистых цветов, посеянных прямо среди дикой травы. Возле прудов моются усталые солдаты, караулившие нас ночью, и без меховых шапок и мундиров видна вся их старость, похожая на пепельное и голое разрушение камней: их служба обязательна и пожизненна. Еще молчит в своей клетке, подвешенной к яблоне, красноклювая перепелка. Ночью ей не дает покоя электрический фонарь, на который она смотрит бессонными, кровавыми глазками и, вероятно, проклинает цивилизацию своей дикой родины. Среди зелени — крыши ближней деревни, но туда не стоит смотреть. Там начинается глиняная нора, полная первобытной нищеты и грязи, которой все равно нельзя коснуться. А вот тополь. Он здесь совсем близко, с белым стволом, почему-то раздвоившимся к верхушке, зеленый, полный движения и говора, — по ночам он притворяется белой худенькой березкой и трево-

жит и мучит знакомым трепетом листьев, — течением лунного света вдоль узких ветвей. Но о России я не хочу, не смею думать. Голод! — радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам. И каждый из нас берет свой кусок сладкой баранины, которую подает любимый камердинер эмира — старая, дрессированная обезьяна в белых перчатках...

Мы приехали...

Глава вторая

ОБ АФГАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ, О СБОРЕ ВИНОГРАДА И О ПЛЯСКАХ ПЛЕМЕН

Не зная местного языка и не принадлежа к исламу, в такой замкнутой стране, как Афганистан, совершенно невозможно приблизиться к народным массам и тем более проникнуть в средневековую семью кабульца.

Здесь женщина больше, чем в других восточных странах, отделена от жизни складками своей чадры, едва просвечивающей на глазах, собранной в тысячу складок на затылке, ниспадающей до кончиков загнутых туфель без задка, еще больше связывающих ее слепую походку.

В пестрой толпе, следующей верхом на осле за длинным караваном кочевников, несущих за верблюдами колья палаток, оружие и загорелых детей, — везде видно и не видно женскую тень. Ее лица не знают даже грудные дети, которых матери держат перед собой на седле из пестрых лохмотьев. Кажется, что этих здоровых ребят с обведенными сурьмой глазами, с медными кольчиками на ногах и руках, с яркими бумажными цветами на шапочке держат не матери, а призраки с замуравленным лицом, неживые, немые, недоступные. Вы поравняетесь с одной или несколькими женщинами, — они уступят вам дорогу и проводят долгим, скрытым взглядом. Что они думают? Завидуют, осуждают, смутно надеются? Всадники спешат мимо, обдавая пылью или брызгами грязи темно-синие покрывала, которые даже не защищаются. Пролетит автомобиль, пугая верблюдов, сгоняя в канавы ослов, груженных серебристыми кусками

срубленных на дрова тополей, где-нибудь на повороте колесо зацепит чадру простолюдинки, подомнет ее под себя и выкинет помятой и стонущей из-под крыла. К упавшей подойдет прохожий, отнесет ее, не поднимая чадры, на край ближнего поля и оставит там в обмороке, — пораненной или просто оглушенной, — не все ли равно? Это только женщина.

К счастью, тяжелый труд и нищета давно освободили жену пастуха и крестьянку от почетного стеснения чадры. На горных перевалах, в замкнутых долинах, запрятанных на альпийской высоте, афганка работает с непокрытой головой, с голыми руками и шеей, сожженной солнцем.

Ее пшеничное поле, устроенное у подножия скал, тщательно очищено от осколков лавы, мрамора и гранита. К нему с гор проведены серебристые нити ручьев, которые постоянно нужно поправлять, загораживать плотинами, сливать в более сильный поток, или разделять на тончайшие оросительные канавки. Вода в песчаных горах — это жизнь; она нужнее огня и хлеба. Мужчины и женщины в одинаковой мере несут тяжелый труд по очистке и углублению арыков. В густом остро пахнущем камыше, которым влага защищена от июльского зноя, под тенью тутовых деревьев, разомлелых от жары, где камни и листва прикрывают оплодотворяющий источник, рядом с мужем отдыхает и работает жена, стройная, черноволосая, вылепленная из старой танагрской глины со своим греческим лицом, красными полотняными шароварами и сильными золотистыми руками.

Это она спокойно, с открытым лицом, обходит вечером зубчатые стены своего дома — глиняной крепости, одиноко стоящей в горах, на краю дороги, некогда проложенной Тимуром и Александром. Она переворачивает связки клевера, вялого и душистого, уже подсушенного за день солнцем. Гонит домой баранов или вращает привычным быстрым движением первобытную прялку, висящую на бесконечной нитке верблюжьей шерсти. Это — зажиточная крестьянка горной области Хазареи. Чем беднее племя или семья, тем свободнее и красивее ее женщины. Нищие кочевницы, у которых нет ни дома, ни глиняных стен, ни абрикосового сада, уже совершенно свободны от законов, навязанных пре-

красной Айше ревнивым Магометом. Они живут в просаленных, черных шатрах, раскинутых прямо на жгучем песке. Рожают и растят детей в грязи, в дыму очага, на овчине, острый запах которой так ненавистен насекомым. Прекрасные, как боги, свободные, как все парии, они идут, куда их семью ведет голод. Осенью — к границам Индии, весной — на прохладные горные пастбища Афганистана.

Население афганских городов, в том числе и Кабула, почтительно расступается при проходе кочующих племен. Их боятся, ими дорожат, как серьезной военной силой и... угрозой англичанам. Эти горцы, установившие для себя исключительное бытовое положение, едва ли не единственное на всем мусульманском Востоке, ревниво оберегают свои независимые границы, не только у себя дома, на Гималаях, но и в городах, на базарах, через которые они проходят, играя красивым оружием, похожие скорее на варваров-победителей, чем на бедняков. Их женщины и здесь не одевают чадры, — сильные, надменные матери, бронзовые жены, на которых не смеет взглянуть ни один законник Большого базара, ни один святой — с плотоядным взором и желтой кожей, испорченной пороком, на виду всего народа совершающий свои молитвенные обряды, — без того, чтобы не наткнуться на горячие глаза и серебряные дула горцев.

«Племенам», как их принято называть здесь, принадлежит первое место не только в истории раскрепощения мусульманки, но и в борьбе Востока за его политическую независимость. В истории Индии, усмирения которой славятся своей исключительной жестокостью, усмирения пограничных племен были самыми беспощадными, но зато и восстания, поднятые горцами в этих трудно доступных областях, нанесли английскому владычеству первые и самые серьезные удары. Там, где маленький народец без поддержки извне и без надежды на решительную победу в течение ста лет слишком защищал свою независимость против сильнейшего в мире завоевателя — Великобритании, не могло не сложиться наравне с оригинальным бытовым укладом и эпическое национальное искусство. И так как племена все это время были отрезаны от остальной Индии военным кордоном и линией неутихавших пограничных столкновений, а на севере опирались на Афга-

нистан, который сам немногим превосходил культурный уровень племен, то этот порыв национального творчества, вдохновленного столетней борьбой за независимость, вылился в первобытные и могучие формы боевой песни, воинственный танец и музыку, его сопровождающую. На фоне общего всему Востоку художественного упадка, который захватил, конечно, и Афганистан, эта струя творчества производит особенно сильное впечатление.

В горах осыпаются сторожевые башни, в Герате падают и растаскиваются дивные минареты, вместе с которыми человечество теряет тайну приготовления чистой лазури; фрески смыты дождями, мрамор уцелел только на знаменитых гробницах, хотя и там его крошат корни вековых деревьев, выросших из могил. Стих окаменел, из поколения в поколение перепеваемый с старых персидских образцов. Это — в духовных училищах. При дворе он выродился в двусмысленные куплеты, распеваемые на мужских вечеринках. И только удивительный народный вкус уцелел и проявляется в уменье разложить пестрый товар, зажечь над ним светильник с тремя горящими кистями и перебросить грозди винограда, или завернуться в свой рваный плащ.

Любовью к краскам каждый погонщик ослов на большой дороге, каждый нищий, изъеденный пендинкой, одарен в тысячу раз больше любого театрального режиссера, иступившего свои глаза на нашей мерзкой европейской одежде.

Из всех видов искусства и художественного ремесла, пробивающегося через толщу схоластического невежества и вековой пыли, дикие пляски и песни племен — самое живое и значительное.

Совсем недавно, осенью этого года, племена устроили в Кабуле настоящую художественную демонстрацию. Это было во время праздника независимости, совпавшего, между прочим, с годовщиной Октябрьской революции. Бедная событиями, прозябающая общественная жизнь оживляется в эти дни «тамашой». Город наводнен пестрой толпой, в которой можно видеть представителей всех сословий: индийских менял с их желтыми тюрбанами, купцов в шелковых халатах, горцев с блестящим оружием и темными шерстяными плащами, бухарских эмигрантов с плоскими бесцветными лицами,

опухших от лени сатрапов с примесью беспокойства и озлобления, естественного в их новом положении приживальщиков при иностранном дворе. Стая шпионов объезжает всю эту праздничную толпу на велосипедах, по которым их и узнает всякий уличный мальчишка. Солдаты в европейских мундирах шпалерами охраняют общественное спокойствие, разгоняют прикладами прохожих перед каким-нибудь знатным лицом и воздают конвульсивные почести автомобилям и каретам, проносящимся мимо. Лошади бросаются в сторону от неистового барабанного боя, южный ветер полощет бесчисленные флаги (в том числе и красный РСФСР), — словом, праздник в полном ходу. Эмир держит пари на слонов, на воспитанников военной школы, на двух генералов, объезжающих фронт, из коих один придворный шут, на велосипедистов, на русского и английского посла, — кто из них первый поклонится своему ненавистному собрату.

Но к смиренному ротозейству толпы, принимающей, как должное, тумаки скороходов и удары плеткой именитых всадников, к усердию солдат и толстой спеси торговцев, к бледной и злой немочи казиев, шествующих под солнцем в черных узких сюртуках и во всей лютой славе шариата, — племена сумели прибавить так много своего, героического и дикого, что этот казенный праздник действительно стал народным и оставил в толпах предчувствие общественных отношений, пронизанных, как этот день, горячим и прямым светом.

Их позвали плясать перед трибуной эмира — человек сто мужчин и юношей, — самых сильных и красивых людей границы, среди которых голод, английские разгромы и кочевая жизнь произвели тщательный подбор. Из всех танцоров только один казался физически слабым, — но зато это был музыкант, и какой музыкант!

В каждой клеточке его худого и нервного тела таится бог музыки — неистовый, мистический, жестокий. Дело не в барабане, который своей возбужденной дрожью зажигает воинственных кочевников в пляске, а в полузакрытых глазах, в нетрезвой, страшной бледности лица, в напряжении всего тела, которое прикасается то к одному, то к другому ряду танцующих, как раскаленный смычок к струнам древнейшей скрипки.

Самый танец — душа племени.

Он несется высокими скачками, как охотник за добычей. Он раскачивается из стороны в сторону, встряхивая головой в длинных черных волосах, колдует и опьяняется. Пляска бьется, как воин в поле умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, которым в Пенджабе и Малабаре бьют крупного зверя и — повстанцев. Наконец танец побеждает и любит с протянутыми вверх руками, радостно, на лету, как орлы в горах, как люди на старых греческих вазах. Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Племя садится в круг, прямо на земле. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает, точно гортанным смехом, тихой щекочущей дробью.

«Англичане отняли у нас землю, — поет певец, — но мы прогоним их и вернем свои поля и дома».

Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.

«Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву, — вы нас никогда не победите».

Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей.

«К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги, — есть большевики, которые идут заодно с мусульманами».

И толпа смеется, рокочет, теснится к трибунам.

«Большевик» — это они понимают. О большевиках поют песни на окраине мира, на границах Индии. «Большевик» — это звучит так гордо и сурово у певца, поднявшего над головой винтовку, — английскую винтовку, снятую после боя с побежденного врага. И барабанщик скалит хищные белые зубы, перебирая веселыми, тонкими, хитрыми палочками.

Глава третья

МАШИН-ХАНЕ

(Дом машины)

Когда-то старинные крепостные стены сходились над узким выходом из Кабульской долины, как сросшиеся брови. Затем время, великие завоеватели и торговля

пробили брешь в стенах и ею воспользовались оросительные каналы и шоссе. Наконец, в этом месте, где справа и слева от дороги по рваным, ломаным и голым скалам висит разорванная пополам змея стены, показывая в курящийся зной и на бледном, отдыхающем небе заката щетинистый, зубчатый хребет, — возникла первая в Афганистане фабрика.

В ее фундамент вошло немало камней из старой крепости, — камней, которые рабскими руками волокли вверх по отвесной стене и живым соком прилепляли к ребрам скал, к жестким и жгучим горным плечам там, на высоте, под самым небом. И хотя завод строили англичане, хотя по вечерам ряд его блистающих окон вызывает во мраке мираж иной цивилизации, — блуждающие огни старых кладбищ, свечи, тлеющие в тихих нишах в горах, тайно подмигивают электрическим созвездиям, и прерванная стена крепости связана этим новым звеном «машин-хане» так же прочно, как прежде стуком патрулей, криками строителей и тех, кто лез на старые зубцы с ножом в зубах и срывался вниз с окровавленными коленями, с разбитым кожаным щитом. В основании завода — камни, скрепленные рабским потом, старые, седые, ядовитые от времени уроды.

Днем вся долина машин-хане седеет от зноя. Мимо тащатся солдаты, пешеходы, ремесленники и кочующие племена. Ослы и верблюды подымают густую пыль, и ветер ущелья, сквозняк, неистово влетающий в тесные кабульские ворота, делает из нее серые паруса. Напрасно огородники, по колено в арыках, бросают воду под ноги прохожих деревянными лопатами; запах мокрой пыли, как и свежий запах лука с их грядок, делает еще гуще и терпче горячее дыхание дороги. Огороды и хлебные поля доходят до самых стен завода, охраняемых часовыми. Средневековое земледелие смешивает свое дыхание с запахом машин; вода, обежав ячмень и клевер, кукурузу и абрикосовые сады, еще холодная, чистая и душистая, льется в фабричные желоба, котлы и турбины.

В первых шерстяных отделениях густой запах курдючных баранов, конюшен, парного молока, шерсти, прелого стойла. У машины, небрежно и устало опираясь на пастушеский посох, стоит древний Иаков, библейский пастух с открытой грудью и белым тюрбаном;

возле своей динамо он так же гол, прост и покорен, как у стад своего ветхозаветного патриарха.

В общем, Восток ведь немой. И суета базара, и движение больших дорог, и кладбища с плоскими острыми камнями на могилах, похожими на зазубренные ножи доисторического человека, — не что иное, как тишина, в которой роятся краски, сгустки света и теплой энергии, совершенно как пыль в солнечном луче.

Все в зрении минутно, изменчиво и неподвижно в движении, — ну, да, неподвижно, как смерть. И вдруг в сердце самой горячей долины, в средоточии восточной немоты, на дворике, мощенном столетними камнями, из которых каждый имеет свою длинную и забытую миром историю, в стенах голых и горячих, как скалы или кладбища, где ни одна живая тень не осеняет каторжного труда, где нет ни влаги, ни ленивой зелени, где одна только пленная перепелка, повешенная в ивовой клетке на пороге мастерской, отчаянно и нежно кричит, разинув от жары свой клюв, — навстречу вам из корпусов, похожих на овечьи стойла, из низких дверей, выдыхающих запах скота и рабочего пота, с клекотом, с судорожной торопливостью, с бешеной настойчивостью стучат молоты и молотки, скрежещут железные челюсти машин, и электричество, наклонив шею под деревянное ярмо первобытного земледельца, задыхаясь и дрожа от бешенства, волочит тягчайший плуг.

Этот шум, этот живой трепет машин после полуденной лени полей производит впечатление потрясающее: это заговор против старых гор, мечетей, магометанского неба, лени, смирения и вялой нищеты.

Вся кровь бросается в голову, — ведь год не видели этой копоти, не трогали машины, согретой, живой. Серый кирпичный фасад, почерневшая рама дверей, лязг металла — может быть, чудо? Не Путиловский ли, не кронштадтские ли мастерские?

И страшно на минуту и жгуче-весело. Сейчас из этих низких дверей хлынет знакомая толпа, сам великий заговорщик, притаившийся в пыльной долине Кабула.

После тучных афганских взяточников, после слащавых иностранцев, после выдержанных англичан, у которых для нас есть такие корректнейшие улыбки, пересекающие лицо, точно поперечный надрез на кончике

пули, хочется пить, пить душный фабричный воздух, пить напряжение, пить чистую пролетарскую злобу, выдержанную, как в сухом погребе вино. Как в лихорадке, не могу понять широкой мягкой туши, которая уже стоит перед нами, кланяется, прижимая руку к тому месту, где под жиром, фланелью и кончиком пестрейшего платочка должно быть ее, тушино, сердце.

Директор завода. Взаимно киваем, приседаем, заботливо справляемся о здоровье: «Джур — ести, хуб — ести, — как вы поживаете, не тяготит ли вас куча мяса и жира, которую вам приходится носить на себе?» — «Нет, нет, слава богу». И надзиратель тростью отгоняет от нас кучку собравшихся рабочих.

В первых сортировочных мастерских еще деревня, скотный двор. Подростки, сидя на глиняном полу, щиплют и раскладывают горками черную, рыжую, белую шерсть. И не рабочие, а подростки-поденщики, которым сегодня — фабрика, завтра — косьба в поле, поливка дорог, — все равно. Дети безземельных крестьян, которых фабрика пососет неделю-другую, а потом выкинет как шлак, не наложив никакого профессионального отпечатка, кроме разве желтой бледности и чесотки.

В доме машины (точный перевод афганского термина «машин-хане») они не пойдут дальше прихожей и выгребных ям. Надзиратель хлещет по их голым спинам, как по осликам, флегматично перебирающим крепкими тонкими копытами под балдахином навьюченной зелени.

Прикосновение первой же машины уничтожает патриархальный вид помещичьего двора. Зубцы машины расчесывают всклокоченную шерсть и заодно — нервы, мускулы и уклад крестьянской жизни. Горячим дыханием пара со стальных деребенок сдуваются белые мягкие хлопья шерсти. На стропилах и стенах они висят инеем, зимним легким кружевом. Ласточки несут себе в гнезда под потолком это добро, потерявшее уже полевой запах. В воздухе легкая дымка коротких белых волосков, шерстяная пыль, вьюга, наносящая сугробы на легкие рабочих. Лица бескровные, в крупных каплях пота, бессмысленно заверченные кружением ремней. Люди, проглоченные и переваренные первой машиной. И дальше, чем сложнее аппараты, чешущие

шерсть, свивающие ее в нить, потом в широкую мягкую и теплую ленту, тем больше испуга на лицах крестьян и пастухов, обслуживающих непонятные для них бердовые колеса, винты и зубья.

Точно с язвительной карикатуры эта сцена: голый до пояса, высушенный тропическим жаром и искусственным летом машин, седой работник своим старым крестьянским серпом счищает с двухаршинной шпульки остаток прилипших ниток. Над ним толстый директор, — толстый неимоверно, неприлично, до того складчатый и мягкий, что в сборках его живота однажды во время купанья задохлась лягушка, о присутствии которой узнали через несколько дней по неприятному запаху. Сколько еще поколений рабочих заживо сгниет в складках восточного жира, пока это тучное тело, в свою очередь, не пойдет на удобрение!

Другая картина. На стене — аппарат, измеряющий крепость пряжи. Он ее рвет постоянно, все увеличивая нагрузку. На циферблате крупными, деловитыми английскими буквами — «Манчестер», в уровень с ним голова старика в белом тюрбане, с глазами темными и глубокими, похожими на те дыры, которые роют какие-то зверушки в сухой и голой земле могил. Он следит за нитками, которые тянутся, дрожат и рвутся, его научили различию цифр, движению бегающей по кругу стрелки. Но когда же эти красные от пыли глаза поймут магическое слово, название великого промышленного города, поймут таинственный привет, который эта машина передает в пустыню оттуда, из столицы машинного царства и эксплуатации, где уже грудь с грудью схватились труд и капитал!

«Манчестер» — это значит: мы победим. «Манчестер» — не отчаивайся: мы, твои братья, идем тебе на помощь, через 50, 100, пусть даже 200 лет, но наши руки встретятся. И машина яростно шелестит: «Ну, да, ну, да», хотя никто еще не слышит и не умеет понять ее голоса.

Машина — жестокая учительница. На сто крестьян, обслуживающих ее, она вырабатывает одного рабочего. Съест, исковеркает, выпьет целые деревни, чтобы выплавить первый промышленный пригород. На крепостной кабульской фабрике, где бьют палками по голым

плечам, где в закроечной какие-то живые трупы, старики и дети, или то и другое вместе, огромными ножницами дьяволов Гойи как бы отрезывают себе ткань на саваны, где хозяин фабрики — вотчинный помещик, главнокомандующий, шеф полиции и абсолютный монарх в одном лице, — на этой фабрике все же успели образоваться пролетарские дрожжи, нечто, носящее в себе будущую историю страны.

Это — ткачи, — высококвалифицированные рабочие, собранные со всей страны для поощрения местной промышленности.

На них тяжелее всего ложится полукустарное и крепостническое, полуевропейское хозяйство. Их станки представляют из себя своеобразную смесь IX и XX веков, электричество только помогает мастеру, — его искусные руки остаются главным орудием производства. Челнок приводится в движение веревкой, обмотанной вокруг левой кисти, в то же время ногой ткач меняет цвет пряжи, вводит в нее новые оттенки сообразно узору. Труд, требующий личного вкуса, ритма, напряженного внимания. Фабричный темп сказывается только в безжалостной механизации этого чисто-ремесленного искусства, в установлении нескончаемого рабочего дня, — одним словом, в превращении живого мастера с его навыками, уменьем, индивидуальными способностями в двуногую машину.

В этом отделении наглая тросточка надзирателя как-то ни разу не проявлялась, и даже величественный живот директора не снискал привычных почестей. Никто не поднял глаз от работы, никто не улыбнулся. Только челноки с каким-то отчаянным нетерпением, с грохотом продолжали бросаться из стороны в сторону. Если бы вещи могли приносить счастье или несчастье, я бы не позавидовала тем, кого оденут эти плащи и одеяла, насквозь пропитанные здоровой классовой ненавистью. Еще несколько лет, и эти тонкие, вымирающие на фабрике художники-мастера, которые видят все крушение своей неторопливой, пестрой жизни, пригретой солнцем сквозь щель базара, в фабрике и электричестве, поймут, что машина — их единственный союзник, из рабов станут господами этой небывалой на Востоке техники.

Вот, наконец, сердце машин-хане. Черная пещера, такая жаркая, что платье сразу прилипает к телу, чувствуется головокружение, и так странно запах смазочных масел перемешан с ароматом ванили. Где-то близко за стеной цветет молодое миндальное дерево.

Котлы до потолка, топки, открывающие на минуту красный рот, обведенный полосой побелевшего железа, и бесконечные ремни, и прерывистое спертое дыхание, точно все это громадное, пылающее отделение бредит о море холодной воды, о синей ледяной глубине, чтобы потушить в ней свое сгорание. И вот хозяин всего этого святая-святых, повелитель огня, света и энергии. Тонкое лицо, мягкие черты индуса, тюрбан, связанный ровно, как на статуях Будды. И как только увидел, как только обернулся, у него на лице тонкими белыми языками бледности, такой, какая окружает металлы молочным нимбом в минуту их высшего сгорания, написалось странное, страшно-нежное, прозрачное братское выражение. За шумом все равно в этом аду слов не слышно. Но было так, как будто мастер успел сказать нам несколько особенных человеческих слов, которых мы никогда не должны забыть. Так, точно он, уже увидевший в подземном огне своих котлов весну мира — предсказанное горение, — из года в год, из часа в час, задыхаясь в своей горячей тюрьме, ждал этой минуты, чтобы сказать, как его испепеленная жизнь ясно уходит в огонь.

Какое одиночество должен испытывать этот погибающий между тростью, директорским животом и раболепными, битыми, перепуганными массами, все классовое сознание которых не шагнуло еще дальше мальчишеского озорства и ненависти разоренных ремесленников к их мучителю — машине.

Директор заметил странную улыбку и волнение своего высококвалифицированного, дорогого и опасного раба, подвинулся ближе, насторожился. И, не находя слов, немой от грохота машин, стесненный присутствием рабовладельца, мастер только крепко пожал руку и быстро отвернулся, — кто знает, отвернулся на всю жизнь, которая пройдет в одиноком, почти мистическом предчувствии революции.

Глава четвертая

ПЛАЦПАРАД

Горячее, плоское, выметенное ветрами поле, вокруг которого пыльные и голые горы лежат рыхло насыпанными кучами, как труха и солома вокруг гумна.

В глиняную чашу, образуемую долиной, льется поток немилосердного света. Все внизу должно умереть, растрескаться, изойти жаждой, развеяться покорной пылью, — или солнце в этой печи выплавляет золотые металлы, которые когда-нибудь блеснут на костре сожженной земли прохладно и радостно, как отдыхающие после смертельного жара скрещенные руки на груди больного.

На этой жгучей площади ежедневно производится военное учение. Медные трубы, отливая на тропическом солнце, стоят поодаль и кричат на проходящие войска однообразно и самовлюбленно, как все военные марши всего мира. Полки маршируют в полной форме, то есть в теплых мундирах, в тяжелых зимних сапогах. Маршируют часами на этой пыльной сковороде, на которую солнце, как масло, подливает 60-градусный зной.

В большинстве солдаты поражают своим маленьким ростом, тщедушием и молодостью. Подростки, которых особенно много, отбывают воинскую повинность за богатых купеческих сыновей, за аристократию базара. По местным законам, всякий новобранец имеет право нанять вместо себя заместителя, — мера, благодаря которой большинство армии состоит из безземельных крестьян и Lumpen-Proletariat'а, особенно этого последнего. Наоборот, высшее офицерство подбирается и выращивается с оранжерейной тщательностью, в непосредственной близости к трону и эмирской семье. Детьми, то есть игрушечными кадетиками 6—10 лет, они бывают приглашены даже на женскую половину двора в дни коронации и праздников независимости.

Здесь, среди шуршанья женских юбок, под аккомпанемент балованной возни сердарских детей, в толпе служанок, исполняющих роль «народа» для честолюбивых затворниц, то аплодирующих гаремным речам на тему о «прогрессе и просвещении», то через минуту ожесточенно дерущихся за уцелевшие после обеда сладкие блюда, — в этой атмосфере маленькие солдатики

представляют мужскую половину рода человеческого и с достоинством несут свои депутатские обязанности. Они козыряют и шаркают ножкой голубым шальварам ее величества и, придерживая игрушечный палаш игрушечной рукой, с миной мужского превосходства пробираются через женскую толпу поближе к засахаренным фруктам.

С летами дверь эндеруна так же плотно захлопывается для этих пажей, как и для всякого мужчины, не связанного с эмирской семьей тесными узами крови. Но в казарму и на плацпарад они уносят с собой детские воспоминания о том, как в сумерки сняют драгоценные камни, как женщины умеют подыматься по длинным белым лестницам и как они кричат на качелях. Эта память о близости к гарему, идеализированная, как все детские воспоминания, постепенно превращается в фанатическую преданность династии и эмиру. Патриархальная простота, с которой при этих мальчиках открывается вся интимная сторона семьи, должна производить особенно сильное впечатление в такой стране, как Афганистан, где личная жизнь каждого огорожена высокой глухой стеной и черными чехлами, где нет женской дружбы, где самое их лицо прячется, как нечто непристойное. В фанатичной стране память о детских днях, прожитых среди цариц, остается на всю жизнь, вспоминается взрослыми, как немыслимый сон, как самое счастливое и радостное в жизни.

Конечно, при таких условиях между солдатами, нанятыми на службу богатыми новобранцами, и квалифицированным офицерством, в детстве причастившимся близости ко двору, его интриг, его красоты и сытости,— между офицером-камерпажем и солдатом из босяков — очень мало общего.

Армия воспитывается в жесточайшем религиозном фанатизме. За нарушение поста, за глоток воды и корку хлеба, проглоченную солдатом после томительного учения под тропическим солнцем, его подвергают позорному публичному наказанию. Виновный должен проехать через весь город верхом на осле, лицом к хвосту, причем народ и конвоиры подвергают его побоям, плюют в лицо, поносят самыми отборными ругательствами. Во время 30-дневного поста солдаты и вообще трудовое население пьяно от голода, жажды и жары.

Под ревнивым взором мулл, принужденные работать, как всегда, от зари до зари, голодные толпы аскеров, фабричных рабочих и ремесленников доходят до полного истощения, до нервной горячки, до злобного воодушевления. Конечно, гвардейское офицерство (махи) только внешним образом разделяет всенародный пост. На время байрама высшие чиновники, двор и вообще люди богатые удаляются в свои загородные дома, где ничей ревнивый взор не проследит их маленьких вольностей. Аристократия, к которой прежде всего принадлежит верхушка армии, уже тронута легким скептицизмом эмира, разделяет его ожесточенную борьбу с имамами за светскую власть.

Просвещенный абсолютизм, приступив в Афганистане к своим первым реформам, не мог не столкнуться с поповской реакцией и на оппозицию седобородых законников и клерикалов ответил легким ядом неверия, скептической усмешкой, самодержавным вольтерьянством, прикрытым, впрочем, маской внешнего соблюдения обрядов.

Но эта лицемерная набожность, потихоньку закусывающая у себя дома и через щелку наблюдающая добросовестное изнурение базарной бедноты и казармы, в конечном итоге еще увеличивает пропасть между кастой командиров и солдатским сырьем.

В лице офицерства, прошедшего школу «мактаб-и-харбие», — спесь галунов и шпор соединяется со спесью первобытной интеллигенции.

В военном училище, кроме верховой езды, стрельбы и маршировки, проходится еще география, история, химия, иностранные языки. Все это, конечно, с точки зрения панисламизма и шариата, по нелепым учебникам или изустному преданию, которое заставило бы покраснеть ученого араба XVI столетия, — но все-таки проходится. И хотя во главе училища стоит придворный шут, потеха всех публичных сборищ, жестокий скоморох с пьяной, красной и опухшей мордой, — он свое дело знает и палкой вколачивает в головы своих питомцев грамоту, оскопленные, усеченные, вывернутые наизнанку науки, а также всякие заграничные хитрости с дробями, селитрой и патриотическим красноречием. Из стен «мактаб-и-харбие» молодые люди выходят, таким образом, не только с затянутой талией, железными

ногами и резиновым позвоночником, но и с великолепной гордостью Робинзонов, разбавленных миллионами неискушенных Пятниц.

Таковы верхушка армии и ее низы. Между этими полюсами лежит весьма многочисленный слой рядового, служилого офицерства, всеми корнями вросшего в солдатскую массу, живущего с ней одной жизнью и одними интересами. Все их сближает: и общая скудость потребностей, и общее невежество, так как оба, и командир и подчиненный, зачерпывают воду рукой из ближайшего арыка, едят руками свой постный плов, чистосердечно молятся на заходящее солнце, бесконечно пресмыкаются перед высшими. У обоих один идеал — как-нибудь выбиться наверх, завести хорошую лошадь, палатку, цветной халат, купить жену и вечером, развалясь на веревочной кровати, снисходительно болтать с кучкой слуг и подчиненных, скинувших туфли на краю ковра и сидящих кругом на корточках с униженными улыбками.

О мечта! Один несет пару яблок, другой — кальян, сделанный из содовой бутылки, третий — метелку для отгоняния мух. И на закате им играет полковой рожок томительную, немного гортанную, длинную-длинную зорю.

Таким образом, рядовое, служилое офицерство ничем не возвышается над уровнем армейского большинства. И офицер и рядовой получают нищенский оклад, целый год, зиму и лето, носят один и тот же потрепанный мундир, одевая его только в караул и тотчас скидывая в казарме, где остаются в одном белье, кишат одними и теми же насекомыми, спят на полу на вшивой овчине, ходят по снегу босиком, бьют других и сами получают по зубам.

Это — офицер из бывших рядовых, фельдфебель, произведенный в старший чин после какого-то фантастического испытания. Между этим офицером и камерпажем, скачущим в свите эмира, такая же разница, как между арабской лошадью и смиренным осликом, до гроба таскающим на себе то пышный роброн из клевера, то дрова, то мучные мешки. Фигура этого офицера, неловко зажавшего под мышкой палаш, застегнутого на все пуговицы чистого и сильно поношенного мундира, украдкой почесывающего жесткие волосы под парадным колпаком, как-то знакома.

Несомненно это — герой будущей афганской литературы, сентиментального Диккенса в чалме, буржуазной оппозиции и национальных войн. Пока, ничего не подозревая о таком блестящем будущем, он сидит на полу, и деревенский брадобрей, без мыла, растерев руками его жесткие худые щеки и колючий затылок, скоблит их огромной бритвой.

Около плацпарада — военный госпиталь.

К жару потрескавшейся земли он прибавляет запах карболки и формалина. Посредине квадратного двора грядки цветов, поливаемых медицинскими отбросами и мочой, что, впрочем, не мешает им цвести и благоухать, как бабочкам, приросшим к земле.

Кругом, вдоль четырех стен — четыре больничных корпуса: палаты, медицинская школа, бани и аптека. Один из врачей встречает нас в парадном головном уборе с кисточкой и в больничном халате. Взаимно осведомившись о здоровье, мы переходим к осмотру. Прежде всего операционная. Куб для кипячения воды, деревянный стол, покрытый клеенкой, несколько ведер, — вот и вся обстановка хирургического отделения.

В соседней инструментальной, довольно богатой наборами ножей, ножичков, пил и т. п., пожилой служитель полой своего халата срочно перетирает пыльные инструменты.

Теперь самые палаты. Надо признать, что в них господствует абсолютная физическая чистота. Земляной пол чисто выметен, от ночных столиков ничем предосудительным не пахнет, белье свежее. На хирургических больных чистые перевязки. В палате маляриков и тифозных, лежащих вперемежку, все тот же внешний порядок. Чистый пол, чистые горшки. Больные, с их блестящими от жара губами, с лимонно-розовым цветом лица лежат, как в строю.

Останавливаюсь возле пожилого солдата, истощенного и вымотанного многонедельным жаром.

— Чем этот человек болен?

Доктор с гордостью выступает вперед:

— Или тифом, или малярией.

— Как же вы его лечите?

— Одновременно от обеих болезней. От тифа — и, на всякий случай, даем хину от малярии. Это сред-

ство, — говорит врач, — я сам изобрел и применяю его с большим успехом.

Результаты налицо. Тиф, возвратный тиф и тропическая лихорадка мирно лежат рядом, передаваясь от одного к другому. При таких условиях доктор прав, подозревая в каждом тифозном непременный возврат, в каждом малярике, в бреду положившем худые ноги на подушку и свесившем безумную голову под кровать, — будущего тифозного.

Так лечит профессиональный врач, но что будет с больными, когда они попадут в руки местных медиков, пока еще сидящих на школьной скамье, но надеющихся через год начать самостоятельную практику? Их человек 15, юношей, навербованных из учеников военной школы. Сидя вокруг своего медицинского фельдфебеля, уже получившего нашивки за хорошие успехи, они нараспев хором повторяют изречения из рукописного учебника.

Вот перевод этого урока: «Туберкулез. Эта болезнь заразительна, микробы ее передаются по воздуху и по воде...»

Туберкулез, микробы! Очевидно, несмотря на юный возраст, молодые люди обладают серьезными познаниями. Прошу переводчика задать классу следующий вопрос: «Отчего во время холеры нельзя пить сырую воду?» Замешательство, никто не может ответить. Зато на мой поклон юная медицинская гвардия отвечает лихим военным салютом.

Дальше опять все хорошо. Опрятная кухня, аккуратные кладовые, просторная строящаяся баня. Нигде ни соринки, ни пылинки. Дисциплина, жара, отчаянные бредовые крики. И солнце печет.

Глава пятая

ХИНА, КАРБОЛКА И МАЗИ ИЗ БАРАНЬЕГО ЖИРА

Было бы смешно подходить к первой афганской больнице с европейским масштабом. Важно самое ее существование, самый факт появления градусника под

мышкой афганца, высохшего и черного, как те ужасные бродячие собаки, которыми кишат все базары Востока, — они настолько ленивы и измучены, что ни окрик всадников, ни автомобильный гудок не может их поднять с середины дороги, где они спят в теплой, усыпляющей пыли, постоянно оглашая воздух всхлипывающим воем. Реомюр под мышкой такого афганца — пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летоисчисление.

Кроме того, больница в жизни беднейшего населения — первая оседлость, первая долгая остановка в пути.

Ведь всю жизнь афганец кочует, еще ребенком с подведенными сурьмою глазами, на ослице, которая несет его мать. Если он уроженец племен, то ежегодно, через горные перевалы Гиндукуша, от границ Индии к альпийским лугам Хазареи, от английского колониального шлема, от стройных телеграфных столбов Ост-Индской компании, как ряд черных берез, взобравшихся на самые крутые вершины, — к глиняной крепостце афганского наместника, его серебряной плетке, чеканенной в Газни, к медным грошам гератского базара, где щепотку риса и хлебную лепешку еще продают за динарий Александра Македонского.

Если он крестьянин, то по бледным от жара дорогам он всю жизнь ведет продавать пару баранов, лениво потряхивающих курдюками и оставляющих за собой острый запах навоза и мускуса. Он вечно едет в город со своим хлебом к мелочному скупщику, у которого мука пополам с пылью, но новый, спесивый, как его чалма, из грязи и воды слепленный домик рядом с постоялым двором, где вечно ржут лошади, где прохожие пьют и моются из грязного арыка, и где набожные люди на виду у всех молятся, застыв в честных поклонах и провожая нетерпимыми глазами всякого прохожего, его осла, его козу и его полосатый плащ.

Если больной, который теперь лежит с выражением безграничного покоя, как дорога, изрытая черными сухими колеями, по которой вдруг перестали ездить, и она блаженно зарастает травой и тишиной, — если он был солдатом, то это тоже значит вечное скитание, пот, солнце и пыль в глаза. И все эти без определенной цели всегда идущие, всегда выветренные и выгоревшие на

солнце, лица которых напоминают корабельные вещи, — так с них воздух и свет смели все лишнее, все теневое.

А ведь идти так далеко до 60—70-ти лет, мимо стольких костей, белеющих на песке. Только на Востоке старость суха и подвижна, как пыль. Только на этих дорогах без конца и начала встречаются белые, сухие старухи с открытым лицом, с загнутыми туфлями под мышкой, которые они несут, точно пару серебристых египетских голубей на продажу. Над этими бабушками, бегущими вперед мелкими, едва приметными, ровными шажками, как часовая стрелка от секунды к секунде, тяготеет один страх: остановиться. Остановка — это конец. Это острый, серый камень в серебристой мяте, мягко переливающейся, как пыль больших дорог в лунные ночи. Да, да, и вдруг больница. Постель, хлеб, рябой мальчишка, который даром выносит горшки и еще вытирает тарелки, клизмы и ночные столики концом своей просаленной, но все еще блистательно свисающей чалмы.

Таков первый покой, первый досуг, — правда, расписанный тифозными и сифилитическими пятнами, но все-таки его святая тишина превыше бредовых криков, больничной вони и грязи.

Восточная жизнь всегда в плоскости: вдоль высокой глиняной стены, жаркой, как печь, а сверху, — вдоль полуразрушенного карниза, как старый плащ — неистлевающей бахромой, обшитого куском густого, бархатного, низкого неба. Вдоль этой неизменяемой бесконечной стены все и движется и живет. Но больница — это разрез поперек, в глубину, до костей. Визг перееханной собаки тоже в плоскости: он начинается от копыта, от пинка ноги и кончается там, где пешеход дойдет до лавки с виноградом, а собака свалится в канаву зализывать лапу, — все это вдоль, все в одном измерении. Но ампутированная нога, но капли, которые каждый день щиплют изъеденные трахомой веки, но обезображенное лицо под таинственной чадрой, вылезающее из складок «Тысячи и одной ночи» с дьявольской насмешкой, — это уже протяженно, это концы и начала, сведенные вместе, это та же стена, но в которой сифилис и пендинка проели неизлечимую дыру, и вот в нее видно и дом, и крохотный, со всех сторон запертый сад, средневековье, невежество и преступление.

Во главе общественной больницы стоит турецкий врач Нуренбек. 20 лет назад он учился в Париже, потом каким-то образом попал в Кабул и сделался любимцем старого эмира. Основал первую больницу, устроил рассадник оспенной вакцины и, перезабыв давно и упростив до крайности свои парижские приемы, с любовью и энергией резал, прививал, излечивал или отправлял на тот свет. Во всяком случае, одними прививками спасал ежегодно тысячи человек. В награду Хабибула-хан подарил ему маленькую невольницу, на которой доктор, чтя Бурже и добродетель, счел долгом жениться. И сейчас на всех женских аудиенциях обязательно появляется его ханум, сморщенная, как высохший лягушонок, с кирпичным румянцем поверх тяжелых серых рытвин, пересекающих ее раскрашенное лицо, как оросительные канавы высохший пустырь. Ее сухие лапки с нечистыми ногтями, всегда подогнутые как у удивленной птицы, прячутся в ярко-розовые шелка.

Трудно сказать, как они ладили и жили вместе, но из тех же розовых складок высовываются головки трех детей доктора, худеньких, подвижных, с затененными глазами испорченных гамэнов, с приседаниями, улыбками и кружевцами на панталончиках, — это уже от вольноотпущенницы, от правоверной рабы.

У доктора много книг, — он читает и любит Шекспира и 15 лет не говорил ни с одним европейцем.

И, может быть, от того, что над его благонамеренной головой мелкого буржуа (в черной ермолке, какие в Париже носят портье и профессора) полжизни дребезжала скрипучая погремушка нелепейшей из всех комедий, лицо доктора Нуренбека усвоило странную гримасу. Вместо смеха он ни с того ни с сего прищуривает один глаз, растягивает рот до ушей, и его рантьерский животик в широком вырезном жилете бесшумно подпрыгивает и трясется.

Но дело в том, что выпученный глаз при этом смотрит без всякого веселья, испуганно и удивленно. И тогда кажется, что уравновешенный, в полном смысле слова порядочный Нуренбек издевается над собой и над циничным фарсом, который получился из его жизни.

Он любит оперировать. Любит пройти в операционную через три тесных и вонючих палаты, причем его ассистент, старый афганский знахарь, с трудом про-

менявший приворотные травы, порошки из собачьего семени и заклинания на олеум рицини и карболку, шествует за ним и с видом колдуна на всякий случай бормочет над приготовленными инструментами испытанные заговоры. В такие минуты старику кажется, что он знаменитый профессор, перед которым открывается ряд белоснежных палат, и что в конце концов из рога изобилия, некогда вытряхнувшего в его объятия скудоумную ханум, выскользнет и орден Почетного Легиона. И мечтая о Saint Lazare, он браво режет грязные, худые и голодные тела, не замечает слабости собственной руки, проколотых сосудов и пузырей и грязного передника, о который его ассистент вытирает ножи. Может быть, без этой неунывающей бодрости, без иллюзий, помогающих превратить скверный барак в образцовую клинику, милейший Нуренбек не мог бы работать в ужасных условиях, в которых он мужественно провел 20 лет, не мог бы сделать большое и нужное дело. У него нет ни инструментов, ни перевязочных средств. Усевшись на глиняный пол и размотав перед врачом какой-нибудь гнойник, гангренозное пятно или рожу, больной затем спокойно подбирает с полу свои лохмотья и старательно ими перевязывается.

А все тяжело, почти безнадежно больные, которых больница вообще не принимает, стараясь избежать лишнего процента смертности, подрывающего ее авторитет, в глазах духовенства и всякого рода ханжей?

Что делать доктору с 10-летним ребенком, которого отец, молодой еще солдат, принес на руках? Кости и кожа, опухший и размягченный череп, сведенный на сторону. Блуждающий, как у всех смертельно больных, мудрый и невнимательный взгляд — и жизнь, все еще жизнь в омертвелой коже, в костях, торчащих из-под нее, в крике. Какая тут надежда! Врач отворачивается к другому, и отец, посидев совершенно одиноко на скамейке, медленно заворачивает полумертвое дитя, еще медленнее встает, еще медленнее уходит. Ах, черт! эти ужасные паузы, это стояние на месте, эта повернутая уже и все еще ждущая, спрашивающая спина.

Вот женщина, которая сейчас пойдет на операцию. Приблизительно месяц назад ей удалили катаракт, после 20-летней слепоты она начала видеть. Оставалось что-то исправить в ее неправильно поставленных ве-

ках, — пластика, как говорят врачи. Знахарь, решил, что справится с этой пустяковой задачей не хуже проклятого кафира. Ковырнул в глазу кухонным ножом, — больная ослепла уже навсегда.

— Ну, да, — говорит Нуренбек со своей гримасой. — Ces imbéciles...[1]

Сколько поэтов пело восточную чадру! Сколько с ней связано неопределенных мечтаний! Под ее мрачными складками чудится непременно красавица, изящество которой выдает узкая пятка, мелькающая из-под покрывала. Что же, в больнице таинственная черная занавеска подымается.

Вот пришли три «ханум». Маленькая и сгорбленная, пошлепав вокруг доктора туфлями без задков, подымает чадру дрожащими руками. В черном окладе откинутого покрывала — чистенькая старушка, сухая, как пыль, и от белых широких рукавов ее рубашки пахнет чем-то полевым, как от мятных зарослей на старинных кладбищах. У нее болят глаза: вокруг синих немного мутных зрачков — красная густая полоса, благодаря которой все лицо похоже на чистый сухой лист, изъеденный гусеницами. Ее старшая дочь, тоже больная, долго не хочет открыть лица. В таких случаях уговоры бесполезны. Чем больше просить, тем упорнее будет сопротивление. Доктор открывает входную дверь перед другими пациентами. Старушка и ее занавешенные дочки приходят в волнение. Мать дергает врача за рукав, и молодые женщины, отвернувшись, втянув голову в плечи, выползают из своих коконов. На белом, одутловатом лице старшей — красные очки трахомы. Ее смуглая красивая спина изъедена экземой. Осматривать ее одно мучение. Пациентка, для которой врач ни на минуту не перестает быть кафиром и мужчиной, считает своим долгом разыгрывать перед ним все условное действо стыда, сопротивления, всех этих бедных жестов с закрыванием лица, криками и нервным смехом. Без этого она не может, в этом вся женская порядочность, престиж и ценность. Иначе какой же смысл в чадре, в вечном скрывании своего тела, — преступного, запрещенного, отвергнутого законом!

---

[1] Эти остолопы... *(франц.)*

Очень немногие открывают свое лицо, смеясь, легким и порывистым движением, которое их сразу роднит со всем, что молодо, красиво и не боится смотреть прямо в глаза.

В общем, при всех строгих предосторожностях, глухих стенах и оградах, при наличии чадры и сверхъестественного лицемерия и жестокости большинство женщин страдает венерическими болезнями. Мужья ли их заражают, возвратившись из Индии со своими караванами, или они ухитряются грешить, будучи затиснуты между двух страниц корана, — аллах их ведает, а пока что черноглазая, ласковая и веселая женщина, у которой так влажно и свежо блестят зубы, смеется на все вопросы и в конце концов обходит любопытство доктора, лукаво и притворно-добродетельно открывая ему для уколов не свою стройную и чистую спину, а узкую полосу, заранее прорезанную в широчайшей одежде.

Странно, но приличная палата которой-нибудь из наших общественных больниц производит гораздо более унылое, даже отчаянное впечатление. Пять этажей, запах капусты и болезней, скуластая сиделка, грязный халат и грязная ванна, липкий и пахнущий потом градусник.

В чем же суть? Неужели из-за грядки цветов перед Таб-ханой, из-за жаркого неба, из-за экзотики с ней легче примириться, чем с клоакой Обуховской и Калинкинской?

Во-первых, больные, ожидая очереди, не сидят в приемной, не перелистывают альбомы и не читают растрепанной, инфекционной Карениной, а лежат или сидят на жаркой, сухой земле. По дороге в операционную они еще раз оглядываются и вносят с собой широкие линии гор и еще более избыточные, клубящиеся, ко всему безразличные очертания облаков, ползущих в долину через голые горные края грозовой пеной.

Терпение? Нет. Покорность судьбе? Да нет же! Земля, даль, ширь, дороги как ручьи, неодушевленное эмалевое небо. Что тут значит чья-то лихорадка, переломанные кости, больной ребенок? И перед стихиями есть некоторое равенство всех. Не социальное, конечно. Один ест плов каждый день, на его бороде масло, и конюх бежит рядом с его лошадью, в то время как другой продает невкусные маленькие арбузы, или ночью, положив

голову на сухую листву, караулит чужую кукурузу, которая блестит в неясном свете звезд, как золотое сито. Все это есть — и трещины и пропасти. Но тем не менее... И богатые дома и бедные лепятся из одинаковой грязи вдоль не знающих тени дорог. И богатые и бедные носят чадры. Их красота, их грудь, вышитая серебром по оливковому бархату, их спесь, — все бесполезно. Никто не увидит.

И спят все на полу, — в одном тюфяке больше, в другом меньше блох. И только.

Едят руками. Переехав границу, молодые купцы, прежде всего скинув лаковые туфли, моют в ручье стесненные ноги и потом требуют плов, чтобы его подпихнуть в рот большим пальцем, а руки вытереть о фалды habit noir[1]. В холеру все стукают лбами о земляной пол по 20 раз в сутки. И мертвых хоронят все одинаково.

Равенство в смерти. Только на могиле святых есть отличительные знаки, — старинный мраморный рельеф, голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным, — и богатым и бедным, — яма в сухой земле, заостренный камень, и больше ничего.

Быстро-быстро, точно боясь опоздать, бежит толпа родственников за носилками, на которых лежит тело, завернутое в простыню. Торопливый короткий и простой обряд, а за ним забвение.

Вдоль дорог, среди плодородных полей, на перевалах — везде острия безыменных кладбищенских камней, никто не знает чьих.

Нет свежих могил, все одинаково стары.

На следующий день женщины, которым не позволено присутствовать на погребениях, с трудом отыскивают свой осколок, свою кучу песка.

И, может быть, именно потому, что в маленькой библейской стране, где еще пашут деревянным плугом, так велико общее ничтожество перед стихией, будь то горная цепь, пророк или эмирская власть, — и хождение по мукам больницы принимается с тем же ровным безразличием, как жизнь, солнце, взятки и смерть.

---

[1] Фрак *(франц.)*.

В стране, где так просто умирают, где бедность естественнее засухи, клубок болей и безобразий, сжатый в три больничные палаты, ничем не выделяется. Яма, в которую грязной струей стекает гной, отчаяние и беспомощность Кабула, не нарушает его пыльной гармонии. Стекла разбитых бутылок во дворе госпиталя, трупный запах, смешанный с ароматом его цветочной клумбы, одинаково радостно дышат на солнце, так же покорно и беззаботно смешиваются, как пестрота, вонь и радость жизни на любом восточном базаре.

Глава шестая

ЗАКРЫТАЯ ЖЕНЩИНА С ЗАКРЫТЫМ РЕБЕНКОМ

В последний день рамазана все женщины Кабула собираются в сад императора Бабура. Все, без различия возраста и общественного положения, приходят на праздник молодой луны; появлением ее лукавого, тоненького серпа кончается тридцатидневный пост. До ворот сада тысячи и тысячи женщин совершенно похожи друг на друга. На них черные покрывала, черные шаровары, черные толстые чулки, даже прорезы глаз затянуты черным кружевом. Идут по знойным дорогам, по тропинкам среди высокой зеленой ржи, через шумный и пестрый базар вереницей безликих, замаскированных привидений. А на руках — праздничные, прекрасные дети, в шапочках, усаженных бумажными бабочками, с глазами, обведенными сурьмой, с бубенчиками и бусами на руках и ногах. Мертвые несут смеющиеся цветы, мертвые от пыли прикрывают полами своих саванов лица детей.

Вокруг ликующая природа, лиловые горы в снежных шапках; душистые луга клевера, сады, из которых доносится воспламененное дыхание роз. За высокой глиняной стеной Бабура маски исчезают. Ветер подхватывает тысячи белых покрывал в блестках и бумажных цветах. По дорожкам с особенной какой-то грацией, выработанной веками, бегут пышные шаровары, загнутые туфли. И до полу свешиваются похожие на

косу черные широкие ленты, прикрепленные к затылку под прозрачной фатой. Богатые горожанки в шелку, с рыхлыми лицами и ленивыми глазами, и женщины племен в лохмотьях, похожие на переодетых королев, по трем лучам-дорожкам подымаются в гору, к легкому летнему дворцу. Там вековые чинары, широкие ручьи, падающее течение которых кажется остановившимся.

Очень молодые женщины бегут к качелям, но большинство садится прямо на землю, шумными рядами, которые понемногу успокаиваются и замолкают. И наконец говор становится похожим на рокот, на зуд веретена, на неподвижный полет тех золотых мух, вибрирующие крылья которых часами стоят в воздухе, точно повисшие в нем, уснувшие, застывшие на месте. Праздник сводится к созерцанию, застоявшиеся женщины, отвыкшие от движения и воздуха, быстро устают от непривычной свободы. Их тянет к ковру, к земле, к привычной позе с поджатыми ногами. Они садятся отдыхать, как птицы, отвыкшие от полета. Тела, рыхлые и белые, как пух, льются в удобные, оплывшие, мягкие движения.

В толпе этих матерей, спокойно опустившихся на землю, есть удивительные лица. Особенно вот эта полная, зрелая, красивая женщина. Свое место она нашла не спеша и, чуть задохнувшись от тех нескольких шагов, которые пришлось пройти от экипажа до тенистых чинар, опустилась на подушку. Затем, успокоившись, подняла лицо, — лицо Марии — чистое, крупное, спокойное, с очень белым, гладким лбом, тонкими бровями и таким грустным, нелюбопытным, ничего не ищущим взглядом, точно эту свою жизнь, похожую на всякую другую, она прожила уже много раз. Ее начало, ее конец — вот как этот сонный водопад с остановившейся водой. И примирилась с безнадежно-ровным, предустановленным, неизменным ее течением. Монотонный крик, который не умолкает весенними ночами; убыль луны и полнолуние; первые цветы и первый снег должны ей внушать животный ужас, которого никак не поймет деловитый, немолодой, зажиточный муж. Она предугадывает черное время, которое течет к дыре и в нее вливается, как осенняя вода, и видит эту глинистую, мутную, мелководную Лету Востока так же спокойно, как дым-

чатые горы, тепло, восторг зрелой весны, раскинутые перед ней в солнечном сиянии на десятки-десятки несчитанных верст.

Но к какому же зрелищу готовятся толпы зрительниц? Ну, хорошо, прошли мы, и нас встретили удивительно дружественными «селямами», испытующим и одобрительным прикосновением старческих рук, улыбками молодых, детским плачем и визгом. Особенно бедняки женщины, пришедшие в Бабур босиком, в лохмотьях, прямо из своей нищенской жизни на голой земле.

Никто не клянчил, не протянулась ни одна рука, — просто приветствовали, показывали, что понимают, мол, кто мы, чьи «ханум», и что между нами есть уже та не выраженная словами инстинктивная социальная симпатия, которой тщетно стараются помешать восточные школы и идеология восточного базара, — симпатии самых глухонемых масс, какие мне когда-либо приходилось видеть. Нет, зрелище только начинается. Постепенно съезжается знать. И вскоре перед тысячами, перед этим морем крылатых покрывал, лохмотьев, лиц, набеленных белилами, и диких спутанных косм, бронзовых голов, напудренных пылью больших дорог, появляется женская половина купечества. Ярко накрашенные парадные маски, взбитые волосы, ноги в тесных, остроносых башмаках, сочные тела, затиснутые в корсеты, и нелепые европейские тряпки сидят на стульях перед внимательным многотысячным амфитеатром, старающимся на всю жизнь запомнить, как двигалось зеленое перо на красной шляпе, какие жемчуга лежали на парчовой груди, какой чулок обтягивал в этот святой день белую толстую ляжку какой-нибудь дамы. Между зажиточными и нищими некое недоступное для народа пространство, охраняемое мальчиками-солдатами, воспитанниками военной школы. Им даны винтовки, они играют взрослых, стараясь им во всем подражать. С азартом расшалившихся детей тыкают прикладами, куда попало, избивают крошечных детей, пинают по шеям, по животам, в грудь, куда попало. Никто не смеет остановить маленьких мужчин. Мальчики, чувствуя полную безнаказанность, орудуют с тем зверским презрением к женщине, которое им привито с молоком матери, которое пронизывает все их воспитание,

всю вообще жизнь. И женщина, для которой создан этот праздник, его единственная героиня и устроительница, раз в году снимающая чадру, защищенная от гнета семьи, от мужа, брата, отца, которые почтительно ожидают за воротами со своими баги, осликами и таратайками, в этот день своего редкого торжества становится добычей привилегированных мальчишек, собственных детей, бьющих ее по чем попало, со всей развязностью взрослых, так сказать, от лица отсутствующей половины семьи.

Вокруг бассейна садятся женщины, чтобы петь свои национальные песни. Среди них много кочевниц, диких, оборванных, великолепных, которые вообще раздражают чисто вычесанных курдючных горожанок своей легкой походкой, стройностью, золотым блеском кожи, незнакомой ни с какой чадрой. Они смотрят на дикарок, как овцы, с трудом несущие жирное вымя, поддерживаемое холщовым мешочком между коротких растопыренных ног, на легких джейранов, этих горных стрекоз с женственными глазами, которых бьют в горах из старинных двустволок. Толстые старухи смотрят на оборванных певиц со своей неизменной, жестокой улыбкой, затем незаметное движение глаз, — и банда маленьких солдат набрасывается на этот хор, тащит и разгоняет.

Поднявшийся ветер несет на толпу тучи едкой желтой, ужасной пыли. И пока женщины, ослепшие от песчаной вьюги, стараются протереть глаза, обмыть лицо в бассейне, их сзади избивают прикладами и уводят прочь. Никто и не думает о защите, никто не возражает. В течение 4-часовой потасовки ни одного гневного жеста, ни одной попытки защитить себя или своих детей от издевательства. Эти взрослые, сильные женщины, которым ничего не стоило бы отшлепать любого из «защитников» общественной безопасности, позволяли себя гнать, как скот, принимали, как нечто должное, все ругательства и синяки. Ни одна не посмела дать отпор 9—10-летнему мужчине. Ни одна, за исключением безумной старухи, которую с гиком и визгом сбросили с веранды на мостовую. Стоя в облаке желтой, раскаленной пыли, перепачканная, вся ржавая, как это солнце, в облаке жгучего песка, она долго кричала что-то сквозь

ветер и летучий туман. И, как ни старались ее заглушить, она все-таки сделала свое дело — прокляла.

И далеко от всего этого, от пыли и плача, сияя нечеловеческой красотой, прошла через сад молодая эмирша, прекраснейшая женщина Афганистана.

Глава седьмая

ПРО НАУКУ, АНГЛИЧАН И КАНАТ

Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы, — все злит Амманулу.

Его лоб горит, — сбросив каракулевую шапочку, эмир надевает соломенную шляпу местного производства. Обмахивает залитое краской лицо конским хвостом, вделанным в деревянную ручку.

У придворных кислые лица. Властелин, с которым вообще шутки плохи, содрал с них новенькие европейские костюмы, заставил облечь жирные, трепещущие складками животы в колючую и топорную машинхане — ткань, вырабатываемую первой и пока единственной кабульской фабрикой. На последней охоте, развеселясь, со своей ярко-красной усмешкой взял и вырезал ножницами из кокетливых английских костюмов придворных огромные лохмотья. Министр просвещения уехал домой, прикрывая носовым платком голое колено. Были и другие прорехи, менее пристойные.

Все это очень напоминает московских бояр, возвращавшихся с царевой пирушки в старинные свои домы, кто с урезанной бородой, кто без пол на кафтане. В конце концов ножницы укрепили любовь двора ко всему национальному, — сорокапудовых франтов не узнать сегодня в спартанском одеянии цвета песка, верблюжьей шерсти и помета.

Покончивши с френчами и галифе, властелин принялся за старинное невежество своей страны. У эмира Амманулы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий тому назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Пале-

стине, торговать с папами и Венецией, сжечь множество городов, построив на развалинах новые, с такими же мечетями и дворцами, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады, Царьграда или одной из венецианских метрополий. Но в наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Амманула становится реформатором и обратился к преобразованию и мирному прогрессу. Само собой понятно, что мир этот нужен властелину только как передышка, чтобы подготовить Афганистан к грядущей войне с добрыми соседями... Цивилизация и прогресс используются им, как орудие, которое должно быть обращено именно против этой враждебной европейской культуры и цивилизации. С деревянными стрелами, луками и мечами не повоюешь против винчестеров и круппов. Для этого нужно привить восточной стране не только известные технические навыки, но и грамотность, способность хотя бы механического подражания и некоторой ориентировки.

В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки.

Слон несет бревна, потому что его колют за ухом острием анка; солдат глотает пыль, обливается потом в своем верблюжьем мундире, съеживается, как сморчок, под лучами беспощадного солнца, а зимой пухнет от холода и голода, подгоняемый хлыстом и кулаком; палка устраивает в одну ночь сады на голом и мертвом поле, убирает для праздника флагами, коврами и фонариками какую угодно нищету... При помощи этой же палки Амманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением, нечто вроде маленькой Японии, — железный милитаристический каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной, хищной душой. К сожалению, эмир, при всем врожденном уме, при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных, вялых династий Востока, сам не получил правильного образования, не имеет полного представления о европейских методах воспитания, о средствах и людях, пригодных для школ вообще.

Во главе военного училища стоит турецкий офицер, ныне генерал, известный в Кабуле своими выходками, увеселяющими придворных, и животною жестокостью в обращении с учениками, отданными в его власть. Во время последнего праздника весны он развлекался тем, что направлял к своим красным генеральским лампасам всю дождевую воду, сбегавшую с верха палатки на мокрые ковры. Генерал сидел посреди лужи, багровый, похожий на пьяного Фальстафа, и заглушал оркестр своим ржанием и непристойностью. Женитьба этого придворного шута произвела огромный скандал даже в Кабуле. Но с подчиненными паша мгновенно изменяется. На головах учеников его разнузданный кулак выстукивает все свои унижения и обиды. Горе воспитаннику, упавшему с лошади во время барьерной скачки, сорвавшемуся с трапеции, оступившемуся на параде.

Итак, в 24 часа приказано устроить просвещение, обучить наукам сотню подростков, всеми корнями вросших в жирный слой купечества и знати. Мальчиков взяли, засадили, били, били и били.

Так поступал в свое время и Петр; но тот, кроме учеников, умел находить и учителей. Его арапа учили профессора Сен-Сира; молодые дворяне, весьма скупо снабженные деньгами, принуждены были пешком странствовать по Европе от одной знаменитой кафедры к другой. Корабельные же мастера, боцманы и сведущие в математиках приказчики голландских купцов не раз бивали по шее сыновей Шереметьевых и Баратынских. Учили насильственно, раздвинув судорожно стиснутые скулы бояр, где рукоятью кнута, а где и топором, но учили.

К сожалению, отсутствие европейского образования помешало эмиру найти учителей для своей страны. Старые дворцовые дядьки, въедчивые вредные муллы, мелкие чиновники министерства иностранных дел, особенно шустрые по части внешних заимствований, взялись уместить в черепа маленьких афганцев всю европейскую премудрость. И наконец наступил день испытания.

Ничего нет легче и радостнее кабульской весны, — наступающей медленно, длящейся бесконечно, такой долгой и томной, от слабой дымки на горах и до торже-

ствующих медовых метелей, когда цветут фруктовые деревья.

Экзамен устроили в одном из садов, под навесом палатки, край которой то обжигало солнцем, то мочило счастливой майской грозой. После нескольких ударов грома, после минутной влажной темноты день становится еще более блистательным, пропитанный запахом земли, оживленный трепетом вишен, дрожащих перистыми белыми ветками от прикосновения пчел, чистотой неба, не запачканного фабричным чадом.

Съехался двор в своих домотканых костюмах. Англичане вошли и сели в небрежнейших позах. Обменялись поклонами, ненавистями и любезностями. Один из придворных вздулся в кресле фиолетово-синей горой жира и нездоровой крови. Испуганные, с черными конскими хвостами на шапках, промаршировали музыканты. Замолчали, — стало опять слышно пчел, которым со всех сторон машут яблони белыми рукавами.

Среди тишины: «раз, два, раз, два», — один шагает к палатке и дергается церемониальным маршем мальчик лет четырнадцати, в тесном, жарком мундире. Рука к козырьку, ноги, как палки, внутри налит крахмал, от благоговейного ужаса не может начать. Учитель одергивает его в последнюю минуту: надо стоять не на траве, а на самом краю ковра, разостланного перед зрителями. Затем длинная заученная речь (около часу) о просвещении, о недосягаемом величии ислама, о невинной мусульманской крови, ожидающей возмездия. Все это громким голосом, однообразно, без смысла и выражения, без передышки, без возможности обернуться на свои скачущие мимо слова. Патриотический крик, выученный наизусть.

Меняются ученики, меняется содержание их спичей. Но крик неизменно торжествует. Лица мальчиков сливаются в один рот, судорожно разинутый, испускающий пронзительные и высокопарные хвальбы. Двор рукоплещет. Эмир радуется, как ребенок, замечательным успехам молодежи. Между тем авторы произносимых учениками приветствий шмыгают в задних рядах, подобрав длинные полы, смакуя свой косвенный успех в кругу старших конюхов, чайдара и особо почтенных соглядатаев. Английский посол прячет двусмысленную улыбку за листком программы и не без искреннего чув-

ства аплодирует этому знанию, еще на пятьдесят лет гарантирующему полную безопасность британской Индии.

Торжество прерывается короткой молитвой на лугу. Толпа опускается равномерными поклонами — один, как все. Молятся заходящему солнцу, цветущим садам, влажной траве, пока звонок не возвещает испытание по химии.

Два смышленых подростка показывают химические опыты; зрители следят за их таинственными манипуляциями с затаенным страхом и любопытством.

Пробирки с красными, белыми, зелеными жидкостями. Мальчик потрясает ими над седобородыми головами мулл, перед круглыми, выпуклыми, влажными глазами придворных. «Да поможет мне господь! Соединяю две бесцветные жидкости, и — получается красное». Сенсация. В благоговейной тишине хихикают молодые атташе английского посольства, и деловито и нежно жужжат пчелы.

Вспыхивают какие-то газы, порошки превращаются в воду, вода в огонь; несколько миниатюрных взрывов довершают успех. Что, почему и зачем — неизвестно. Да никто и не интересуется причинами. Эмир доволен: он страстно любит треск, огонь и осколки. Стороной посматривает на англичан: вот, дескать, эти дети узнали все ваши секреты и чудеса; дайте срок, они и вас взорвут на воздух.

За ученой алхимией — хоровое пение. За пением — наизусть выученная, заранее решенная задача. Крохотные мальчики, лет 5-6, выступающие правильным военным шагом, декламируют на совесть длинные сладкие мадригалы. И напоследок — канат. Его величество не может без игры и азарта.

Праздник ему не в праздник, если закладка мечети обойдется без конского скаканья, или ученое торжество — без игры в канат.

Эмир — большой человек, настоящий герой азиатского возрождения.

И, как некогда флорентинцам и римлянам, милы ему в равной степени алхимия и ристалища. Ученики всех разрядов, без различия премудрости и отметок, делятся на две равные партии и тянут в противоположные стороны концы толстой веревки.

Двор и дипломатический корпус держат пари на молодых Менделеевых и будущих Реклю, а весеннее солнце благодатно смеется со своей голубой башни.

Глава восьмая

НАУКА В ГАРЕМЕ

I

Если прищурить глаза или смотреть через занавес солнечного света, может показаться, что это выпускной акт института, — так этот зал с колоннами, ряды нарядных девочек, эстрада с важными начальствующими дамами похожи на старый Смольный.

Институток наших возили в старомодных каретах, а этот маленький женский народец приехал на экзамен в громыхающем деревянном ящике с опущенными занавесками, запряженном парой флегматических серебристых волов. Просвещение вообще шагает медленно, но вряд ли есть у него упряжка тише этих волооких, добрых и невозмутимых животных.

Наших институток охраняли почти бесполые классные дамы, — здесь среди свежих детских лиц мелькают безволосые, желтые и опухшие маски кастратов. Есть какая-то наглая животная развязность в их движениях: придворные лакеи и полулюди, они без церемонии копошатся в шелесте женских юбок, сплетничают и соглядатайствуют, толкают локтями более бедных учениц, через их головы подают чай или упавший платок своим госпожам, — словом, вносят в учебную комнату весь душок спальни, всю двусмысленность своего привилегированного положения.

Зал разделен эстрадой на две половины. Внизу рядами ученицы в пестрых форменных платьях, кончающие сегодня полный курс своего образования (один год), девушки-невесты в шелковых желтых платьях, с легкой белой фатой на растрепанных черных волосах. У них тяжелые, преждевременно созревшие груди, горячие глаза восточных женщин и лицемерная чопорность богатейших невест базара, жестокая детская спесь и в то

же время длинные шершавые руки, пальцы в чернильных пятнах, застенчивая походка школьниц. Возле девушек «мунши» (учительница) в европейской громадной шляпе и, как мне кажется издали, с орденом Красного Знамени на пышной груди. Кончающих всего пятнадцать, все остальные гораздо моложе — от шести до восьми лет. Эти прелестны. Совсем маленькие, они не умеют еще ханжески опускать глаза, не рассматривают с нездоровым любопытством трех желторожих дядей, каким-то чудом попавших на женскую половину, не поджимают губы и не складывают ладони блюдечком при виде корана.

В толпе детей, тяжело переступая ногами слоновой толщины, прогуливаются старухи мамки. Это пожилые вольноотпущенницы, у которых на желтом морщинистом лбу, под складками прозрачной ткани еще видна голубоватая звездочка,— знак их рабства, упраздненного всего три года тому назад, — память далекой родины — Индии, Аравии или Турции. Для этих старух, сохранивших свой старинный костюм, — на плечах дивной яркости кашемировую шаль, на голове белоснежную фату и такие же шаровары, обшитые внизу гремушками, — этот первый в Афганистане праздник женского просвещения — нечто непостижимое и незабываемое.

С трясущимися головами, с глазами, которые туманит дряхлость и волнение, они пробираются вперед, слушают, смутно чувствуя, что с этим днем их старая жизнь окончена. Они утирают слезы и сквозь слезы улыбаются не то чуждому будущему, не то кивают смерти, которая стоит и ждет за плечами этих девочек. Толстые и добродушные слонихи умиленно дремлют, когда солнцу сквозь вечно юные узоры индийской одежды удается прогреть горы их ленивого жира, — спины и груди, раздутые до чудовищных пределов, лоснящиеся под бледно-розовым, сиреневым и лимонным шелком. Но есть и другие: сухие и подвижные, до сих пор сохранившие следы когда-то небывалой красоты. Их брови выгнуты, как агатовые арки на высохшем лбу, их глаза лежат в глубине сухих впадин, как черные ночные драгоценности. Это те, которые умели в жизни только любить и создали целую науку любви, целый культ нежных ухищрений: они подбирали оттенки страстей, как пестрые шелка на праздничном ковре. Они

состарились, но их лица сохранили какую-то мудрую грацию, — улыбку жриц, служивших мучительному, но прекрасному богу прихоти. И вдруг вместо того чтобы учить девушек тайнам взгляда и улыбки, искусству пляски, сопровождаемой двумя серебряными гремушками, двумя поющими у пояса серебряными голубями, их учат решать задачи с ценой на ячмень, сабзу и рис. Старые куртизанки неприязненно позванивают запястьями, шелестят своими шелками, как опавшими осенними листьями, и думают о том, что из этих воспитанниц не выйдет ни одной царицы улья, способной жалить и любить, расточать смерть и счастье, похожие на старинные песни.

С нашей точки зрения то, чему научили этих девочек, неверно и немного страшно. На карте они знают только границы старых, когда-то непобедимых мусульманских царств и, пожалуй, еще те эфемерные пределы, которые до сих пор грезятся яростным панисламистам. Девочка четырнадцати лет отвечает урок по географии. Она находит на карте всего мира крохотный Тунис, Алжир, Марокко и Бухару. Для нее это страны, подпавшие под рабское иго неверных и ожидающие нового пророка и воина, который бы вырвал их из-под европейской пяты. Черные глаза горят фанатическим огнем, а крохотная смуглая ручка грозно сжимается над двумя грешными, неправоверными полушариями. Придворные дамы, преподавательницы, старушки и даже евнухи отирают слезы. Мы, представительницы другого, презренного человечества, сидим очень тихо, сочувственно киваем маленькому фанатику в желтом шелку и втихомолку радуемся, что время великих Аббасидов и Омайядов прошло, и вечность успела перевести свою стрелку на четыре века. Мертвые не встают, песок не отдает старой крови, и мы не воюем за гроб господень.

Вот она, первая розовая заря просвещенного абсолютизма, брезжащая над Кабулом. Мелькают громкие слова: прогресс, культура, автомобиль, телефон, телеграф; кроме того, подразумевается носовой платок и зубной врач, уже прибивший на базаре свою драматическую вывеску. Затем, в перерыве между двух речей, вторая девочка решает у доски арифметическую задачу.

Лицо ее серьезно, освещено изнутри мыслью, ей не до этикета, не до дам, даже не до награды. Мнет в руке мелок, старательно выводит свои каракули, путается, думает, пальцем стирает цифры, — и из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготовляет нечто, через какие-нибудь сто лет имеющее взорвать на воздух и этот зал с колоннами и непроницаемые занавески гарема. Наконец задача решена, и девочка, поцеловав руку эмирши и получив от нее подарок, спустилась с трибуны. Но ее место занимает сама Арифметика, чтобы сказать несколько слов о своей глубине и пользе. Да, Арифметика, всем знакомая и памятная с детских лет. Ее чело голо и желто. Глянцевитые волосы примазаны к костистому черепу, полному вычислений. Глаза спрятаны за сичие автомобильные очки. Свет играет то на одном, то на другом стеклянном зрачке, что придает этой науке сходство со смертью. Совершенная абстрактность этой фигуры усиливается ее удивительным красочным нарядом. Поверх волос, очков и желтых скул струится чадра нежнейшего сиреневого цвета, а плечи, деревянная грудь и руки с пальцами, сухими, как кусочки мела, обтянуты ярко-зеленым, искристым шелком. Дети в полной панике не сводят глаз с лица математического фантома, а старушки наложницы, дожившие свой век в неге и пораженные таким безобразием, при столь великом красноречии снова чувствуют себя растроганными и утирают слезы. И весеннее солнце золотит яркие шелка, детские подвижные лица и Математику, ее круглые глаза-лупы, — словом, прошлое и будущее.

Совсем в другом роде директриса училища. Это — немолодая уже женщина, с правильными, даже приятными чертами лица. У нее спокойный, внимательный взгляд, привыкший видеть многое, ничему не удивляясь. Кружевное покрывало не закрывает ее умного лба и осторожной улыбки. Как только ее зоркий черный глаз замечает где-нибудь на ковре носовой платок, оброненный Шах-Задэ-Ханум, или пустую чайную чашку, сейчас же величавость сменяется величайшей торопливостью. Она спешит поймать и поцеловать на лету руку и вложить в это прикосновение все тонкие оттенки интриги, разделяющей двор.

Дети, удостоенные награды, вызываются на трибуну по особому списку. При этом учительницы тщательно справляются о положении и имени их отцов. «Дочь сердара... дочь генерала... дочь мусташира...» Между эстрадой и залом устанавливается патриархальный тон: придворные хорошо знают дворянство, делают покровительственные или критические замечания по поводу известных семей, имен, лиц. Дети напряженно слушают то с тайным соревнованием, то с недобрым смехом, когда шутки касаются какого-нибудь неуклюжего червячка, дикой и некрасивой девочки из далеких горных кишлаков.

Наконец программа приходит к концу. Прочитаны молитвы, показаны европейские рукоделия, в тысячу раз хуже афганских вышивок, продаваемых на базаре, тех простых и ярких орнаментов, которыми обшиты шаровары и широкие шелковые рукава служанок. География и Арифметика унесены кастратами, и молоденькие дамы начинают зевать в корсетах, безжалостно сжимающих их пышные восточные бедра.

Черные европейские платья и шляпы двора тонут в живом потоке детей, похожих на смуглые ландыши, в белых облачках-фатах, в пестрых старинных шалях, в красном, зеленом, голубом и желтом, такой неувядающей яркости, каких не выдумать и не сделать теперь никому. И завтрак, к счастью, накрыт не на столах, а прямо на полу. По коврам разостланы полотняные скатерти, и среди блюд в одних чулках бегают служанки, в своих пестрых шароварах с бубенчиками у щиколоток. Ни стульев, ни подушек, — все садятся на корточки и едят руками, старухи рвут на части целых курят, утирают рот пальцами, на которых блестят брильянты и капли бараньего жира. Пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости. Рис осыпается из их медленно жующих полных ртов на исполинские груди, на равномерно дышащие животы. Ах, жизнь все еще хороша, когда плов заправлен шафраном, а бараньи ножки утопают в янтарном, клейком соку.

Поодаль танцовщица раскладывает свой ковер, ей четырнадцать или пятнадцать лет, одета она — увы! — в европейское платье, но грива ее распущенных волос мрачна, тяжела и длинна, как ручей, падающий в го-

рах с одного угрюмого камня на другой. Лицо крупное, правильное и яркое. Старая индуска отбивает такт на барабанчике своими сухими когтями, выкрашенными в красный цвет — это мать, всю жизнь плясавшая на больших дорогах свой танец, древний, как религия, пока голод и старость не сделали ее похожей на мертвое дерево.

У танцующей в руках две серебряные гремушки. Они щелкают, как молодые птицы, прыгающие по снегу, но уже чувствующие раннюю весну.

Как она пляшет! Почти не двигаясь, едва переступая белыми тяжелыми ногами. Но при каждом ударе барабанчика ее плечи дрожат и опускаются, опускаются длинные ресницы, опускаются руки с их серебряной музыкой. И вдруг в томлении вздрагивает ее целомудренная грудь, — так внезапно и страстно, что сердце летит в какую-то невыразимую пропасть. А она смотрит, скосив пристальные, длинные зрачки, улыбаясь красными, как у бога любви, губами, которые одни цветут костром на снежном, неподвижном, окаменелом лице. Она чиста и молода, как ее серебряные игрушки, но каждое движение ее глаз и сосцов причиняет физическую боль своим гордым неподвижным и неудержимым сладострастием.

Какое счастье! Азия упорно не хочет умирать! Вот она снова прорвалась наружу и околдовывает тоскливую иностранщину.

Кончилась пляска, и возобновился прерванный французский разговор, — но она, старая, как мир, неувядающая, держит кальян желтыми маленькими ручками рабыни и подносит этот тонкий дым к губам курильщиц с такой зыбкой, спокойной усмешкой, с таким мерцанием опущенных ресниц, точно ей совсем не страшен ни беспламенный свет, ни знаменитое просвещение: надо всем этим чертит неуловимые, насмешливые круги ее кальян, переходящий из столетия в столетие. И когда афганки одни, без чужих наблюдательных глаз, они томятся, скучают, торжественно хоронят свое неумолимо и бесцельно уходящее время, как истые азиатки, как их матери и бабки, жившие в давно умершие времена, когда были молоды стены Кабула, построенные на непроходимой высоте.

II

Небольшой дворец на берегу реки, оправленный, как и вся страна, в тройное кольцо черных холмов, снежных гор и облаков. Они сидят на полу стеклянной веранды, поджав ноги, покуривая свой кальян. За окном осень, река течет желтая, золотисто-глинистая среди мертвого камыша в пустых ровных берегах. Ни одного живого существа не видно до самых гор, одни пески, одни ровные, друг над другом вырастающие конусы и стая воронов, громадных, медленно плывущих против ветра в пустыню за добычей. Все женщины в черном шелку, без краски на лице, с небрежно падающими волосами. Они — тоже осень. Пришло время, когда надо отдать свой оконченный год, — уже мертвый, потерянный год, — как его отдают хлеба, виноградники и старые постройки, бросающие вечности свои камни, потому что у них нет ничего другого. Желтоватые зори в горах, подмерзшие, обветренные поля, желтый поток и эти запертые женщины, пышно и безрадостно расточающие молодость, жизнь, будущее.

Иногда Азия прорывается и на официальных длинных вечерах. Благодаря какой-нибудь случайности в зале тухнет электричество. Исчезают паркеты, кресла Louis XVI, пропадает в темноте модный немой рояль, изукрашенный золотом, неподвижный, как гробница.

Две-три служанки прибегают со своими ручными фонариками, и вдруг зала играет, светится и трепещет. Ожили старинные камни, чудовищные диадемы, ожерелья, подвески и запястья, — все тяжеловесные, в Индии и Персии с бою добытые драгоценности. На шеях, тяжелых и белых, как мраморные глыбы, струится жидкий огонь; голубоватое и белое зарево на затылках, отягощенных узлами волос, литых из темного металла; драгоценная изморозь по изгибам ленивых рук. Сераджуль, мать эмира, потребовала свой старинный бубен. Принесли маленькую фисгармонию, два легких барабанчика, скрипку с восемью струнами. Европа забыта. Нетерпеливо отбрасывая шлейфы, освобождая ноги от неудобной обуви, стащив с рук перчатки, молодые женщины спрыгивают на пол со своих стульев, — становятся

тем, что они есть на самом деле: скучающими, прелестными, ленивыми и веселыми, жестокими и беззаботными женщинами. Все они музыкальны; барабаны издают хриплую гамму, фисгармония тянет плясовую так медленно, так величаво, как на закате волы среди полей полный груз спелого, как шелк, шуршащего зерна. За музыкой пляска, постепенно ускоряющийся хоровод, в котором танцующие повторяют одни и те же порывистые и ясные движения. В этой всплескивающей руками, закидывающей назад голову карусели есть что-то от вакхической пляски «племен».

III

Началась весна. Снег еще не совсем растаял, но все ручьи клокочут, их мутные воды пахнут камнями, мхом, горной свежестью. И в этом диком вешнем запахе все напоминает аромат моря. Мельницы сердито шумят, бурный бег и плеск набухшей воды заглушает жемчужное шелестенье жерновов. Тополя побелели, как молоко, засветились своей серебряной чащей на бесконечно нежном, неуловимо бирюзовом небе. На бархатных озимых полях ярко-красные дети и подростки выпалывают сорную траву.

Это время весенних праздников, когда тысячи людей высыпают за город, к каруселям и чай-хане, струящим в чистом воздухе запах легкого угольного жара; время детей, которых отцы на плечах несут на «тамашу»; время трещоток, свистулек, маленьких идолов с золотыми глазками, бумажных мечетей, фиолетовых деревянных лошадей с оранжевой головой и зелеными ногами.

Скалы вдоль дороги унизаны людьми, на каменном карнизе, на ковре шелкового, темно-синего неба они выделяются, как цветные изваяния. Склоны желтых гор сплошь залиты людьми, — там смотрят борьбу и скачки. Верблюды, груженные хлопком, с трудом идут своей трудной и однообразной дорогой. Среди толпы, оставляя за собой легкий дымок пыли, поднятой краем слепого покрывала, нигде не останавливаясь, ни на что не оборачиваясь, проходят женщины двора.

Глава девятая

ВАНДЕРЛИП

I. ВАНДЕРЛИП В РСФСР

Ему шестьдесят лет, этому старому Вандерлипу, но несметные миллионы не дают ему остановиться, перевести дух, подумать о спасении своей запыхавшейся души.

Золотой доллар бежит вокруг мира, а за ним гениальный эксплуататор, торговец красными, желтыми и белыми душами, великий Вандерлип. Доллар капризен, более прихотлив и взбалмошен, чем старое, классическое колесо счастья.

Ему не спится в недрах несгораемых шкафов, в блестящем улье банков. Он выскальзывает из верных, обеспеченных предприятий, перекипает червонной пеной через края разумной спекуляции. Американский золотой прыгает все ниже и, промелькнув соблазнительной тенью, через кроваво-грязное игорное поле Европы, приводит великодержавного откупщика в кабинет Ленина.

И вот старый надуватель, корректный и набожный, сидит и торгует у гения революции заповедные лесные трущобы Сибири и Архангельска, и каспийскую саженную осетрину, пространство и время немеренных русских дорог, и нефть, и соль, и уголь, и даже, если красное станет розовым, если революции не миновать буржуазного чистилища, то и немного рабочего и мужицкого пота, до которого такой охотник этот американский шалун, этот веселый, звонкий, солнечно-смеющийся доллар.

Что между ними говорено, — этого, собственно, никто хорошенько не знает. Как они сидели друг против друга, этот большой, большущий разбойник в оболочке добровольного квакера, с поджатыми, бритыми бабьими губами, с вместительным, коротко остриженным седым черепом бухгалтера, подсчитавшего все расходы и приходы вселенной, сумевшего взять честный процент со всех банкротов, со всех могил «неизвестного солдата» и всех победителей мира, — этот великолепный Вандерлип, непринужденно говоривший дерзости королям и пресмыкавшимся президентам республик, этот Вандерлип, у

которого только глаза, молодые, неустрашимые глаза объездчика степных лошадей, говорят правду, и Ленин.

Вероятно, Вандерлип не сразу понял, что такое Ленин.

Врал, грубо соблазнял, заманивал, может быть даже разложил на письменном столе веленевые, с золотыми печатями, аттестации своих трестов, украшенные подписями королей и принцев, величеств угольных, суконных, машинных и пушечных. Но когда Ильич, наконец, засмеялся... когда старый американец вдруг почувствовал, что сидит в своем кресле голый, как король из сказки Андерсена, до того голый, что его собеседнику видны все цифры и тайные выкладки, все вожделения, как пчелы, роящиеся в клетках его мозга, — тогда Вандерлип перестал врать. Стал прост, огромен, как его огромные предприятия, смел и откровенен.

И пошел на приступ.

— Я покупаю голод. Сколько вы за это просите?

...За умирающих детей, за ваши поля без машин, за разрушенные дома, за все пути, покрытые снегом и песком, за все язвы вашей дьявольской революции, за ее отдых и покой, за безопасность завтрашнего дня, говорите скорее, скидывайте, Владимир Ильич, скидывайте на ваших красных счетах!..

И божественный доллар заиграл, запел и зазвенел в спартанском кабинете. Несколько слов, росчерк пера, коммунизм, отступивший лет на сто из мира действительности в область утопий и золотого идеализма, — и капитал оплодотворяет, вдыхает новые силы, брюзжет живой водой, дает все готовое вместо своего, трудного, все наново изобретающего строительства.

Божественная легкость купли и продажи — интернационал вольных денег и вольной торговли.

Прощение, примирение, братская помощь России. Не побежденной, — нет, ее честь должна быть пощажена, — а лишь разумно уступившей голоду, стихиям, милосердию. Суровые венки Октября и трех лет гражданской войны — на алтаре гуманного человеколюбия. Маркс, проданный Вандерлипу ради спасения голодающих детей.

— И завтра — вот завтра, смотрите, Ленин, вы, душа фабрик и фабричной эры, вы, отец машин, вы, идеолог мирового рабочего объединения. Ваше рабочее,

ваше пролетарское сердце не устоит перед трудовым раем, который я, Вандерлип, принесу Российской республике в обмен на пустые и уже отжившие социальные бредни...

...Вот, смотрите, ваша РСФСР, — и доллар поет и рисует, — нечто большее, чем Америка Уитмана, — машины, и уголь, и нефть...

...Урал, раскованный, как пещера Аладина, — изумруд, сапфир, алмаз и таинственный радий, в котором смерть и здоровье, мертвый огонь разрушенья и само исцеляющее солнце.

Желтый Каспий, весь в переливчатых пятнах нефти, горячая Астрахань, заваленная рисом и хлопком Персии, коврами, вином, оглушенная криком верблюдов, изнемогающих под своими вьюками.

Пески ожили, и до самого Мертвого моря — виноградники и сады: Закаспийский суровый край цветет, как его миндальные рощи ранней весной.

И Сибирь — ее золотая руда, которую до сих пор мелочно и жестоко воровали, насилуя и оскорбляя землю.

Эврика!

Новое Эльдорадо у берегов Ледовитого океана, золото, текущее густыми струями вдоль великих северных рек. И шум столетней хвои. Тайга, с ее шкурами, салом, драгоценными породами деревьев, брошенная на европейскую биржу, как скифская невольница, неслыханная, могучая и плодоносная.

Ведь это спасение Европы, это омоложение усталого белого человечества.

В молочных реках, в смолистом море лесов, в сверкании девственных руд — будущее, новый эпос, новая религия победоносного труда и творческого капитала!

...Ленин, вы придумали электрификацию, — я ее осуществлю! Вместе, только вместе, мы построим ваш машинный рай, вашу Россию, которая согнется под тяжестью железных путей, чьи снега поголубеют, озаренные спазматической, волевой электрической вспышкой.

...Ваши фабрики закипят, ваши верфи смешают с холодным и чистым воздухом взморья утренний, соленый, петровский стук молотков. Ваши гавани оживут, и смолой, и жизнью, и молодым богатством повеет от

высоких тюков, сложенных бесконечными рядами, от яростного воя сирен, от плеска морской воды, кипящей между гранитом петербургских набережных и обветренными бортами океанских кораблей.

...Вы всегда были практиком, Ленин, три года вы смывали кровью и слезами ненужные теории — законы, коварные росчерки упраздненных обязательств и договоров, заключенных вашей царской, воистину идиотской дипломатией.

...Будьте же практиком и теперь, не приносите в жертву теории, хотя бы и марксистской, великую реальность рабочей республики.

...Конечно, мы были не правы, — мы вас не понимали и недооценивали интервенции, и все такое... Больше этого не будет. Но по-честному — и вы бросьтека свои эксперименты с частной собственностью и Третьим Интернационалом.

...Вы огромный человек, Ленин, у вас изумительный череп, чисто американский. Теперь, когда недоразумения окончены, я могу сознаться: эта ваша спекуляция с социальной революцией гениально была придумана. И совершенно ново, неповторимо оригинально. Даже мой доллар пошатнулся, не говоря уже об их падучем франке и прочее.

...Как деловой человек, советую не платить никаких долгов, — запрашивайте, играйте еще смелее. Они уступят.

...Но в такой игре, как ваша, нельзя быть одному. Вы и я — мы сговоримся, мы должны стать компаньонами, и тогда... — Тут золотой запел остро и пронзительно, как рожок перед атакой, как кнут, взвившийся над головой скрежещущего мира, как осторожный ключ, который тюремщик старается повернуть в заржавелой, давно не отмыкавшейся двери.

Может быть, в кабинете стало темно, незаметно надвинулись сумерки, окна засинели, Москва замигала первыми фонарями, и полились колокола. Прежде чем ответить, Владимир Ильич повернул выключатель,— и вот свет.

Перед Вандерлипом, успевшим принять свое приличное иностранное выражение, — лицо Ленина с его татарскими, несколько раскосыми глазами, которые смеются из-под большого лба. Кажется, это вовсе не

лоб, а белая березовая кора, лохмато надвинутая на самые эти языческие, светлые, спокойно-веселые глаза. Из своего дупла они теперь смеются, как на Ивана Купалу.

Вандерлип невольно встал, поклонился, как после оконченной дуэли, и взял со стола шляпу и трость.

II. ВАНДЕРЛИП В АФГАНИСТАНЕ

Из Москвы миллионы Вандерлипа погнали его на Восток.

Как и все старейшие завоеватели, он стал думать о походе на Азию, о чудовищном объединении Китая, Афганистана, Персии, Месопотамии и Турции в единую банковскую и железнодорожную державу.

Замостить шпалами дороги Александра Великого, Моголов и Цезарей, включить в единую электрическую цепь все разрозненные куски мусульманских государств, охваченных национальным брожением, связать все рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, открыть Америке новые ворота в Азию, проложить ее товарам триумфальный путь через весь Восток. Убить англо-индийскую торговлю одним ударом, кончить ее, уничтожить, как хороший боец бросает в пыль быка. Этой блестящей шпагой, этим прямым, в глубину голубой Азии убегающим клинком будет великая магистраль. Она вонзится не только в золотой затылок Индии, — нет, мечты Вандерлипа смелее: она уложит на лопатки и ликвидирует всю восточную торговлю Англии, она задушит ее рынки, наводнив их всепроникающей, всемогущей дешевкой.

От Шанхая до Кашгара, от Тегерана до Константинополя в реве паровозов, пересекающих пустыню, прозвучит победоносный гимн дешевой спички и дешевого чулка, общедоступной бритвы и непобедимых в своем ничтожестве подтяжек. И взамен всего этого Америка возьмет чистый кудрявый хлопок, жемчужный рис, раздвоенный посередине, как нежный подбородок, и моссульскую нефть, эту черную душу движения, скорости и силы.

Под треск и вой обанкротившихся английских предприятий, под широкий, непрерывный водопадный гул, с которым американский капитал ринется в песчаные

русла Азии, под раскаты новой войны и навязав истории свои акции и векселя на сто лет вперед, — вот как хочет кончить Вандерлип, и вот почему он сегодня гостит в Кабуле, столице Афганистана.

Время Вандерлипа идет со скоростью курьерского поезда. Слепое, оно дает сильный крен на поворотах, летит на одном колесе, содрогается, скрипит, и опять вперед — по кратчайшей математической линии. Вандерлип живет в своих несущихся часах, днях и неделях, как в вагоне международного общества. Всегда спокойный, прямой, чисто выбритый и немного пыльный.

Скорость движения и размах мировых авантюр не мешают ему посасывать трубку, прочитывать послеобеденную газету и совершать длинные верховые прогулки. Афганский офицер, сопровождающий его, от усталости болтает ногами, ерзает, сидит на шее лошади. Американец ничего, — крепко держит сухими коленями своего жеребца, точно пачку деловых бумаг патентованным зажимом. Не потеет и не устает.

Бросив повод солдату, карабкается на горы, набивает карманы и седельные сумки камнями, нюхает и пробует мутные воды минеральных источников. Затем душ, жирно-сладкие, пряные кушанья восточной кухни, с которыми его железный желудок отлично справляется, а вечером трубка и граммофон, радостно горланящий в сумерки Гюлистана: «Everybody is crazy on the foxtrot» [1].

Вандерлипу безразлично, по какой стране, среди каких людей летит его курьерский. Желтые, красные, советские пальмы, тундра или пески, — лишь бы дела шли без опоздания, ровно стуча маслянистыми колесами, едва переводя дух на остановках, шумно дыша широкой, высоко поднятой паровозной грудью. Все по расписанию, без потери времени, без лишних слов. И вдруг долгая, мучительная, нелепая остановка в Кабуле.

Темп Вандерлипа тонет в сыпучих песках восточного красноречия, в лени и слащавой медлительности афганцев, как поезд, сошедший с рельс.

Ему назначают свидание в министерстве. Он едет туда, вооруженный цифрами, короткими и резкими дово-

---

[1] С ума все посходили от фокстрота *(англ.)*.

дами, скупыми словами, пропускающими торопливую мысль, как турникет запоздалого пассажира.

Но ему предлагают чай. Но его угощают сладкой дыней и справляются, использовав при этом пернатую строку Саади, о драгоценном здоровье американского друга.

Вандерлип в двадцати местах прорывает это сладкое марево... Он вводит в него свои увесистые рычаги, он со всей силой нажимает на их рукоятки.

Напрасно. Дым кальяна и любезность по-прежнему неуязвимы, коварные удары логики бьют улыбающийся воздух, практический Вандерлип три часа сражается с уклончивым призраком, он сам себе смешон, как Дон-Кихот, его часы твердят, что сегодняшний день просто потерян, и поезд жизни, прождав Вандерлипа одну минуту восемнадцать секунд, ушел без него.

Верблюды, жаркое небо, богатый базар. Вышивальщики и ювелиры, седельщики и гончары, шелк, кашмирские, персидские и бухарские ковры, тысяча живых пустяков, солнечные пятна и густая тень, в которой развешано старинное оружие и качаются перепелки в своих остроконечных клетках, похожих на колдовские шапки. Они качаются в них и, не видя солнца, поют о вечной весне.

Вандерлип осматривает базар, осматривает сады и злится. В самом деле, в других странах он привык к быстрому, экономному труду. Сорок лет он снимал с дикарей их драгоценные цветные шкуры и ни разу не натолкнулся на праздное любопытство и тем более на неуместное сопротивление. Он даже не сдирал, а только чуть-чуть подпарывал на спине опекаемых их скифские шубы, и все эти желтые и черные, коричневые и красные услужливо сами из них вылезали, получая взамен манжеты на ноги, кольцо с фальшивым камнем в нос, бутылку джинджера и вообще прогресс. И вдруг эти афганцы не хотят, торгуются часами, требуют особой платы за свои пустыри, непроходимые горы, лишенные всякой ценности, за свою грязь, невежество и голь. Вандерлип переходит в контратаку, и тотчас министерство исчезает в дымке пустопорожней любезности, и опять миллионер мечется по знойным и пыльным улицам, не спит по ночам, глотает хину и лед. А между тем он чувствует, что за алчностью и подозрительностью, готовой

часами цепляться за всякую запятую, за упорным нежеланием понять свои, а главное его, Вандерлипа, выгоды, прячется какая-то сила, нечто цельное, самоуверенное, неподкупное. Да, неподкупное, несмотря на повальное взяточничество чиновников. Неподкупное, несмотря на бедность и все растущие расходы на армию, школы и новые суды. Минутами кажется: вот она, победа! К американскому карману уже тянется трусливая рука, ее темные ногти, как голодные присоски. Но нечто более сильное, чем жажда стяжания, какая-то неведомая Вандерлипу стихия отбрасывает ее назад, заставляет жертвовать собой и уклоняться даже там, где тысячи неутоленных хотений кричат о золоте.

«И все-таки, — думает Ванделип, — кто знает? Посмотрим».

Уже усталый, уже больной многодневными перерывами между деловыми свиданиями, он все-таки едет в загородную резиденцию эмира на восьмидневный праздник независимости. Клокоча от скрытого нетерпения, он любуется скачками слонов, сражением баранов, стрельбой в цель и сладко-ехидной междоусобицей вельмож. Часы же в жилетном кармане выговаривают одну за другой потерянные минуты.

Вандерлипу отведена палатка на берегу искусственного озера, вокруг которой без дела слоняется злобный и мизантропический пеликан, порождение не восточной, отчетливой и целесообразной природы, но западной, знающей возмутительную прелесть химер.

Вокруг миллионера Вандерлипа, дельца и джентельмена, в течение недели бродит эта наглая птица, этот отброс бодлэровской фантазии, которая шипит на его желтые сапоги, щелкая огромным полым клювом и злобно блестя маленькими белыми, как у мертвой рыбы, глазками. Пеликан мальтретирует Вандерлипа! Вандерлип принужден терпеть общество пеликана, в минуту гнева выворачивающего наружу свои красные внутренности, целый обширный зоб.

Вандрелип болен. Он лежит в палатке и обдумывает последний решительный натиск на своего мягкого, как студень, противника. Между двух малярийных приступов он видит перед собой все подробности дела, которое должно повлиять на историю, и убеждает себя в том, что это огромное, сложнейшее предприятие, назре-

вающее, как промышленная война, как открытие нового золотоносного полюса, вокруг которого послушно завертится весь капиталистический мир, не может поскользнуться на недоверии афганцев, как на скользкой лапе этого гнусного пеликана.

«Уэк, — кричит пеликан, — уэк, уэк», — и щелкает клювом.

Для того чтобы понять дальнейшую неудачу Вандерлипа, надо знать, что такое праздник независимости в Афганистане.

Правительство и иностранные послы придают ему официальный оттенок. Слоны, маневры, бега и речи не выходят из рамок обычной на Востоке «тамаши». И не в них неотразимая прелесть и торжественность этих дней, посвященных независимости.

Когда эмир на четвертый день вместо мундира появляется в одежде пограничных племен: в серой чалме, в темно-синей холщовой куртке, перекрещенной патронташем, в сандалиях на босу ногу, — тогда весь Кабул знает, что начинается жгучая, мистическая и глубоконациональная часть праздника. Завидя за плечами Аманулы-хана старинную винтовку пограничников, английский посол обычно ощущает легкое недомогание и, ласково извинившись, исчезает в облаке автомобильной пыли. Гудок его «ройса» провожают хриплые, ненавидящие рожки воинственных племен, сто лет пролежавших, как нетающий снег, в глубоких складках Гиндукуша.

С утра вазиры и афридии приводят себя в состояние воинственного возбуждения, которое к четырем-пяти часам дня доходит до экстаза. Они пляшут могучими ястребиными кругами, боевыми братствами. Каждое племя под своим треугольным знаменем, обожженным в пороховом дыму восстаний и набегов. Блестящие черные волосы танцоров взлетают и опускаются опять, как стая воронов над полем битвы. Они кричат, палимые тропическим солнцем и этой музыкой, обжигающей внутренности.

В середине круга, в середине черного колеса, в венке из острых волчьих криков ходит один, холодный, осторожный и жестокий. Его голова выбрита, и три клока волос на голом черепе напоминают облик древних китайских воинов. В солнечный день среди тысячной толпы он танцует ночь, пустыню и одинокое преследование.

Потом убийство и радость черного от крови меча. Осушая его в песке, целуя трепетный свет и черноту его старинных изречений, ходит воин среди круга, ничего не видя, но безошибочно быстрый и вкрадчивый, как помесь человека и желтой, легкой, могучей кошки.

Полдень, закат, ночь...

Он все ходит, как неутомимый жнец, приземистый, крепкий и неторопливый. Его меч о двух лезвиях, расколотое пополам новолуние, караулит и казнит, горит кровью бесчисленных ран, вызывает из земли противника за противником и всех убивает. И вот что самое главное. Танец племен — не старинный обряд, не художественная традиция, а правда. Они танцуют то, что вчера было у Хайберского прохода, что завтра может повториться под стенами форта Макин.

Они танцуют не просто войну, но войну с Англией. Тени, падающие под мечом одинокого воина, — это реальные, живые люди в белых шлемах и пыльном хаки, это ныне здравствующие мистер Хемфрис и сэр Добс, это убитый пятьдесят лет назад в Кабуле генерал Каваньяри, — это они, и тысячи других, безыменных, без вести пропавших в джунглях и на перевалах, в песках Афганистана, Памира и Индии.

Под ногами пляшущих вазиров клубится не пыль, а полчища, тучи саранчи цвета хаки, налетевшей с юга и запада, поразившей самые маленькие, запрятанные в горах пастбища пограничников, отравившие их колодцы своими безликими останками и ползущие дальше, через пустыни, вечный снег и голые камни. Племена топчут их ногами, но бесчисленные, безыменные истребители просачиваются везде, им нет числа и меры, конца и названия. Они — тли, им не опасен меч, выкованный во времена Александра... Тогда вдруг все круги пляшущих размыкаются, музыка сливается в пламенный рев, воины — в одну голую горячую стену, все черные взлетающие гривы — в один грозовой черно-синий пламень, мечи над головой, и пыль, как дым, и пляска, как пожар.

«Горим, горим», — хрипит музыка, и на саранчу в мундирах хаки, на полчища тлей-завоевательниц обрушивается чистый и безжалостный огонь. Горит трибуна, вся площадь, небо, горы, вся страна и весь народ, и сквозь грохот этой победы, несущейся вскачь, с обугленным лицом, эмир кричит голосом, покрывающим все:

— Саламат бад истеклал-и-Афханистан!..

«Никаких концессий я не получу. Надо уезжать». Вандерлип щелкнул эмира «кодаком» и пошел к своей палатке.

Он, воплощение скорости, уехал из Кабула в старомодной, чудовищно-неповоротливой карете. Перед ним в углу сидел его михмандар, нестерпимый, как и все михмандары Востока, своими пытливыми очками, чрезмерной любезностью и острыми коленями, торчащими всюду, куда ни потянись. Вандерлип уже придумывал обходную дугу своей магистрали, которая делала ненужным Афганистан. Стук расшатанных, гремучих колес по щебню напоминал ровное пульсирование поезда, и мысли выравнивались бесконечными параллельными нитями, закрепляясь то цифрой, то горизонталью итогов, как телеграфные проволоки от столба до столба. Вандерлип никогда не возвращался назад и не жалел о совершенном. Но в данном случае его беспокоил не самый факт неудачи, но ее полная необъяснимость. По кожаному верху кареты успокоительно стучал дождь, точно кто-то большой сидел в этой темной ночи, рассеянно барабанил пальцами и тоже думал: «Почему?.. почему?.. почему?»

«Нет, нет, — припоминает Вандерлип, — они не так глупы. Не так уже глупы».

Кучер хлещет мокрых, горячих лошадей там, снаружи.

«Они упрямы, да, но дело не в упрямстве, не в одном упрямстве. И эмир — крупный человек. Мне пригодился бы такой энергичный и деловитый парень в Калифорнии. Вечные забастовки на этих приисках. Да».

Карету тряхнуло, стукнуло, жестоко бросило в сторону.

«Сопротивление, вот в чем дело! Сопротивление всему чужому. Еще бы, народец, который Англия не смогла проглотить за сто лет!»

И вдруг, улыбаясь, чувствуя, что все ясно, как пара прямых, новых рельс:

— Михмандар-саиб, а что значит «истеклаль»? «истеклаль»?

И склонив голову набок, прижав руку к полному животику, михмандар перевел, улыбаясь лукавой, тонкой восточной улыбкой:

— «Независимость», ваше превосходительство.

Глава десятая

КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ

Нам понятна долговечность идей; никто не удивится человеку, в наши дни живущему ненавистями и приязнями Руссо, Шопенгауэра или Гете. Может быть, даже найдется некто, любящий Тассо или Джордано Бруно, для которого поныне тень от белых стен крепости св. Ангела ложится на горячий полуденный путь, как печаль и безумие. Кое-где сохранилась боязнь черной иезуитской рясы, холод в костях отдаленных потомков от жара священных костров. Но нигде старая вражда не стоит так долго, как на Востоке. Много столетий назад Ормузд и Ариман побеждены Магометом; давно написана и успела обветшать «Книга царей» поэта Фирдоуси, но так же, как на червонных страницах рукописей, мертвые идеи еще спорят, одни вечно сопротивляясь, другие нападая.

Их развозят по Востоку особые ученые, смесь современного литератора и старинного проповедника, коммивояжеры новых идей и учителя состарившихся истин. Именно таков новый гость Афганистана — Мирза-Абдул Мухамед, просвещенный человек, издатель либеральной газеты в Египте.

Ко двору эмира Амманулы-хана он приехал, как езжали англичане в Немецкую слободу к Грозному, голландцы к Петру, и как до сих пор странствуют шарлатаны, мастеровые и вообще люди грамотные к отсталым, но богатым соседям. Он привез с собой в Кабул шелковистую профессорскую феску, отличный сюртук, важность и серьезность святого человека, и историю Афганистана в семи томах, по две тысячи листов каждый, над которыми трудился двенадцать лет не без надежды на щедрое вознаграждение в будущем.

Двор принял ученого с почетом, очень одобрил номера его журнала «Надежда правоверного», или «Что делать благочестивому мусульманину?», однако отвел ему более чем скромное помещение вблизи могилы императора Бабура и вежливо, но твердо уклонился от уплаты старого долга за выписку «Упования сынов Магомета». Как ни был серьезен и красноречив ученый перс в плохо отапливаемых, но пышных развалинах Ве-

ликого Могола, он ничего не приобрел, кроме почета. Разочарование, неопределенные обещания и совершенно платонические ласки правительства сделали отшельника более откровенным. В своем пустынном уединении он обдумал и заготовил не одну теплую страницу об «истинном» состоянии Афганистана, этой, по его мнению, «отсталой деспотии, которую могут превозносить только продажные перья, но не свободные умы мыслителей, чуждые всякой суеты» (к разряду последних причисляется, конечно, и означенный перс, двигатель прогресса).

Таков этот тип восточного литератора, путешествующего целую жизнь между Каиром и Портой, Кабулом и пирамидами, разнося либерализм, легкий скептицизм под маской благочестия, идеи национальной независимости, сплетни и новости, из которых, в конечном итоге, складываются репутации правительств и политических деятелей.

Это кочующее общественное мнение со скромным запасом белья и денег, но с тем бо̀льшими амбициями. Из Афганистана оно едет ущемленным. Но не стоило бы, пожалуй, так подробно останавливаться на этом представителе шестой державы, если бы он в своем ущемлении не обнаружил очень оригинального, геологически чистого пласта идей и знаний. Мирза-Абдул-Мухамед не просто бранил Афганистан, не сумевший оценить своего первого настоящего историка: он бранил с озлоблением, доходящим до принципиальности. Он становился атеистом при виде кабульского ханжества; реформатором — ввиду царящего застоя; революционером — на фоне, так сказать, допетровского раболепства (в гостиных Каира, — твердит Абдул-Мухамед, — давно оставили условное низкопоклонство, коим еще всерьез упивается Кабул), а главное, в душе этого истого перса, с его ученостью и ленью, привычкой к политическому злословию и английской свободе, если не печати, то хоть цензуры, проснулось какое-то подобие гражданской гордости.

Будучи сам ученым перекати-поле, но персом, а следовательно, человеком, в жилах которого течет старейшая культурная кровь, он пересмотрел свою историю Востока и нашел в ней полное отсутствие культуры. Оказалось, что все семь томов, рассмотренные с этой точки зрения, были летописью мракобесия, на протяже-

нии десяти столетий выполовшего все травинки искусства и мысли. Песок, камень и кривая сабля, — больше ничего.

Слово за слово, довод за доводом, из личинки примазывающегося придворного историка выглянул иранец, чистокровный перс, пропитанный старинной ненавистью против голой, все оскопляющей религии победителей — арабов. Коран! Ведь это книга, полная грубых бессмыслиц, животной чувственности, вообще, произведение, достойное палатки невежественных кочевников, из которой оно вышло на горе человечеству только для того, чтобы сжигать старые цветущие города, библиотеки и сады, довести до полного упадка живопись и архитектуру, обратить в ничто все завоевания античной мысли.

Только персы спасли от огня и меча переводы Аристотеля и Платона. Персы, окружавшие блестящей толпой министров, поэтов, врачей и историков диких арабских владык, вроде Гаруна-аль-Рашида, украсили цветами своей увядающей культуры его кровавое царство, смягчили дикие, мелочные установления Магомета мудростью Зороастра, гуманизмом древних огнепоклонников, первых магов и астрономов мира. Через Персию греческая философия позолотила тонкие колонны и узорные купола Мавритании. Вся арабская культура, откуда она?

Лицо иранца окрасилось волнением, отблеском старой ненависти, неугасающей, как огонь, сбереженный на чистых парсистских алтарях близ Бомбея. Когда в наши дни живой человек говорит о дворе Гаруна-аль-Рашида, как о чем-то, бывшем вчера, а может быть существующем и сегодня; когда он вдыхает свою живую, мучительную вражду в мертвый прах, в истлевшие столетия, — они оживают, они молодеют, включенные в гальваническую цепь настоящей борьбы, настоящих страстей и злобы. Неживой противник подымает мертвые веки, чтобы ответить тусклым, упорным, все еще высокомерным взглядом на запоздалый бунт потомков.

«Гарун-аль-Рашид — варвар, дикарь, насильник, оставивший по себе славу восточного Медичи, покровителя искусств, только потому, что утонченная культура побежденных продолжала цвести под ногами победителей. Растоптанные розы Ирана благоуханны навек, пустыня корана пропиталась их ароматом».

Перс давно покинул область научных доводов, перестал цитировать и называть хронологические даты. Легенда открыла ему голубые, как небо, эмалевые ворота, и бедный ученый со своими крахмальными манжетами и безобразным европейским сюртуком послушно пошел за легкомысленной музой сказок.

«Когда погибла персидская культура, когда? Я вам сейчас расскажу. У этого необузданного государя, у Гаруна-аль-Рашида, был министр иранец, который вместе со своим сыном был украшением его царствования. Они созвали ко двору араба знаменитых персидских ученых, художников и поэтов. Устроенные ими медресе цвели ученостью и красноречием, нравы победителей утончились, язык смягчился и принял счастливые обороты поэзии и риторики. Гарун прославился не только силою оружия и несметным богатством, но и блеском просвещения, окружавшим его престол. Между тем сын великого министра, прекрасный перс, полюбил дочь Гаруна-аль-Рашида и пожелал на ней жениться. Вся гордость араба возмутилась, когда он узнал о том, что иранец из униженного им племени, человек несвободный, почти пленник, не имеющий ничего, кроме своей образованности, смеет мечтать о дочери царя-победителя. Но так как молодые люди несколько раз видались за городом в одном из замкнутых садов, полных роз, павлинов и свежей воды, так как Осан видел без покрывала лицо своей возлюбленной и таким образом запятнал ее, как мусульманку, то Гарун-аль-Рашид согласился на бракосочетание с тем, однако, условием, что молодой муж никогда не узнает своей жены, и ни одна капля низкой персидской крови не вольется в жилы аравийских царей.

Осан согласился, и грустный договор вступил в силу. Дочь Гаруна-аль-Рашида ничего не знала о нем, и пренебрежение мужа жестоко ее поразило. В течение целого года она напрасно старалась приблизиться к Осану. Наконец несчастная женщина рассказала о своем бесчестии матери, и та нашла способ ей помочь.

Однажды царица ласково подошла к своему зятю и сказала ему:

«Ты печален и живешь без любви. Сегодня вечером я пришлю тебе гречанку необычайной красоты. Насладись ею, мой милый сын, но не зажигай огня в своей комнате. Эта девушка чиста и стыдлива».

Осан согласился, и ночью пришла к нему его жена, дочь Гаруна-аль-Рашида. Обманутый темнотой и молчанием, он сделал ее матерью в первую брачную ночь. Таким образом, победители и побежденные готовы были навсегда примириться; угасающая Персия соединила свою нищету, мудрость и поэзию с варварской силой и богатством арабов. Но царь не простил дочери ее унижения. В одну ночь он отрубил голову своему министру, его сыну, и многим знаменитейшим философам и художникам персам, жившим при его дворе и во всех частях обширного государства.

И новорожденный, в котором прошлое мирилось с будущим, разделил казнь своего отца».

Перс потух, поправил очки на носу и ничего больше не добавил.

Глава одиннадцатая

О ЛЮДЯХ И СТРАНАХ, ОТДЕЛЕННЫХ ОТ СССР И 1925 ГОДА ПУСТЫНЕЙ, НЕСКОЛЬКИМИ ВЕКАМИ, КРЯЖАМИ ГОР И КРИВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ САБЛЕЙ

Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.

Азия в этой своей мертвой полосе между Туркестаном и Индией чужда всяких аффектаций. От каспийских солончаков и до Хайберского перевала, за которым начинается таинственная Индия, она покоится от века недвижимая, голубея и блистая рядами нагих хребтов. Их одевает тишина, пространство, излучение времени.

Если что-нибудь фантастично в этой древней стране, то не она сама, а скорее телеграфные столбы, гигантскими шагами идущие в горы, перемахивающие через ручьи и дикие речки, в клочьях пены похожие на великолепных верблюдов, разгневанных понуканиями погонщика.

Сказочны яркие огни автомобиля, ползущего на железную, ничем не прикрытую гору. Сказочно сердцебиение шестидесятисильного мотора, заглушающего все

звуки азиатской ночи. Как во сне, белеют потоки электричества, в которых купаются камни, колючие кусты и обрывы, мимо которых пешком, осторожно ведя лошадь на поводу, шел Александр Великий.

Какая же экзотика в самом Востоке? Здесь умирают просто, и просто закапывают в землю. Ни имени, ни воспоминания. Просто вешают воров и пашут деревянным клыком, который тащит пара замшевых, круторогих, прекрасных быков.

Все это кажется нам чудесным только потому, что где-то есть гробницы Микеланджело, американские механические плуги, своды законов и стремительный нож гильотины. Но, с точки зрения Солимановых гор, верблюды — наилучший и самый быстрый способ передвижения. Вдоль глянцевитых, мутных и быстрых рек должен расти камыш, чтобы в нем охотиться и спать хищникам. А там, где заросли сожжены кочевниками, на вязкой, пахучей почве зеленеют листья мака, целые поля опиума, и мельница, устроенная в дыре, накрытая камышовой настилкой, шумит мутным ручьем и шелестит первобытным жерновом. Так было и должно быть вовеки.

Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не остается заметных следов.

Какой-нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, — а все остальное у нас ведь общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью.

Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как-то неловко торопиться. Один мост через Оксус, через Аму-Дарью, грязным, мутным валом валящую через пустыни, как желтая орда, висит от берега к берегу призраком чуждой культуры. Но, право, этот мост, которому не на что опереться в пустынной топи, кроме своих бетонных быков, так же одинок в Азии, как и в Прикаспийской степи. Он висит над мертвечиной времени и пустого пространства, — сухой, высокомерный, пренебрежительный отщепенец.

Совсем иначе входит Англия в пределы афганской Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью

безыменных солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути будущих наступлений, у Хайберского прохода, сейчас даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду, текущую во всех придорожных канавах.

Двойной ряд шоссе соединяет Индию с Афганистаном, которому она, сама раба, должна будет набить колодки и кабальный ошейник. Телеграф и телефон пододвинуты к самой границе, несмотря на почти столетнее сопротивление независимых племен, оберегающих южные, угрожаемые границы эмирата.

Наконец коммуникационная линия перешагнула и сожженные деревни вазиров, засыпанные аэропланными бомбами в своих только со стороны неба доступных орлиных гнездах, и через условную линию политических границ. Зимний ветер на базарах Кабула поет в тугих проводах индо-английского кабеля; вожаки караванов доверчиво и небрежно привязывают верблюдов к его предательским, стройным столбам, литым из того же металла, из которого делаются пушки и штыки колониальных армий.

Полуразрушенные загородные дворцы и гаремы прежних эмиров спешно перестраиваются под торговые фактории; английский представитель собирается строить целый квартал, — резиденцию будущего афганского вице-короля. С ни с чем не сравнимым самообладанием переносят пионеры великой державы оскорбления, ругательства и притеснения со стороны «туземцев», которые на секретных картах генерального штаба уже обведены пунктиром, пришиты к Пешаверской провинции и общему индо-британскому отечеству и огорожены от России прохладной нейтральной зоной, проведенной аккуратным циркулем топографа где-нибудь на полпути между Мазар-и-Шерифом и Кабулом, Кандагаром и Гератом.

Джелалабад, сказочный городок на крайнем юге Афганистана, является живым памятником старой, ныне оставленной, политики Великобритании в маленьких восточных деспотиях. Это кусочек среднеазиатской пустыни, унавоженный, оплодотворенный, благословенный потоком английского золота. Верхушки финиковых пальм, шелестящие металлическими веерами в обетованном небе, розы и левкои в январе, налитые золотом и

медом мимозы; белые дворцы, фонтаны и искусственные ручьи, — все пример мирных чудес, которыми наполнится глухой каменистый пустырь, если его воинственный и невежественный народ позволит золотой палочке британского капитала прикоснуться к своим бесконечно унылым пространствам.

Старый эмир Афганистана, Хабибулла-хан, был куплен англичанами. Они научили его пользоваться богатством, развили вкус к безмерной роскоши. Английские инженеры и техники заменили перекипающему от жира и болезненного разврата шаху услужливых духов «Тысячи и одной ночи». Цивилизация начала свою облагораживающую работу с уборных гарема, оборудования европейской кухни и устройства отличных дорог, по которым автомобиль его величества мог беспрепятственно перекочевывать из одного притона, устроенного его европейскими друзьями, в другой, расположенный где-нибудь на другом конце пустыни, предоставленной пыльным ветрам и равнодушно влачащимся верблюдам.

Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоуханный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.

Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скаредный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящие, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлобное отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет — со священными плясками, угар кутежей — с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно — путем аскезы или маразма.

И вот на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто-нибудь из белых, кто-нибудь из касты господ, пьющих сода-виски, задрав ноги на голову поверженной Индии, отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Сарасвати, Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознания, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.

И, спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми философскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно поддерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.

В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии, после тяжелой войны, пришлось начинать сначала, на этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.

Но вернемся к теме.

Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя. Не просто

флаг,— но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля N. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользком паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассатами и муссонами.

Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее является крупным землевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лояльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должал, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньгу. Он снизошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра — нечто в роде Муссолини, послезавтра — кто знает? — запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.

Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей,

так сказать, в безвоздушном пространстве, — это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе — не выражать своим поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус — более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных — увы! — в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг друга. Священная обязанность каждого из послов — честно разгонять сплин своих коллег и вовремя подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и па которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический «театр для себя» на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям-ньямов или папуасов. Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы, — будь то паркет или глиняный круг, вытоптанный возле костра людоедов, — сошлись два авгура, два знатока пустопорожнего священнодействия, — они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы, отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд, — утонуть, наконец, в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол — своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.

Ругали-ругали большевиков, а сейчас — не угодно ли? — ни одна путная конференция не обходится без участия этих монстров.

Но и тут всеобъемлющая лояльность Ноаля вывела его из стесненного положения. Ведь он пожимает руку не большевику, но полномочному министру, высокой юридической личности, не подлежащей обсуждению. И если, по счастью, носитель славного звания, выскочивший из самого пекла большевизма, не вытирает нос

скатертью и не вовсе орангутанг, то Ноаль, предав забвению грешные годы нашей революции, почтит в его лице старые призраки блаженной памяти Сазонова и Гирса, Извольского и Горчакова[1]. Не личность, но правовую идею, призрак законности, дипломатическую династию, не вымирающую quand même. Живучая фикция преемственности просто перескакивает через яму, в которую свалили семейство Романовых. Для нее император никогда не умирает и никогда не перестает быть императором: он абсолютно непрерывен в своей метафизической сущности. И если вместо орла и трехцветного в небе вдруг полощется красное с СССР, то, значит, императорская Россия умерла, не теряя бессмертия, и новая, советская, возникла не рождаясь. Ведь и со старой законной монархией случались такие странности: признавала же Европа некиих голштинских князьков подлинными потомками заведомо вымершей Романовской династии.

В культурном, юридически гибком сознании европейского дипломата большевики заняли приблизительно то же место, какое в схоластическом мировоззрении его предка, феодала, занимал какой-нибудь четвероногий остгот, прямо с варварского щита своих орд влезавший на священный престол Римской империи и короновавшийся в соборе св. Петра венцом кесаря, скрученным из конского недоуздка. Все это, конечно, постольку, поскольку дикие степные всадники Оттона или Теодориха стояли у самых стен Вечного города, и пьяные латники, рыгающие, пахнувшие лошадиным потом над награбленными шелковыми одеждами, не теряли способности владеть мечом, жечь города и склонять пап к ангельскому миролюбию.

Но, конечно, полное политическое признание, которым советское представительство пользуется в Кабуле, отнюдь не основано на гибкости чьего бы то ни было юридического мышления. Просто в Афганистане нельзя подвергнуть русских бойкоту, не оставшись самому в полном уединении. За СССР здесь говорят сила ее пограничных армий, реальность торговых интересов и ненависть всего населения к англичанам.

Даже французский полуофициальный представитель,

[1] Министры иностранных дел в России в XIX веке *(прим. ред.)*.

академик Фурмье, в самый разгар Гаагской конференции вынужден был признать подлинное существование Советской России на пустом месте, обведенном чертой блокады, которое столько лет держалось в политической географии Третьей республики.

Кстати, несколько слов о профессоре Фурмье, известном ученом, о котором сам Мильеран в официальной речи упомянул, как о «notre illustre»[1]. Это — сладчайшее и корректнейшее воплощение казенной французской науки. Белоснежные волосы венком вокруг розовой лысины, свежий цвет лица, приветливые голубые глаза, снисходительная улыбка, открывающая безупречной работы вставную челюсть; крепкие скулы и квадратный, беспощадный подбородок человека, всю жизнь перемалывавшего науку и проталкивавшего в культурный пищевод Европы дешевую и питательную патентованную кашицу. Работая правильными спазматическими приемами, пережевывая свои камни, обломки исчезнувших городов и утварь мертвых, он теперь крепко ухватил Афганистан. Его дикие руины, занумерованные и описанные, исчезают в пещере этого всеядного, всеопошляющего научного рта. И по мере того как идолы Бамиана и таинственные надписи джелалабадских гробниц будут совершать свое органическое движение по толстым и тонким кишкам археологии, по всем слепым отросткам и мертвым петлям этой науки, в Париже, в министерстве наук и великих открытий некий столоначальник, хранитель пыльных папок Александра и Великих Моголов, бережным почерком отметит заслуги академика Фурмье и приснопамятный день, когда обшлаг его черного сюртука украсит орденская лента. Как всякий истый буржуа-республиканец, Фурмье питает тайную страсть к монархии. Заветное слово «сир», такое короткое и величавое, слетает с его медовых уст с невыразимой нежностью.

Возле какого-нибудь толстого, безмерно оплывшего, в постоянной пищеварительной истоме мигающего то одним, то другим глазом, сановника профессор порхает, как заботливая няня. Маленькие потирания рук, улыбка, вкрадчиво поблескивающий оскал, наклонение головы выражают почтительное и ласковое согласие человека

[1] Наша гордость *(франц.)*.

науки с доводами здравого смысла, обитающего под толстой, как верблюжье колено, черепной коробкой афганского сердара.

В такие минуты академик Фурмье, подобно нежной и цепкой лиане, обвивает тяжкий каменный столб абсолютной власти.

Зрелище невыразимого пресмыкательства являет на высочайших аудиенциях мадам Фурмье, жена академика. Она — внучка или правнучка одного из тех знаменитых хлеботорговцев, которые в 1789 году сумели нажить и припрятать громадные состояния, несмотря на ропот Сент-Антуанских предместий и желчные нападки «Друга народа». Семья мадам Фурмье давно пришла в упадок; современная спекуляция поглотила миллионы, некогда добытые путем простодушного, натурального хищничества. Но сама праправнучка знаменитого пекаря сохранила сахарную белизну французской булки, эту сочную, теплую мякоть, в которой навеки увязла вставная челюсть маститого археолога. Она белокура, как румяный крендель, обмазанный сверху пером, обмакнутым в желток; над маленькими светлыми глазками из голубоватой сыворотки, какою замешивают тесто, — белые ресницы, осыпанные мукой. Кондитерские плечи, сдобная талия, тяжелый круп и могучий живот, к которому ее бабка прижимала пудовый ржаной хлеб, отрезая от него дымящиеся ломти. На дрожжах многотысячных гонораров Сорбонны великолепные возможности мадам Фурмье несколько отсырели, поползли через край, вздулись ноздреватой горой мяса, как в квашне переливающегося в тесных и прозрачных платьях-рубашечках, какие теперь носит модный Париж.

В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студнем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загипнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.

Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видев-

шая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и свыше всякой меры.

Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо-холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.

Глава двенадцатая

ФАШИСТЫ В АЗИИ

Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время от времени удается оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия.

После обеда в клубах вальсируют, как всегда, и к хрипу и животному неистовству фокстротов примешивается шуршание воздушных флотилий, летящих к месту восстания. Танцующие улыбаются, улавливая над крышей белого, радостного дома полет этих орлиц, которые через час обрушат тысячи смертей на пылающие поселки пограничников. В течение еще недели колониальная пресса пишет о зверствах повстанцев, публикует портрет респектабельного, фланелево-белого, шлемистого плантатора, вырезанного со всей своей розовой и круглой семьей.

Потом «Пайонир» и «Инглишмэн» в иллюстрированном приложении дадут героев, отбивших одичалую от

голода толпу от белой террасы земиндара, три дня просидевшего за баррикадой, сложенной из длинных, уступчивых, располагающих к послеобеденному отдыху, шезлонгов.

Потом техника починит все взорванные мосты и вывернутые телеграфные столбы; правосудие повесит виновных, которых не успели захватить и расстрелять у поврежденных насыпей и разграбленных почтамтов.

Затем вице-король со своей умной и сухой улыбкой старого еврея, знающего цену всему на свете, навесит дюжине аристократических дураков новенькие, как деньги, ордена.

Вице-королева, старая Роза из чулочного магазина в Уайт-Чепеле, еще раз упьется на старости лет царскими почестями своего сана. Дамы опустятся перед ней на одно колено почти до полу, а титулованные господа, как мальчишки, не смея шелохнуться или закурить папиросу, в ожидании станут у дверей этого вице-величества, помазанного в государи биржей и министерскими чиновниками. Здесь, в Индии, венценосцу ростовщиков и торговцев цветной человечины воздаются истинно-царские почести. С этикетом вице-королевского двора не сравняются никакие тонкости и строгости старых европейских монархий. Там вольность и простота, там величество окружено роями светлостей и сиятельств, которые его считают только первым среди равных и часто пожимают плечами насчет чистоты крови и древности царствующего дома. В Индии же феодальная знать, такая избалованная на родине, наполнившая «Хроники» Шекспира своей надменной вольностью, окружает вице-короля Индии азиатскими почестями, громоздкими и унизительными для себя церемониями. Наравне с цветными она демонстрирует свою полную зависимость от короля милостью банков.

В Дели капитал священнодействует в благоговейной тишине, окруженный кольцом коленопреклоненных царедворцев, старейших и почтеннейших представителей армии, высокородных леди, чуть не до полу склонивших свой породистый пробор. Никто не смеет шевельнуться, кашлянуть, переступить с ноги на ногу. Все замерло в почтительной, священной тишине; как будто слышно затрудненное дыхание Полипа, вонзившего свой могучий хобот в сердце Индии; кажется, видно, как по тре-

пещущим, раздутым венам течет живая влага, все еще плодоносными приливами истекающая из ее старых ран. Хлопают последние выстрелы карательных экспедиций. Вице-королева улыбается млечному пути бриллиантов, мерцающих у ее кривых, плебейских ног, и «святой» Ганди из своей тюрьмы кричит народу о непротивлении злу.

В промежутках между чисто английскими колониями паразитов ютятся представители менее победоносных торговых держав. Путаясь под ногами победителей, подбирая крохи, устремляясь ко всякому клочку белой индийской кожи, случайно мелькнувшему из-под тучи обсевших и жрущих ее клещей, перебиваются итальянские, немецкие и другие европейские негоцианты. Особенно первые. Бедность делает их предприимчивыми, а громкие титулы придают коммивояжерской наглости вид аристократической непринужденности. В самой Индии эти господа едва ли могли рассчитывать на успех. Но неожиданно для них открылось новое поле действий: страшный Афганистан, которого так боятся их друзья англичане.

Захватив фраки и пару шелкового белья, они чуть не вприпрыжку перешли заветную границу, провожаемые сумрачным и завистливым взглядом пограничного чиновника, день и ночь охраняющего эту проклятую пустыню, съевшую столько английского золота и костей.

В Джелалабаде оба, граф и командор, «король шелковичных червей», были великолепны на фоне пустынь, голых гор и величавого безразличия, с которым Восток позволяет всякому прохожему вскарабкиваться и перелезать через свою холодную, давно уснувшую каменную грудь.

Знатные путешественники, едва окинув страну небрежным взором, прониклись невыразимым к ней презрением. Никакой наживы, ничего готового. Ни слоновой кости, которую у дикарей надлежит выменивать на водку; ни рубинов и ковров в обмен на ржавые бритвы, стеклянные бусы и красный коленкор.

Аппетиты скользнули по голым скалам Афганистана, по крупному лицу эмира и везде сорвались, везде поскользнулись и осеклись. Взвинченные десятидневным целомудрием (ибо в этой варварской стране даже туземки не продаются), оскорбленные бедностью полей,

которым нужны вонючие удобрения и тяжеловесные машины, шокированные мелочной робостью белобородых купцов, пробующих каждую монету на зуб и моментально загрязнивших и расщипавших по нитке нарядные образчики, молодые люди собрались в обратный путь.

Перед отъездом они сделали визит в большевистское полномочное представительство.

Как-то неловко было смотреть на их лица, совершенно голые, гордящиеся полной неприкосновенностью своих черт, выставивших напоказ голизну всех своих хотений, на зло старым буржуазным фиговым листкам.

Все ясно в этих физиономиях, от наглого лба, от проваленных грязных глаз, холодных, как мертвая рыба, в серых прокуренных орбитах, и до пресыщенного, пренебрежительного рта, обложенного двумя скучными и жестокими рытвинами, двумя большими, вытоптанными дорогами, вдоль которых грабят и обирают, чтобы потом прожить, пропить и пролюбить со страшными рыжими самками, хлещущими этих бандитов с еще большей бесцеремонностью, чем сами они, прожорливые, беспощадные и торжествующие, поступают со своими слабейшими конкурентами.

Нет ничего удивительного в том, что маленький Афганистан при виде этих физиономий схватился за карманы и побежал пересчитывать свой каракуль, развешанный на сушильнях. Не нашлось ни одного купца, достаточно цивилизованного, для того чтобы сесть за игорный стол с двумя великолепными рвачами и в два приема, при блеске свеч и мелькании белоснежных манжет, проиграть им свою лавочку на базаре, свои ковры и свои золотые, бережно сосчитанные и висящие на груди под рубашкой в вышитом бухарском мешочке.

Но эти рвачи, вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем не отличались бы от миллиона им подобных, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма.

Их наглая решительность значит не только «деньги ваши будут наши», но и «нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками,

в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей».

Эти молодцы во фраках, рослые, с утюгообразными тяжелыми лицами, на которых, как следы чего-то раздавленного, пятна глаз и рта, не лицемерят, не делают вид, что им стыдно, не говорят ненужных слов, не щадят и сами не запросят пощады у стенки. Когда слышат слово «парламент», «конституция» или «народное представительство», то как-то по-животному хмыкают из-под бальных рубашек и сочувственно, с пониманием, смотрят на нас: «Вы, дескать, с этим покончили».

О России говорят с удивительным, циничным уважением, и тогда руки с большими, плоскими и чистыми ногтями тихонько начинают играть на скатерти от желания поскорее схватить за глотку единственного достойного противника. Весь мир, кроме этого СССР, лежит для них в пропасти невыразимого презрения, как добыча сильных, как трусливое и лицемерное стадо, из которого, с торжествующим рычанием, можно и должно выхватить самых жирных баранов, чувствуя на волчьих зубах их сентиментальный запах, их шелковистую интеллигентскую шерстку, давясь их блеянием на тему о том, что «сила не есть право». Не говоря уже о классе неимущих, лежащем далеко внизу и сбрасываемом вниз, под откос, прикладами и жандармскими сапогами всякий раз, когда он обнаруживает преступное желание выбраться наверх. Эти — вне закона и пока в счет не идут.

Встречи с нами ждут, как неизбежного, после чего у мира останется только один хозяин. Найдя красное знамя Советов на этой окраине Азии, к которой с другой стороны вплотную пододвинулась Англия, они явились посмотреть на большевиков, вежливые и любопытные, с шерстью, которая против воли стала дыбом на волчьих загривках.

В дверях граф повернул свое тяжелое лицо и сказал с улыбкой:

«С такими противниками, как большевики, мне приятно будет встретиться на баррикадах».

Два черных поклонились, и фонарик побежал перед ними в черный сад. Точно они кого-то вели или их кто-то повел к гильотине.

[1923]

ГАМБУРГ
НА БАРРИКАДАХ

* * *

Восстание проходит бесследно в больших городах. Революция должна быть великой и победоносной, чтобы на камне и железе хотя бы в течение нескольких лет сохранились следы разрушений, ее героические царапины, белые воронки пуль на стенах, изрытых оспой пулеметного огня.

Через два-три дня, через две-три недели, вместе с обрывками газет, вместе с лохмотьями плакатов, оторванных от стен острием штыка, отмытых грязными дождями, уходит короткая память об уличной борьбе, о взрытой мостовой, о деревьях, мостами перекинутых через реки улиц, через ручьи переулков.

За виновными захлопываются двери тюрем, соучастники, выброшенные из фабрик, принуждены искать работы в другом городе, в отдаленном квартале; безработные после поражения забиваются в самые глухие, самые безыменные щели; женщины молчат, дети отрицают, опасаясь слащавых расспросов охранника, и легенда о днях Восстания глохнет, забывается, заглушенная шумом восстановленного движения, возобновленных работ. Новый фабричный слой, став у опустелых станков, еще повторяет по углам мастерских кое-какие имена, пересчитывает особенно меткие выстрелы, — но и это уходит.

Для рабочего в пределах буржуазного государства нет истории; список его героев ведут военно-полевой суд и фабричный педель из меньшевистского профсоюза.

Побив оружием, буржуазия душит забвением ненавистную память о недавно пережитой опасности.

Со времени гамбургского Восстания прошло уже несколько месяцев. Но, как это ни странно, его память упорно не хочет исчезать, хотя следы баррикад тщательно срыты и поезда мирно бегут вдоль насыпей и виадуков, служивших брустверами для обороны или наступления, — чайки отдыхают на них.

Три военно-полевых мясорубки спешно засовывают в тюрьмы участников уличных боев; врачи и тюремные инспектора давно возвратили родственникам последние трупы, до неузнаваемости исковерканные побоями. Но память о дерзком октябре упорно держится. Нет кабачка, нет рабочего собрания, нет пролетарской семьи в старом вольном городе Гамбурге, где бы не пересказывали с гордостью соучастников или, во всяком случае, с невольным уважением зрителей об удивительных сценах, разыгравшихся на улицах предместий.

Объяснение этого упорства, с которым пролетариат прибрежной полосы хранит и поддерживает живучую память об октябрьских днях, — в том, что гамбургское Восстание не было сломлено ни в военном, ни в политическом, ни в моральном отношении. В массах не осталось глубокой горечи поражения.

Длительный революционный процесс, бросивший их на баррикады в октябре, не оборвался ни 24-го, когда мобилизована была вся полиция и отборная черносотенная часть морской дивизии и рейхсвера, ни 26-го, когда компактные кадры полиции, многотысячные отряды кавалерии и пехоты, целые взводы броневиков наконец ворвались в революционные предместья, уже за несколько часов до этого добровольно покинутые рабочими сотнями. Наоборот, движение, прорвавшееся наружу в октябрьские дни, господствовавшее над городом в течение 60 часов, разбившее противника наголову во всех пунктах, где он осмеливался перейти в атаки против искусно расположенных баррикад; движение, стоившее рабочим всего 10 убитых, а полиции и войскам десятков и сотен убитыми и ранеными, — спокойно вывело из огня своих бойцов, спасло и скрыло оружие, доставило в надежные убежища раненых, словом, планомерно отступило, вернулось в подполье, чтобы снова из него подняться по первому зову общегерманской революции.

Начало революционного движения надо считать не с октября, а с августа предшествовавшего года, когда Гамбург сделался ареной последовательных и ожесточенных боев за заработную плату, за 8-ми часовой рабочий день, за расчет в золотой валюте, за целый ряд не только экономических, но и чисто политических требований — рабочее правительство, контроль над производством и т. п. Эти профессиональные бои сопровождались все усиливающейся судорогой забастовок и бурными вспышками нарастающей революционной ненависти, — разгромом продовольственных складов, избиением полиции и штрейкбрехеров. Особенно в эти месяцы отличились гамбургские работницы, как и все женщины большого портового города, гораздо более самостоятельные и политически зрелые, чем их товарищи в большинстве промышленных центров Германии. Это они в августе того года преградили своим мужьям и товарищам доступ к бастующим верфям. Их живую цепь не могли отбросить от Эльбского туннеля ни полицейские штыки, ни малодушные толпы рабочих, готовых пойти на какие угодно условия работодателей. Одна из таких стычек закончилась разоружением и избиением полицейского отряда, в особенности лейтенанта, его возглавлявшего и за то выкупанного в грязной и холодной воде Эльбы.

Начавшись в августе, это движение могло закончиться не проигрышем, как кричит буржуазия, и не просто блестящей военной демонстрацией 23—26 октября, но только поражением или победой всего рабочего класса Германии. В этой преемственности, в этом постоянном и длительном нарастании, которым отмечена работа гамбургских товарищей, лежит коренное отличие вооруженного восстания от так называемого политического «путча».

У «путча» нет ни прошлого, ни будущего; только окончательная победа или такое же непоправимое, безнадежное поражение. Революция, если она сильна и руководима эластичной, сильной, боеспособной партией, может спружинить, отступить, свернуться после самой отчаянной вылазки. Пролетариат же слабый, политически не тренированный, не закаленный, живет надеждой на короткий удар, на вспышку, на очень острое, кровавое, но не длительное напряжение. Пусть этот короткий удар стоит огромных жертв, величайшего напряжения, —

рыхлые, плохо сколоченные массы на все пойдут, если за этой моментальной атакой брезжит надежда на эфемерный, но непременно полный и окончательный успех. Если за такой попыткой захвата власти по тем или иным причинам следует неудача, эти массы разваливаются, выпадают из всякой организации, усиливают свое поражение озлобленной самокритикой. И наоборот, регулярные кадры политически зрелых масс от штурма возвращаются в свои старые окопы, способны к долгой, скучной, медленной осаде, к саперным работам подполья, к ежедневным мелочным вылазкам. Гамбургское Восстание и по длительному политическому процессу, ему предшествовавшему, и еще более по совершенно блестящей работе, проделанной в ближайшие же дни и недели по его ликвидации, является классическим примером настоящего революционного восстания, выработавшего интереснейшую стратегию уличных боев, и единственного в своем роде безукоризненного отступления, оставившего в массах чувство несомненного превосходства над врагом, сознание моральной победы.

Ее результаты неоспоримы: никогда еще развал старых профессиональных организаций не достигал таких стихийных размеров, как именно после октябрьских дней. С 25 октября по 1 января из рядов меньшевистских профсоюзов выпало более чем 30 000 старых многолетних членов. Ниже мы подробно остановимся на гнусной роли, которую профсоюзная бюрократия и правое ее крыло сыграли в октябрьские дни. В качестве лейб-гвардии меньшевизма союзы «Объединенных республиканцев» и «Отечественной обороны» открыто сменяли полицию в наиболее спокойных районах, давая ей, таким образом, сосредоточиться на усмирении Хамма и Шифбэка. Об этом ниже, — здесь заметим, что все эти воинственные подвиги социал-демократии привели к тому, что у дверей ее регистрационных бюро грудами были свалены изорванные партбилеты.

Они кучами лежали у порога, и сотни рабочих, рискуя быть арестованными или подстреленными патрулями рейхсвера, пробирались к Дому союзов, чтобы бросить свой билет в лицо запятнанной предательством бюрократии. Целый ряд крупнейших профсоюзов приморской полосы, например «Объединенный союз строительных рабочих», после октябрьского Восстания рас-

ползается по всем швам. Его членов физически невозможно удержать от массового демонстративного выхода из союза. Мне пришлось присутствовать на собраниях одной из веток строителей, решившей выйти из него в числе 800 человек и организовать свое собственное объединение. Среди присутствовавших были пожилые, частью беспартийные рабочие, мастера своего дела, не нуждающиеся в заработке, люди, десятилетиями платившие свои взносы.

На этом собрании старики, задыхаясь от бешенства, требовали полного и немедленного разрыва с «бонзами». Ни один коммунист не мог бы сильнее ненавидеть, глубже ощущать безмерное падение старой партии. Напрасно члены КПД[1] пробовали отговорить собравшихся от образования «отдельной лавочки», настаивали на разложении изнутри, на образовании мощной оппозиции, все более распространяющей свое влияние.

Рабочие открещиваются от союза, как от чего-то бесконечно грязного, не достойного ни одной трудовой копейки, внесенной в его кассу. У них глубочайшее убеждение, что рабочий, хоть один день остающийся в меньшевистском профсоюзе, лишается своей пролетарской чести, принимает на себя ложь, убийства и измены СПД[2]. После октября даже для беспартийного пожилого рабочего пребывание в союзе стало равносильно службе в Зиппо (полиции) или Eins A (охранном отделении).

Не только внутренне, но и внешне компартия и стоящие за ней массы бесконечно окрепли. Их активность не ослабела, несмотря на многочисленные аресты (кстати сказать, большинство товарищей было схвачено не во время Восстания, а уже после него, на основании добровольных доносов, сделанных рабочими и обывателями, членами СПД). Наоборот, все стены Гамбурга украшены несмываемыми надписями. На каждом перекрестке, на углу каждого казенного здания непременно красуется надпись: «Коммунистическая партия жива. Ее нельзя запретить».

---

[1] Kommunistische Partei Deutschlands — Коммунистическая партия Германии *(нем.)*.

[2] Socialistische Partei Deutschlands — Социалистическая партия Германии *(нем.)*.

Пусть парламент голосовал за «Ermächtigungs Gesetz»; [1] пусть Сект пользуется полнотой власти, пусть белая диктатура опрокидывает последние пережитки, маленькие вольности рабочего законодательства, — все стены бараков, где регистрируются безработные, сплошь, как обоями, оклеены свежими маленькими плакатами коммунистов. Они засыпают, как снегом, все собрания СПД, сыплются с галерей, прилипают к стенам кабачков, к стеклам трамваев и подземных дорог. Женщины отдаленных кварталов, где все мужское население состоит в бегах или сидит по тюрьмам, требуют присылки плакатов и листовок, и если на что-нибудь жалуются, то на отсутствие дешевой коммунистической газеты. Все это так мало похоже на поражение, что судьи военно-полевого суда, под давлением молчаливой угрозы масс, стараются смягчить обвинительные приговоры. Обвиняемые идут в крепость и на каторгу с гордостью и спокойствием победителей, с несокрушимой уверенностью, что революция никогда не позволит истечь пяти, семи, десяти годам их одиночного заключения, с глубочайшим, насмешливым пренебрежением к законам буржуазного государства, к трусливой брутальности [2] ее полиции и торжествующей толще ее тюремных стен. Эта вера не может обмануть.

Но почему же вся страна не поддержала гамбургское Восстание?

В октябрьские дни вся Германия была разделена на два лагеря, стояла друг против друга и ждала сигнала к наступлению. Но Саксония уже наводнена была полицией и рейхсвером. Таким образом, один из важнейших плацдармов революции ко времени гамбургского Восстания фактически перестал существовать. Многочисленные группы безработных еще наполняли ночные улицы Дрездена, но в затылок и рядом с ними и впереди гранили асфальт отряды рейхсвера — вооруженные, наглые и вызывающие. В этот момент сигнал к бою, данный в Саксонии, вероятно стал бы сигналом к массовому избиению саксонских рабочих. В Гамбурге в эти же дни конференция рабочих, занятых на грандиозных верфях Гамбурга, Любека, Штеттина, Бремена и Вильгельмсга-

[1] Чрезвычайные полномочия *(нем.)*.

[2] Брутальность — грубость.

вена, требовала немедленного объявления всеобщей забастовки; ее руководителям едва удалось добиться от этой решающей конференции отсрочки всеобщей забастовки на несколько дней, — рабочая конференция в Хемнице (Дрезден) генеральную забастовку отвергла. Саксония была уже под водой, и пролетариат, в последнюю минуту преданный левыми социал-демократами, инстинктивно уклонился от невыгодного, может быть, рокового для революции столкновения.

Берлин! Кто видел Берлин в октябрьские дни, наверное помнит чувство удивительной двойственности, хочется сказать — двусмысленности, составлявшей основную черту его революционного волнения. Окраску улице давали женщины и безработные. Бойкие мальчишки в хлебных очередях, у витрин мясных лавок, пробираясь между кучками отчаявшихся женщин, насвистывали «Интернационал». Падение марки, издевательские пособия, выдаваемые безработным, инвалидам и вдовам войны, ростовщическая оплата труда, головокружительные цены на все продукты первой необходимости, разорение мелкой буржуазии, совершенное бесстыдство большой коалиции, кровососная банка Рура, репрессии французов, тихие шалости немецких капиталистов, извлеченные печатью на свет божий и затенившие все газетные полотнища призраком Рура, окровавленного и покрытого угольной пылью, — таковы были несомненные признаки близкой революции. Автомобили богатых уже избегали предместий, полиция смотрела сквозь пальцы на разгромы хлебных лавок. На окраинах каменными пустырями погромыхивала артиллерия, пробираясь поближе к бастующим заводам; грохот грузовых автомобилей, груженных двумя рядами аккуратно нанизанной полиции, не умерял, а только разжигал бешенство толпы, осаждающей рынки и витрины газет.

И в то же время — огромные и совершенно пассивные массы рабочих, все еще числящихся за социал-демократией; притаившиеся за спиной безработных и коммунистов широчайшие слои обмещанившегося пролетариата, жадно цепляющегося за кусок хлеба, за свой домашний уют, за фунт маргарина, — сколько бы часов ни пришлось все это отрабатывать. Трусливое, крикливое, озлобленное большинство, готовое у себя дома, у камелька, за чашкой постного кофе и за свежей странич-

кой «Форвертса» обождать два-три дня, пока на улицах не уляжется стрельба, пока не унесут убитых и раненых, не разберут баррикады, и победитель, кто бы он ни был — большевик, Людендорф или Сект, запрятав в тюрьмы побежденных, не водрузится на сидении законного правительства. При чрезвычайно активном авангарде — растянутый, гнилой выжидающий тыл, в случае неудачи готовый донести на соседа-коммуниста, пролежавшего в окопе под самым окном у какого-нибудь почтенного чиновника от социализма, притаившегося за занавесочкой.

В Берлине, так же как и в Гамбурге (исключение составляют только некоторые кварталы со сплошным рабочим населением), пролетариату пришлось бы противостоять жандармерии и войскам генерала Секта совершенно изолированным, без активной помощи широких масс, без надежды на подкрепление в самые тяжелые моменты и, может быть, так же как в Гамбурге, почти без оружия. Тем не менее Восстание Гамбурга, предпринятое в таких же, или почти таких же, неблагоприятных условиях, не только не привело к поражению, но дало совершенно изумительные результаты. Правда, за его спиной стояла целая рабочая Германия, не разбитая контрреволюцией в открытом бою, а потому и материально и морально прикрывшая героическое отступление своего гамбургского застрельщика.

Во всяком случае, работа партии-победительницы состоит не только в лихорадочном подкарауливании исторической минуты, так называемого «12-го часа буржуазии», когда стрелка исторических часов, помедлив мгновение, механически отсчитывает первые секунды коммунистической эры.

Есть такая старая немецкая сказка: о храбром рыцаре, который всю жизнь провел в зачарованной пещере, ожидая, когда медленно набухающая капля воды, блеснув на конце сталактита, наконец, скатится ему в рот. И всегда, в последнюю минуту, какая-нибудь нелепость мешала ему перехватить томительно ожидаемую каплю, бесполезно падавшую на песок. Ужаснее всего, конечно, не самый момент неудачи, а мертвая, пустая пауза разочарованного ожидания между одним приливом и другим.

В Гамбурге не ждали небесной росы. То, что здесь так прекрасно и коротко называют Die Aktion (действие), включено в крепкую цепь непрерывной борьбы, спаяно с предшествующим и опирается на будущее, в котором каждый день — все равно, успеха или поражения — стоит под знаком победы, ломающей мир, как кулак парового молота.

Кроме того, Восстание произошло не в провинции Бранденбург, не в Пруссии, не в Берлине парламента, Аллеи Побед и Секта, а в округе Wasserkante, — по-нашему, — прибрежной полосы.

ГАМБУРГ

На берегу Северного моря Гамбург лежит, как крупная, мокрая, еще трепещущая рыба, только что вынутая из воды.

Вечные туманы оседают на заостренные чешуйчатые крыши его домов. Ни один день не остается верным своему капризному, бледному, ветреному утру. С приливом и отливом чередуется влажное тепло, солнце, серый холод открытого моря и бесконечный, неуемный, шумный дождь, обливающий блестящие асфальты так, точно кто-то, стоя у взморья, из старого корабельного ведра, каким вычерпывают дырявые лодки, захлебывающиеся во время сильной качки, подымает из моря и выливает ползалива на непромокаемый, как лоцманский плащ, дымящийся от сырости, вонючий, как матросская трубка, согретый огнями портовых кабаков, веселый Гамбург, который стоит под проливным дождем крепко, как на палубе, с широко расставленными ногами, упертыми в правый и левый берег Эльбы.

Природа, как предрассудок, как нечто забытое в нашей жизни XVIII веком, повсеместно истреблена на берегах великолепного промышленного залива. Ни пяди оголенной земли. На протяжении десятков верст два дерева, больше похожих на мачты после корабельного пожара, чем на бесполезно живое: одно на молу, согнутое в три погибели, как старуха, идущая против ветра, которой на толстые шерстяные чулки и дрожащие ноги ветер бросает клочья разгневанной пены; второе — у конторы величайшей из гамбургских верфей, возле Блюм и Фосс.

Это стоит только из страха: под ним отвратительный черный канал, в который по разинутым трубам, как чернильная рвота, стекают фабричные отбросы. Мост, будка часового, и на другом берегу, в бледном свете пятого часа утра, только одни блестящие окна невидимых корпусов, ряд над рядом, без стен и крыш, выше всей гавани, стоят, дотрагиваясь электричеством до самого рассвета.

Из чудес — величайшее чудо; в царстве стройного металла самое стройное — гнутся над гаванью темные легкие ворота величайших в мире подъемных кранов. У их подножья, как игрушки, лежат трансатлантические корабли, совсем достроенные, с освещенными рядами иллюминаторов и безобразные ниже ватерлинии, как вынутые из воды лебеди, у которых тоже такая некрасивая подводная часть.

Здесь работают в три смены, судорожно, безжалостно.

Здесь немецкая буржуазия, выкручивая рабочих, как мокрое белье, делает последние безнадежные попытки превозмочь парализующий ее кризис: строит, творит новые ценности, населяет океан своими белыми чернотрубными кораблями, на корме которых развевается старое императорское черно-бело-красное знамя, с едва заметной республиканской оспинкой на одном из полотнищ.

Все, что называется небом, здесь, в Гамбурге, — дым фабричных труб, хоботы подъемных кранов, при помощи которых железные мамонты опустошают трюмы и наполняют каменные хранилища; легкие, легконаклонные мосты, перекрывающие влажную постель новорожденных кораблей, вой сирен, ругань гудков, прилив и отлив океана, играющего отбросами, чайками, усевшимися на воду, как поплавки, и равномерные кубы темно-красных кирпичных корпусов складов, контор, заводов, рынков и таможен, прямолинейно построенных, похожих на только что сложенные грузчиками прямоугольники клади.

Армии, легионы рабочих заняты на этих верфях при погрузке и разгрузке кораблей, на бесчисленных металлургических, нефтеобрабатывающих, химических заводах, в нескольких крупнейших мануфактурах и на обшир-

ных постройках, непрерывно покрывающих тыл Гамбурга, его болотистые и песчаные хинтерланды, корой бетона и стали.

Эльба, этот старинный грязный и тепловодный постоялый двор морских бродяг, непрерывно отстраивает и расширяет свои мощенные бетоном задние дворы.

Здесь морские лошади сбрасывают поклажу, жрут нефть и уголь, чистятся и моются, пока капитаны дают взятки таможне, поправляют счета и бреются, чтобы ехать к семье на берег, а команды дружно засыпаются в Сант-Паули — квартал кабаков, лавочек готового платья, ломбардов, где это платье, чрезвычайно яркое, скверное и дорогое, закладывается за полцены, — и, наконец, изумительнейших публичных домов. Еще со времен средневековья, переулки предместья св. Павла отгорожены от города крепкими железными воротами, открывающимися только на ночь. Они хорошей работы, со всевозможными ухищрениями и забавными подробностями, какими цеховая гордость любила украшать эмблемы и почетные знаки своего ремесла. Вечером в каждой двери, выходящей в переулок, открывается освещенное оконце, и в нем, улыбаясь в вечную дождливую темноту, выставлены королевы этих матросских парадизов. Они — в глубоко вырезанных, в талию стянутых, блестками и перьями обшитых платьях, в которых моды конца прошлого века, дожившие до наших дней на бумажках карамелей и в воображении изголодавшихся по женщине матросов, всегда видели воплощение высшей жизненной радости.

Этот ряд живого мяса продается с совершенной простотой. Посетители переходят от витрины к витрине, осматривают выставки и исчезают, чтобы через некоторое время с грохотом и бранью вылететь на мостовую: привратники св. Павла славятся своей мощью.

В маленьких кабачках этого предместья звучат все языки и смешиваются все нации. Они славятся своим зверским остроумием, яичным грогом, совершенной неприкосновенностью со стороны полиции, — словом, удивительной смесью отваги, алкоголя, революционной горючести, табачного дыма, последнего поблекшего, безнадежно павшего греха, который, покачиваясь на краю залитого горьким пивом стола, за кусок хлеба с маслом

наспех повторяет пьяному Адаму без лица и без имени божественнейшую из лжей — о любви.

Язык, на котором здесь говорят вообще, — язык Гамбурга.

Он насквозь пропитан морем; солон, как треска; кругл и сочен, как голландский сыр; груб, пахуч и весел, как английская водка; скользок, богат и легок, как чешуя глубоководной редкой рыбины, медленно задыхающейся среди карпов и жирных угрей, трепещущих влажной радугой в корзине рыбной торговки. И только буква S, острая, как веретено, изящная, как мачта, свидетельствует о старой готике Гамбурга, о временах основания Ганзы и архиепископского пиратства.

Не только люмпен-пролетариат — весь город пронизан живым и подвижным духом гавани. Она со всех концов плотным кольцом облегает буржуазные кварталы, расположенные вокруг Альстера, проточного озера, в котором пульсирует все тот же Балтийский прилив и отлив. Виллы прижаты к самому берегу, у них едва хватает места, чтобы разбежаться к берегу нарядным садом, одетым в цветы, как в купальный костюм, теннисной площадкой, потоком лестниц.

Домам патрициев везде дышит в затылок нечистое, возбужденное дыхание предместий. Кольцо электрических поездов плотно набито на окраины, оно, как обруч, прижимает их к нарядным кварталам; по ним, наполняя вагоны запахом пота, дегтя и винного перегара, два раза в день проносится мутная струя рабочих, пересекающих весь город по дороге к докам.

Таким образом, весь Гамбург так же послушен обеденному гудку верфей, боцманской дудке и утренней и вечерней перекличке на берегу Эльбы, как малейшая лужа, ничтожнейший лягушечий пруд, переполненный мальчишками, послушны отдаленным содроганиям океана, посылающего Гамбургу его богатства и ветры, упругие, как паруса.

Буржуа, почтенный бюргер, так же мало застрахован от прикосновения и соседства пролетариев, как и его жилище. Дама, едущая в театр, зажата между двумя докерами, непринужденно положившими свои просаленные мешки на мягкие скамьи.

Девчонка из Сант-Паули спокойно помещается рядом с супругой чиновника, подмигивает соседям и вы-

гружается на остановке уже под руку с кем-нибудь из них; рабочий обнимает свою жену или подругу; грузчик обкуривает окружающих немыслимым табаком, приятели везут домой загулявшего матроса, и весь вагон потешается вместе с ними, думает, говорит и смеется на чистейшем гамбургском «платт», способном всякое место обратить в веселый корабельный бак.

С нашей точки зрения все это не очень важно. Но после Берлина, где рабочий со своими инструментами имеет право ехать только в специально грязном и скверном вагоне; где преимущество второго и первого классов защищается чуть ли не полицией; где безработный, оттирая свои лиловые от холода уши, не смеет присесть на одну из бесчисленных и всегда пустующих скамеек Тиргартена; после торжествующего буржуазного Берлина — самый воздух Гамбурга, с его вольностью и простотой, пахнет революцией.

В 4 часа ночи, в 5, люмпен-пролетариат спит, все равно где, или препровождается в участки.

Без четверти 6, еще при электричестве, начинается первый рабочий прилив.

Над трамваем в темноте висит железная дорога, над ней — короткие светящиеся ленты электрических поездов, и все они выбрасывают на мостовую армию докеров, сотни тысяч рабочих, еще другие сотни тысяч безработных, осаждающих пристани в надежде на случайный заработок. Каждый отряд собирается возле своего мастера; в черноте просмоленных курток, из-за спин, горбатых мешками с инструментами, как у штейгера, светит масленый огонек. После переклички полки рабочих распределяются на сотни пароходов, развозящих их по верфям и заводам. Четырьмя мостами вливаются они в промышленный город. Войска и полиция зорко следят за тем, чтобы ни один «штатский» не проник на промышленные острова. Но и этих мостов и сотен пароходов, играющих на реке своими фонарями и прожекторами в какой-то неслыханный карнавал, — в черную промасленную Венецию, — не хватает для густого прилива утренней смены. Глубоко под водами Эльбы проложена сухая и светлая труба, утром и вечером перекачивающая с берега на берег легионы рабочих.

Слоновые лифты на обоих концах туннеля подымают и опускают человеческий поток к бетонным выходам.

Они двигаются, эти два лифта, в своих скрежещущих железом, винтообразных башнях, как две лопаты, безостановочно подбрасывающие живое топливо в сотни фабричных топок. Из их горна вышло гамбургское Восстание.

БАМБЭК

Гамбургские рабочие живут далеко от своих фабрик и верфей, в части города, именуемой Бамбэк. Это одна громадная рабочая казарма, где дома похожи друг на друга, как общие спальни наемных казарм, соединенные нечистыми, голыми и сырыми коридорами улиц. В конце их открываются просветы унылых площадей, скорее похожие на общественные кухни или уборные со своим унылым фонтаном и оловянным небом. Через это предместье, в достаточной мере гнусное и грязное, ползет, описывая стальной полукруг, исполинская гусеница железнодорожного моста. Ее слегка изогнутые ноги держатся за асфальт бетонными присосками. Голова гремучего червя, сжатая двумя домами, исчезает в расщелинах задних дворов, слепых стен и пропастей, заполненных гроздьями головокружительных маленьких балконов, на которых развевается белье для просушки и концы вялого плюща, объевшегося дыма и сырости. На хвост дороги плоской и широкой ногой наступило здание вокзала, оставив щель, через которую выливается струя прохожих.

Как раз напротив вокзала один из участков с мутными окнами, похожими на дымчатые очки филера, с колючей изгородью, на которой болтаются лохмотья старых прокламаций. Часовой, рябое однообразие участка, томительная чиновничья скука и ненависть, изжеванная, как подобранная с полу дважды докуренная папироса.

Гавань открыта для рабочих только в определенные часы. Всосав в себя на рассвете армии трудящихся, она выплевывает их вечером до последнего человека. У опустелой промышленной крепости остаются войска, оберегающие ее подъемные мосты, турникеты и подземные туннели, по которым сгущенный поток рабочих выливается на пристань. Ни один рабочий не живет в самой гавани. Этой привилегией пользуются только испытанные, старые слуги промышленных синьоров; редкие иска-

тельно-мигающие огоньки их жилищ боязливо жмутся в исполинской тени потухших корпусов, медленно выдыхающих в ночь и туман поглощенную за день человеческую теплоту. Часовые шагают взад и вперед вдоль опустелых набережных, штыком преграждая путь к веркам всякому постороннему, поднося фонарь к самому его лицу.

— Кто, куда, зачем, пароль?

В Бамбэке волнения начались за неделю до Восстания. В среду, 17 октября, работницы и жены мелких служащих захватывают в свои руки рынки и принуждают торговать саботирующих торговцев.

В четверг и пятницу они образуют цепь перед верфями и возвращают домой пристыженных мужей. В этот же день 15 тысяч безработных и женщин демонстрируют на «Поле св. духа». В субботу грандиозное собрание в Доме союзов, откуда тысячи двигаются к ратуше, прорывая неприкосновенную зону вокруг нее.

Вечером на улице десятки тысяч рабочих без конца, упорно, сосредоточенно, бешено шагающих вдоль тротуаров. Полиция арестует более ста человек, но сумрачные прогулки не прекращаются. Распространяются лихорадочные известия о нападении рейхсвера на рабочих Саксонии. Массами овладевает страшное возбуждение. Это канун революции.

В воскресенье, 21 октября, собирается конференция докеров всего Балтийского побережья, — Бремена, Киля, Ростока, Штеттина, Свинемюнде, Любека и Гамбурга. Большинство делегатов СПД, но многие из них присланы заводами, бастующими уже в течение нескольких дней. Они успели возвратить профсоюзу металлистов, объявившему эти забастовки «дикими», свои членские билеты. Жестокая схватка между старым СПД Mann'ом, делегатом Штеттина, человеком, за 28 лет социал-чиновничества успевшим покрыться мохом и плесенью, — и Т., квадратным, костистым, лобастым, стиснутым в кулак, бухающим, как оглоблей, рабочим, схватившим в свои железные руки вожжи гамбургского Восстания.

Здесь, на этой конференции, ему приходилось торопить и останавливать одновременно. Старый кучер, привыкший подымать на крутые обледенелые скаты мостов свои тяжело нагруженные фуры, Т. на этой конферен-

ции разжигал и осаживал, едва удерживаясь на козлах, в то же время звонким щелканьем бича отгоняя социал-чиновников, всей тяжестью своего авторитета повисших на вспененных удилах и тянувших к земле вздыбленное, уже не рассуждающее, ослепшее от ярости движение.

Конференция едва позволила отсрочить всеобщую забастовку на несколько дней. Только благодаря ее резолюции удается убедить и призвать к спокойствию бурное собрание фонксионеров (ответственных работников).

В воскресенье ночью курьер привозит известие (ложное) о взрыве в Саксонии. В районы немедленно передается приказ о генеральной забастовке. Десятки крупнейших предприятий присоединяются к Немецкой верфи, запертой (abgesperrt) еще с субботы.

Вторая рабочая смена покидает мастерские и, прорвав кордоны полиции, возвращается в центр. К четырем часам гавань парализована. Стотысячная толпа гуляет по улицам Гамбурга, придавая ему вид города, уже охваченного Восстанием.

Второй курьер: он выступает на собраниях Альтоны и Нойштата[1] с совершенно фантастическими известиями о мобилизации русской армии, о походе наших подводных лодок на помощь Гамбургу.

Глубокой ночью заседание «головы»; руководители военной организации получают боевые приказы, которые принимаются с чувством глубочайшего внутреннего удовлетворения. Т., в течение нескольких часов боровшийся за отсрочку, буквально затыкавший собой все пробоины, через которые движение грозило преждевременно хлынуть на улицы, теперь отпускает повода, поднимает все плотины, отвертывает все краны, еще удерживавшие клокочущий поток Восстания.

И К. радовался. Несколько слов о нем.

Рабочий. На войне фельдфебель, всеми силами ненавидевший то, что в окопах называли «der preussische Drill»[2]. За храбрость произведен в офицеры. Затем в одном из городов занятой Галиции громкий скандал, едва не стоивший ему свеженьких эполет. Четыре недели

---

[1] Западная часть Гамбурга.

[2] Прусская муштра *(нем.)*.

тюрьмы за пощечину, публично данную майору. В 18-м году К. уже член Совета рабочих депутатов Гамбурга. Участвует в мартовском Восстании. Незадолго до него, после объединенного Партейтага, примыкает к КПД. Один из активнейших членов гамбургской организации. Все вместе — военная подготовка, мужество, грубость, веселость портового рабочего, точная, крутая быстрота старого фельдфебеля, уменье «вставить фитиль» — все эти несравненные качества снискали К. популярность в массах и осторожное, чуть брезгливое отношение «der Intellektuellen» (интеллигенции). Еще бы, филистеры не любят улыбающихся людей, с неизбежным запахом «Köm'а» и крепкой портовой бранью.

Радость, грубость и легкий хмель в крови — считаются несовместимыми с званием партийной европейской чинушки.

После августовских волнений партию буквально наводнили шпионы. Один из них, по старой провокационной привычке, предложил доставить ящик с оружием, при получении которого должны были провалиться члены военной организации. К. было поручено разоблачение этой полицейской штуки. Вместе с филером он едет получать оружие. На одном из мостов спокойно берет человека за воротник и вывешивает его за борт.

— Сознавайся, мерзавец.

Сознался, получил свою порцию и исчез.

В моменты затишья дикие силы товарища К. делают из него трактирного драчуна и диктатора, грозу и гордость целого околотка.

Он встречает в кабачке пачку СПД; роскошный гамбургский «Köm», пополам с превосходным пивом, чрезвычайно обостряет диалектику К. В конце концов меньшевики, доведенные до исступления тихим издевательством этого гиганта с прижмуренными добродушнейшими и хитрейшими глазами, с ревом бросаются в схватку. Нацелившись на вожака, К. выхватывает его из середины единомышленников и швыряет на рояль, — вклеивает почтенного меньшевика в потрясенный рояль. Скандал, полиция, разбитые носы и неслыханные аккорды несчастного инструмента. Бездействие страшно опасно для таких людей, как К. Но в активной борьбе они выдвигаются в первые ряды.

Во время Восстания именно К. и офицер-коммунист Кб.• спасли Бамбэк от разгрома сетью изумительных баррикад. Об этом ниже.

В полночь руководители расходятся, чтобы уведомить и собрать членов рабочих сотен. Партия в целом, так же, как и широкие слои беспартийных рабочих, должна была узнать о Восстании наутро, уже после захвата всех полицейских участков ударными группами военной организации. Штурм полицейбюро предполагался 23 октября на рассвете, одновременно во всех частях города в 3/4 пятого утра, и уже по захвате участков взятие и разоружение казармы «Вансбэк». До этого момента военные руководители, мобилизовав своих людей, должны были провести остаток ночи вместе с ними, никого не отпуская домой, не зажигая света, не позволяя ни под каким видом уходить «для прощания с семьей». Только благодаря этим предосторожностям полиция действительно была захвачена врасплох и разоружена голыми руками. Надо отдать справедливость Т. и другим товарищам, вместе с ним выработавшим этот план борьбы. Они наполовину выиграли дело, предпослав массовому Восстанию этот молчаливый, никем не предвиденный удар военной организации, который: 1) лишил противника опорных пунктов, какими являлись участки, 2) вооружил рабочих за счет полиции, 3) вызвал в массах сознание уже одержанной победы и тем легче вовлек в едва начавшуюся борьбу. Правительство по заслугам оценило дислокацию Восстания. Вот что пишет о нем гамбургский Polizeisenator Хензе (социал-демократ):

«Самое худшее в этом Восстании вовсе не малочисленность и не недостаточность войск, находящихся в нашем распоряжении. Нет, ужасно (schreklich) то, что на этот раз, в отличие от всех предыдущих путчей, коммунисты сумели все свои длительные и серьезные приготовления произвести в такой тайне, что ни единый звук не достиг до нашего сведения. Обычно мы до мельчайших подробностей бывали осведомлены обо всем, происходящем в лагере коммунистов. Не то чтобы приходилось содержать в их рядах специальных шпионов. Нет, порядколюбивая публика, к которой я причисляю и рабочих, состоящих членами социал-демократической партии, обычно без

всякого понукания осведомляла нас обо всем, происходящем среди коммунистов».

На этот раз «порядколюбивым меньшевикам» не пришлось предупредить власти о готовящемся Восстании. Они сами о нем ничего не знали, настолько не знали, что осадное положение, в течение последней недели державшее полицию в состоянии напряженной готовности, было отменено правительством в ночь с воскресенья на понедельник, то есть накануне Восстания.

Но вернемся назад на несколько часов. Вот мелочи, рисующие настроение партии в момент ее мобилизации, когда людей брали врасплох, срочно вытряхивали из постели и за шиворот уводили — неизвестно куда. Это сумерки, когда спросонок нестерпимо холодно, хочется спать и все окрашено в безрадостный болотный цвет, словом, время, когда не очень-то встанешь в героическую позу. Все, что говорится, правдиво и грубо.

Один из руководителей Восстания обходит своих Bezirksleiter'ов[1], чтобы передать им приказ об утреннем выступлении.

Безлюдная улица, спящий дом, сонная, душная, храпящая квартира. Семья беднейшего рабочего. Он встал и оделся, не спросив зачем, не промедлив ни минуты. Спокойное рукопожатие и медленно удаляющийся уголек папиросы в темноте.

Другая щель — в одном из рабочих кварталов. Дверь открывает жена, помогает мужу собрать вещи, держит огарок свечи над кухонным столом, на котором разложена карта. Долго крепится и затем из глубины души, с чувством глубочайшего облегчения:

— Endlich geht es los... (наконец-то начинается).

В третьей норе — жена мужу, замешкавшемуся со сборами:

— Nu mock di man fertig (приготовляйся-ка поскорее).

Наконец предместье св. Георгия. Здесь не спят. В задней комнате зажжена лампа, подергивающаяся в паутине табачного дыма. Хозяйка отвечает уклончиво — и дома, и нет, и ничего она не знает. На лестнице осторожные шаги, и вдруг в дверях появляется товарищ Р., с лицом вымазанным сажей, босиком, с пачкой вин-

[1] Окружных руководителей *(нем.)*.

товок под мышкой и с карманами, набитыми всякой амуницией. В тени радостно улыбающаяся физиономия того типа, который в портовых кабачках более всего известен под именем Рауди (взломщик). Что? Они вынесли целый оружейный магазин. Этот Genosse[1] конечно не совсем Genosse, а только сочувствующий. Но быстрота и проворство, с которым он подцепил затвор и поднял витрину... Рауди кланяется с гордой простотой великого артиста.

Между тем товарищ, получив пароль и план захвата соседнего участка, со всем находящимся в нем оружием, говорит тоном глубокого сожаления:

— Mensch, den har ich dat jo nicht mehr neudig hat![2]

Вся борьба Бамбэка, продолжавшаяся три дня, в первой своей фазе велась за железнодорожный позвоночник предместья, сломать который рабочие не могли благодаря недостатку оружия и, главное, отсутствию взрывчатых веществ. Положение их осложнилось тем, что один из самых трудных участков (von Essen Str.), расположенный в тылу инсургентов, ими захвачен не был, все время отвлекая и удерживая возле себя значительные силы восставших. Уцелел этот участок благодаря совершенной случайности. В то время как X., огромного роста рабочий, отличающийся каким-то особенным, как свежий асфальт, непроницаемым и укатанным спокойствием, с двумя товарищами уже ворвался через главный вход участка и, стуча палкой по столу, требовал немедленной сдачи, — а синие и зеленые уже начали нерешительно отстегивать толстые пряжки своих поясов, — вторая часть отряда, обошедшая здание с тыла, проникла во двор и, озадаченная полной тишиной, воцарившейся в занятой уже мышеловке, открыла стрельбу по окнам участка. Зиппо и рейхсверисты пришли в себя, увидели перед собой трех безоружных рабочих, двоих бросили в пыль, X. контузили и, запершись затем в погребе, забросали нападающих ручными гранатами. Рабочий отряд отступил. На первом же перекрестке он был остановлен Кб., уже подымавшим навстречу войскам упрямую сеть своих баррикад.

Один офицер на все Гамбургское восстание, но как много он для него сделал! Не было улицы в Бамбэке, не

[1] Товарищ *(нем.)*.

[2] Дружище, мне это уже ни к чему! *(нем.)*

было переулка, щели, лазейки, которой не преградили бы двумя-тремя заторами. Они вырастали как из-под земли, размножались с невероятной быстротой. Нет пил и лопат — их достали. Обыватели были привлечены к земельным работам, потея, таскали камни, ломали мостовые и самоотверженно пилили священные деревья общественных садов; готовы были самих себя взорвать на воздух — только бы уберечь от этого бурного строительства свои шкафы и комоды, кровати и сундуки.

Одна только старая женщина, тронув за рукав товарища Кб., позвала его за собою наверх, — чтобы взять чрезвычайно удобную для баррикады, прочную и широкую доску от умывальника — гордость всего хозяйства. Доска была пущена в оборот — стойко держалась до конца, — но это ведь исключение. А в общем — старая романтическая баррикада давно отжила свой век. Девушка в фригийском колпаке не держит над ней продырявленного знамени, версальцы в белых гамашах не расстреливают больше мужественного гамэна, здесь нет больше студента из quartier Latin, кружевным платком зажимающего смертельную рану, в то время как рабочий выпускает последнюю пулю из длинного старомодного дула последнего пистолета. Увы! Военная техника весь этот милый романтический хлам оттеснила на страницы хрестоматий, где он еще продолжает жить, обвеянный легендами и пороховым дымом 48-го года. Теперь дерутся иначе. Баррикада, как крепостная стена между винтовками революции и пушками правительства, давно стала призраком. Она никому больше не служит защитой, но исключительно препятствием. Это легкая стена, сложенная из деревьев, камней, сваленных повозок, заслоняющая собой глубокую канаву, яму, окоп, перегораждающий путь броневикам, этим опаснейшим врагам восстания. Именно в окопе лежит смысл существования современной баррикады. Но старинная баррикада, после вытесненная траншеей, перекочевавшей в города с мертвых полей большой войны, продолжает верой и правдой служить инсургентам, хоть и в несколько иной форме, чем это делала ее героическая прабабушка 93-го и 48-го годов [1].

---

[1] Имеются в виду гражданские бои 1793 г. в Париже и 1848 г. в Париже и Берлине.

Наваленная поперек улицы, не позволяя хорошенько разглядеть, что, собственно, происходит за ее лохматыми угрожающими кулисами, она сосредоточивает на себе внимание противника, служит ему единственной видимой мишенью. Баррикада мужественно принимает на свою пустую грудь весь яростный, слепой огонь, который войска обрушивают на своего невидимого противника. Да, вот еще новая черта, совершенно изменившая пейзаж гражданской войны, всю ее стратегию и тактику. Рабочие стали невидимыми, неуловимыми, почти неуязвимыми. Новый метод борьбы придумал для них шапку-невидимку, которую не берет никакое скорострельное оружие. Рабочие не дерутся, почти не дерутся больше на улицах, которые они всецело предоставили полиции и войскам. Их новой баррикадой, огромной каменной, с миллионами тайных проходов и лазеек, с миллионами надежнейших лазеек, является весь рабочий город в целом, со всеми своими подвалами, чердаками и жилищами, каждое окно первого этажа — бойница этой неприступной крепости. Каждый чердак — батарея и наблюдательный пункт. Каждая постель рабочего — койка, на которую инсургент может рассчитывать в случае ранения. Только этим объясняются совершенно ни с чем несообразные потери правительства, в то время как рабочие в Бамбэке едва насчитывают десяток раненых и 2—5 убитых.

Войска принуждены наступать по открытым улицам. Рабочие принимают бой у себя дома. Все попытки регулярных войск захватить Бамбэк во вторник разбились именно о разбросанный, невидимый, неуловимый строй стрелков, спокойно выбиравших себе мишень откуда-нибудь из окна второго этажа, в то время как внизу беспомощная, оголенная толпа полиции буквально заливала огнем пустые баррикады.

Кб., предвидя атаку броневых автомобилей, без динамита и пороха, ухитрился взорвать бетонный мост, считавшийся вечным. Рабочие прощупали его уязвимую артерию — газовую трубу, — вскрыли ее и подожгли.

Одна из машин сослепу ворвалась в тихую безлюдную улицу. Остановилась, чтобы исправить что-то в механизме. Перед ней выросла баррикада. Обернулась — спиленные деревья уже скрестили на мостовой свои упавшие верхушки.

Машина М-14 осторожно пробирается под железнодорожным мостом. На ней шофер и 5 человек Зиппо. Из-за кабачка, из-за угла, неизвестно откуда, но совсем близко, — выстрел и еще выстрел. Рулевой убит, убит один из солдат. Машину на клочки, на щепы разнесли комсомольцы.

Настоящие регулярные бои продолжаются весь вторник. Первые серьезные атаки можно отнести часам к одиннадцати. Ожесточеннее всего они ведутся вокруг участка von der Essen Str. и по всей линии баррикад, с двух сторон, обращенных лицом к железнодорожной насыпи. Полиция бурно захватывает вокзал. Ее отряды бегут по полотну, стараясь сверху выбить бойцов. Их спокойно пропускают мимо первых двух засад. Над третьим пролетом разражается убийственный залп. Бьют не только из-за прикрытий, но и со всех соседних чердаков. Стрелки рассыпаны по крышам, держат под огнем целые улицы, важнейшие перекрестки и площади.

Внизу окоп и баррикада. Она держится уже несколько часов. Отряд Зиппо наступает все жесточе. Положение становится невыносимым. Но сверху крик: «Die Barrikade frei» [1]. Люди не понимают, в чем дело. К ним спускается стрелок — молодой еще рабочий лет 23-х, повидимому раненый — его плечо в крови, шея и пояс тоже. Приказывает очистить баррикаду, так как отряд, залегший на крыше, боится попасть в своих. Рабочий исчезает в подъезде, через несколько минут огонь с крыш заставляет полицию отступить.

Еще баррикада, часами оказывающая упорное сопротивление. Сверху, с чердака, спускаются четверо одиночных стрелков. Со своей наблюдательной вышки они еще издали заметили приближение броневика и решили, что им удобнее встретить его внизу. Одному из них счастливым выстрелом удается пробить холодильник; машина парализована. Стрелки снова возвращаются на свою голубятню.

Между тем у вокзала бои все более разгораются. Рабочим не только удается сбить с насыпи несколько белых колонн подряд, они пытаются сами перейти в наступление. Но открытое пространство перед виадуком обстреливается броневиками. Его невозможно преодолеть. Что

[1] Баррикада свободна *(нем.)*.

же, рабочие идут на огонь под прикрытием огромных брсвен, взятых на соседнем дровяном дворе. Целый мачтовый лес встает и двигается, образуя отличный блокгауз, за которым стрелки продолжают свою неспешную методическую работу.

В это же время внизу разворачивается первая массовая атака. Два броневика прикрывают шесть грузовых машин, выбросивших на мостовую целую тучу зеленых. Этой группе удается отрезать товарища Х. от Кб. и его людей, двигавшихся по другую сторону виадука. Даже больше. Кб., опередивший своих бойцов метров на двести, попадает в плен. Его обыскивают и запирают в здание вокзала. Если бы полиция знала, что в лице этого тщедушного человека, с такими безобидными глазами молодого учителя, неосторожно вышедшего погулять среди баррикад, она держала в своих руках душу возмущенного Бамбэка. Сидя тихонько у окна, Кб. произвел генеральный смотр силам противника. Он пропустил мимо себя возбужденные толпы полицейских, подгоняемых немногими мужественными офицерами. Этих злосчастных наемников, подбадривавших себя стрельбой и криками, бросавшихся на живот через каждые 4 шага с отчаянным жестом в сторону флегматичного броневика, на несколько метров отставших от своего «авангарда». И из этого же окна Кб. наблюдал холодное самообладание нескольких рабочих, особенно маленького Д., руку которого он узнал по испуганным лицам санитаров, восемь раз подряд выходивших из огня со своими тяжело покачивающимися носилками. Наконец последний взвод зеленых с судорожными криками и пальбой исчез в пустых улицах восставшего предместья, — странных, совершенно пустых улицах, лишенных всякого признака жизни, как бы покинутых своими обитателями и защитниками. Четыре мучительных, бесконечных часа длится ожидание. Около пяти часов пополудни волна войск и полиции шумно откатывается назад. Их потери огромны.

Штаб, который должен был руководить Восстанием в самом Бамбэке (с тремя коммунистами-интеллигентами — членами муниципалитета во главе), увы, отсутствует. В течение двух дней его никто и нигде не может найти. Боями руководят Кб., Х. и, конечно, Т., устроившийся со своим аппаратом летучей связи прямо под открытым небом, в одном из общественных парков.

Около шести часов вечера Бамбэк стоит, оглушенный тишиной; передышка. Кб. пробирается в дружественный трактирчик, где Д. — маленький стрелок, уже лежит на диване, отпаиваемый горячим кофе. Дивный стрелок Х. и В. приходят сюда же — перевести дух. И неистовый К. — горячий и веселый, как будто играл в кегли в добрый послеобеденный час или, таща за собой ворчливую, утомленную супругу, только что совершил одну из своих 30-верстных прогулок, выбирая место для ученья своих рабочих сотен.

Словом, все, что было мужественного в Бамбэкском мешке, пришло обменяться рукопожатиями, обмыть кровь и решить — что же дальше? Что значит эта тишина, изредка нарушаемая стуком оконной рамы, из-за которой на улицу выбрасывается белый флаг — призыв раненого или умирающего?

Между тем молчаливый Бамбэк, на который сумерки опускаются, как простыня тумана на носилки израненных улиц, — тихонько разрезан на две половины. Полторы тысячи войск отделяют Бамбэк Северный от Южного. Опорные пункты — Wagner St., участок № 46, вокзал Friedrichstrasse, Pfennisbbusch бесшумно протягивают друг другу руки в темноте, как цепь полиции, оттесняющей какую-нибудь безобидную уличную демонстрацию.

И вдруг круг замыкается — мускулистый, эластичный круг, в который, как тусклые камни в браслет, вставлены глыбы броневых автомобилей, опять вплотную пододвинувшихся к баррикадам. Плотный ком подкатывается к горлу Бамбэка. Правда, наши посты все еще на местах. Но время против них. Противник выигрывает с каждой каплей темноты, которую ночь насильственно вливает в темную, бешено стиснутую пасть предместья.

Наконец, белые так же невидимы, — а значит и неуязвимы, — как и восставшие. И их больше.

Вдоль одной из улиц, по обе ее стороны, ползет гуськом двойная цепь патрулей. У каких-то ворот ведущий ее офицер схватывает тонкого безобидно-интеллигентного человека, наводит револьвер на его грудь. И не видит второго, в темноте отшатнувшегося, с винтовкой в руках, неподвижного, как камень. И во второй раз в этот день, подержав в руках пружину неистового Бамбэка, ландскнехты дали ей ускользнуть между пальцев.

Через полчаса Кб. дал своим стрелкам приказ испариться, исчезнуть из Бамбэка, окруженного, полузадушенного, наполовину залитого потоками невидимых врагов.

Каждый самостоятельно проложил себе путь к отступлению; один шел этой горной тропинкой — через скалистые хребты крыш, над пропастями этих искусственных городских Альп. Ни один не сорвался, ни один не был схвачен.

На следующее утро все тридцать пять встретились уже в Бамбэке Северном, решив опереться на широкий полукруг железнодорожной насыпи. Снова в течение долгих часов — бои, бешеная стрельба, преграждение соседних улиц, баррикады и много, много сброшенных врагов. Пять—десять свежих винтовок вступает в дело, — увы, игрушечных, взятых в соседнем охотничьем клубе. И перед этим Восстанием, прижатым обоими крыльями к насыпи, три побитых атаки, три своры, принужденные уйти с раздробленной головой: красным этот день стоил четырех человек. Четырех превосходных товарищей; кроме того, старик Левин заплатил за него тяжелой, мучительной кровью. В его саду были найдены эти трещотки, эти охотничьи ружья из клуба. Старушке Левин, в ее домик с старинными комодами, котом, белой козой, портретом старого Либкнехта и почти столетней традицией мужественного атеизма и старой партии времен «закона о социалистах», — вернули сперва пальто старика в кровяных пятнах, а затем совершенно обескровленное тело. И старший сын, филистер и СПД, пришел копаться в ящиках, продавать имущество и требовать от старушки Левин ее подписи на каких-то бумагах. А она помнит только одно — как старик стоял на грузовике, один в толпе зеленых, и был бледен.

Здесь, вечером 24-го, товарищи почти одновременно узнали о падении Шифбэка и о спокойствии, царившем в остальной Германии.

В среду, 24-го, руководящая группа, не получив известия о начале германской революции, принуждена дать сигнал к отступлению. Не потому чтобы рабочие были разбиты, — но какой смысл продолжать борьбу в одном Гамбурге, одиноко вспыхнувшем на фоне всеобщего развала?!

Однако не так легко дать приказ об отступлении в городе, опьяненном победой, где с минуты на минуту оборона готова перейти в наступление, где сотни баррикад, десятки рабочих готовятся ко всеобщему штурму, к последнему грозному акту гражданской войны — победоносному захвату власти. Первого курьера, принесшего на баррикады приказ об отступлении, сбили с ног бешеной пощечиной. Это был честный старый рабочий, в течение всего Восстания вместе со своей семьей несший опасную курьерскую службу. Товарищ П. едва не покончил с собой, наливался кровью, как его избитая щека, вспоминая этот ужасный удар, так незаслуженно полученный от товарищей. Весь рабочий Гамбург точно так же схватился за щеку и ослеп от боли, получив приказ ликвидировать Восстание.

Нужно было пользоваться таким доверием масс, каким пользовался Т., выросший вместе со своими организациями, неразрывно связанный с их пролетарской сердцевиной, чтобы безнаказанно сделать такой крутой поворот руля, каким была демобилизация.

Что же, они отступили. С досадой, с ропотом, на прощанье в последний раз и притом на много часов отбросив противника от своих баррикад. Пользуясь этим замешательством, стрелки бесшумно покинули окопы, баррикады, охранительные посты. Ушли с оружием, унося раненых и убитых, заметая за собой все следы, постепенно распыляясь в затихших предместьях. Это планомерное отступление совершилось под прикрытием стрелков, рассыпанных по крышам. Никто из них не покинул своих воздушных баррикад, пока там, внизу, на глубине пяти этажей, последний боец не ушел из своего окопа, пока последний раненый, поддерживаемый под руки товарищами, не скрылся в воротах безопасного дома. Весь день они продержались, все еще задерживая белых, перебегая из одного квартала в другой по скользким карнизам, висящим над пропастями, мимо черных лестниц, зияющих, как траншеи, мимо колодцев — слуховых окон, через которые все настойчивее пробивалась наверх полиция, почуявшая, наконец, пустоту и поражение за безлюдными, примолкнувшими баррикадами. Борьба превратилась в погоню. Все население прятало и спасало героический арьергард Гамбургского октября, этих раненых, обугленных, затравленных одиночек, все еще

стрелявших где-то над городом и вдруг врывавшихся в незнакомые рабочие семьи с окровавленными руками, в лохмотьях, с черным высохшим ртом и сворой охотников, с грохотом и руганью проносившихся мимо едва захлопнутой двери.

Одним из последних отступил старый рабочий товарищ В., растерзанный, шатающийся от усталости, пьяный от желания лечь и заснуть, не цепляясь больше за скользкую черепицу, за острый угол дымовой трубы. Уже внизу, в тени глухих ворот, открывавших ему выход на свободу, он еще раз остановился, вскинул свою винтовку, чтобы с наслаждением и злостью расстрелять последние патроны. Весь угол, к которому он прислонился, был избит пулями. Благодаря шальной случайности, ни одна из них не задела его головы, как тенью обведенной на камне царапинами и дырами. Его едва удалось увезти. Вокруг шеи, поверх расстегнутой рубахи и лохматой вспотелой груди был повязан ослепительно нарядный галстук.

— Человече, зачем тебе этот шлипс?

— Ich wollte festlich sterben...[1]

ШИФБЭК

Несколько поодаль от Гамбурга, там, где скучная линия телеграфных столбов марширует в сторону плоской, оголенной, песчаной Пруссии, лежит рабочий городок по имени Шифбэк. Растянут он между речкой Билле, мутной, гладкой, как олово, и холмами, на которых растут редкие деревья, выбежавшие на ветер простоволосыми и растрепанными, и двухэтажные, разрозненные домики рабочего поселка.

Посредине, как ржавый зонтик, воткнутый в землю для просушки после дождя и так навсегда забытый, пустует евангелическая церковь. Интернациональное население рабочего городка ее не посещает, так как в бога не верит. Теперь, после боев, она стоит с подбитым глазом, без стекол и дверей, как поп, заблудившийся и попавший в чужую драку.

На островке, по ту сторону Билле, помещается большая химическая фабрика — холодная, ядовитая, пол-

[1] Я хотел умереть празднично... *(нем.)*

ная кристаллов, отлагающихся в черной ледяной воде, нафталина и зеленых ядов, застилающих ее пол как будто бы свежим купоросным мохом. На ней занято около тысячи рабочих.

В топках, которые никогда не остывают, льется огонь, густой, как расплавленные планеты. За ним наблюдают через маленькие оконца. Иногда белый жар застилается легкой угольной дымкой, но чаще он бел и неподвижен, как слепота. Из пылающей топки рабочие, до пояса голые, выбрасываются на мороз, на снег, под дождь, чтобы избежать этого воздуха, в котором могли бы расти и нежиться гигантские хвощи и теплые болота, сваленные теперь по углам грудами угля.

По обе стороны узкого каменного коридора лежит паровая мельница и огромный железопрокатный завод. Его труба, которая выше всех других — в рождественскую ночь похожа на угрюмого курильщика, вдруг оставшегося без табака.

«Оловянные хижины» расположены на краю пустырей, теперь белых и студеных. У этого завода одно длинное безногое тело, припавшее животом к самой земле, — и семь ровных труб, в ряд поставленных, как минареты, с которых каждое утро звучит пронзительный муэдзин труда.

Работа на этой фабрике чрезвычайно вредна для легких. Самые сильные не выдерживают более 4 лет. И надо быть С., героем октябрьского Восстания, чтобы, проработав в этом аду несколько лет, выйти из него невредимым. Но ведь на то он и С., исполин, ростом которого гордится весь Шифбэк.

Спросите любого мальчишку, он вам расскажет, что С. подымает на плечо 6 человек, уцепившихся за железную перекладину, что его руки гораздо больше и поместительнее кошелок, с которыми добрые шифбэкские хозяйки ходят на базар, и что утром, когда он свешивает с постели свои чрезвычайные ноги, весь дом так скрипит и трясется, что соседки без часов знают, что пора будить мужей на работу. Но ведь это, как сказано, С., гигант, храбрец, большевик, вообще дьявол — ему-то «Оловянные хижины» большого вреда не причинили. Зато маленький Х. ушел из них с обваренной ногой, голой до кости; К. — с красными плевками, завернутыми в грязный носовой платок.

Еще выше по течению Билле стоят дымные башни «Ютэ», одной из крупнейших мануфактур Гамбурга. Работают на ней преимущественно женщины, плохо оплачиваемые, плохо организованные, из-за которых партия из года в год ведет ожесточенную борьбу с меньшевистскими профсоюзами и с удивительно крикливой, вспыльчивой и легко пугающейся бабьей косностью, предпринимателем и попом.

Женщины «Ютэ» упорно сопротивлялись всякой твердой, устойчивой организации. Где только было возможно цеплялись за заработок, после первых дней забастовки с воем шли мириться к директору, били стекла в конторе — и потом выдавали зачинщиков. Однако в процессе нормального капиталистического хозяйства фабрика сама вычесывает из этой спутанной, непритязательной, удобной для эксплуатации женской массы первые нити крепкой пролетарской солидарности. Как ни уступчивы были женщины, заработок их съезжал все ниже и ниже. То одно, то другое отделение подвергалось бешеной скачке спекулятивных тарифов. А в пределах своего дома, своего хозяйства, своей собственной фабрики женщины так же солидарны, как они безразличны к политическим движениям, выходящим за его пределы. Они могут не обратить внимания на всеобщую забастовку, но никогда не предадут своих товарок из соседнего отделения. Таким образом, миролюбивая по существу «Ютэ» вот уже, слава богу, больше года из шести дней в неделю работает не более трех, остальное время она совместно с очередным бастующим отделением — сидит на мостовой.

«О, ха!» (это любимое выражение каждого истого гамбуржца).

«О, ха!» — говорят рабочие, в течение месяцев и лет ведущие на «Ютэ» пропаганду, — голод сделает из них хороших коммунистов.

Вот одна из удивительных женщин, вышедших из «Ютэ». Назовем ее Фрида, и пусть она будет дочерью ночного сторожа в Шифбэке. Отец был известен в городе как правоверный меньшевик и обладатель отличного карабина, при помощи которого соблюдал порядок и тишину вверенных ему пустырей и домов, именуемых рабочими «Hundebuden», что значит «собачьи дома». Так.

Но если сторож и его карабин честно поддерживали

право частной собственности, то Эльфрида при помощи своей изумительной красоты всячески опрокидывала и попирала эти священные устои.

Эльфрида не только отличная коммунистка, превосходный товарищ, геройская девушка, дравшаяся на баррикадах, поднявшая на ноги все женское население Шифбэка для устройства походной кухни — под огнем носившая стрелкам в окопы горячий кофе и свежие патроны, обвязанные вокруг ее тонкой талии, — собственноручно посадившая под замок своего старика и пополнившая скудные боезапасы партии его старомодным ружьем, взятая, наконец, полицией, в разгар своей преступной деятельности, то есть за чисткой картофеля для инсургентов, среди груды свежей шелухи и с засученными рукавами — мужественная, деятельная, навсегда преданная партии женщина, но, может быть, один из первых людей того нового и смелого типа, который так неудачно подделывают страницы новопролетарского романа и проповеди альковных революционеров.

В нищенский квартал Шифбэка с нею пришел дух разрушения и свободы. Эльфрида отказалась стать чьей бы то ни было женой. Ее имя вызывало боязливое уважение и бурную ненависть законных жен, у которых она на день, на год, на жизнь отнимала мужей, отцов, возлюбленных. Завоевывала того, кого выбирала, любила, пока в любви не было лжи, и затем высокомерно возвращала свободу своим пленникам. Но зато для себя и своего ребенка ни у кого не просила имени, щита, помощи. Никогда не пыталась в слабости и болезни опереться на закон, которым всю жизнь пренебрегала.

От станка она пошла в тюрьму.

Но прежде об одной сцене, об изумительной сцене, действительно имевшей место в коридоре гамбургской ратуши, с балкона которой в 18-м году осторожно извергался доктор Лауфенберг, и куда в октябре 23-го свозили арестованных коммунистов.

Это было в тот страшный день, когда у подъезда шифбэкского участка стали грузовики в три, четыре, пять рядов, нагруженные пленными рабочими, пластом наваленными друг на друга.

Повстанцы! Они бились в открытом бою, по всем правилам честной войны, ставя жизнь за жизнь, против

врага во сто крат более сильиого и тем не меиее щадя плениых и отпуская раненых. С ними после поражения, коиечио, поступили как с пойманиой сволочью, как с отщепенцами, стоящими вне закоиа. Полиция топтала иогами эти ряды сваленных друг иа друга, окровавлеииых, задыхающихся тел. Внизу люди, прижатые лицом к доскам, перепачканным углем, умирали, раздавленные тяжестью товарищей, лежащих на них, в то время как иаверху вахмистры рейхсвера вырывали волосы, ломали прикладами затылки сковаииых людей, впавших в беспамятство.

Там раздавили троих. Там С., этот дуб среди людей, С. сверхчеловек по своей изумительиой физической силе, блевал кровью и лишался созиания. Там умирал К., там маленький подвижиый Л. под сапогом усмирителя готов был выскочить из своего раздавлеииого существования, как вытекает глаз из орбиты, полиой огия и слез. Обо всем этом позже — мне не хочется начинать Шифбэк с эпохи полицейских зверств. Оии — только грязный кровавый эпилог трех дней Восстаиия, которых солдатским сапогом ие вытоптать из истории нового рабочего человечества. И иа какой иедосягаемой освященной высоте стоит борьба рабочего Гамбурга над окровавлеииой грязью полицейских полов, иад плахами подлых судейских бюро, на которых писали протоколы и пороли, пороли и снова писали, иад воиючей духотой уборных, этой, ныне прославлеииой, ратуши, где арестованиых заставляли мыться и даже прииимать душ, чтобы у члеиов местиого правительства, господ социалистических депутатов, пришедших убедиться в хорошем и человечиом обращении полиции с ее военнопленными, не сделалась морская болезнь при виде размазаниой крови или от запаха одежды какого-нибудь подростка, члеиа гамбургского комсомола, избитого до того, что ои потерял власть иад своими физиологическими отправлеииями.

Так вот, в этом длииином белом коридоре, где пьяиая солдатня гоняла сквозь строй попавший в ее руки живой кусок революции, где люди под плетьми лезли на стеиы, где пахло резииой и кровью, в этом коридоре Эльфриду, оберегавшую так тщательио, с таким трудом оберегавшую достоинство своей одииокой жизни, лишеииой подпорок всякой официальиой морали и все-

таки чистой и прямой, как стрелка, в этом коридоре ее поливали самой вонючей грязью ругательств и насмешек.

Каждые четверть часа в зал врывалась новая толпа рейхсвера, подымала с пола уже свалившихся, заново била уже избитых, приводила в себя обморочных, чтобы опять опрокинуть их, и каждая из этих шаек заново принималась за нее, стоящую среди зверья, как будто бы она была голой.

Ей кричали: «Коммунистическая шлюха».

Ей кричали: «Продажная».

Ей кричали: «Ты не немецкая женщина, а тварь».

И в этом ужасе, в этом бесконечном застенке, длившемся день, ночь, день, эта девушка вспомнила: ведь была великая немецкая женщина, большая, как мрамор, и ничто после ее ужасающей смерти не было так прекрасно и мудро в немецкой революции.

И дальше: она оставила маленькую книгу писем. Белая обложка и красные буквы. Письма из тюрьмы.

Роза Люксембург.

Эльфрида стояла в осатанелом коридоре и кричала о Розе Люксембург, пока ее не услышали. Когда девушка вооружается Розиным именем, она сильна, опасна, как вооруженный, — она воин, и никто не смеет ее тронуть.

Невозможно добиться, как и что было сказано, какие были слова.

Но какой-то унтер извинился.

Одна из шаек ушла, подобрав хвост, говоря, что «они не знали». Может быть, одного из раненых, пользуясь этой передышкой, отняли у солдат и под руки вытащили из свалки.

Это — об Эльфриде из Шифбэка.

ПОРТРЕТЫ

1. ДВОЕ

Пара. Рассказывают, в Шифбэке жили двое — рабочий и его жена, оба хорошие старые коммунисты. Они разошлись несколько лет тому назад, жили само-

стоятельной жизнью в новой семье и не встречая друг друга. В октябре он как отличный стрелок дрался в одном из окопов, пересекавших узенькие голые улицы. Случилось так, что прежняя его жена стояла и дралась рядом. Как раньше — в дни Спартаковского восстания и Капповского путча. Рабочего взяли — его жена дала себя арестовать на следующий день. Так эта семья бойцов совершенно естественно соединилась при первом выстреле, под огнем. Судить их будут вместе.

2. СОБСТВЕННЫЙ ДОМИК И ВОССТАНИЕ

Она была близорукой, целомудренной, страдающей глазами, обыкновенной католической сестрой милосердия. Он, сейчас же после войны — коммунист. Изумительно предприимчивый, решительный, быстрый работник. В партию он включился, как те маленькие домашние батареи, которые могут светить, вертеть валик для точения ножей, катать по восьмерке игрушечную железную дорогу, но все-таки остаются миниатюрой огромного энергического чуда, двигателя всей эпохи машин — только в капельном масштабе. Когда нужно, батарейка выбрасывает настоящие жгучие искры — больше себя самой.

Этого деятельного и тонко-квалифицированного рабочего, как некая избранная болезнь — очень редкая, раз на десять тысяч, а потому и неизлечимая, поразила большая и мучительная любовь к набожной, костистой, неуклюжей сестре.

Это у них вышло совершенно взаимно, как в таких случаях полагается, в одну минуту и навылет.

Они поженились, перескочив через его политику и ее катехизис, даже забыв о них на время. Затем, никогда не потухавший, никогда не отдалявшийся от партии товарищ Л. начал копить деньги и строить собственный домик на окраине окраин, за оазисом белых с красными крышками домиков, которые себе построили и подарили на казенный счет члены местного самоуправления, пятеро старых социалистов-меньшевиков. Все в одном месте, по-семейному.

Ветер их обдувает, население, проходя мимо, плюется. Впрочем, люди живут хорошо, сытно.

Л. работал, работал сверхурочно, ночью, и в праздники бежал на пустырь и с великим терпением и трудом выводил свой дом: по кирпичу, по щепке, по черепице.

Родился первый ребенок, родился второй. Партия ушла в туман, стала теоретическим миросозерцанием, мыслью, запертой в необитаемый угол.

Иногда, в часы домашнего затишья, Л. слышал ее однообразные шаги, ее стояние и слушание у дверей его совести.

Близорукая и работящая жена наконец стала жить в своем собственном доме, шить у своего ярко вычищенного очага, спать в своей собственной постели, растить детей, мыть кафли белой печки, мыть поросят, мыть блестящие полы. По воскресеньям Л. читал уже вслух роман про избалованного и развращенного графского ребенка — из придворной жизни; в конце женитьба.

Двадцать третьего октября утром Л. как раз зарезал свинью к рождеству. Уже спустили кровь в бочку — для кровяной колбасы. В это время началась стрельба. Несмотря на дом, который выстроил своими руками и склеил по̀том, несмотря на чрезвычайную любовь к жене, коммунист взял винтовку и пошел. Теперь, что случилось дальше.

Его взяли, били и отпустили. Суд через несколько дней. Как же теперь: остаться дома или бежать?

Тот же могучий революционный инстинкт, который когда-то выгнал Л. на баррикады, выгнал теперь этого хорошо устроившегося, обмещанившегося, прирученного немецкого рабочего на улицу, на косые сквозняки пуль, свиставшие из-за углов рабочих казарм, из-за убогих прикрытий — против двух тысяч регулярных войск, бравших штурмом это осиное гнездо и взявших его пустым, — этот безжалостный классовый инстинкт приказал теперь: не уходить больше от партии, не сметь дезертировать, надо идти в подполье и работать дальше.

Но на следующий день после побега дом и все имущество, даже сторожевой пес Лумпи будут конфискованы правительством. Жена с двумя детьми и третьим, только что родившимся, окажутся выброшенными на

улицу. Кроме того, жена теперь почему-то быстро слепнет — она стала опять часто и подолгу молиться.

Все-таки в одну из ночей они пришли к X. — она без шляпы и без своих очков, — рассказали этому товарищу всю жизнь и даже удивительный первый взгляд, когда-то решивший их судьбу.

На следующее утро Л. убежал.

3. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК, РАДОСТЬ ЖИЗНИ И ВОССТАНИЕ

Собственно, этот портрет не относится к истории самого Восстания. Но ведь в каждой галерее непременно есть «Das Bildnis eines Unbekannten» [1], и часто такой безымянный эскиз больше говорит о неповторимой особенности своего времени, чем все подписанные полотна.

Надо нарисовать дом, этот потонувший корабль, медленно разваливающийся где-то на дне, в темном переулке, где его от времени до времени обливают светом белые глаза проплывающего мимо автомобиля. Фонарь над воротами излучает свет, похожий на свечение гниющего дерева.

Смрадная подворотня, окна низко у земли, вечно подслушивающие друг друга.

Спальня, холодная, как полюс, со своим окоченелым стеклом, шкафом и пустующим умывальником, греется вокруг грелки, засунутой под ледяной пуховик. В столовой, она же гостиная, она же мастерская, — густое, но быстро вытекающее тепло железной печки; на лампе пестрый шелковый колпак, похожий на нижнюю юбку дешевой девчонки; в кухне зловонная раковина, газ и тяжелый запах сырости. Вся эта обстановка свидетельствует о несомненном достатке рабочего-аристократа и принадлежит столяру-художнику товарищу К. Он занят в одной из крупнейших мебельных фабрик, делающих и подделывающих старинную утварь. Его специальность XVIII век, который он, никогда ничего не читав по искусству, чувствует кончиками пальцев. Закрыв глаза, мастер безукоризненно выпиливает вишневого цвета фанеры со вставками из металла и раковин и мебель,

[1] Портрет неизвестного *(нем.)*.

чьи изнеженные, сложные, лениво согнутые очертания выходят из сосновой доски, из сырого и тяжелого куска дерева, попавшего в эти поразительные творческие руки, так же легко, как они возникали в мастерских славного Булля. В каждом из старомодных бюро, на котором бабушки якобы писали свои влюбленные письма, в каждом из ломберных столов, на которых Вертеры, ломая мел, чертили имена своих любезных, поставив свечу возле тяжеловесных пистолетов, мастер К., ради стиля, устраивает потаенные ящики, маленькие тайники, скрытые пружины, которые, если их случайно нажать, отдают в руки восхищенного буржуа пару побелевших записок, пучок сухих незабудок и тончайший аромат чужой тайны. Все это с огромным вкусом и чувством меры подобрано все тем же мастером К.

В нем самом коммунизм запрятан, как шкатулка, полная идей, слов и обобщений, совершенно неприменимых в практической жизни, но составляющих самое ценное и интимное в человеке — его политический стиль.

Нужно ли говорить, что в Восстании К. не принимал никакого активного участия, если не считать, конечно, широкого гостеприимства, оказанного им товарищам после боев.

К. эпикуреец. Настоящий человек Возрождения по своей пенистой, неудержимой любви к жизни да к наслаждениям и осязаемой теплой человеческой красоте, предчувствие которой в нем так же безошибочно, как его столярное мастерство. К. верит, что самый процесс жизни, со всеми его физиологическими, глубоко земными отправлениями, когда-нибудь станет основой величайшей и реальнейшей красоты. Эта социальная эстетика роднит его с лучшим, что написал Эдгар По о несуществующих еще на земле садах, о замках, в которых должны жить мудрецы и поэты. К. их населяет рабочими.

«Если бы случилось вдруг царство будущего» (тоже чисто немецкое выражение: так может выразиться только утопист, не верящий в свою мечту), он выточит удивительные полки, постели, столы и стулья для рабочих дворцов. Это его идеальная, его коммунистическая «шкатулка».

Теперь практика. Почему он не дрался в октябре? Почему улыбается, когда говорят о стачках и разбрасывании листовок? Откуда в нем, при этой продуманной пассивности, при несомненном дезертирстве с поля гражданской войны, это вызывающее высокомерие и вид победителя по отношению к буржуазии? Почему, наконец, этот человек, созданный для больших духовных и телесных наслаждений, считающий коммунизм единственным путем, который он сам и его класс могут пройти к этим наслаждениям, пальцем не ударил, ни разу своей шеей не рискнул во время Восстания?

Оказывается, он ворует, обкрадывает своего буржуа. Ворует почти открыто, откладывая крупные (в масштабе кустарного производства) куши, тянет к себе в карман неслыханные барыши, вызывающе глядя в глаза хозяину и не переставая наблюдать за трусливо помогающими соучастниками.

Затем, после недели жесточайшего труда, с 10-часовым рабочим днем и непрерывным нервным напряжением, — несколько бутылок превосходного пива, маленькая жена Иза, в черном шелковом белье; и из своего вонючего угла, где пробка Редерера стукается о низкий потолок, как стукнулся бы о косяк этой ямы забредший в нее человек высокого роста, сквозь дымку крепкой сигары, сквозь туман отпотелой и отогретой сырости, сквозь золотые иллюзии, маленькими пузырьками лопающиеся на поверхности глиняной кружки, в которой шипит столетний виноград, — товарищ К. с насмешкой победителя смотрит на обманутую им, так хитро и так смело обманутую, буржуазию.

Это лучшие часы.

Старые гамбургские песни старше и хмельнее наших. В них есть про дочь мастера, которая любила трех буйных подмастерьев, выгнанных ее отцом, и про морских лошадей, и женщин, и про драки, и про портовые кабачки. Он их поет чудно.

Как сказать К., что за крохи, которые хозяин позволяет незаменимому мастеру таскать со своего обильного стола, за каплю ворованного вина, за несколько часов блаженного самозабвения, он так же отдает врагу сок своих костей, и жизнь, и дрожание таинственных фибров мозга, именуемых талантом, как любой чернорабочий — свой пот, мускулы и кости?

ЕЩЕ РАЗ — О ШИФБЭКЕ

Участок Шифбэк, его мэрия, почта, все вообще учреждения и присутственные места, олицетворяющие государственную власть в этом рабочем городке с интернациональным населением, были захвачены коммунистами на рассвете 23 октября при помощи одного карабина и одного охотничьего ножа с зазубренным лезвием и роговой ручкой.

В Шифбэке, как во всем Гамбурге, полицейский участок, набитый вооруженными Зиппо, был взят врасплох, голыми руками, быстро и бесшумно. Во главе всего восстания и военной организации, разработавшей его план и приведшей его в исполнение, стоял С. Гигант, смелый человек, один из тех настоящих рабочих-революционеров, которыми может гордиться современная Германия. Может быть, именно огромная физическая сила, сознание, что одним движением металлических своих мускулов он может раздавить любого противника, выработали в нем очень ценное для вождя чувство осторожности, уменье точно рассчитать последствие каждого силового разряда. Он, как паровой молот, может опуститься на наковальню, осторожно расколов скорлупу ореха и не повредив его зерна, — и через минуту расплющить железную штангу.

Его вооруженный отряд, составленный из отборных членов местной организации, стоял и дрался так, как дрался бы сам С., со всех сторон окруженный нападающей шайкой, прислонившись к стене и одного за другим сбивая с ног эту мелюзгу, не рассчитавшую неслыханного размаха и крепости его кулаков-молотов.

Заняв свой участок, шифбэкские инсургенты не оставались в нем, но, захватив 16 ружей и столько же револьверов, покинули здание, которое могло стать для них такой же ловушкой, как для только что захваченной и разоруженной полиции.

Скрываясь за кустарником, за беседками и углами рабочих казарм, разбросанных вдоль всей линии холмов по левую сторону центрального шоссе, соединяющего Шифбэк с Гамбургом, один хороший стрелок часами мог держать и держал под огнем шоссе, мост, железнодорожную насыпь, останавливая на почтительном расстоянии противника в десять, сто и, наконец, как во

время последних атак, продолжавшихся все утро 26-го, в тысячу раз более сильного. Оставаясь неуязвимым за своим прикрытием, стрелок, или как здесь говорят Scharfschütze, стреляя с большими паузами, каждые пять, десять, пятнадцать минут, одной пулей старался снять не менее одного, а часто и двух человек. Полиция отвечала ураганным огнем на эти одинокие, всегда смертельные выстрелы, выметала пулеметами целые кварталы — перебила множество женщин и детей, случайно попавших в поле зрения ее бессильной ярости. Тем не менее после короткого перерыва опять раздавался холодный, обдуманный, зоркий выстрел, подкарауливший шофера броневого автомобиля, едва успевшего выглянуть из-под стальной крышки, снять меховую рукавицу и с наслаждением закурить, зеленого, выскочившего из-за угла и присевшего за почтовым ящиком солдата рейхсвера, как раз остановившего посреди улицы жену трамвайного кондуктора, лицо которой и спрятанный под платком хлеб ему показались подозрительными.

Солдаты рейхсвера навербованы из неуклюжих деревенских парней. Это младшие сыновья богатых крестьян, поколение, возмужавшее после войны и революции. В деревне отцы ими тяготятся, как слишком прожорливыми, ленивыми и избалованными батраками, которые, не рассчитывая в будущем на наследство, не вкладывают в землю достаточного количества лошадиных сил. Эти парни, политически совершенно четвероногие, охотно идут в ландскнехты и на гражданскую войну смотрят как на погром, во время которого без риска можно многое приобрести. Но вместо безоружных женщин и детей, погромляемых в хлебных очередях, вместо трусливой городской черни, о которой с таким пафосом рассказывал им дома пастор, упираясь наливным подбородком в белый свой воротничок, сытые мужички, выкормленные на домашних кровяных колбасах и молочных клецках, наткнулись на рабочие сотни, на хладнокровный, безошибочный огонь старых солдат, вышедших из мировой войны со всеми знаками отличия за меткую стрельбу и саперные работы под неприятельскими пулеметами.

Роли переменились. Революция в Германии располагает кадрами старых солдат, защищающих свои бар-

рикады по всем правилам военной науки, а правительство — многочисленными, но совершенно неопытными и необстрелянными частями, трусливыми в бою и брутальными, когда перед ними пленный со скрученными за спину руками. Недаром один из офицеров, которому с револьвером в руках пришлось гнать в атаку свой отряд новобранцев, чтобы выкурить одинокого стрелка, засевшего на чердаке своего дома и на пари, без промаха снимавшего одного солдата за другим, лейтенант, подгоняя свою пушечную говядину, ругался на весь городок:

— Вы сволочь, вы трусы... С двадцатью такими, как они (жест в сторону слухового окна), я бы справился с тысячами таких, как вы.

Но и без помощи офицера, под командой своего С. и его наопера и начштаба, несравненного Фрица, рабочие Шифбэка (всего 35 винтовок) противостояли натиску регулярных войск. Приспособляясь к условиям местности, они неизменно меняли и свою тактику. Там, где над городом господствуют холмы, где дома стоят оазисами среди открытых пустырей, они разбили свои силы на мелкие боевые единицы, из которых каждая за свой страх и риск защищалась, нападала, пряталась, меняла одну засаду на другую. Но там, где пустые белые поля вливаются в узкие берега городских улиц, они прибегли к старой испытанной технике уличных баррикад, преградив уличные русла крепкими плотинами, вырыли окопы, помешав таким образом броневикам ворваться в центральные кварталы.

В половине двенадцатого полиция, овладев пустым участком, начала свои первые наступления на Шифбэк. Отряд в 50 человек самоуверенно двинулся по главной улице; свалив несколько случайных прохожих, он приблизился к белому дому, один из выступов которого выдвинут далеко вперед. Мимо солдат прошла красавица Минна, кареглазая, показав свои блестящие зубы и хорошенько посчитав наступающих. Они даже не заметили красного значка на ее роскошной груди. Ее связанный за спиной платок мирно исчез в боковой улице. Мальчик, ученик городской школы, бежавший рядом с ней, обернулся и, икнув, сел на тротуар. Пуля попала ему между бровей.

В лагере инсургентов все еще полнейшая тишина, и

только на расстоянии 20 шагов они несколькими выстрелами вынули из наступавшего отряда фельдфебеля и половину солдат.

Через час полиция двигалась уже в числе 200 человек и не в одном направлении, но одновременно с нескольких сторон. Рабочие отогнали ее от своих баррикад и окопов; накрыли наступающих беглым огнем из-за всех прикрытий, разбросанных по холмам. Фриц-стрелок бил по полицейским из-за угла своей казармы, окруженный женщинами, державшими запасы патронов в рваных передниках. Классическая фигура: кепка с большим козырьком, привязанная шарфом к подбородку, куртка в клочьях, под ней толстая серая фуфайка докера. Волосы, о которых красавица Минна до сих пор не может вспомнить без смеха, волосы, как у разбойника, и после пяти минут ожидания — один, всего один выстрел. Которым-то из них Фриц снял четырех человек.

Надо сказать, Шифбэк богат и славен своими Фрицами. Второй руководил обороной баррикад и окопов. Рядом с С. он почти маленького роста. Но если С. вырос как угодно — ветками во все стороны, а добродушной могучей шумной вершиной прямо в небо, то Фриц — приземистый куст, крепко ухватившийся за землю где-то между камней на сильном приморском ветру. Пятки вместе, грудь барабаном, руки в карманы, одно плечо несколько вперед — и при этом плечо тренированного боксера и атлета. И свист, и наглые шутки, и уменье женщину и полицейского одним — снизу вверх и сверху вниз — вогнать в краску; при этом смелость, доставившая ему непереводимое прозвище «Didlein» — пренебрежительное и лестное, что значит молодец, шельма, нахал, храбрец, лгун, пистолет, жук, кондитер — вообще хороший человек. Этот Фриц в мирные времена несколько шокировал уравновешенных партийных чиновников своим острым портовым запахом, вызывающим, непокорным духом, но во время боев наворотил чудес. Бросался от окопа к окопу, гнал вперед, удерживал, перебрасывал, ругал, командовал, был тем нервным комком, который спокойную силу С. связал со всеми блуждающими горсточками повстанцев.

В половине второго правительство полезло на Шифбэк пятьюстами человек плюс отряд бронеавтомоби-

лей. Свалка продолжалась до 6 часов вечера. В конце концов два отличных стрелка могут продержаться долго, но есть же предел мужеству и выносливости. Желая выиграть время, бойцы потихоньку покидали окоп, ныряли в ближайшую подворотню, и через полчаса стальные носы их винтовок выставлялись над краем другой баррикады, по очереди принимая бой в самых угрожаемых районах.

Между тем озадаченный противник все еще поливал огнем примолкнувшую засаду. От времени до времени их пыл остывал; слепая пальба прерывается, и разведчик на четвереньках ползет вдоль тротуара. Но откуда-нибудь с соседнего чердака крякает одинокий выстрел, и канонада по пустой яме, полной пустых гильз, щепов и обугленной земли, возобновляется с новой силой. Так, в одном из переулков отряд полиции в течение двух часов штурмовал пустой окоп. Наконец лейтенант, выхватив револьвер и потрясая им героически, повел своих мушкетеров в атаку. Они свалились, слепо стреляя на воздух и издавая воинственные крики, в пустую канаву.

Начало вечереть. Закат, как часовой, уронил на все улицы свои удлиненные тени, заостренные, как байонеты. На заборах Шифбэка успел появиться плакат, провозглашавший всеобщую забастовку и приветствовавший Советское правительство. 35 коммунистов, обложенных тысячами солдат, были уверены, что за их спиной подымается вся Германия. Впрочем, и без воззваний все население единодушно поддерживало коммунистов. Восемь тысяч человек вышло на улицу, и если они не приняли участия в борьбе, то только из-за полного отсутствия оружия.

Но святая интеллигенция! Следует отметить, что в маленьком Шифбэке, как у нас, как везде, где социальная революция берется наконец за оружие, интеллигенты стреляли вместе с полицией и солдатами. Не профессор — какие уж в Шифбэке профессора! — не учитель — учителя благомыслящи, но боязливы; не акушерка — в Шифбэке жены рожают сами по себе, без намека на врачебную помощь — нет, всего только престарелый школьный сторож постоял за плоды европейского просвещения. Один, покинутый в своем пустынном здании, старый, жалкий 60-летний человек, с

головой, объевшейся школьной мудрости, рабочий, научившийся презирать мозоль, запах бедности и молодое мускулистое невежество так же сильно, как презирают его неумолимые аспидные доски, учительские мундиры и гипсовые мудрецы на книжном шкафу в директорской, — старый сторож, схватив пистолет, решил стрелять в свой класс, в этих учеников, вместо чистописания и закона божьего занявшихся уличными беспорядками.

Стук у дверей. Сторож притаился. Постучали еще раз, затем ворота выехали из петель на сердитом плече С. Тогда, подняв одну руку, как на памятнике Шиллера, смешно и грозно, со всклокоченными волосами, старик выстрелил в широкую грудь рабочего и промахнулся. Тут величавое прекратилось. Сторож — на лестницу, С. за ним. Он лез вверх, несмотря на поднятый пистолет, и рычал на все заведение.

— Старый сумасшедший кролик (каникель). Выносишь ночные горшки за их наукой!

— Кому ты нужен! — и отнял у деда Паулюса револьвер.

Старик горчайше плакал, ибо годы, в течение которых он вытирал белую алгебру и хронологию с досок, сделали его настоящим интеллигентом: это значит отчаянное и оголтелое мученичество и затем бессильная слеза.

С. дал по шее и простил. Было даже так: С., смеясь и страшно ругаясь, держа старика и его несчастное оружие в одной руке, вытирал копоть с обожженного выстрелом лица. Паульхен в слезах принужден был изорвать в клочки свой старый, поруганный, партийный билет.

Вокруг: мальчишки, стрельба, смерть и смех.

К вечеру бои утихли. Рабочие принуждены были отступить, — С. до сих пор говорит об этом с величайшим стыдом и детским сокрушением, — отступить на пятьсот шагов от своих старых позиций. Это со стороны Гамбурга. Но и в тылу войскам удалось продвинуться до главной площади, где богатые жители их засыпали сосисками, маргарином и поздравлениями. Кольцо осады сдвинулось, грозя превратиться в ошейник. Отряд инсургентов, шедших на выручку из разбитого Бам-

бэка, не смог прорвать полицейской блокады. В Гамбурге по улицам в это время уже летали автомобили военного командования: офицеры генерального штаба спешили осмотреть сеть баррикад, расположение которых они нашли превосходным.

На рассвете рабочие снова лежали в окопах, на чердаках, за всеми возможными прикрытиями. Но противник, разбитый накануне в трех атаках, не показался. Кое-где на заводах бесполезно и продолжительно завыли гудки. В конце каждого из переулков, выходящих устьем в поля, правильно сменяя друг друга, расхаживали патрули. Издали они сторожили баррикады, как заключенного в тюрьму. Затем — угрожающая тишина. Сперва ей радовались. Потом смутились. Затем почувствовали огромную опасность, ползущую на Шифбэк с этих молчаливых пустырей, и приготовились ее встретить.

Тридцать пять против пяти тысяч.

Около часу дня со стороны Горна показался отряд из четырех броневых и шести грузовых автомобилей, выбросивших на шоссе многочисленный отряд Зипо. С севера, из Улендфельда — 26 грузовиков с зелеными. Со стороны Эмсбютеля — кавалерия. Аэро, опустившись очень низко, пролетел над Шифбэком, поливая его изрешеченные стены серым занавесом пуль.

Немецкая армия, битая союзниками, доблестно воюет со своими пролетами[1]. Но, очевидно, пример заразителен, ибо теперь и пролеты колотят правительственные войска. Кавалерия, пехота, броневики, аэропланы, даже целый военный флот на загаженной речке Билле — в составе пяти баркасов с водяной полицией — и, насмехаясь над этой техникой, над гнилым и раздутым остовом наемной армии, живущей жирными чаевыми работодателей, горсточка рабочих продолжает держаться до 4 часов пополудни. Наконец, отбросив войска на растянутых, ничем не защищенных фронтах, осажденный Шифбэк, подгоняя перед собой смятые и поломанные колонны синих, зеленых, вообще доблестных цветных солдат, прорывает кольцо засады и с оружием в руках выходит через эту кровавую брешь на волю. Смешно сказать: три стрелка образуют арьер-

[1] Сокращенное — пролетарий.

гард этой крохотной рабочей армии. Они держат на почтительном расстоянии «морские силы республики», пока С. со своими пробивается в поля через узкую щель между рекой и шоссе.

Затем торжество победителей. Свистопляска доносов, обысков, избиений, арестов и богослужений. Все это длится без малого два месяца. Десятки рабочих переходят на нелегальное положение. Многие арестованы и ждут суда. Их семьи продолжают ютиться в промозглых рабочих казармах: жен инсургентов одну за другой выбрасывают из фабрик на мостовую. От времени до времени в их жилищах появляется разговорчивый член правления профсоюза: опухший, желтый от йода, с головой, упакованной в белое. Он в дни Восстания был схвачен возле «Оловянных хижин» и по ошибке избит полицией на котлеты. Теперь вставляет выбитые зубы, соглядатайствует и посредничает.

Голод, снега, ледяные грязные постели, квартирная плата, окрики дворника и зима, бьющая белыми розгами на пути между собственным логовом, пахнущим газом, уборной и подмерзлой грязью и бюро безработных. Это бюро — серый дом, ставший на вытяжку и отдающий честь в пустое поле. Вся его спина заснувшего на посту шуцмана оклеена нашими прокламациями.

От времени до времени к женщинам, отданным во власть всякого насилия и всяческих лишений, является отряд полиции для обыска или чернильный жандарм для допроса. Тогда вся эта беспомощнейшая нищета подымает свои колючки, оказывает власти гражданской и военной, бряцающей звонкими палашами по лестницам, скользким от замерзших помоев, самое мужественное и суровое сопротивление.

Уперев руки в бока, с лицом, красным от гнева, плиты или прачечной лохани, покрикивая на ревущих детей и лохматого пса, бешено лающего из-под продавленного дивана, возвысив голос до пронзительной и едкой высоты, жена шифбэкского инсургента отстраняет протянутые бумаги, как отмахивают со лба вспотевшие назойливые волосы; она с яростью отрицает, уклоняется, нигде и ни на чем не расписывается. На головы уходящих чинов ее брань летит, неотразимая, как горшок с нечистотами. Эти женщины, которым нечего есть, которые завтра будут выброшены из своих нор, мальтре-

тируют[1] полицию, пренебрегают ею, преследуют ее своими прилипчивыми насмешками.

Накануне рождества они собираются вместе, чтобы сшить десяток кукол для детей коммунистов, находящихся в бегах. Х. мастерит кукольные дома из старых ящиков, оклеивает их газетами и затрепанными королями и дамами давно растерянных мастей.

Голодные соседи приходят с подарками — куском мыла, куклой, парой теплых чулок.

Наконец, ночью, из Гамбурга отряд рабочих с тачкой муки и маргарина — от американских товарищей. 50 кило жира и 25 фунтов сахара на 70 семей, из которых каждая насчитывает не меньше 3—5 ртов.

За несколько дней до рождества голод достигает своего апогея. По предложению голландской группы межрабпома, Шифбэк отправляет 50 своих детей в Голландию для интернирования среди иностранных товарищей.

Стук у дверей — приходят рабочие с неловкими лицами и, ни на кого не глядя, разве только на белье, развешанное над холодной плитой, или на стену, зеленую, как сифилис, спрашивают о погоде, о здоровье, о пустяках.

Мать с отсутствующими глазами осведомляется — кого же они возьмут, мальчика или девочку, и какого возраста? На сборы — четверть часа. Багажа — никакого. Несколько минут ожесточенного воя в трясущихся материнских коленях. Но чулки уже туго подвязаны веревочками, застегнуты деловито все пуговицы, и мать резкими, безапелляционными и все-таки замедленными, исподтишка растянутыми движениями причесывает дочке лохматую косу. Так, в четверть часа, ребенок навсегда отдирается от своего корешка и от разгромленного Шифбэка.

Две матери не пожелали отдать своих детей.

Одна, нагруженная четырьмя мальчиками и двумя девочками (муж арестован, фабрика выкинула, окно с газетой вместо стекла), путем каких-то непостижимых экономий держит шесть ртов над водой. Другая — верх грязи, беззаботности, веселья и физического разрушения. Дети всех цветов от многих пылко, но недолго лю-

[1] Дурно обращаются.

бимых отцов. Девочки, непрошенно и пышно явившиеся на свет, как замечательный золото-желтый подсолнух где-нибудь над помойкой из случайно упавшего на замусоренную землю зерна. Мальчики — здоровые, веселые и предоставленные самим себе, похожие на крепкие зеленые рогатки клена, ухватившиеся приземистой ножкой за плесень и мякоть старой фабричной стены. Среди слез, брани, проклятий своему непрошенному плодородию, среди детского рева, раздавая подзатыльники и стоя на сквозняке, с худой юбкой, облипшей вокруг колен, с младенцем, сосущим не то хвост грязной кофты, не то истощенную голую грудь, — эта мать отказалась послать в изгнание хотя бы одного из своей жизнерадостной и голодной шайки.

Среди этих семей, агонизирующих в усмиренном Шифбэке, есть одна до того счастливая, что соседки ходят вечерами послушать ее необычайную тишину. Маленькая черная женщина, рано состарившаяся, но с самыми черными глазами, с самым смуглым цветом лица, с потрескиванием чего-то южного в голосе, как будто под углями хрустят завернутые в пепел и тепло испеченные на морозе каштаны. Дети ее — четверо детей — как по сговору, или совсем белые с синим, или оливковые с черным. По очереди — маленькие чехи и немцы. Муж, товарищ Р., старый коммунист, битый в армии за польскую фамилию и опасную молчаливость, за которой фельдфебель угадывал пацифиста. Участник группы «Спартак», один из старейших борцов КПД, раненный во время Капповского путча.

В жизни каждого человека бывают периоды, когда скопляется и зреет гной. Каждая царапина: болезнь ребенка, неприятный разговор с мастером, встреча со шпиком как раз по выходе с нелегального собрания — принимает злокачественный, скверный оборот. Товарищ Р., иностранец, обремененный семьей, половину недели безработный, давно известный как коммунист, ясно чувствовал, что каждую минуту со своими четырьмя может слететь под колесо. Они все очень устали, страшно изголодались и остыли.

Бои. Но октябрь не дал победы, в которую так фанатически верил Шифбэк, — этот Верден гамбургского Восстания. Полиции не удалось схватить Р., принимавшего самое деятельное участие в движении.

Из-за границы он прислал своей жене письмо и визу. Одно из редких чудес, которые все-таки бывают.

Все в квартире Р. оттаяло, сдало, перевело дух, заговорило вполголоса.

Письмо из-за границы — как стук отдаленной лопаты, откапывающей этих пять человек из-под рухнувшего на крышу обвала.

ХАММ

Квартал Хамм. По строю своих прямых и широких улиц это предместье чрезвычайно неудобно для уличных боев.

Пустынные его проспекты трудно стянуть кушаком баррикад. Гладкие голые фасады рабочих казарм отвесно обрываются в скользкие асфальты. Стены не дают никакого прикрытия одиночным стрелкам, которые предпочитают выступы, ниши и приподнятые крылечки старинных домов. Лопата и лом сломают себе зубы, пытаясь взрыть укатанную лаву. Чтобы запереть такую улицу, нужно свалить несколько взрослых деревьев. А деревья не растут в кварталах нищеты. Кроме того, улицы Хамма, прямые, пустые и гладкие, похожие на каменную трубу, легко защитить одним пулеметом, поставленным на перекрестке: обнаженные пространства открыты на много километров и безжалостно выдают бинокль всякую скрюченную фигуру, тщетно ищущую прикрытия и защиты в скупой тени этих бесчеловечных фасадов — фигуру в кепке, сдвинутой на глаза, в шерстяном шарфе, обмотанном вокруг подбородка, и с винтовкой в руках.

Все эти неблагоприятные особенности не помешали Хамму стать ареной коротких, но очень напряженных боев. Ослабить их не мог даже смешанный, мелкобуржуазный характер населения: студенты, составляющие значительную его часть, дружно предложили услуги полиции, но не у себя дома, а улизнув в более благонадежные части города.

Вооруженное восстание подразумевает наличие людей, обладающих оружием. Гамбургское Восстание было восстанием безоружных рабочих, которым прежде всего предстояло вооружиться за счет противника.

В округе Хамм пять участков, которые постоянно заняты отрядами Зиппо; кроме оружия, находившегося на руках у полисменов, военная организация надеялась в каждом из них захватить небольшие арсеналы.

Итак, в Хамме, как и в других частях города, борьба началась с захвата безоружными рабочими маленьких полицейских крепостей, охраняемых часовыми, переполненных военной командой и амуницией всякого рода.

Один из наиболее трудных участков был захвачен 12 рабочими при одном старомодном пистолете.

Уже у самых дверей полицейбюро отряд как будто заколебался. Тогда один из товарищей, имя которого с гордостью можно назвать, — за ним уже захлопнулась дверь каторжной тюрьмы — Рольфсхаген, бросил своим людям: «Noman los!» (ну, вперед!) — и, не глядя следует ли за ним кто-нибудь или нет, перелетая через три ступеньки своими огромными ногами, ворвался в участок. За ним друг, молодой рабочий-наборщик — больше никого. Единственный, и притом незаряженный, револьвер уперся в толпу Зиппо. Рольфсхаген, видя их нерешительность, заорал не своим голосом и многообещающе треснул кулаком по столу. Бумаги полетели, расплескалась священная влага чернильниц, государственная власть пошатнулась в своих устоях.

«Man los, hier wird nicht lang tackelt!» (Нечего тут долго болтать!)

Полиция сдалась, подняв руки вверх, была обезоружена и заперта подоспевшими товарищами. Что делать дальше? Держаться в захваченном ревьере [1] или выйти на улицу, окопаться, броситься на помощь Бамбэку, откуда доносилась неумолчная стрельба? Между тем связи с центром не было никакой.

Сидя в своем углу на партийных собраниях, посасывая трубку, молча топорщась в тени своей непромокаемой, нахохленной, горбатой одежды грузчиков, Рольфсхаген никогда не болтал, не любил фраз с быстрыми серебряными, как у велосипеда, спицами и призывов к борьбе, коим так предана партийная интеллигенция. Он представлял себе восстание чем-то простым, неуклонным и линейным, без отступлений, без малейшего колебания и отклонения в сторону, как взмах подъем-

[1] Участок.

ного крана, схватившего добычу, как прямизну компасной стрелки и неукоснительный бег корабля. И поэтому, не получая никаких указаний, Рольфсхаген теперь зарядил свое ружье, сложил удобными кучками патроны и приготовился драться и умереть возле окна, выступ которого ему доставлял некоторое прикрытие.

Напрасно товарищи пытались его увлечь за собой, доказывая всю опасность позиции, которая легко могла быть окружена и отрезана. Рольф решил остаться.

— Dat is Befehl ick bliew (таков приказ, я остаюсь), — и остался. Через час начался поединок этого человека с полицией, наводнившей квартал. Расстреляв последний патрон, он наконец упал, раненный в голову, грудь и живот, лишившись сознания от страшного удара сапогом в ребра.

Рольфсхаген не умер в больнице, где из его тела вынули шесть кусков свинца. Уверенный в скорой победе революции, он отказался от побега и с усмешкой принял десять лет каторги, на которые его «помиловал» Шейдеман. Уже в дверях суда он обернулся к толпе и крикнул друзьям, вкрапленным в толстый ком буржуазных слушателей:

— Не забудьте начистить мой револьвер, я скоро за ним приду!

Таков был захват участка в Крепостной улице.

Вот Mittelstrasse (Серединная улица). Во-первых, Чарли Сеттер, член провинциального парламента, которому было поручено руководство боевым отрядом, который не явился и в течение всей схватки, до самого конца, проявлял постыдную нерешительность, робость и малодушие.

Во-вторых, уже немолодой рабочий, чрезвычайно подвижной, то что называется по-немецки «разбуженный» (aufgeweckt), узкое, бескровное лицо которого, как конверт траурной каймой, обведенное черной бородкой, подергивается легкой судорогой невралгической боли. Он всю войну просидел в окопах и, тяжело раненный в голову, ушел из них калекой, подверженный мучительным болям, эпилептическим припадкам и истерикам. Однако увечье не помешало его израненной голове продумать до конца и пересмотреть свои старые убеждения социал-демократа и партийного чиновника,

Проклиная войну и рабочую партию, служившую поставщиком мяснику, он мужественно порвал с организацией, к которой принадлежал более 15 лет.

Товарищи боялись положиться на К., которого простые партийные дискуссии доводили до исступления. Но во время Aktion он не только оставался в бою, подвергаясь величайшей опасности, но ни разу не дал воли своим разбитым нервам. Его поведение с начала до конца оставалось безукоризненным.

Рядом с К. на штурм участка № 23 шли два замечательных рабочих. Кудрявый великан Рот, по профессии строительный рабочий. Не помню точно названия его бранши[1]. Во всяком случае, короткая профессиональная формула, в состав которой входят железо, бетон и уголь. Она звучит гордо, как девиз некоего трудового герба. В ответ на все мои вопросы этот товарищ только помотал головой Зигфрида и отказался сообщить что бы то ни было о своем личном участии в деле. Так на этом лице, суровом и правильном, осталась лежать глубокая тень: как у кариатиды, безгласно поддерживающей целый дом. Рядом с ним Л. — высококвалифицированный столяр, человек исключительной интеллигентности и мужества. Кажется, в смуглом цвете его лица, в южной живости глаз и ироническом романтизме, при помощи которого он постепенно исцарапал и изрезал все заглаженные и покрытые лаком общие места политической фразеологии (так мастер пробует лезвие своего инструмента на краях рабочего стола), сказывается славянская, а может быть, и еврейская кровь. Пылкий политический темперамент и холодная внутренняя трезвость, благодаря которым Л., будучи одним из лучших, одним из замечательнейших борцов Гамбурга, ни на минуту не забывает там, у себя внутри, что самые пламенные слова революции все-таки написаны грубой масляной краской на дешевом красном коленкоре. Энтузиаст с небольшим, герметически закупоренным, домашним ледником в душе. Его сознательное самопожертвование, свирепость, с которой он в нужные моменты укладывает на лопатки своего холодного, рационального червяка, гораздо более ценны, чем всякая врожденная храбрость.

[1] Производственная специальность.

Рядом с Ротом и Л. дрались трн брата-анархиста. Смелые люди, несколько месяцев тому назад ушедшие из партнн из-за ее бездействня и ставшие под ружье, как только раздался пароль Восстания. Вся их семья состоит из коммуиистов. 60-летияя мать, сестры, два зятя тоже приняли участие в движении. Словом, семейиая ячейка, советский кулачок, каких иемало в рабочих низах Германии. Свой участок эта группа (28 рабочих при двух револьверах и одиой резииовой палке) опрокинула совершеиио блестяще, обойдя его с двух сторон, разоружив полицню и воспользовавшись запасами ее оружия.

Между тем около 7 часов утра иачало светать. Улнчиое движеиие пpностановилось (в этой части города, правда, только на иесколько часов), отряды вооруженных рабочих задержнвали и возвращали домой своих товарищей, которые, ии о чем не подозревая, вышли иа работу.

— Что случнлось?

— Объявлена диктатура пролетариата.

— Dat kun jo sen, ook io nich wieder gohn.

— Dat got wi werra, nochus. (Возможно, так дальше не могло продолжаться. — Тогда мы идем домой.)

Не иа баррикады, не на помощь рабочим сотиям, — но домой.

Тоже очеиь характерно.

Большннство инсургентов, несмотря на отсутствие дальнейшнх приказаний штаба, бросило опустошенные участкн и двииулось в стороиу Бамбэка, окутанного дымом и где не прекращалась бешеная стрельба. Инстинктивно была выбраиа едииствеиио разумная тактнка. Асфальта поднять нечем. Деревьев почтн нет. Оружия слншком мало, чтобы двииуть более широкие массы; поэтому вооружеиные группы рассыпаются в разиые стороиы, чтобы по одииочке просочиться в борющиеся кварталы. Отряд — Рота, Л., братьев-аиархистов (всего 9 виитовок н 12 револьверов) — двинулся в сторону наиболее сильиой перестрелки. В одном из каменных корндоров их накрыл пулеметный огонь грузовика. Стрелки бросились на землю, затем под навесом все более близкого огня нашли пpнкрытие в боковом переулке. Один из товарищей, встав иа колено, поднял виитовку к плечу. Она мгновенно выпала из его рук. Л. помнит, как с

тротуара сползла струя крови, унося в сточную трубу брошенную кем-то папиросу. Сбоку раздался грохот второй машины. Не заметив партизан, она широко и самоуверенно встала в конце переулка, повернув к нему свой тяжелый незащищенный борт. Повстанцы буквально его вымели огнем из своих карабинов. Затем маленький отряд принял форму подвижного каре, в течение многих часов переходившего с места на место и наконец давшего настоящий бой на мосту Срединного канала. Это был складной, растягивающийся квадрат, в нужную минуту сматывавшийся и исчезавший, как вода в песке. В середине его — три-четыре первоклассных стрелка. Они занимают перекресток, центральный сустав нескольких крупных улиц. На всех соседних углах, прикрытые газетным киоском, телефонной будкой, стволом дерева, размещаются дозорные, вооруженные револьверами. Они стреляют только на близком расстоянии, только во время рукопашной схватки и предупреждают карабинеров в случае, если им грозит окружение. Перебрасываясь с места на место, защищая и сдавая все новые узлы, летучий отряд стрелков, наконец, закрепился у моста через Серединный канал, к которому широким веером собираются каменные складки окружающих улиц. Мост слегка горбит широкую спину, чтобы брезгливо перешагнуть через течение фабричного канала, тускло отливающего, как бельмо на глазу. Стрелки ложатся так, что только дула их винтовок выступают над его изгибом. Несколько жалких деревьев, выросших в корсете из железных прутьев, гораздо более толстых, чем их собственные стволы, не сбежавших из этого постылого места только потому, что бетон крепко зажал в кулак их несовершеннолетние корешки, образовали вместе с исхудалым фонарем единственное прикрытие бойцов, расположившихся справа и слева от трех наиболее метких охотников.

Вдоль всего берега нежилые здания сумрачно обрываются в воду. Только изредка в стене, по которой распространилась сырость, открывается окошко подвала. Оно кажется судорожно разинутым ртом, выплывшим на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха и снова исчезнуть. Это — рабочая Венеция; но где дворцы хлопка, сала и железа не знают широких мраморных лестниц и набережных; где кирпич и бетон, омытые ядовитой

сточной водой, покрыты налетами царственной красоты, плащами бледно-зеленого, серого и розово-ржавого цвета, более причудливым и разнообразным, чем порфир, мрамор и малахит, кровь, жемчуг и пепел высокого Катроченто. Вместо времени благородство скалистых тупиков подчеркнуто сверкающим углем. От него тени более трагические, чем писала для цветущей Венеции рука Тинторетто. Эта лагуна, омывающая промышленный Гамбург, не знает ни гондол, ни романтических ночей. Она несет в море фабричные нечистоты, сырость, холод и все болезни, проникающие через стены в жизнь, сон, труд и кровь миллионов рабочих. Фабричные трубы, как Дожи, смотрятся в мутные зеркала. Дым плывет с их плеч пышными мантиями и, со своим морем, серым, холодным и загрязненным, они обручаются не золотым кольцом Адриатики, но воем корабельных сирен, возвещающих о прибытии драгоценного сырья. В холодной грязи каналов давно перемерли нереиды. Изредка мальчишки вылавливают из воды их белый рыбий труп, плывущий вверх животом с мучительно раздвинутыми жабрами.

На этом канале дрались. И вдруг дозорные донесли: автомобили. Пришлось снова переменить позицию. Опять стрелки в центре каре, разведчики по углам. Грузовик, набитый солдатами, неожиданно выскочил из-за угла. Роту одним метким выстрелом удалось повредить механизм. Зиппо бросили машину, унося своих раненых. Отряд снова делает отчаянный скачок — занимает узел соседнего квартала. На этот раз его атакует бронированная машина, под прикрытием которой рассыпается цепь зеленых. Партизаны сбивают лейтенанта — храброго, но глупого лейтенанта, мужественно выскочившего вперед и громким голосом собиравшего своих людей для атаки. Среди Зиппо паника, которая сменяется мертвящей тишиной — тишиной, вообще свойственной призрачному царству необитаемых каналов, подчеркнутой молчаливо реющими знаменами фабричного дыма и отдаленными залпами усмиряемого Восстания.

По безлюдным улицам, вдоль остановившихся, остекленелых рек, вдоль бездействующих фабрик, запертых, как монастыри, вдоль домов без глаз и с враждебно сжатым ртом, инсургенты продолжают двигаться, раз-

бивая на перекрестках свой строй, легкий и удобный, как кочевая палатка. Наконец по вымершей мостовой, среди оголтелого безлюдья, снова грохот колес. На этот раз только повозка, груженная газетами. Забыв об опасности, путаясь в плотно увязанных тюках, потом в мягких листах «Фремденблатта», они искали и никак не могли найти единственных слов, которых ждали весь этот день более интенсивно и мучительно, чем своей собственной победы, — вести о всегерманской революции, о новой Республике Советов. Рот скомкал газету и схватил новую. Л. прочел и стал белым. Отто обернул раненую кисть этим грязным листком, отказываясь верить его сообщениям с пренебрежительным кивком головы. Она лгала. Она нарочно молчала о победоносном Восстании в Берлине, Саксонии, везде. Иначе быть не могло.

Тогда тюки сбросили на асфальт и зажгли. Ветер подхватывал пылающие листы и уносил их в каналы. Там они плавали, как горящие птицы, как подожженные лебеди.

В соседних улицах защелкали залпы. Отряд медленно отступал, освещенный заревом огромного костра, который солдаты тщетно пытались растоптать и добить прикладами.

МЕНЬШЕВИКИ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Во время последнего восстания в Гамбурге портовые рабочие, бастовавшие уже несколько дней, не примкнули к борющимся массам. Они бродили по улицам, засунув руки в карманы, и с безобидным любопытством расспрашивали товарищей, возвратившихся из осажденных полицией кварталов, что там и как? Тысячи рабочих, организованных социал-демократами, остались мирными зрителями гамбургских событий. Портовики (за исключением верфей и мастерских, обрабатывающих нефтяные остатки, где заработная плата упала до издевательской цифры) являются аристократами среди остальной массы гамбургского пролетариата.

Они получают больше, чем высшая категория береговых рабочих, например, строители, металлисты, же-

лезнодорожники, и, конечно, в несколько раз больше, чем парии гамбургского порта, занятые на верфях. Во время войны этот сытый слой усердно работал на военное ведомство, получал отличные оклады, был освобожден от воинской повинности и в революцию вошел реакционной, расхолаживающей струей, отлично совмещавшей свое мелкобуржуазное, рыхлое, теплое и сытое житье с безобидным билетом СПД. В 18 году эти меньшевистски организованные массы зажиточных рабочих всеми силами боролись с Советом Рабочих Депутатов, против его и без того водянистой и двойственной политики. На демонстрации безработных, на запрещение буржуазных газет, на разгром эсдековского листка «Гамбургское эхо», поливавшего свои желтые страницы ежедневной клеветой против Совета, эти массы ответили мощной реакционной контрдемонстрацией, арестом председателя Совета, восстановлением буржуазного сената, забастовкой железнодорожников, помешавшей отправке сильных добровольческих отрядов, которые гамбургский пролетариат мобилизовал на помощь городу Бремену, осажденному офицерской дивизией генерала Герстенберга. Словом, грузчики и рабочие, занятые на бесчисленных портовых складах, уже не в первый раз оказывают ценные услуги германской контрреволюции. Еще бы! Со всего мира стекаются торговые суда в удобную гавань Гамбурга. Корабельщикам некогда ждать, некогда торговаться из-за нескольких лишних пфеннигов. За каждый день простоя им приходится платить пеню, сроки поставок не ждут, фракты и накладные желдорог истекают. Благодаря всем этим условиям грузчики и складчики пользуются неоспоримыми экономическими привилегиями там, где другие категории давно потеряли и восьмичасовой рабочий день и половину довоенной заработной платы! В течение двух первых лет революции не перестает сказываться реакционное влияние гавани. Она против социализации предприятий, против ограничения частной торговли, против всякой социальной бури, могущей ослабить кредит вольного города заграницей, усилить его иностранных конкурентов, обезлюдить гавани, живущие приливом и отливом мирового рынка. Еще в 19 году гамбургские меньшевики воображали, что Англия пощадит столицу «Uferland'a» (Поморья) за добродетельное по-

давление коммунизма. Сейчас от этих надежд не осталось ничего. Антанта дружно дожевывает остатки буржуазно-социалистической Германии и пустила по миру не только коммунистов, но и умереннейших меньшевиков. Их благосостояние пошатнулось, их профсоюзы собирают милостыню, их вожди, вышибленные из большой каолиции, голосуют за диктатуру буржуазии; тем не менее старые традиции еще держатся. Гавань обнищала, но среди нищих она все-таки кормится лучше, без мучительных перерывов. Благодарные рабочие-аристократы помогают полиции при разгроме баррикад и дружно посещают заседания и митинги СПД. Вчера у них был праздник. Вольный город Гамбург удостоился посещения знаменитого берлинца, геноссе Штампфера, редактора «Форвертса». Сотни рабочих пришли его послушать. Пожалуй, ни у одного русского рабочего не хватит терпения дочитать до конца статью, этот отчет обо всех извращениях марксистской мысли, с которыми испытанный меньшевик осмеливается выступать перед рабочей аудиторией, да еще в городе, где только что засыпаны окопы, пересекавшие предместья во всех направлениях, где дома рабочих кварталов исцарапаны пулями, где десятками считают убитых полицейских и сотнями — раненых, арестованных и избитых рабочих. Но надо себе ясно представить все гниение, все глубочайшее падение рабочей и мелкобуржуазной Германии, растленной пятидесятилетием выхолощенного, обезвреженного лжесоциализма, чтобы оценить, каким актом величайшего героизма именно в таких условиях является вооруженное Восстание Гамбурга. Подняться в этом болоте, в этой трусливой, глубоко реакционной трясине, было бы в тысячу раз труднее, чем под солдатским сапогом нашего старого царизма, чем против отчетливой и ограниченной, всякому понятной, черной фашистской рубахи.

Доктор Штампфер не старался быть особенно логичным. Он чувствовал себя все-таки в провинции, где хороший игрок, не стесняясь, может передернуть старой, явно меченной картой. Во-первых, все несчастье Германии происходит от бесчисленного множества областных парламентов. Их нужно упразднить и централизовать. Во-вторых, только сильная государственная власть способна защитить рабочий класс от наступаю-

щего капитала. Только государство (крики: «Какое? Буржуазное?») может отстоять для рабочих 8-часовой рабочий день. Даже почтенным, с брюшком и сединой, членам СПД стало как-то неловко, но у немецких меньшевиков есть простодушный и всегда успешный ораторский прием: как только галерея начинает свистеть, а старики с беспокойством оглядывают друг друга и замечают: «О, йе! Вот тебе на!», — оратор вытаскивает на сцену Вильгельма. Живого, с усами, в полной парадной форме. Стоит докладчику щелкнуть его по носу, рассказать пару анекдотов про глупость бывшего императора, стоит ему с неслыханным мужеством обругать Вильгельма дураком, идиотом, маниаком, — и обыватель блаженно содрогается при виде такого кощунства, и аудитория побеждена. Поплевав на Вильгельма, эсдек переходит к коммунистам.

Оказывается, что именно они разрушили священный сосуд республики. Они, лишенные всякого почтения к законным формам демократии, к благородным и человеколюбивым методам парламентской борьбы, запятнали подол невинной девы — республики — кровью своих же братьев-пролетариев.

В глубокую тишину обрушивает Штампфер свое обвинение:

— В Пруссии коммунисты зверски замучили двух полицейских чиновников. Разве бедный Шупо не такой же пролетарий, как мы?

Ропот негодования, протесты. «Пфуй, долой коммунистов! — кричат бюргеры-социалисты. — Пфуй, и да здравствует республика!»

Откуда-то сверху громкий, острый, насмешливый вопль, заглушаемый добродетельным хрюканием:

— Долой Шейдемана! На фонарь Эберта!

— Эберт, — редактор «Форвертса» бьет себя в крахмальную грудь, — Эберт, этот сын народа, достигший при помощи своих талантов наивысших должностей в государстве! Немецкий пролетариат может гордиться, что его сын из самых низов проник на такую высоту!

В облаках парламентаризма является папа Эберт. Республика простирает над ним венец победы и указует на избирательную урну: из миллионов один может выиграть 200 тысяч или стать президентом. Божественная лотерея демократии.

Штампфер сознается в некоторых ошибках партии с обезоруживающей откровенностью. Партия училась. Ничто не дается без опыта и страданий. «Зачем нам все время ругать только свою собственную партию — это обессиливает. Критиковать нужно келейно, с глазу на глаз. Вот, например, я, доктор Херц и Брайтшайд» — тон доверия, интимной простоты. «Они голосовали против вотума доверия правительству Маркса, я был за него. И что же?.. Разве мы из-за этого поссорились? Ничуть не бывало! Ехали в одном купе, о политике не говорили — она у нас вот где (жест пресыщения) — и вместе кушали сосиски на станции. А ведь как спорили во фракции, чуть не до драки».

Избиратели всегда польщены, когда им через замочную скважину позволяют взглянуть в кухню большой политики. Против почтенного «Форвертса» выступили один за другим 10 или 12 ораторов. Они доказывали следующие азбучные истины: 1) социал-демократы вручили диктатуру буржуазии, 2) эта диктатура будет направлена исключительно против рабочего класса, 3) СПД несет за нее не только моральную, но и формальную ответственность.

Всем этим ораторам, прерываемым председательским звонком и мучительно пытавшимся в эти десять положенных скоротечных минут обосновать свое глубочайшее разочарование в партии, свое бешенство по поводу ее преступлений, хлопали, кивали, устраивали громкие овации. И затем, с исключительным единодушием, подавляющим большинством, прошла резолюция доверия парламентской фракции СПД. Пожевав своего депутата, ткнув его носом в грехи эсдековской партии, обнаружив полное понимание всех ее шулерских приемов, — избиратели утерли Штампферу разбитый нос и отпустили домой с вотумом полного доверия. Шулер не должен надувать своих — за это бьют. Но жульничать на пользу родного мещанства, обыгрывать ненавистную революцию — можно и должно.

1923

БЕРЛИН
В ОКТЯБРЕ 1923 г.

В РЕЙХСТАГЕ

Ах, этот парламент! Если что-нибудь в нем еще внушает уважение, так это только огромные мраморные сапоги Вильгельма I, воздвигнутые посередине зала. Старый солдат, у которого с таким трудом в свое время вырвали конституцию, стоит с недовольным видом и ожидает минуты, когда ему позволено будет выгнать из этого дома болтливые стаи депутатов. Члены парламента мирно роятся вокруг его знаменитых ботфорт, гуляют парами и поодиночке, совершенно как девушки на бульваре. От времени до времени их непринужденные толпы раздвигает пожилой служитель, ведя за собой нескольких вспотевших от благоговения юношей в толстых шерстяных чулках и ботинках, подбитых гвоздями, пришедших посмотреть Дом немецкого народа. Комкая свои ученические шляпы, юноши подобострастно и стыдливо озирают дубовых дев с золотыми пупами, подпирающих плафон, потоки сюртуков и этих отменных старых лакеев, которые, будучи похожи на вельмож, пишущих мемуары, являются единственными носителями старых парламентских традиций. Увы, никаких следов, никакой видимости прежнего величия! Ни одной крупной фигуры, сосредоточившей на себе хотя бы почтительную ненависть всех партий. Ни одного человека, знаменитого своей личной честностью, имеющего за собой несколько десятилетий незапятнанной политической игры. Перед стариком Бебелем, когда он проходил через этот зал, вставали враги, матерые прусские юнкеры грузно приподнимались из вязких кре-

сел, чтобы отдать должное его чистому имени; теперь — никого, ни одного лица, ни одного имени. В тумане папиросного дыма незначительный профиль Леви, серое и сдержанное лицо, приученное без краски выносить любопытство людей, осматривающих его с затаенной мыслью о совершенном им предательстве. Впрочем, здесь все с прошлым: члены бывших министерств, сброшенных судорогой общественного отвращения, отрыгнутые государственные деятели, бывшие люди, на всю жизнь сохранившие на фалдах своих депутатских одежд следы несмываемой грязи.

Вообще в толпе легко отличить несколько основных типов парламентской фауны. Во-первых, уже бывшие в употреблении, занимавшие министерские посты, успевшие проставить свое безвестное имя на какой-нибудь международной бумажке, на одной из слезниц, обращенной к Антанте. Здесь социалисты, знаменитые расстрелами рабочих, члены кабинетов, взявших на себя ответственность за ограбление золотого фонда Германской республики, — словом, люди, вышедшие в тираж.

Крап этих меченых карт известен каждому порядочному игроку. Никогда больше при составлении кабинета рука крупного шулера не возьмет их в руки, никогда им больше не лечь на игорный стол великих каолиций. Карта, однажды выбитая из рук игрока и брошенная ему обратно в лицо, битая, шельмованная карта продолжает жить в качестве рядового депутата. Но лучшая ее пора позади. На красном ковре рейхстага разбросано великое множество этих разрозненных, отыгранных колод. Они продолжают голосовать, но к почестям продвигаются более молодые аспиранты, еще не лишенные своей провинциальной политической девственности. За спиной старых бреттеров, проходящих мимо, с благоговением и завистью называют цифры взятых ими кушей, их художественные предательства, их блистательные скандалы. Галерея обесчещенных, битых, мятых физиономий, но сумевших и успевших лизнуть от сладкой власти. Голые среди голых, они ходят и не стыдятся. Между этими бывшими толпятся рои более подвижных, глупых и настойчивых — будущих правителей. Целая стайка их жужжит и жмется возле Брайтшайда, окруженного цветником политических попутчиц. Немножко похоже на черную биржу, но в об-

щем благозвучно, благоуханно и изгибисто. Здесь же пасется гордость и украшение рейхстага, чуть не единственная его политическая журналистка — маленький черный выкидыш, завернутый в лист неприличной биржевой газетки. Правые ходят, как на скачках. Белые гамаши, блестки стекла под вздернутой бровью, треугольник носового платка на груди. На свою половину буфета, совершенно отделенную от кормушки демократической партии, они проходят, как в салон, где не рискуют встретить ни одного неблагородного. Впрочем, туда же, рядом с аристократическими, истинно прусскими дамами, жесткими, безобразными и высокомерными, привыкшими пить свою чашку five o clock tea в чаду политических сплетен, наступая на их меха и волочащиеся сухие, как у старых ящериц, хвосты, вкатываются и жирные банковские и промышленные патриоты, такие крикливые и толстые, что листы черной «Крестовой газеты», торчащие из карманов правых депутатов, должны бы покоробиться, а кресты на них, христианско-фашистские кресты, завертеться волчком. Увы, это денежные мешки, и завтраки, пожираемые ими в антрактах, обильнее, питательнее и дороже тех, которыми подкрепляются чистокровные юнкеры.

За столами СПД — сосиски, кофе и тревога. Все входы и выходы рейхстага оцеплены. Полиция хватает за шиворот всякого проходящего; у дверей — старейшие лакеи, эти евнухи политического гарема, знающие в лицо каждую из его законных жен и каждую из любимых наложниц, собственноручно испытывают и пропускают народных представителей. Внутри, у газетного киоска, стоит веселый рослый малый, полицеймейстер города Берлина, и впивается в лицо каждого депутата своим ясным пытливым взглядом, стараясь распознать преступный элемент. Мимо него господа-делегаты, делая открытое честное лицо, бегут по своим надобностям. И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, вдруг коммунисты что-нибудь устроят. Совершенно бессмысленный, панический страх, — а вдруг Реммеле прорвется, сделает скандал, бросит бомбу с вонючими газами и взорвет весь рейхстаг. Имя Реммеле повторяется, как навязчивая идея. Его появления ждут, как выстрела в театре. Его жуют, проглатывают, опять отрыгают и снова жуют. Появись сейчас этот Реммеле с

граммофонной трубой, или кашляни каменный унтер на своем мраморном обрубке, — и этот парламент позорно разбежится. Генерал Сект это тоже знает и пока не делает классического движения своей коленкой, жеста, с такой чудной живостью описанного в Вольтеровском «Кандиде».

К судьбе Германии и к ее революции парламентская игра никакого отношения не имеет. История, подобно огромным статуям, лежащим у фонтана перед рейхстагом, давно повернула к нему свой чугунный зад.

Итак, они интригуют, торгуются и воюют за власть.

За власть. Генерал Сект, вы смеетесь? Не правда ли? В этом высоком доме ее давно нет; но вокруг ее запаха, вокруг жирных следов, оставленных на страницах конституции немытыми руками прежних депутатов, все еще роятся надоедливые, неотступные и неистребимые рои политиканствующих филистеров. Как мухи. Осталась одна бумажка, пустая, скомканная, выброшенная бумажка, но ее облепляют, по ней ползают, вокруг нее жужжат...

Зал заседаний. Кто-то говорит. Взрыв хохота. Ему отвечают справа. Долгий радостный хохот. Крики слева. Циничный утробный хохот. Это премьера германского рейхстага, его великий день.

ДЕТИ РАБОЧИХ

Берлин голодает. Каждый день на улице, в трамваях и очередях подбирают людей, упавших в обморок от истощения. Голодные кондуктора ведут трамваи, голодные вожатые мчат поезда вдоль кромешных коридоров подземных дорог, голодные работают или без работы дни и ночи скитаются в парках и в пригородных поселках.

Голод висит на автобусах, закрывая глаза на крученой лесенке империала, мимо которой, как пьяные, несутся рекламы, пустота, автомобильные гудки. Голод стоит на страже у царственных прилавков Вертхейма и, получая 20 миллиардов в неделю (в то время как фунт хлеба стоит ровно десять), суетливо и бережно обслуживает сотни универсальных магазинов, пустующих, но набитых богатством, золотых от света, чистых и респектабельных, как международные банки. Эта барышня, у которой на заостренном треугольнике лица только синеватые вдавлины глаз, немного пудры и заискивающая улыбка, честно делает стойку у 10-долларового сапога, у 30-долларового пледа, падает в обмороки от голоду, продается за $1^1/_2$ копейки по старому курсу, но с чисто немецкой аккуратностью, с электрической быстротой исчисляет спекулянтские биллионы и триллионы, вносит их в счет восхитительным почерком, которым обладает вся эта нация глубокограмотных людей, и, дождавшись очередного сокращения штатов, безропотно отвязывает свой передник продавщицы, все еще не смея отклеить от лица искательную голодную улыбку,

На стеиах огромных домов, повернувших к окнам летящих мимо поездов свою голую спину, расписанную рекламами, еще кричит и торжествует прежний избыток иакопленных сил, лопается от сладкого жира банка конденсированного молока, и дети-гиганты со щеками розовыми и круглыми, как седалище, со счастливой белокурой улыбкой, заиосят иад городом плитку шоколада, похожую иа фонарный столб. Но настоящие живые дети из-за голода перестают ходить в школы, матери, проводив их туда, просят учительницу отпустить детей домой, если во время заиятий им сделается дурно. А как может ребенок выдержать все учебные часы, если в течение утра и всего предыдущего вечера он абсолютио ничего не ел?

За последние месяцы детская смертиость сделала высокий острый прыжок на черных диаграммах немецкой статистики. Туберкулезные плевки густо облепили жизиь таких кварталов, как Ведииг, Риксдорф и Обершеиевейде, столицы A.E.G., электричества, автомобильиых трестов, самых величественных локаутов, протекающих под прикрытием артиллерии, и первых тысячных митингов, иа которых в эти ранние октябрьские дни, так непохожие иа иаши, немецкие рабочие учатся петь «Интернационал». Эта поздняя европейская осень, так медленно идущая иа ущерб, так осторожно замораживающая ясиые берлинские ночи, уиесла тысячи рабочих детей. Никогда еще со времени войны крупозное воспаление легких ие съедало столько жизней, по капле выхаркивающих себя в хлебных очередях, выгуливающих часы своего жара, удушья и голода в нескончаемых прогулках безработицы.

Без работы! Не недели, ие месяцы, — год, больше года. И, конечно, жена и иесколько человек детей, и все те тридцать три иесчастья, которые вламываются в истощенную до дыр, проношеиную, истоптанную человеческую жизнь, болезнь и неработоспособность, и какая-то невольная слабость в решающую минуту, в бешеной свалке за случайно подвернувшийся кусок хлеба. Но, как ни вопиюща нужда, самые широкие слои мелкой буржуазии, разоренные дотла, лишеиные всяких средств к существованию, все еще гнутся, все еще пытаются приспособиться и как-нибудь пережить «трудные времена». Они экономят и копят деньги, которые

назавтра обращаются в кучу грязи, урезают себя во всем, лишь бы сохранить видимость бедной, но приличной, трудовой жизни. Бедствовать, работать совсем даром, — но, ухватившись за решетку кассы, из которой каждые три дня выплевывается новая издевательская сумма, чувствовать между собой и зреющей революцией успокоительное молчание несгораемого шкафа, набитого хозяйскими деньгами. Готовы на все, лишь бы избежать социальной революции. Отсюда эта горячка диктаторов, эти длиннейшие обсуждения в печати настоящих диктаторских примет, эти портреты скуластых и мордастых армейских генералов вильгельминского периода... Мелкий буржуа все еще надеется, что один из мраморных идиотов, стоящих в Зигессаллее, с выставленным вперед оружием, придет спасти немецкий народ от анархии слева и экономического разграбления и путча справа. И хотя в застланных асфальтовым ковром прекрасных культурных городах Германии наступило такое отчаяние, от которого душа маленького клерка, служащего и чиновника готова стать на четвереньки и завыть по-звериному, — в последнюю минуту он или она идет не на улицу, а в кафе. Да, в кафе, чтобы на денежные обрезки целой недели выпить наперсток кофе, обмануть свой набухший, здоровый гнев влажным, вихляющим вальсом, позолотой кривоногих барроковых стульчиков, иллюзией табачного дыма, сахарина и кокоточных шляпок.

У каждого самого скромного служащего или даже квалифицированного рабочего высшего разряда непременно есть собственная квартирная обстановка, собранная в течение целой жизни ценою жестокой экономии и самоограничения. Несколько мягких кресел, коврики с благочестивыми изречениями, летящий ангел, пучки засушенных трав и непременно вертико — нечто вроде усеченного шкафа, алтарь мещанского уюта, на котором портреты родственников, статуэтка, неприличная, если ее посмотреть снизу, и венчальный букет под стеклянным колпаком. Пока ростовщическая политика буржуазии не снесет вертико и пяти толстозадых бархатных кресел, не снимет с окон портьер, висящих, как огромные бархатные штаны, их обладатель не выйдет на улицу и не откажется от надежды на мирный, бескровный переворот, который в течение 50 лет призы-

вала на голову немецкого пролетариата его социал-демократическая партия.

Но там, где нет вертико, ни денег, ни хлеба... в настоящих рабочих низах, пока муж выгуливает свои безработные часы, мать странствует от одного благотворительного учреждения в другое. Если она к тому же беременна, то врач тщательно осматривает ее тяжелый живот, тоже голодная, но весьма респектабельная сестра милосердия заносит его в регистр нищеты, ставит номер и сообщает, что, может быть, месяца через два младенцу можно будет выхлопотать молоко со скидкой в 25 процентов с его рыночной цены.

Жена безработного, беременная теперь, зимою 1923 года, — это труп.

Она грузно лежит на стуле, и из ее разлагающегося темного голодного тела страшно торчит живот, точно на коленях под платьем зачем-то спрятана круглая детская голова. Даже благотворительной барышне не по себе при виде этой живой женщины, с ее живым, уже видимым ребенком, которых наверно не будет через какие-нибудь три месяца, которые не имеют ни малейшего шанса на то, чтобы выдержать эту зиму в стране, где безработный получает 60 миллиардов в неделю, тогда как фунт хлеба третьего дня стоил 80, вчера — 160, а завтра может взлететь на триста. Ее муж и она — безработные с января прошлого года, то есть 10 полных месяцев. В январе, как раз в самое страшное, холодное время, он вовсе перестанет получать вспомоществование. При этом четверо детей.

— Почему ваш муж не работал летом, не копал картошку у крестьян?

— Копал и поранил ногу. Все лето пролежал в больнице с заражением крови.

Несчастья не знают в таких случаях никакой меры, никакого логического предела, валятся на головы ослабевших отчаянной и нелепой кучей. У нее несомненный туберкулез: шумное и трудное дыхание, как во сне.

— Где же вы хотите рожать? Дома или в больнице?

— Дома.

Врач долго и разумно отговаривает, соблазняет чистотой, теплом и пищей.

Наконец с совершенно неожиданной и неотразимой улыбкой:

— Господин доктор, я хочу умереть дома. Хочу, чтобы мой муж увидел ребенка и сам завернул его в полотно.

Другая: две ржаных косы вокруг молодой головы, белая шея и платок, крестом завязанный поверх полного стана.

Веселая женщина, чистая и крепкая, как домотканое полотно, разложенное для просушки под горным солнцем Шварцвальде или Баварии. Без работы год и два месяца. Муж, тоже безработный, проводил ее и ждет у дверей. На ней поразительной чистоты рубаха, выстиранная в холодной воде без мыла; в вишневой, щедрой улыбке часто блестят крупные здоровые зубы.

На вопрос желтой сестры, пересеченной морщинами, как старое письмо на сгибе:

— Чем вы будете жить зимой? — отвечает:

— Не знаю. Или сдохнем, или все будет иначе.

Две девушки. Обе — безработные. Обе — беременные. Одна опухшая от слез, родственных попреков и голода. Младшая — прозрачный, ко всему равнодушный ребенок, которого гневно сопровождает крошечная мать с наколкой и ридикюлем. Сестра, прищемив скупые губы, хочет закрыть дверь в приемную, чтобы не разглашать позор.

— Квач, не надо. Мы делаем рабочих вместо тех, которых они «сживают со свету».

Немецкая работница, самая загнанная, с неслыханной силой защищает от гибели своих детей, свой разоренный, разграбленный дом, свою обнищалую безработную семью.

Вся семья голодает, голодает месяцами. Но ребенок, пока есть хоть малейшая возможность, получает четверть бутылки молока и 50 граммов жидкой каши. В одной комнате живут 5—6 человек, из них двое туберкулезных, но ребенок, которого мать раз в неделю аккуратнейшим образом носит на осмотр, безукоризненно чист, завернут в чистую тряпочку и только очень медленно, через полгода, когда семья, которая его держит на вытянутых руках, высоко над своей нищетой, окончательно проваливается в голодную трясину, только тогда уходят краски с его лица, под тонкой, посеревшей кожей яснее выступают ослабевшие кости, и

пальцы врача под легкой спутанной шерсткой на голове прощупывают опухший, мягкий, медленно срастающийся череп. В каждой рабочей больнице (а их десятки) безошибочно часы ежедневно отмечают стремительную убыль веса тысячи рабочих детей. На этих весах, пища́, трепыхая в воздухе тонкими ножками и поворачивая из стороны в сторону слабый, беззубый рот, лежит целое пролетарское поколение, — становится все легче, все бледнее, исходит болезненными детскими слезами, желтой пеной голодного поноса. Рабочий класс Германии не побежден и не будет побежден. Но сейчас, когда силы его только собираются в крепкий коммунистический кулак, а борьба против него ведется самыми презренными средствами и более всего поражает будущее рабочего класса — его детей, немецкая пролетарка во весь свой рост встала на его защиту.

Очень часто мужчина не выдерживает голодного раззора — писка некормленых детей, голода и грязи. Тысячи работниц покинуты своими мужьями и любовниками после нескольких месяцев безработицы. По особенному пеплу, покрывающему лицо, по следам судорожного переутомления, по запыленной, бескровной, сжатой в кулак голове легко узнать в толпе других эту женщину, продолжающую на собственный страх и риск бешеную борьбу за существование. По ней, но и только по ней, опытный глаз заметит, давно ли началась безработица, или недавно и прерывается ли она случайными двух-трехдневными, четырех- или шестичасовыми заработками? Но ребенок женщины, только что начавшей голодать, и ребенок, у которого головка от слабости сваливается набок, и за ушами, под мышками и между ножек уже выступили зловещие гнойники истощения, — одинаково чист, вылизан, уложен на подушечку, накрыт теплым материнским платком. В конце концов одними советами врачей и тщательным уходом ничего не сделаешь. Надо кормить, надо покупать молоко. Надо заказывать лекарства, когда на одряхлевшем теле ребенка появляются первые болячки. Начинается с пустяков — с золотушного воспаления, с кусочка размокшей кожи, которую нечем продезинфицировать и присыпать. Болезнь разрастается и охватывает весь организм. В пеленках лежит семи-восьмимесячный старичок с воспаленным ртом, вдавленной перено-

сицей, кривыми ножками и вздутым животом. От его испражнений пахнет гнилью.

Это конец многомесячной героической борьбы. Урод вместо сильного, прямого, веселого ребенка.

Каждая из безработных матерей, неизменно приходящая в больницу каждые 8 дней, знает, что рано или поздно так должно кончиться. Знает и все-таки борется, — всеми культурными средствами, которыми наука учит сражаться с голодом и вырождением.

Всеми силами молодости и любви, всей выдержкой и культурностью единственного в мире рабочего класса, в рядах которого нет не только безграмотных мужчин, но и безграмотных матерей.

Окончив осмотр ребенка, врач обращается к матери:

— Покажите вашу грудь.

Под платьем нет даже рубашки. Но при первом прикосновении из высокого переполненного сосца на бумаги, на докторские очки и передник брызжет горячая белая кровь.

СЕМЬЯ ЗАЖИТОЧНОГО РАБОЧЕГО

I

Слон просовывает свой хобот между прутьев решетки и несколько секунд голодными, умными глазами смотрит на нашу Хильду. Нет, не даст! Шелестя сухой кожей, побелевшей от старости, безнадежно мотнув ушами, умнейший уходит в глубину своей клетки. Сад пуст, холодно, звери голодают, как люди. Слон скоро умрет, это видно по ребрам, по слабому хоботу. Совсем готовый скелет, готовый звериный памятник, который сто лет простоит посреди музея, но пока еще ходит и немного ест сено. Памятник, не успевший издохнуть и до открытия завешенный шуршащими складками старой кожи. Хильда очень сперва испугана и закрывает глаза. Но, глядя, спрашивает: «Скажи, у него есть лицо?» Потом трогает холодный медный барьер и, чувствуя себя в совершенной безопасности, зная, что гора сидит в тюрьме:

— Дядя, какой он сладенький! (Ist der doch süsse.)

Перед клеткой с обезьянами стоят русские эмигранты, предлагают старому, умному павиану пустые коробки из-под спичек, старые бумажки и окурки. Он глубоко возмущен; заслышав внутри павильона шум чьей-то семейной сцены, с человеческим любопытством прислушивается и затем бежит на скандал, стукнув дверцей и показав русским соотечественникам багрово-синюю часть своего тела.

— Хильда, идем скорее дальше, иначе мы опоздаем в кофейню! Ты видела этого зверя?

— Видела. А ты мне дашь кусок хлеба с маслом?

Хильда никогда не голодала. Ее отец — первоклассный квалифицированный рабочий; мать при помощи трикотажной машины изготовляет чулки, фуфайки и теплые перчатки. Это одна из редких рабочих семей, со стола которой не сходят мясная подливка, хлеб, картофель, сало и кофе. И так как вся планетная система домашних забот, все разговоры, хотения и страхи вращаются вокруг теплого «Stulle» (ломтя хлеба), густо намазанного белым, крепким маргарином, вокруг мешков с картофелем, спрятанных под диваном, вокруг пищи, развешанной и разложенной в каморке, то и Хильдина душа сложилась из толстеньких, брызжущих салом сосисок; когда эта душа вырастет, у нее будет крепкий, лоснящийся круп тяжеловоза и сырой, сытный запах пива.

Хильда не хочет смотреть на ибиса и вообще на скептических и длинноволосых египетских птиц, у которых в каждом изгибе серого пера весь стиль, вся условность повернутых в профиль тысячелетий. Ибис прогуливается с лысой головой и длинным носом умного старика, в пелерине и без панталон — так длинны и голы его ноги. Вдруг восторг, полнейшее восхищение: «Смотри, смотри, у него в хвосте перья, как на шляпе у тети Вильгельмины! Тетя Вильгельмина пришла сегодня утром к моей маме, чтобы даром напиться кофе. Люди теперь стали такие нахальные!»

II

Снежная ночь. У Бранденбургских ворот низко, по самому асфальту, как серпом режет снежный ветер. Тиргартен лежит в глубокой тени, похожий на море, на темную вспухшую от ветра воду. У пустых тротуаров, как у пристаней, стоят вереницы автомобилей и блестят мокрыми огнями.

В половине шестого демонстрация коммунистической партии. На Унтер-ден-линден идут безработные со своими инструментами, бренчащими в мешке за спиной, с опухшими от холода ушами, торчащими из-под шапок, с поднятым воротником пиджака и широкой голой прорехой на груди. Ветер свищет им в лицо. В темных пере-

улках полиция отдирает от стен маленькие воззвания, в один день облепившие весь Берлин. В переулках бьют резиновыми палками, разгоняют шествия и потом уносят из толпы полицейских чиновников с разбитыми лицами. В этот вьюжный вечер 10 000 рабочих, заливших Лустгартен и Унтер-ден-линден до Фридрихштрассе, встретили смехом броневой автомобиль, и полиция не осмелилась сделать ни одного выстрела по коммунистической демонстрации. В этот вечер мама Хильды штопает чулки у лампы, в тепле. Хильда кушает хлеб, намазанный салом, и когда очень сыта, то прополаскивает свое сытое брюшко водой.

— Хильда, — говорит мама, — спой нам «Интернационал»! — Хильда поет «Интернационал», потом про рождественское дерево, потом из избранного венка псалмов.

— Хильда, — говорит ее мама, — скажи нам, как хорошие дети поздравляют дедушку со днем его ангела? — Тетя Вильгельмина, жена безработного, завистливо кивает головой и расточает пригорелые похвалы.

— Хильда, — говорю я, — что бы ты хотела получить на рождество? Куклу, книжку с картинками, живого верблюда, как в Zoo?

— Ах, дядя, подари мне ливерную колбасу!

— Пустяки, — говорит Хильдина мама тете Вильгельмине, — я больше не верю ни в какие демонстрации. Нам нужно вооруженное восстание, настоящая революция, а не какие-то там шествия.

Тихонько поплевывает кофейник на плите, за окном бешеный ветер треплет ставни и воет, как дьявол.

— Нет, — говорит Хильдина мама и стучит вязальной спицей по белой клеенке. — Двенадцатый час пробил. Вы нас больше не выманите на улицу никакими звонкими фразами. Нам нужен решительный бой, а не демонстрация. Пять лет мы только и делаем, что ходим!

Тетя Вильгельмина нерешительно:

— Мой старик пошел. Боже мой, такая страшная зимняя ночь!

— Приходите на нашу серебряную свадьбу, Вильгельмина! Мы празднуем. Будет пирог с творогом и пирог с мясом, салат из яиц, холодного картофеля и яблок. И кровяная колбаса, хотя бы мне пришлось продать машину.

— Ах, мутти, кровяная колбаса! А я получу?

— Все дорожает, жизнь становится невозможной, Все-таки вы сами немного виноваты, Вильгельмина. Все зависит от женщины. Если она заботлива, домовита и бережлива, хозяйство никогда не дойдет до полного упадка. Нужно беречь свои вещи, им нужен постоянный уход. Вот, например, этот шкафчик для посуды или этот диван. Им всем по двадцать пять лет. Но разве это видно? Нисколько. Стоит только стереть каждое утро пыль с полок, бережно обходиться с лакированными ножками, не садиться слишком часто на мягкую мебель.

— Мутти, сын тети Вильгельмины только что украл кусок сахара из нашей синей сахарницы!

— Главное, стойко переносить несчастья и не распускаться, никогда, ни в коем случае не продавать обстановку. Пока целы вещи — семья все-таки держится. Кроме того, не следует поддаваться на провокации правительства. Впредь до решительного боя — никаких глупостей, вроде этих демонстраций. Побольше терпения, выдержки и сплоченности. Надо поддерживать друг друга. Вот, например, дядя Курт. Конечно, он был без работы более года, всей семье пришлось жить за городом, в летних беседках. Его бедная Минна два года хворала, пока, наконец, не умерла от рака. На их примере вы можете видеть, как все-таки много зависит от женщины. Ее хозяйство совершенно развалилось. Все, все пошло прахом. Ну, мы, родственники, конечно, сложились и устроили ей вполне приличное погребение. Мы, рабочие, должны помогать друг другу. Я одолжила бедняге старый цилиндр мужа. Дядя Франц позволил ему надеть свои парадные штаны и сюртук. По крайней мере он мог вполне прилично пройти за гробом!

III

Маленькая Хильда спит в углу дивана. На ней белое платьице, белые туфельки, на коленях недоеденный кусочек яичного пирога. Хильдино счастье: набегавшись, наигравшись, наевшись досыта, блаженно посвистывает розовым носиком, и розовый пышный бант на ее макушке тихонько сползает на плечо дяди Франца. Серебряная свадьба вышла на славу. Какие подарки! Мыло, маргарин, цветы и 2 фунта масла. Родственники сложи-

лись и преподнесли 6 приборов и 6 чайных ложек. Пришлось продать швейную машину, мальчишки разбили одну вазу с сушеной травой на подзеркальнике, но зато весь дом знает, что Хильдина мама на славу отпраздновала 25-летие своего замужества, вся улица об этом будет говорить.

— Профсоюзы, конечно, развалились. На что они еше существуют, откуда у них средства? От хозяина, от фабрикаита. Разве мы не перехитрили наше акционерное общество? Эти господа воображают, что бывшие профсоюзные фонксионеры честно будут защищать их интересы за пару биллионов, которые правление им на их бедиость выкинуло.

Дядя малютки Хильды хитро подмигивает.

— Нет, этих ребят не подкупишь! Жалованье от капиталистов они берут, а помогают не им, а нам. Мы им ближе: слава богу, тридцать лет вместе работаем, друг друга зиаем. Они иам выхлопочут тариф в золотой валюте, не беспокойтесь.

Одна из тетей малютки Хильды — вдова коммуииста, убитого в прошлом году. Оиа ничего ие могла подарить, но зато весь вечер мыла посуду у богатых родственников. Вытерев красные от горячей воды руки, сняв передиик и выпив, стоя за кухонным столом, свой стакан кофе с парой уцелевших бутербродов, она просит племяиника, управляющего домашним оркестром (гитара, скрипка и маидолина):

— Сыграйте мне «Вы жертвою пали»!

В задией комиате, где старики, потушив свет, при смутиом отблеске уличного фонаря, разрозиеииыми и охрипшими голосами распевали песии своей молодости — «Вальс луны» и «Розу на поляне», — теперь тишина и позвякивание кофейных чашек. Здесь же, в первой, сдаваемой обычно жильцу, молодые люди и девушки, плотно притеревшись друг к другу, танцуют свой уанстеп под ускорениые темпы трагического погребения революции.

Крошка Хильда спит. Ей снятся маргарин и тетя Вильгельмина, спрятавшая под передник пирожок с изюмом и яблочиой начинкой.

9 НОЯБРЯ В РАБОЧИХ КВАРТАЛАХ

Годовщина ноябрьской революции. Полупустая пещера огромного зала. Несколько сот необычайно угнетенных, молчаливых, неподвижных рабочих — членов социал-демократической партии (СПД).

Над трибуной, с ужасающей ясностью, золотые изречения на красном полотне. Все больше стихами — по образцу благочестивых пословиц, украшающих стены пивных, поздравительные открытки и свадебные подтяжки.

«Да здравствует Интернационал!» — не сказано, который.

«Долой тиранию капиталов!»

«Свобода и труд!»

Никто не смотрит, никто не верит. За этими запятнанными хоругвями, за красным коленкором, подделавшим цвет живой крови, за этими выписками из св. писания, безобидными и безвредными, ни разу не шедшими в бой во главе революционного пролетариата, стоят пять лет гнусной промотавшейся буржуазной республики, расстреливавшей и высасывавшей рабочих Германии под прикрытием обезвреженных и выхолощенных революционных фраз.

Ни на одном столике не видно круглой добродушно-вздернутой крышки пивного стакана. Редко где-нибудь тают в сером сыром холоде струйки табачного дыма. Рабочий давно перестал курить и пить. Кусок сухого хлеба, украдкой вытащенный из кармана — вот и весь праздник.

Они пришли на этот невеселый юбилей с женами и детьми. Похожи на каких-то унылых эмигрантов, сидящих на пристани в безнадежном ожидании отплытия. Мужья не разговаривают с женами; дети, пришибленные инстинктивной тоской, молча жмутся к матерям.

Между тем фашисты именно на этот день, 9 ноября, назначили свой переворот. На утро предполагались обширные демонстрации, быть может уличные бои, массовые расстрелы рабочих, погромы, — словом, белый переворот. Этот жалкий праздник ноябрьской годовщины мог стать последним свиданием правящей соц.-дем. партии с массами, на которые она якобы опирается, интересы которых обязалась защищать, — последняя встреча правящей бюрократической верхушки с пролетариатом, на который белые через 24 часа обещали спустить своих погромщиков. Что же эта «рабочая партия» сочла нужным сказать рабочим накануне путча? Дала им оружие? Разработанный план борьбы? Сборные пункты, пароли, военное и политическое руководство? Что стоило организовать революционную оборону в городе, наводненном сотнями тысяч безработных, целой армией женщин, выброшенных на мостовую, инвалидами, которым правительство дает издевательские субсидии, наконец толпами организованных рабочих, из числа которых более чем 20 000 человек обречены на голодную смерть. Казалось, с чем, кроме призыва к мобилизации и восстанию, могла явиться на это собрание партия, именующая себя рабочей и социалистической, партия, только что со срамом выброшенная из правительства пинком солдатского сапога.

Собравшиеся с исключительным волнением ждали представителя партии, встретили его абсолютным молчанием, беззвучным вопросом — что же теперь делать?

Он пришел — изящный партийный интеллигент, скептик, насмешник, член группы, составляющей левое крыло СПД (ни один правый с.-д. в этот день все-таки не осмелился выступить ни на одном из многочисленных митингов). Говорил долго и красноречиво, всего около двух часов. О чем? Даже трудно вспомнить. О белых во всяком случае ни слова. Ни звука о назначенном на завтра перевороте. О том, чем этот путч угрожает пролетариату, как его предупредить, как организовать обо-

рону, как избежать провокации и резни — ничего. Гладкое, бритое парламентское место.

Несколько плаксивых фраз о том, что праздник сегодня вышел не веселым, что Германии 9 ноября радоваться, собственно, нечему, что хлеб дорожает и безработица растет, злые генералы злоумышляют против республики, а мужики не хотят отдавать свой добрый урожай в обмен на фальшивые бумажки, только с одной стороны вымазанные типографской краской.

В зале какая-то уже совсем кладбищенская тишина. В лицо депутата пахнуло таким враждебным холодом, отчаянием и растерянностью, что он решил посыпать конец своей речи несколькими идеалистическими выводами и затем уже распустить по домам этот обескураженный пролетариат, которому через несколько часов предстояло с голыми руками, без веры в себя и без права на эту веру, встретиться с пулеметами, пушками и штыками рейхсвера.

Ах, этот упоительный философский ветерок, которым, доктор прав, может вдруг повеять в холодном, голодном, насторожившемся собрании! Дешевая, жалкая и все-таки соблазнительная надежда, неспособная никого обмануть, никого еще не защитившая, но все-таки надежда, вползающая в пролетарскую душу, как вошь на стол, пока ее не раздавит железный ноготь буржуазной диктатуры. Но зато партии-предательнице, заживо гниющей на плечах пролетариата, отравляющей его своим подсахаренным трупным ядом, дана возможность еще раз увильнуть от ясных и простых боевых лозунгов, от разрыва с буржуазным правительством, от ненавистной социальной революции.

Вот, слушайте.

«Мы побиты, безоружны, безработны, обворованы своей гнусной буржуазией. Наш сегодняшний праздник смело можно назвать поминками революции. Но не волнуйтесь и не сердитесь, дорогие пролетарии. За нас работают время, история, социальный рок. Колесо истории нельзя повернуть вспять, а потому, несмотря на нашу полную небоеспособность, фашисты не победят; идите с миром и не бойтесь Людендорфа. За него пушки, за нас — логика истории. Спокойной ночи — и до свидания — не на баррикадах, а на следующем юбилее, кото-

рый, с помощью социального провидения, сойдет веселее сегодняшнего».

Все.

Затем хор, состоящий по крайней мере из 50—60 человек, в течение полутора часов распевает чувствительные песенки; на сцене добрая рота рабочих, разделенная на два клироса развевающимися фалдами социалистического дьячка, глядя поверх очков в чистенькие нотные тетради, с усердием и ревностью воспевает сельские удовольствия и чистую любовь.

— Ах, ласточка! — выводит здоровый, широкоплечий строительный рабочий, мучительно высовывая крепкий кадык из вспотевшего стоячего воротничка. Голос, — точно ему сапоги жмут.

— Ах, эти майские цветки! — нежно откликается взвод столяров и грузчиков на левом клиросе. От натуги пиджаки трещат на великолепных, выпирающих мускулах. Ни одной заминки, ни единой опечатки. Видно, что люди не меньше двух недель честно упражнялись в совместном исполнении, несмотря на голод, безработицу, вой голодных детей и воинственные приготовления фашистов. Нет, ничего не может отвлечь СПД от мирных культурно-просветительных упражнений.

Дальше — настоящий сумасшедший дом. На сцену вытащили детей целого рабочего квартала, толпу подростков, отряд взрослых женщин и детей. И с величайшей тщательностью предались декламации какой-то омерзительной жалостной пьесы.

Голодные рабочие дети, по мановению режиссерской палочки, хором стонут и плачут перед голодной рабочей аудиторией:

— Ма-ма, хлеба!

И все вместе, мужчины, женщины, дети:

— Братья, мы по-ги-ба-ем!

В зале слезы, истерические всхлипывания женщин.

Толпа расходится в расслабленном, раздраженном, беспомощном настроении. Ее здоровый гнев, ее огромное недовольство, составляющее арсенал революции, с шумом спущен в канализационную трубу обессиливающего и развращающего лжеискусства. Хитрые эти с.-деки! Под конец все тот же хор, взявший героически верхнее до, исполняет среди других лирических песенок и «Интернационал». Это — чтобы у пролетариата не

создавалось такого впечатления, что с этой музыкой неразрывно связано какое-то революционное действие, что его литавры раздаются только на крови и в пороховом дыму.

Нет, надо заранее приручить этот опасный боевой клич, посадить его в общий песенный курятник, чтобы в день войны, перед атакой, он не поразил пролетарского уха, не развернулся над его головой, как свежее, полощущееся по ветру знамя.

Другое собрание СПД. Херц, член рейхстага, пытается говорить. Рабочие по мере сил мешают. За члена рейхстага — колокольчик председателя, статистика, история, политическая экономия и логика. За рабочих — их пронзительный свист, безработица, голод и здоровый социальный инстинкт. Херц считает, что СПД в течение пяти лет совершила некоторые ошибки, о которых теперь все равно не стоит говорить. Аудитория, наоборот, хочет говорить только об этих ошибках и посылает доктору Херцу десятки записок, в которых черным по белому: «СПД — вонючий труп, который пора похоронить». Когда член рейхстага делает вид, что не может прочесть написанное, ему то же самое повторяют устно.

Президиум не хочет дать слово коммунисту для ответа.

Рабочие дружно голосуют, и коммунист говорит 40 минут с разрешения председателя, а еще 20 минут — несмотря на его прямое запрещение. Тогда, вынырнув кое-как на поверхность шума, топота и выкриков, депутат Херц делает неистовое усилие, вдруг держится, плывет и торжествует.

Он нашел союзников, он называет имена, которые превращают рабочих в соляной столб.

— Всякое сопротивление белым бесполезно. (Свист.) Пять лет с.-д., заседая с ними в правительстве, пытались отстаивать интересы рабочих... (Шум усиливается.) С.-д. делала, что могла, но черносотенные министры изнасиловали Штреземана и Эберта, так что эти несчастные товарищи даже не могли отказать в огромной ежемесячной субсидии белогвардейскому правительству Кара в Баварии. (Оратора поносят.) Ленин... (Глубокая тишина; Херц, переводя дух...) Ленин доказал, что Германия не существует, как самостоятельная политическая и экономическая единица. Ее судьбы свя-

заны с революцией или реакцией во Франции, Бельгии, Англии и Италии. Опираясь на мнение Ленина, мы смело можем утверждать, что в данный момент возможность социальной революции в Германии абсолютно исключена...

Видно, что доктор Херц продолжает говорить, ибо рот его движется. Но слов больше не слышно.

1923

Из цикла „В стране Гинденбурга"

КРУПП И ЭССЕН

Как чайные ложки или наволочки владетельной семьи, так и города Рура, его улицы, заводы и шахты помечены именем Круппа. Эссен только вотчина, семейная собственность, переходящая из поколения в поколение. Как у себя дома, семья спокойно ставит памятники своим усопшим членам посреди общественных площадей и садов. Бабушка заказывает один монумент, племянники или сыновья, или внучки, у которых свой вкус и свое удовольствие, — другой. На каждом перекрестке по бронзовому Фридриху-Альбрехту, Альбрехту-Фрицу, Фрицу-Фридриху. И постройки, трамвайные линии, люди и машины безропотно уступают дорогу железным хозяевам. Культ предков царит над величайшим из промышленных центров Европы. Последний мужчина царствующей семьи давно умер, и давно забыт безобразный скандал, проводивший его в могилу. Дочери, никому не ведомые вдовы, по праву крови наследовали миллиарды, стали самодержавными владелицами сотен заводов, шахт, верфей, железных дорог и гаваней. Им дают мужей для продолжения рода, и принцы-регенты из мелких чиновников размножаются, приняв имя своих жен, чтобы великий город Эссен не остался без своих хозяев чистых кровей, чтобы сотни тысяч рабочих, миллионы машин могли спокойно работать на настоящих, чистокровных маленьких Круппов. Жизнь, конечно, давно переросла патриархальные хозяйственные формы, с которых полвека тому назад начинал старик Адольф; вместо хозяина-монарха делами управляет дирекция акционер-

ного общества, и гигант Крупп шагает по раз навсегда данному направлению, управляемый армией искусных чиновников, а не волей такого гениального организатора и строителя, каким был Крупп II.

* * *

30—40 лет тому назад на месте города Эссена, где сегодня в великой тесноте работают гиганты металлургии; где заводы друг друга задевают локтями и фабричные трубы стоят, вытянув шеи, не упуская друг друга из вида и размежевав черное от копоти небо густыми полосами дыма; где далеко внизу, под ногами городов, шахты грызутся за каждый кусок угля (как канаты протянуты между ними черные ходы; каждая, схватив сотнями рук, тянет их в свою сторону); где никогда не потухают великие плавильные печи, сращивая города Рура в тело одного исполинского завода, — на месте этого Эссена лежали пустые поля и редкие крестьянские дворы. Сегодня еще видно: город вырос из прииска. Бетон и асфальт только прикрыли его старинный беспорядок. Улицы узаконили косые и кривые тропинки, протоптанные первыми шахтерами между кабаком и фабрикой. Город примирился с дикими неуклюжими домами, не желающими знать никакой дисциплины. Как бродяги, в один день ставшие миллионерами, стоят они где попало, с трубкой в зубах, без садика, как без штанов, и ветер свободно обдувает им голую каменную грудь. Подавленный богатством, оглушенный запахом денег, город бежит мимо и делает вид, что ничего особенного тут нет, строит мост, чтобы обойти вытянутые поперек всей улицы ноги в грубых шахтерских сапогах. С этих же времен осталась у Эссена страсть к перестройкам, к большим и бесполезным земляным работам. Он любит сесть и разобрать мешок со всяким старьем, свой старый походный ранец. Вынуть из мостовой пудовые камни, взрыть почву так, что на весь город стоит вонь от голой земли, десятилетиями не снимавшей своей каменной рубахи, потом снова уложить все на место, пустить трамвай, зажечь фонари. Вообще, город — только там, где нет завода, как перепонка на гусиной лапе. Его жилые кварталы теснятся между фабричных корпусов, жмутся

к заборам, не смея первыми, без разрешения угольного синдиката, занять ни одного клочка свободной земли. Только разбежится вперед какой-нибудь многосемейный тесный переулок, — в конце его, как часовой, стоит фабричная труба и машет дымным знаменем.

— Назад, здесь «Рейнская сталь». Здесь Рейн — Эльба или Стиннес, «Геркулес», «А. E. G.».

Потому у самых малых домов такой стиснутый вид и глаза навыкате. Черные, полуслепые, узкие в плечах, с маленькой крышей-кепкой, они цепляются за стены банков, заводов и торговых контор. Это — шахты, полные людей, и они лезут кверху, потому что страшная теснота выдавливает их из земли.

* * *

Все заводы города Эссена принадлежат Круппу, все его жилые дома — собственность Стиннеса. Неописуемая нищета последних еще недавно входила как статья дохода в легендарный бюджет этого концерна.

Но даже там, где фабрики принуждены подвинуться, чтобы пропустить через свои ущелья улицы и трамвайные рельсы, они остаются хозяевами; проходы так узки, что женщины могли бы сушить белье на веревке, перекинутой из окна в окно. Вместо них завод сам протянул над тротуарами свои кабели, трубы и мосты. Он шагает через крыши и кварталы, как гигант через домики лилипутов. Он не стесняется, хозяин-завод: выбрасывает прямо на улицу свои нечистоты, сплевывает на голову прохожих пар, пепел, воду и сажу. Каждый прохожий, пробегая вдоль раскрытых окон, может видеть, как он молотом бьет свою вечную жену — гибкую, податливую, но непреклонную сталь. Дети в своих постелях просыпаются от ее скрежета и визга. Прижатые к фабрикам, общежития день и ночь слышат железо, кричащее, как роженица в муках. Всякая вещь в рабочих домах трясется, как наковальня, хотя удары падают далеко, и свое маленькое дыхание приспособляет к вздохам, широким, как ветер. Рабочий бессознательно подгоняет или останавливает сердце и часы, — серебряные, шахтерские часы луковицей с указателем черным и толстым, как палец, — чтобы они не отставали от заводского гудка.

У всех одно время. Сотни тысяч — армии углекопов и металлистов, — ходят, спят, работают, просыпаются, обедают, не сбиваясь с ноги, не выходя из колонны, не переставая маршировать, никогда, и в минуты глубочайшего забвения, не переставая слышать боевую музыку труда, изливающуюся из фабрик на города, на пригороды, на весь заводской люд.

Во всем Эссене есть одно только место, где стоит глубокая, важная тишина. И это вовсе не в так называемых колониях — их завод давно нагнал и проглотил вместе с цветниками и пчелами, передохшими от угольной пыли. И не в загородном клубе, где для преданных служащих и их детей специально оставлен кусочек природы с травой, листьями и удочкой (клуб смотрит на все одним глазом, крепко прищурив второй и отвернувшись так, чтобы не видеть фабричных труб, которые и сюда — в рай чиновников 6 класса — тянут свои грязные дымы). Нет, настоящая тишина, такая глубокая, что дна ее не достанет даже лучший лифт, скользящий через все этажи. Тишина, изоляция, нечто отгороженное от внешнего мира стеклянными стенами молчания, — это контора и дирекция завода «Крупп». Собственно говоря, не контора, а министерство. И не дирекция, а правительство. Дуб, кожа, залы, как для коронаций. Портреты царей только между прочим. На гораздо более почетных местах пушки и собственные жены, их крестные матери, образцы стали и дипломы международных выставок. На всем вместе, на этих канцелярских просторах и омутах тайны и солидности, за дверью каждого директорского кабинета — нечто, присущее и «Quai d'Orsay» и «Foreign Office», старой петербургской набережной и сумрачному дому на канале, где сегодня министерство рейхсвера. Просители, глотнув этого воздуха, как неживые лежат в креслах. Почти все, даже инженеры с лучшими рекомендациями, уходят, ничего не добившись. У Круппа кризис, и у Круппа подбор. Внутренняя жизнь предприятия известна очень немногим. Даже свои ошибаются.

— Могу я видеть господина майора фон Р.?

Старый чиновник отвечает усмешкой:

— Полковника, хотите вы сказать?

— Как, значит, с прошлого года?..

— Да, господин консул...

Они продолжают двигаться по лестнице чинов, которой как будто не существует с 9 ноября. Они идут гуськом или обгоняют друг друга в самой медленной скачке производства, и некто в темноте передвигает своих верных слуг со ступеньки на ступеньку. Поручики в свое время становятся лейтенантами, лейтенанты — капитанами, капитаны — майорами. Совсем молодые люди замещают освободившиеся вакансии в этом войске без солдат, в этой армии без нижних чинов.

* * *

Свой генеральный штаб, значит, и своя дипломатия. Она сморщилась за последние годы, страшно сократилась. Король пушек давно отозвал своих послов. Теперь они сидят в небольших домиках, построенных старухой Крупп для старой прислуги, получают миниатюрное жалованье, едят хвостик селедки на тончайшем фамильном серебре и в гостиных, где со всех сторон смотрит лошадиное лицо кронпринца с парой пузырей под глазами, вспоминают времена, когда одно слово агента фирмы «Крупп» в Пекине значило больше, чем все заверения официальных послов. Юань Ши-кай ездил в маленький китайский домик вдали от ненавистного европейского квартала, и покупал советы и заказывал пушки. Потом пришла война — все погибло. Но до сих пор — какая осведомленность, какие связи! Маленькие заметки в эссенской газете по иностранной политике, и особенно политике восточной, указывают на громадную, в тиши совершающуюся работу. Пока министерство иностранных дел ощупью отыскивает дорогу для немецкого экспорта, здесь, в Эссене, давно поняли, чем может стать китайский рынок для немецкой промышленности. С величайшим вниманием следят за его революционной борьбой, прицениваются, возобновляют сношения, наблюдают и ждут...

* * *

Четырехугольная башня на крыше главного управления переросла на пути к небу все здания завода, обогнала острые верхушки старого монастыря, с трудом

подымающего к раю свой колокольный звон и жалобы на машины, которые своим вечным движением расшатывают церковные стены: «Господи! Кто пойдет смотреть моего Христа IV века с каплями на лбу, когда рядом дымит домна в 25 000 тонн. Господи, сделай, чтобы этого не было». Но небо Эссена изменилось. Это только мутный вокзальный купол, потолок необозримой фабрики. Там, где случайно разбилось стекло, видно кусок синего. Но так высоко и так быстро опять захлопывается небесная форточка.

Как бритва разрезает лифт толстый ломоть крупповского дома. Сперва отстают просители, отваливаются нижние этажи, наконец, — в голове здания, — коридоры серы и тихи, как извилины мозга. Молодая девушка желтого цвета, которая 10 часов в сутки падает вверх и вниз со своим ящиком, толкает дверь. Странно. Здесь устроена столовая на 10 человек, светлая, как маяк, вокруг которого свищет ветер, бросая брызги дождя и сажу на его стеклянные стены. «Здесь, — шепотом говорит провожатый — бывший офицер со ртом, как рубец, и черной перчаткой на деревянной руке, — здесь обедают полубоги».

Сидя за столом, можно видеть Эссен, все царство Круппа. Это — история немецкого империализма, написанная строками фабричных корпусов, с трубами вместо знаков препинания. Горизонт кругом измаран ими, как поля бухгалтерской книги заметками. Ветер, биржевой маклер, ежеминутно стирает их с доски неба, моет ее губкой дождевой, чтобы написать новые знаки и числа. Дымы ползут длинными рядами, длинные и изменчивые, как цифры ежегодных крупповских дивидендов. Небо играет на бирже, небо покупает и продает.

Вон, внизу, среди бетона и гранита, деревянный домик в два окна, где сто лет тому назад начинал работать первый Крупп. Он хотел воспользоваться ослаблением английской промышленности во время американской войны за независимость, чтобы выковать ей сильную соперницу на немецких наковальнях, но потерял все свое состояние, разорился и умер в этом доме, так и не победив английской стали, господствовавшей на мировом рынке. Кризис окончился слишком рано, немецкая буржуазия была в пеленках, ее пророк, не имевший ни кредита, ни денег, был раздавлен со своими опытами и

единственной доменной печью. Сын начал сначала. Он проработал 25 лет, подготовляя победу стали над железом. Победу стальной пушки, литой из одного куска, над старым бронзовым орудием. На лондонскую выставку в 1851 году он послал слиток стали лучшего качества, весом в 2 000 кило. Эта глыба, получившая золотую медаль, была предостережением, которого никто не понял. Ей суждено было через тридцать лет раздавить французскую военную промышленность. Внутри слитка, перед которым с восхищением стояли тысячи зрителей, был Седан.

Накануне франко-германской войны модель современного стального орудия уже была готова. Имя Круппа стало мировым. Короткое, из одного куска, как его сталь, оно громыхало то в Европе, то в Азии. Его произносили там, где собирались грозовые тучи. «Крупп» — значило «война». Новая война, ужасы которой еще не были известны человечеству, с новой смертью, новой стратегией, не похожими на прежние. Далеко на юге Германии, на Руре, день и ночь дымили заводы, пылали печи, лился и плавился металл, изготовляя пушки, ружья, мортиры, гаубицы, взрывчатые вещества для всякого, кто за них мог заплатить. Это был арсенал мира.

* * *

Крупп родился немцем и патриотом, поскольку торговец вообще может быть патриотом одной страны. Это значит, немецкий император бывал принят в крупповском дворце чаще и интимнее, чем другие, искавшие его дружбы. Ему первому предлагалось всякое новое изобретение. Отечество — первый среди покупателей. Но, если отечество не могло платить или просило отсрочки, товар переходил в руки его врагов. «Во времена, когда Крупп впервые выбросил на рынок дула своих орудий, с их совершенной конструкцией, никто не мучился угрызениями совести и предрассудками политического характера. Каждый, не раздумывая, продавал свои инструменты убийства врагам и друзьям. Войны Бисмарка были для Круппа простой проверкой, огненным испытанием его пушек», — говорит Пиннер.

Если бы французское министерство оценило преимущество крупповских орудий и поторопилось с перевооружением своей армии, может быть война 70-го года окончилась бы иначе.

Следующие сорок лет были периодом возмужания германской промышленности и ее империализма. Крупп превратился в целое государство. Он был одним из первых, перестроивших все свое производство по типу вертикального треста. Все — от угольной шахты до машиностроительного завода, от рудника до электрической станции. Все — из первых рук, все — своего изделия. Он обеспечил свои тылы, повел войну с посредниками и целыми союзами этих посредников за независимость сырья: руды, топлива, химических продуктов. Его домны, заводы и мастерские получили свои собственные иностранные колонии. Крупп завоевал для них черные материки и моря нефти. Как кур передушил слабых соседей, проглотив или насильственно слив их владения со своими в форме акционерных компаний.

Совсем накануне войны, кажется в 1913 году, Крупп произнес на банкете журналистов гениальную фразу, которой не заметили так же, как стальной глыбы сорок лет тому назад.

«Фабрика должна сама создавать свой спрос».

Крупп делал пушки, его покупателем была война. В 1914 году она разразилась.

Никогда завод не цвел так, как в первые годы войны. 130 000 рабочих были заняты изготовлением оружия. По 40 000 сразу садились за накрытый стол на фабриках горячей пищи. Достраивались старые, с небывалой быстротой возникали новые корпуса. В первый же год войны доходы фирмы с 33,9 миллиона в 1913 году поднялись до 86,4 миллиона золотом в 1914 году. Наконец на окраине, где сегодня французские солдаты упражняются в стрельбе и поют свои легкие песни, вырос ящер с плоской крышей, темно-красный сарай, под которым день и ночь тряслась земля. Самая большая пушечная мастерская Европы. Завод Гинденбурга, возникший благодаря знаменитому плану милитаризации промышленности, отцом которого считается фельдмаршал. Он был прост, этот план: залить золотом тяжелую промышленность, засунуть ей в пасть последние ресурсы страны, но заставить выделывать больше пушек, чем все заводы союз-

ников, вместе взятые. В этой игре Крупп был бит. «Армстронг и Виккерс» и «Бетлеем Стил Корпорейшен» оказались сильнее. День осуществления программы Гинденбурга сегодня считают днем окончательного падения немецкой марки, началом гибели, началом инфляционных лет.

* * *

Никого война не обогатила так, как Круппа. Никому Версальский мир не нанес такого удара, как ему. Машины, изготовлявшие оружие, были взорваны. Станки снарядных мастерских разбиты или увезены. Целые кварталы умолкли, десятки труб перестали дымить. Большая часть шахт и рудников в Эльзасе, в Люксембурге, на Сааре перешла в руки французских промышленников, поступивших с ними так же, как он поступил бы с ними в случае победы. На месте уничтоженных и парализованных частей оказалась зияющая дыра. Надо было найти за границей новые запасы сырья, навсегда потерянные у себя дома и по ту сторону Рейна.

Крупп попробовал перейти на мирные рельсы. Никогда прежде он не делал вещей в обычном смысле этого слова. В главном он сейчас идет прежним путем: из его фабрикатов не сваришь супа и не сошьешь платья. Его заводы выпускают на рынок не предметы потребления, а орудия производства. Крупп — это питомник племенных лошадиных сил, рассадник машин-родоначальниц, которые сами дадут жизнь бесчисленным поколениям двигателей. Его ткацкие станки, как пчелиные матки, в которых заложена жизнь целых ульев. Их худое, стальное тело выбросит миллионы аршин пряжи, грузовики и подъемные краны перенесут миллионы пудов. Железнодорожные колеса — просто катушки, на которые намотано пространство. Саморазгружающиеся вагоны, дизеля, мачты воздушных дорог, жнейки, машины для посадки картофеля и разбрасывания удобрений. Грабли и косилки, лопаты и паровозные котлы, нефтяные резервуары и трубы — это зародыши заводов, сперма новых воздушных линий и городов, тоннаж флотов, которые повезут урожаи следующих десятилетий.

Но сегодня для Круппа нет мелочей, Крупп ничем не пренебрегает. Это — всеядное. Ему запретили делать

пушки. Отлично. Он делает искусственные зубы, легкие, прочные, нержавеющие, без запаха и вкуса стальные челюсти. В десять раз дешевле платины и не хуже ее. Он набросился на молочниц и отобрал у них тряпку и ситечко, сквозь которые они наливали молоко в бутылки, и за 20 марок дал им прекрасные сепараторы. Великий Крупп завел дружбу с самыми малыми, темными кино, где хозяйская дочь играет на рояле. Они уже покупают свои аппараты только у него. Он соблазнил жен портье и мелких почтовых чиновников, старых дев, учительниц и аптекарей на покупку своего волшебного фонаря. Поставил тысячам торговцев колониальными товарами свои счетные кассы. Но все это мелочь, всего этого недостаточно, чтобы заткнуть пробоины. Крупп пошатнулся. Нужно сделать новый шаг вперед, произвести техническую революцию, чтобы без пушек и штыков побить иностранного конкурента.

Но вот они, с башни их видно. Обедая, директора каждый день считают глазами мертвые корпуса: длинные плоские крыши Гинденбургверка; посредине завода они лежат и пахнут и, кажется, каждый день становятся толще, как тело гниющего кита. Тихий полигон, похожий на кладбище. Мертвый дом под куполом, уснувшее черное адмиралтейство — это фабрики, работавшие на военный флот. Вытянутые, как дуло, запертые снаружи, пустые внутри, с лесенками, просвечивающими сквозь стеклянные стены, как кости сквозь кожу, бесконечные мастерские орудийного завода. Кое-где стучит молот, вместо пушек, гидравлический пресс обжимает цистерны и котлы химических заводов. Но и эта работа скоро станет. Сегодня котлы, завтра опять пушки. Нет, уж лучше взорвать. Контрольная комиссия неумолима.

Сильно пострадавший, только наполовину загруженный работой машиностроительный завод — самый большой в Европе — 47 000 квадратных метров площадью. Его последним крупным заказом были паровозы для России. Но с тех пор прошло уже много месяцев — Россия сама делает свои паровозы.

На западе — мартеновские печи со своими чистыми дворами, серый квадрат озера подземных вод, башни с бегающими колесами подъемников — немногие из работающих еще шахт, — газовые резервуары, гаражи для сотен и тысяч машин, дом-горбач-лаборатория, где в

этом году найдено нержавеющее железо, сталелитейные заводы, снова мартены, домны, химические молоты, фабрики текстильных машин, разложенные веером. Одни — потушены, другие — пусты наполовину, третьи — работают в три смены с полным напряжением всех сил, ставя мировые скорости производительности при самой малой зарплате, при возможно долгом рабочем дне.

Так ясно видно с этой высоты: все эти заводы, фабрики и мастерские вовсе не стоят на месте. Они двигаются, и их перемещения согласованы друг с другом, как на шахматной доске или военной карте. Обходя своих мертвецов, шагая через их пустые дворы и строения, одни части снова переходят в наступление, другие, ослабленные, не успевшие стать на ноги, отводятся в тыл, перевооружаются, пополняются новыми силами. Вся тяжесть с их плеч перекладывается на более сильные. Они несут вдвойне, и, как знамена армий, стоят дымы над лагерем Круппа.

Кризис. Да. Во вне, для печати, для кредиторов, для рабочих, за счет которых подготовляется тихая техническая революция, — дворцовый переворот машин. Для них только острый угольный кризис. Немецкий уголь якобы не может больше конкурировать с английским. Все газеты Рура полны известиями о том, что русский уголь, которого вообще не принимали всерьез, бьет немецкий и английский на Балканах, на всем Ближнем Востоке. Себестоимость должна быть снижена, иначе погибнет хозяйство, — вот пароль всей правой, демократической и социал-демократической прессы. А потому долой пенсии углекопов, долой отпуска и праздничные дни, социальное страхование и законодательство о безопасности шахт, долой все права пролетариата, добытые в 50-летнем бою. Чтобы показать рабочим всю серьезность этого кризиса, семейство Круппа решилось на крайние меры. Оно уволило целых 40 лакеев в своем замке, из дворца, безобразного и большого, как рынок, перебралось в комфортабельный городской дом. Великодушные господа честно делят невзгоды со своими рабочими. Сэкономив жалованье пары конюхов, Крупп спокойно может выбросить на улицу еще несколько десятков тысяч рабочих. Пораненное тело тяжелой промышленности судорожно сжимается. Оно концентрирует свое производство, отбрасывает все лишнее, все невыгодное или

маловыгодное. За последние месяцы в одном только Эссене и окрестностях выброшено на улицу около 40 000 человек. Крупп не считает нужным скрывать, что зимой будет уволено еще 100 000. Государство, — оно же плательщик налогов, оно же рабочий, — будет за свой счет кормить эти армии безработных и их семьи, чтобы дать возможность Круппам и Стиннесам приготовить без всяких потерь свой заговор — восстание обрабатывающей промышленности. Уголь — вот против кого направлено восстание. Уголь — черный хлеб заводов, сто с лишним лет державший мир в зависимости от своих цен и своего качества. Чтобы не быть свергнутым совсем, он должен принять конституцию, пойти на уступки, раствориться, стать жидким, сравняться в правах с бурым углем, бывшем до сих пор в пренебрежении.

Версальский договор взорвал и остановил половину завода Круппа. Но он оставил в руках немецкой буржуазии великий, неиссякаемый источник обогащения: черную спину рурского углекопа и металлиста. Опираясь на нее, Крупп делает сегодня судорожные усилия, чтобы вылезти из кризиса. Не только заштопать дыры, но сделать новый шаг вперед. Немецкая социал-демократия и ее профсоюзы помогают стабилизации Круппа так же самоотверженно, как они помогали ему во время войны. Только под их прикрытием может совершиться восстание машин, 9-е термидора металлургии.

УЛЬШТЕЙН

Никто не бегает за ними на телеграф: вести приходят сами. Дикие ласточки — перед самым столом редактора они ударяются об пол и ложатся перед ним уже готовыми, переведенными на человеческий язык, отпечатанными машинкой на узкой ленте бумаги. Десять небольших аппаратов непрерывно принимают и выстукивают. Темный монастырь с сотней келий. Сто телефонных камер. В каждой по отшельнику, который диким голосом взывает к богу сенсаций.

— Здесь Берлин, Б. Ц. Здесь Ульштейн. Халло! Громче!

Как безработные на бульварной скамейке, дремлют курьеры. Как пассажиры, ожидающие поезда, который приходит всегда, уходит ежеминутно, не стоит никогда. Поезд новостей, опоясывающий мир. Многие ждут со вчерашнего вечера. Они уже приняли экстренные из Америки, экспресс Антанты, набитый капризными биржевыми бюллетенями, этими очаровательными авантюристками, пытающимися проскользнуть через границу незаметно, с легоньким багажом из фальшивых новостей, с этой драгоценной контрабандой, за которой охотятся газетчики.

О, дом Ульштейн достаточно велик, чтобы разместить всех прибывающих. 4 500 комнат, 6 этажей, лестницы, как рукава элеваторов, десяток собственных типографий — лучшие в Германии мельницы, перемалывающие ежедневный урожай лжи и правды, шесть газет, которые пекут хлеб насущный для многомиллионного Берлина, для

всех слоев его населеиия, всех полов и возрастов, для целой Германии и каждого из ее городов в отдельиости. Кельн не ест того, что Берлин; любимое кушаиье Дрездеиа ие найдет потребителя во Фраикфурте. Портовику Гамбургу — киаквюрсте с портером, Дрездену — айсбейн с капустой, а южанам — что-нибудь легкое, питательиое, изящное.

Никто не ходит пешком в доме Ульштейн. Ползать по лестиицам могут бездельиики. Здесь люди летают лифтом. Через все этажи бегут его открытые клетки. Дверь уиичтожеиа, портье отошел к ихтиозаврам. Ои иигде ие остаиавливается, этот лифт, иикого ие ждет. Люди иа ходу вскакивают на одиу из площадок, на ходу с нее сбрасываются. Корректуры, рукописи, телеграммы прошли курс практической гимиастики. Передовицы, тяжелые подвалы, грузные политические обозрения с животом и одышкой, которые не зиали, что такое время, стали акробатами, циркачами. Оии бегают из здаиия в здание через двор по проволоке, оии летают вверх и вииз с головокружительиой быстротой, едва уцепившись за проволочную коробку электрического почтальоиа. С тех пор как старый Ульштейн выстроил на Кохштрассе свою первую буду — малеикую типографию, — его дело непрерывио растет. Достигиув известной степеии совершеиства, оио остаиавливается и пожирает свое прежиее тело. В тот деиь, когда всегда обиовляющий себя дух производства ие посмеет или ие сможет сам себя ударить дубиной по черепу и переварить устаревшие формы организации, техиики и торгового аппарата в своем собствеииом желудке, — ои пойдет на завтрак более гибкому и сильному коикуреиту. Старая «Берлииер Моргеипост»: она тоже выросла иа кладбище, ио не собствеииых устарелых форм, а всей социал-демократической печати, уничтожеиной Бисмарком. Ульштейи сумел тогда бросить иа опустелый газетиый рынок, в пробитую закоиом о социалистах брешь, сотии тысяч экземпляров своего умеренного уличиого листка. Это была газета, рассчитаиная на широчайшие массы мелкой буржуазии.

Сколько раз с тех пор менялись методы работы! От ручного иабора — к механическому, от рисуика — к фотографии, от бескровной, бесцветной, смазаиной фотографии — опять к художествеиному монтажу. После каждой техиической революции — короткая болезнь

всего предприятия, как после прививки. Затем бешеный скачок вперед, добыча: сотни тысяч новых подписчиков, новые строения, мастерские, служащие, ломовики, грузовики, телефоны. За последние послевоенные годы в теле газетного завода опять успел образоваться аппендицит: это — старые машины для литья матриц, английские машины, работающие на газе, которые приходится держать полными жидкого олова, иначе они вообще не годятся. Вместо них сейчас введены немецкие: жрут простой уголь, могут быть долиты, как угодно, — с одного картонного отлива дают 30 металлических.

Завод не знает благодарности, не помнит прежних заслуг. Жизнь ушла из старого отделения. Оно пусто, холодно, в его мертвых стеклах отражается ленивый огонь, зажженный в топке соперниц. Как стук тарелок и ножей, долетает до него, выгнанного, веселый лязг матриц и напильников, обчищающих их горячие края.

Когда-то делали одну газету и боялись выпустить даже вечернюю, чтобы не уменьшить ее тираж. Сегодня Ульштейн, как ловкая хозяйка, посылает на улицу десятки газет, различно одетых, говорящих на разных языках, попадающих на тротуар в разное время и друг другу не мешающих. Как проститутки, они разделили между собой улицу и не ссорятся. У каждой свой потребитель. Утром — «Фоссише Цейтунг», рассчитанная на биржу и банки. Она пристает к дельцам, когда они стоят у Ашингера с бутербродом за щекой, с кружкой пива в руках. Она садится с ними в авто, успевает сделать свое дело в пять минут между рестораном и биржей, вокзалом и конторой. Это — умная, осторожная и очень осведомленная газета, руководимая одним из лучших немецких журналистов. Каждый спекулянт за свои 15 пфеннигов надеется выспросить у нее что-нибудь для себя полезное.

Пока мужья в городе, к их женам стучится «Практическая хозяйка» Ульштейна, «Дама» или «Вестник дешевых покупок». Это — шедевр техники. Для того чтобы эта коммивояжерка могла бегать из дома в дом, разжигая аппетиты, нашептывая хозяйке о самом дешевом кофейнике, о капоте за 60 пфеннигов, о двуспальной кровати и средстве от беременности, — типографская техника сделала настоящее чудо, человеческий гений поднялся на новую ступень. Машина сразу, одним взмахом,

печатает не только 96 страниц текста и обложку, но разрезает, складывает и переворачивает лист к листу, выбрасывая на прилавок совершенно готовый номер. В течение часа таким образом изготовляется 3500 экземпляров. Что сказать об отделе вышивок, об узорах для ночных колпаков, которыми «Хозяйка» бесплатно снабжает своих подписчиц? Прежде чем в мозгу женщины, инстинктивно откладывающей деньги на будущую покупку, как птица собирает солому для гнезда, успеет что-нибудь оформиться, ее мечты уже предугаданы и вырезаны из папиросной бумаги закройщицами Ульштейна. Души будущих пальто, души блузок и панталон кивают покупательнице из тумана будущего, из серебристого небытия свежих клише.

Есть лошади, которые решают задачи, собаки, знающие географию, но какой неслыханной интеллигентности может достигнуть машина, — этого никто не знает. Олимпия Гофмана пела романсы и приседала — пустяки. У Ульштейна рабочий сидит перед станком и пишет рисунок на машинке. Он нажал какую-нибудь букву. Она немедленно срывается с места и ложится в начале строки. Это первый крестик. Рядом с ним второй, третий, затем вся линейка в течение двух секунд отливается из олова и соскакивает на стол. Что делают буквы после того, как слово, в состав которого они входили, больше не нужно? Они демобилизуются. Они сами уходят по домам. Машина опускает длинную свою черную руку, хватает использованный набор и ставит его на особую дорожку, по которой каждая буква бежит, пока не провалится, как ключ в свою замочную скважину.

В полдень на улицы выходит младшая дочь старого Ульштейна. Это — газета-ящерица, газета-муха, самая быстрая, навязчивая и доступная из своих сестер. Каждый ее может иметь почти даром, налету. У нее нет своего мнения, нет своего голоса. Это — лужица, в которой отражается весь свет. Она в две минуты языком, который каждому понятен, в самой простой, короткой и грубой форме перескажет то, что сегодня говорит и думает большая пресса. Не жуй эти известия: они уже пережеваны, смочены слюной, совершенно приготовлены Бецеткой. Одно глотательное движение, — и ты информирован. Человек, которому некогда думать и самому собирать свои сведения, не может жить без этого послед-

него посредника, самого низкого и самого полезного, без этого эха больших городов, летучего граммофона улицы. Она рождается из сточной канавы всех газет, она живет полчаса. Ее выхода ждут с жадностью. Миллионы людей смотрят на часы, ожидая свидания с Бецеткой. Но никого так быстро не забывают, никого с таким пренебрежением не оставляют на сиденьях автобусов, на столиках кафе, на полу, под ногами. Каждый день из уличной пены снова выходит эта королева объедков, маленькая тварь с миллионом потребителей.

12 ч. 10 м. На бирже вывешен первый бюллетень. 12 ч. 12 м. Последняя телеграмма принята в наборной. 12 ч. 15 м. редакция прекращает прием материала. 12 ч. 16 м. ротационная машина надевает свой панцирь из блестящих матриц. 12 ч. 17 м. дежурный инженер включает ток. Величайшие ротационные машины континента начинают свою утреннюю работу.

Страницы льются, как вода на мельничное колесо. Слово не больше, чем микроб, в их потоке. Первые готовые, сложенные номера выползают наружу. И вот они уже бегут в мир мелкими шагами, с дробным стуком пулеметов. Это утренняя атака, это перекрестный огонь печати, стрельба без промаха и осечки. Каждый листок кем-нибудь будет прочитан. Всякий заряд в кого-нибудь попадет. Гул наступления стоит над стенами. Они дымятся, как водопады, как края горы во время извержения. Бумага, белый кит на вертеле, медленно вращается в огне этой скорости. Свертки ее покрывают весь пол, гигантские коконы лжи, из которых вылетают миллионы бабочек-однодневок.

Фабрика, как крепость. Ее глубокие дворы похожи на тюремные. Она отделена от города горами гранита. Крепость на случай осады должна иметь запас воды и хлеба. Ульштейн имеет независимый от города источник энергии, который в течение недели может прокормить электричеством его осажденные машины. Забастовка, восстание. Бронированные двери закрываются, и через три минуты после тревожного сигнала станция посылает к машинам тысячи лошадиных сил своих электрических штрейкбрехеров. Никто из служащих не войдет и не выйдет незамеченным из ворот. Швейцары дрессированы на людей и на вещи. Но в 12 ч. 18 м. то есть через 8 минут после приема последней экстренной телеграммы, все

плотины подымаются, все двери настежь. Газетный завод изливается на улицу. Трубы трансформаторов блюют тюками прямо на грузовики. Легкие мотоциклы трясутся на месте, ожидая очереди. Велосипедисты держат открытыми свои сумки. Курьеры, которые едут вместе с газетой на вокзал и в провинцию, бросают неоконченный завтрак. В субботу грузят 4000 центнеров, 20 почтовых поездов одной обеденной газетой. Считая другие издания, — 75 почтовых вагонов в $^3/_4$ часа.

Газета опережает время. Газета обгоняет часовую стрелку. Человек спит половину своей жизни. Сам у себя крадет ночные часы. Взяв последний барьер скорости, газета натыкается на непреодолимое препятствие: она не может одолеть баррикады из храпящих ночных колпаков. Но в городах, на асфальте, блестящем, как лед, все относительно. Пусть заря наденет пижаму вместо своих вышедших из моды утренних облаков: Европа отныне — как Гренландия, как Ледовитый океан. Непрерывен ее электрический день. В половине девятого перед Ашингером (а Ашингер везде) разносчики газет идут делать утро. Провинциальное издание «Фоссише Цейтунг» без последних телеграмм, которые печатают и рассылают ночью, в Берлине поступает в продажу в 8 часов 40 минут вечера. Кусок завтра, кусок будущего, с результатом футбольных состязаний, с фамилиями попавших под автомобиль зевак и прениями английской палаты, можно купить за 15 пфеннигов.

Ульштейн — одна из великих держав, которые взимают пошлину со всякой пошлости, ввозимой в человеческое сознание. Его дом — это пристань, пограничный пункт, где разгружаются океанские пароходы фраз, прилегающих к сознанию, как резиновый каблук к стоптанному сапогу острот, плоских, как ступня, вонючих анекдотов, свежих политических лозунгов. Шедевр в этом роде, нечто ни с чем не сравнимое, — это, конечно, «Берлинская иллюстрированная газета», самый распространенный журнал современной Германии. 1 600 000 читателей. Продолжает расти. Через полгода, вероятно, дойдет до 2 миллионов. Фундамент, на котором сегодня стоит Ульштейн, — агитпроп пошлости. По существу это — ноль, ничего, минус. 32 страницы слабительной легкости. Дырка, просверленная в будуар знаменитой артистки, щелка, через которую всякий может под-

смотреть, как купаются красивые женщины от Шпицбергена до мыса Доброй Надежды. Обрывок романа такой выпуклости и быстроты, чтобы его можно было прочесть в уборной. Рекламы. Свадьба принца. Еще реклама. Десять страниц рекламы.

«Иллюстрированная» никогда не была врагом Советской России. Может быть, ни от кого другого немецкие рабочие не узнали так много о настоящем реальном лице СССР, как от нее. Она дает все, что ново, интересно, неожиданно. Россия — сенсация. «Иллюстрированная» дает Россию. Ее улицы, демонстрации, толпу, вождей, мостовые, армию и детдома.

Практический, трезвый торговец охотнее верит в прочность правительства, которое уже существует, чем в такое, которое пока только в голове обитателей Курфюрстендам и Тауенциенштрассе. Если большевики продержатся еще пять лет, Ульштейн будет относиться к белым эмигрантам совершенно так же, как его прежнее правительство относилось к русским студентам после 1905 года: всякий подкапывающийся под законную власть, хотя бы под советскую, есть революционер, бомбист и мошенник. Но пока, страхуя себя на все стороны, в общем дружественный СССР, Ульштейн в одном из укромных уголков своего дома мирно печатает белогвардейский «Руль».

Дружба дружбой, но когда вся пресса единодушно поднимает крик против большевиков, Ульштейн не может молчать. Давая целый год дружественную нам информацию, он вдруг ухает изо всех своих тяжелых орудий, и его слово, повторенное 1 600 000 раз, разносится громче, чем заповеди Моисея со старой еврейской горы. «Новое преступление большевистского правосудия». «Три немецких студента, приговоренные к смертной казни». И не «три студента», а трижды миллион шестьсот тысяч «Киндерманов», трижды миллион шестьсот тысяч «большевистских убийц». Это уже не минус, а социальный двигатель такой силы и грузоподъемности, каких мало в Европе.

«Иллюстрированная» дает свои короткие, въедчивые, клейкие политические формулы не столбиками и кривыми статистики, — она татуирует их на бархатной коже шансонетной певицы, на белье знаменитой балерины, на флаконе духов, уничтожающих дурной запах подмышек,

Вот где выжжена, вышита, написана несмываемыми буквами «Война большевизму», «Война мировой революции», «Война убийцам невинного, белокурого, близорукого Киндермана с его походной аптечкой». Какой бы лозунг ни бросил Ульштейн — за или против России, за или против китайской революции, за пакт или против пакта, — футбольные мячи летят с этими лозунгами к небу. Моторные лодки и яхты Бецет бороздят моря, скаковые лошади скачут через колючие барьеры, фаворит Бецет разбивает нос знаменитому американскому боксеру, и мотоцикл Бецет ставит во имя любого политического пароля новый рекорд скорости. Собачья выставка, теннис, плавание, приз за лучшего племенного быка. Европа с величайшим вниманием следит за этими вещами. Каждая настоящая газета ежедневно дает страницу спорта. Его чемпионы гораздо более известны, чем самые крупные политические деятели. Ульштейн был едва ли не первым, открывшим это золотое дно. Он завел у себя специальный отдел, когда у других пожарный репортер еще давал отчеты о гонках и состязаниях. Нанял особого редактора, разослал полпредов по всем тотализаторам Европы, ко всем знаменитым конюшням приставил специальных корреспондентов.

В искусстве Ульштейн ничего не понимает. Для этих тонкостей, для редакции журнала «Квершнитт» — эстетического журнала, выходящего на веленевой бумаге для нескольких сот подписчиков, — он нанимает себе барина, знатока старого фарфора и всех табакерок XVIII века, какие только есть на свете. Этот журнал — лилия, которая как бы совершенно не связана с кучей навоза, из которого растут такие вульгарные злаки, как Бецет и «Иллюстрированная». Она плавает на поверхности ульштейновских миллионов, благоухает о негрской пластике, о блеске ботфортов старого Фридриха на картинах Менцеля. Дает очень художественные и очень голые, на знатока рассчитанные картинки. Когда старик Ульштейн видит все эти утонченности, то фыркает и ругается. Но прочим редакторам, изготовителям страшной макулатуры, строго запрещено вмешиваться в дела эстетов. Пусть себе Аполлоны роятся, они не приносят доходов, но зато привлекают в дом людей состоятельных и со вкусом. В прихожей хорошо иметь классическую Венеру.

Зато при изготовлении таких товаров, как «Веселый Фридолин», старому Ульштейну не нужны никакие помощники. Здесь он сам мастер и специалист. Никто лучше его не знает, сколько сала, маргарина и сахара нужно всыпать в эти маленькие 10-пфенниговые книжечки, с собакой-велосипедистом на обложке, специально предназначенные для загрязнения, засорения и опошления детской фантазии. Они расходятся в количестве 350 000 экземпляров; 700 000 в месяц. Это смесь Пинкертона, цирка, хроники преступлений и слащавости. Ее герой — полицейская собака с душой читателя воскресных приложений «Фоссише Цейтунг». Кстати, об этих романах.

До войны книжечка в 250 страниц, со свадьбой или благородным самоубийством стоила марку. Сегодня две. Никогда никакой «бессмертный» не будет читаем, как эти анонимы. Что Толстой, что Гете по сравнению с г-ном Вебером, написавшим «Да, да, любовь». Старый добрый Ульштейн поступает с литературой, как верблюд с фиником. Своего читателя он заставляет отрыгнуть и пережевать снова. Все романы Ульштейна немедленно по выходе инсценируются крупнейшими кинофирмами Германии. Продавщице, учительнице, почтовому служащему необходима вера в счастье. Мелкий буржуа должен знать, что без кровопролития, без насилия, без борьбы честный человек может достигнуть всего — виллы, автомобиля, собственной лавки. Прочесть — это мало. Нужно увидеть. И Ульштейн показывает. Каждый может пойти и убедиться, как честная Алиса аккуратностью, бухгалтерией и немного хорошенькой мордочкой пробивает себе дорогу в мире финансистов. На ней женится Стиннес. Только Стиннес молодой и такой же красивый, как приказчик конфекционного отделения у Вертхейма. Старые люди, проработав сто лет, умирают богачами. Вот их похоронные процессии. Разве не стоит быть послушным целую жизнь, чтобы ехать «спать» с такими помпонами, с такими белыми цилиндрами? Не говоря уже о рабочих и мелких служащих, которые все сплошь выигрывают 200 тысяч и женятся на хозяйских дочерях. Зачем революция? К чему политика? Миллионы европейских рабочих живут мечтой о России. Миллионы рабочих СПД втайне держатся надеждой на нее. Рабочие посылают своих делегатов в Россию. Мелкий буржуа,

читатель Ульштейна, идет в кино увидеть свою обетованную землю.

Конечно, Ульштейн не один. С ним конкурируют и, пожалуй, его перерастают такие газетные фабриканты, как бывший Шерль (Scherl Verlag), создавший, собственно в Германии, тип «беспартийной» газеты, теперь находящейся в руках Хугенберга, прежнего директора фирмы Крупп. Захватив то, что принадлежало королю газет, Хугенберг превратил эти старинные «беспартийные» газеты, к которым привык всякий средний немецкий обыватель, в рупор самой активной и озлобленной контрреволюции. За ними идут Моссе и много других, все больше и больше монополизирующих газетный и книжный рынок. Ульштейнов много...

Нельзя переоценить услуг, которые эти фабрики буржуазной идеологии оказали правительству во время войны! Нет поры в общественном организме, нет клетки в его мозгу, через которую бы они не проникли, для которой не выработали бы специального яда. Не один гвоздь вбили Ульштейн, Моссе и Хугенберг в великого деревянного Гинденбурга, стоявшего тогда возле парламента, против столба победы. Армии людей дали себя зарезать под кокаином их литературы. И никогда без помощи газетных трестов не удалось бы правительству выкачать из масс мелкой буржуазии все те миллионы, которые оно выкачало на военный заем.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ НИЩЕТЫ

КАЗАРМА И ЖЕНА САПОЖНИКА

Безработному в Германии не грозит голодная смерть. Пенсии, которую он получает от государства, как здесь говорят, слишком мало, чтобы жить, и слишком много, чтобы умереть. Безработный продолжает существовать на грани величайшей нищеты. У него нет ничего, кроме голого куска хлеба. Семейный человек не в силах заплатить из этого пособия за квартиру, как бы мала она ни была. Выброшенный с завода, он механически вылетает из дома, квартала, предместья, в котором жил многие годы и где у коммуниста могли сохраниться опасные связи. Тогда город отводит ему помещение где-нибудь на окраине, в пустой, заброшенной казарме, в полковой конюшне, переделанной под общежитие, в пустующих артиллерийских парках. Это — особые концентрационные лагери нищеты, унылые каменные сараи, которые империя строила для солдатчины, а республика теперь заселяет неблагонадежными рабочими.

Трава не растет на этих полях, вытоптанных десятилетиями прусской муштры. У часовых будок оборванные дети играют в лужах сточной воды.

Огромные корпуса, выплюнувшие целые армии на поля битв, стоят пустые, сумрачные, поруганные. Какой желчью должны обливаться сердца прежних офицеров, перекочевавших в соседнюю казарму рейхсвера, когда они видят, как тележка рабочего, нагруженная нечистоплотным скарбом, дребезжа тащится через Марсово поле по жаре к этой безобразной, безрадостной пустыне.

Жены бедняков привязывают веревки с бельем к старым орлам ворот, сушат свои лохмотья на священных подоконниках бывших офицерских квартир. Вытащив из разрушенной казармы старую солдатскую печь, рыжий хромой сапожник, вот уже 18 месяцев безработный «за политику», перепиливает ее пополам на солнышке, приготовляясь к тяжелой зиме.

Напрасны все попытки очеловечить, отогреть эти мертвые здания. Вынутые из своей привычной тесноты вещи тяжело стоят во фронт, вытянувшись вдоль нагих стен. Невозможно этими обломками кораблекрушения наполнить сараи, рассчитанные на 40 солдат. Пустота их проглатывает. Кривоногий босой ребенок шлепает по грязному паркету, часть которого уже пошла на топливо в прошлом году, когда в огромных окнах, всегда открытых, как глаза без век, недоставало половины стекол. Второй умер.

Две кровати в ряд, где спят отец с матерью и мальчик с 14-летней сестрой. Безрадостный пес сидит посередине и зевает.

Из страха, из желания как-нибудь задобрить враждебный дом, стены которого громко и без выражения повторяют шаг и слово, жена сапожника-коммуниста каждый день моет весь бесконечный коридор. Она делает это, чтобы примириться; дает казарме аванс человеческого тепла, которое эти стены принимают равнодушно, как фельдфебель наивную взятку новобранца.

Но стоит фрау Шумахер поднять голову, чтобы лишиться последней надежды. Со стен старая казарма с мертвым лицом повторяет единственное слово, которое ей еще осталось: Lerne leiden ohne zu klagen (Учись страдать без ропота), или: Ordnung regiert die Welt (Порядок управляет миром).

И куда бы ни повернулась бедная фрау со своим ведром и половой тряпкой, на каждом шагу казарменная добродетель встречает ее кулаком по голове.

Получать семь марок (4 руб. 50 коп.) в неделю на четверых, жить на этом острове мертвых, знать, что в тесноте девочка по вечерам долго не засыпает, болезненно прислушиваясь к каждому движению, к каждому вздоху родителей, — это еще ничего. Но вечно слышать этот голос прошлого, который оловянным, косным языком лепечет об отваге и послушании, о желтых уланских

мундирах и лихих гусарах, давно сгнивших где-нибудь на Марне или в русских снегах, — немыслимо.

Может быть, этой зимой не станет еще одного рахитичного мальчика. Может быть, уйдет сам сапожник, потому что трудно в дожди, в мокрые холода тащиться к бирже на ускользающих костылях. А эти призраки все будут жить, и другую пролетарскую семью, которая придет погибать в эту незапирающуюся тюрьму, где двери сорваны с петель, ветер с поля метет в коридорах осыпающийся щебень и из которой так же нет выхода, как и из всякой другой тюрьмы, — и ее встретят этими фредерикусами, этим барабанным боем из мертвых костей.

«Furchtlos und treu für Gott, Kaiser und Vaterland».

(«Без страха, с верностью за бога, императора и отечество».)

Только одно окно светится в темноте неосвещенных корпусов, — один золотой зуб в большой мертвой пасти. И, когда темно и особенно холодно, орлы, которыми расписан потолок, пробираются на черный двор и среди мусора раскапывают объедки, которых не успели склевать куры сапожника.

Они окунают в грязные кучи свои породистые головы, украшенные лысым пухом старой империи.

ФРАУ ФРИЦКЕ

В одних чулках, чтобы не греметь по этим коридорам, бегает мадам Фрицке. Это — Нинон де Ланкло пустырей, на лице которой любовный опыт сложен большими серыми мешками.

Воздух этого дома вредит ее жизни: в нем растворяется сетка для волос, и сережки, и пудра «Казана». В трезвом свете ужасно просвечивают через рваную юбку дудки длинных, узких панталон.

Во время войны мадам Фрицке овдовела. Каждый продает, что имеет, — сотни рук с тех пор дергали ее груди, как дергают ручку водопровода в уборной, пока они не стали длинными и как будто всегда мокрыми. Кажется, если разрезать шнур воротника, они упадут на пол и растекутся, как две большие лужи. Таким образом фрау Фрицке в годы войны и инфляции спасла от голодной смерти своих детей. Этих детей государство,

отнявшее у них отца и истратившее на субсидии Круппу и Стиннесу их сиротскую пенсию, решило теперь отнять у безнравственной матери. Через несколько дней придет полицейский и отведет в католический приют упрямого толстого мальчика с низким лбом и 12-летнюю девочку-идиотку, с которой постоянно случаются припадки.

Чтобы спасти семью, Август, последний друг фрау Фрицке, женился на этой развалине любви. Они торжественно сходили в мэрию, она по пыли, как на лыжах, в своих узких лакированных туфлях, он в бумажном воротничке, пахнущий бензином, важный, как судьба. Эта героическая мера, о которой говорил весь лагерь, не помогла.

Фрицке собрала рекомендации от прежних хозяев, из которых явствует, что она не только была проституткой, но и поденщицей, что если бы полиция нравственности собрала всю грязь, вонь, копоть и паутину, которую она на своей спине вывезла из чужих квартир, то получилась бы пирамида в честь ее презренного труда.

Но заседатели неумолимы. Фрау Фрицке плачет. Вокруг ее глаз такие круги, точно их кто нарисовал зонтиком на песке.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

Если ты попал в казарму, сядь на дно и не шевелись. Фрау Фрицке может носить платья креп-жоржет и подкладывать особые резиновые штучки на свои мозоли, чтобы они не распирали башмаков, ибо это ее профессия.

Жена сапожника имеет право греть на общей плите завивальные щипцы, так что трещат ее пыльные волосы вместе с гнидами, потому что она вышла за сапожника (и это знают все), когда он уже был безногим, по великой любви. Но никто, кроме них, не смей подымать гребешка. Тут нечего делать вид и внушать людям ложные понятия о своих якобы доходах. Каждый живет в полной голизне, как улитка, раздавленная на дороге, слабо шевеля рожками, на конце которых неунывающие глаза. И если какой-нибудь тип, вроде господина Босса, стыдится своих ломбардных квитанций, никого не пускает в комнату, чтобы не знали про его перину без наволочек и красные подушки, из которых сыплется перо (и это знают все), то это жеманство оскорбительно.

В этом доме, как в раю, как на погосте, мещанский стыд остается за воротами, которые огненным мечом охраняет ангел нищеты. Если кто-нибудь пытается стыдиться, он этим беспокоит других, и они тоже должны тратить свои силы на фиговые листки из вранья, никого не способного обмануть. Дом, в свою очередь, презирает Босса вместе с его воротничком на голое тело, медалью на животе и голосом, как будто он сегодня обедал.

Но если бы кто-нибудь знал, сколько жгучего унижения и горечи скопилось именно в его бывшей фельдфебельской квартире! Если кто-нибудь спит на гвоздях и седеет от горячего пепла, то именно Босс, тридцать четыре года проработавший на пороховом заводе военного ведомства.

От обыкновенных людей его всю жизнь отделяла клятва. Ни в профсоюз, ни в партию, ни в рабочий кабачок люди, давшие этот солдатский обет молчания, не входили. Даже чтение газет какого бы то ни было направления считалось неприличным и подозрительным за пороховой заставой. О чем офицеры генеральных штабов молчали за большие деньги, за высокие чины, шлемы с перьями и полочки орденов на груди, о том рабочие порохового и орудийного заводов молчали даром, счастливые оказанным им доверием. Из простых наемных рабочих оно как бы превращало их в сообщников правительства. Сам император, так сказать, был в долгу у оружейников за их скромность и бескорыстие. Они любили династию, как бедняки, у которых миллионер соизволил взять в долг их трудовые гроши. И когда пришла война, золото начало переплавляться в чугун и порох, и правительство действительно оказало г-ну Боссу великую честь и протянуло руку за его сберегательной книжкой. Когда сама тайная советница, жена директора, с дочерьми и слугой посетила его квартиру, чтобы предложить старому рабочему несколько облигаций военного займа, — с каким трепетом и самоотвержением бросил Босс все свои сбережения в эту пропасть!

Десятипфенниговые монеты высохли на лету, как роса. Марки превратились в дым, прежде чем Босс успел вытереть слезы от умиления. А золотые — их было 132 штуки, — никто не слышал даже легкого звука, с которым они упали на самое дно инфляции. Но Босс был счастлив.

С тех пор прошло пять, нет, больше, целых семь лет.

Мир облился кровью, сделал судорожную попытку освободиться и, наконец, затянулся тонкой коркой стабилизации с зияющими черными полыньями голода и безработицы.

Когда на тележку нагрузили вертико (шкафик), кресло-качалку и часы, полученные от завода за двадцатипятилетнюю беспорочную службу, Босс еще верил в бога и справедливость.

Когда жена вернулась домой из ломбарда с квитанцией, вместо серебряных именных часов с императорским вензелем, он все еще крепился и за столом не позволял говорить о старшем сыне, убитом на войне.

Но когда все жертвы уже были принесены, и Боссом, все еще преданным и терпеливым, начала овладевать великая усталость, которая вдруг опускается на рабочего, когда ему стукнет шестьдесят, в глазах померкло, ослабели и запрыгали руки, слюна, отравленная эфиром и алкоголем, начала выходить желтыми вонючими плевками, — тогда Босс получил расчет. Два биллиона фальшивых денег и комнату в мертвой казарме. Вдруг оказалось, что он тоже рабочий. Какой страх! Какое одиночество! Оборванный, раздавленный колесами слепого станка, Босс-песчинка, Босс-обломок вдруг свалился в великое море своего класса, на самое дно его, где нет ни света, ни надежды.

Наверху ходили темные волны, год девятнадцатый, год двадцать первый. Босс лежал не двигаясь и только видел, как от времени до времени шли ко дну и ложились рядом с ним разбитые в боях корабли революции. С флагом на сломанной мачте, с мертвыми людьми на избитой палубе. Лучшие сыны человечества, его буревестники, безумно-храбрые. Роза Люксембург, Карл Либкнехт.

Тогда, в долгие часы тоскливого безделия, Босс доставал из-под кровати ящик, доверху набитый обесцененными деньгами, и просиживал над ними вечера и просиживал дни.

Обои в комнате серые, с побледневшими от времени красными крапинками, — как будто здесь бил фонтан человеческой жизни, обрызгал их и иссяк.

На ногах Босса открылись вены: его усталая кровь запросилась назад в землю.

Высокий, в пиджаке кофейного цвета, с медалью на часах, опираясь на костыль, ходит он встречать свою жену, которая с седой головою поступила работницей на табачную фабрику. Все в предместье знают Минну, — такого лица больше нет. Это белая-белая маска, такой красоты, что хочется встать перед ней и поклониться в землю. В молодости Босс был скрипуч, повелителен, настойчив и считал своим долгом ее мучить для семейного равновесия. После работы это лицо с маленькими капельками пота на лбу светится, как гипс.

Через стены подвалов и чердаков, тюрем и фабрик сочится и течет, собирая капли в ручьи, ручьи в реки и моря, бесшумная, тихая река трудовой солидарности. С бесконечным терпением трогает она камни и решетки, подмывает, долбит, уносит песчинку за песчинкой, чтобы в нужный день и час выйти на поверхность потоком возмущения.

Такой день наступил и для Босса. Сосед его, сапожник, поднялся на первый этаж, отдохнул, взобрался на второй, постучал у дверей и открыл их. Он пришел предложить Боссу «Арбейтер Цейтунг» (коммунистическую газету).

В квартире сделалась большая тишина. Белая Минна побелела еще больше и спряталась в кухне. Сапожник сел. Газета стоила двадцать пфеннигов. Чуть не задавившись галстуком, Босс отдал за нее двадцать и швырнул на стол еще серую колючую штуку с колечком на одном конце.

— Возьми это г.. но! За всю жизнь я больше не заработал.

Железный крест.

«Für Kriegshilfsdienst». («За работу на оборону».)

WR и корона.

ТУФЛИ

Это удобные теплые туфли из верблюжьей шерсти.

Благодаря клетчатому виду все их принимают за иностранцев, скорее всего за англичан, и возят с собой в международном вагоне. Четыре марки пятьдесят пфеннигов за пару.

На самом деле комфортабельные англосаксы делаются в городе Ханау особыми швеями туфель, притом на дому. И высокомерны туфли оттого, что боятся от-

крыть рот и дохнуть, чтобы не выдать своего жалкого происхождения. Они воняют нищетой.

Госпожа Кремер за сто штук получает четыре марки. В час она заканчивает пять. Дочь ее, только второй год занятая этой работой, шьет семь туфель в 55 минут. Учиться сорок лет, чтобы быть разбитой механическим перевесом сил. Как извозчичья лошадь. Сколько бы лет она ни стучала копытами по мостовой — искусство ее от этого не увеличится. Втыкай иглу с молниеносной быстротой, прижав ее специальной мозолью, все равно — ты уже старая кляча. Любой деревенский жеребенок тебя обскачет только потому, что моложе на двадцать лет.

Величайшее напряжение сил не может увеличить заработной платы. Чем скорее бежит игла, тем чаще рвется дешевая слабая нить, на которой хозяин тоже зарабатывает. Все обсчитано и обмерено так скудно, что швея не только не скопит ни одного пфеннига, но еще от себя доложит.

Очень соблазнительно шить туфли на ватной подкладке. Молодая работница, не зна ремесла, легко попадает в эту ловушку. За каждую теплую пару фабрикант платит не десять, а целых пятнадцать пфеннигов. Но госпожу Кремер на подобную приманку не поймаешь. Пусть другие обжигаются· она-то знает, что все дело в иголках. Проткнуть двойную подошву труднее, чем обыкновенную. А иголок на тот и другой сорт выдается совершенно одинаковое количество. Три на 100. Как будто она не знает, что с ватой самая искусная швея сломает по крайней мере десять штук. Это еще не все. Бесконечные хитрости и уловки, при помощи которых из человека выдавливается последняя капля сил. Легче корабль обвести вокруг мыса Доброй Надежды, чем пухлую подошву прострочить так, чтобы не было видно ни одного стежка.

Подсчитайте, сколько простых сошьет работница в час? — Пять. А с подкладкой — всего три. Лишний пфенниг уйдет на иголки, а за те же шестьдесят минут хозяин дает на десять пфеннигов меньше. Недаром фрау Кремер со своей кривой спиной, в черных лохмотьях и клочком ваты в ухе, из которого течет сукровица, похожа на статую печали и недоверия. Если бы сегодня сама жизнь прошла мимо нее с протянутыми руками, она бы

только пожевала губами и подальше спрятала запас готовых туфель.

Эта комната с буфетом без посуды, с багровыми перинами, из которых лезет пух, с неубранным ночным горшком, кухней, где потолок лупится мокрыми струпьями, десять лет не крашенный и не чиненный, без воды и без нужника, и сама фрау Кремер, мышь, попавшая в муравейник и наполовину уже обглоданная, — имеют одно только средство защиты: полное недоверие. Они голосуют против всего. Фрау Кремер говорит: СПД — мерзавцы, каждое их слово — ложь, коммунисты — трусы. Прозевали 23-й год. Какое ей дело, готова или не готова была партия к бою, и сколько месяцев или лет мелочной и скучной работы ей нужно еще, чтобы действительно повести пролетариат к победе. Когда это еще будет!

Ей нужна помощь сейчас, сию минуту, или вовсе уже не нужна, потому что силы фрау Кремер приходят к концу, и она «падает на морду».

Когда мышь пугается большим смертным испугом, она начинает потеть. Она становится вся мокрая от страху. Где же ждать революции фрау Кремер, покрытой испариной последнего утомления.

— Я не могу записаться в профсоюз. В союзе запрещено работать по такому низкому тарифу. Они сейчас же потребуют, чтобы я бросила работу.

Но в доме фрау Кремер большой рабочий праздник: ее единственный сын, пятнадцатилетний мальчик, занятый на фабрике сигарных ящиков, в первый раз в жизни бастует. Забастовка началась три недели тому назад, в ней участвует 135 человек. Без надежды на успех — штрейкбрехеры толпами сбегаются из соседних деревень.

Старуха молчит. Ни слова упрека, ни одной жалобы. Чтобы не изменить себе, она делает вид, что ничего не произошло, как будто не замечает его присутствия. Ведь она не верит ни в забастовки, ни в социализм, ни даже в оспу. Все, что исходит от господ — надувательство. Целый год прятала она внука от городского врача. Только на днях его все-таки потащили в больницу, искололи — и вот — разве она не была права? На ручке под грязной рубахой открылись четыре язвы.

Но как фрау Кремер за столом подвигает сыну тарелку, как смотрит на его высокую мужскую спину, сло-

няющуюся по чулану! Как говорит соседям — подняв брови, насторожившись, готовая к отпору:

— Мой сын бастует.

За верность своему классу, за эту, из поколения в поколение идущую солидарность, за молодое мужество, не помнящее прошлых поражений — мертвое, старое дерево неслышно машет ему своей последней веткой.

ОН — КОММУНИСТ, ОНА — КАТОЛИЧКА

Большая часть рабочих, лишившихся заработка за политическую неблагонадежность, принадлежит не к молодому, а старшему поколению. Молодой крестьянский парень, которому дома тесно, идет на фабрику при какой угодно зарплате и рабочем дне любой длины, лишь бы добыть себе пару марок на пиво, велосипед и модный, с бедрами, воскресный костюм. Ест и пьет он у отца даром. Старшее поколение рабочих, прошедшее двадцатилетнюю школу профессиональной и революционной борьбы, несмотря на свои сравнительно высокие ставки, несмотря на положение рабочей аристократии — гораздо менее сговорчиво и не желает без боя уходить со своих последних позиций.

В результате всякого сопротивления — как бы осторожно и умеренно оно ни было — расчет. Сперва рабочий не слишком подавлен. Он имеет прекрасные аттестации за 20—25 лет, в его отрасли замечается оживление — не сегодня, так завтра где-нибудь очистится свободное место. И, кроме того, ведь жена служит приходящей прислугой в семье состоятельного человека и вполне прилично зарабатывает.

Вначале ему никто не напоминает о жестоком законе безработицы. Он сам собой вступает в силу. Тот, кто кормит семью, становится хозяином дома. Возвратясь с трудной поденщины, он хочет сесть за готовый, накрытый стол, в чистом, убранном жилище. Дети должны быть умыты и причесаны до его возвращения, их носы утерты, их школьные задачи проверены. И вот через три дня отец, захлопнув за матерью выходную дверь, смиренно надевает ее домашний передник и принимается за хозяйство. Он вытирает пыль, протирает окна суконкой, моет посуду, стирает тряпки, которыми вычистил горшки, выносит помои, споласкивает пол в кухне, при-

бирает постель, вывешивает за окно перины и, когда они прогреваются на солнце, снова с педантической аккуратностью укладывает их на место.

Мы не имеем ни малейшего представления об этом священнодействии чистоты и порядка, которое каждый день устраивает у себя жена среднего и даже беднейшего немецкого рабочего. Можно сидеть и часами смотреть, как она чистит, моет и скребет свою кухню, посуду, белье. Не то что — раз-раз, махнуть мокрой тряпкой — как у нас. Нет, под диваном, за печкой, на подоконнике, в самых далеких углах, куда никто никогда не заглядывает. Все это, скрепя сердце, должен теперь проделывать муж. И как он в хорошие дни пробовал пальцем на печи — нет ли там пылинки — и не прощал жене ни одной крупицы, ни одного упущения, так сам он теперь отвечает перед ней. Она — хозяин, прокармливающий семью. Он — подчиненный, послушный поденщик, нянька в штанах, судомойка при собственном домашнем очаге. В глубине души всякий немец считает жену своей служанкой и работу ее презирает. Шурша по углам жениной шваброй, сидя над кошелкой картофеля, приготовляя обед, супруг чувствует себя бесконечно униженным. Рабочий эти вещи понимает так же, как и всякий мелкий буржуа. Один очень хороший товарищ, безработный в течение нескольких лет, говорил мне с глубокой горечью, указывая на свои засученные по локоть рукава, щетку в одной и грязный женин сапог в другой руке.

— Вот до какого жалкого унижения доводит нас безработица. Я, мужчина, должен своей бабе чистить башмаки.

Униженный и оскорбленный в своей мужской гордости, отец пытается иными способами восстановить равновесие. В день получки, когда жена с притворной скромностью выкладывает на стол свой недельный заработок — он с утра ходит мрачный, раздражительный, больной. За обедом разражается бешеный скандал.

— Кто хозяин в доме — ты или я?

Трах кулаком по столу. Со стены снимается старая плетка. Дети ревут. Мать просит прощения. После обеда родители уходят в спальню. Он долго заставляет себя просить. Она раздевается, глядя на него влажными умоляющими глазами. Он насилует ее с ненавистью, заставляет кричать так, что слышно на лестнице, и, нако-

нец, посылает вниз за папиросами. Никогда, в дни хороших заработков, не любил он жену такой ревнивой любовью, никогда она не была так лакома до новых ласк, как теперь, когда их, по существу, приходится покупать.

Муж постепенно превращается в сутенера своей жены.

— Я скоро превращусь в ее Альфонса, — говорил маленький Камм, тот самый, что чистил сапоги. Положение его усложняется еще тем, что жена происходит из старинной крестьянской семьи, католической, с портретами императора и императрицы Августы, с воскресными обеднями и дедушкой, который состоит знаменосцем общества старых, 166-го полка, желто-синих улан. Вообще, они всегда были против этого брака. Чем он только взял ее, эту рослую, честную, красивую крестьянскую девку — малый ростом, непоседливый кузнец, менявший хозяев как перчатки. Маленький муж не может прокормить семью!..

Теперь, когда Камм попал в материальную зависимость от стариков, ее семья пробует пересмотреть всю семейную конституцию в пользу жены и детей против беспутного мужа. Да, внучка Лизхен может все лето прожить у деда и бабы, и это не будет стоить ни копейки. По субботам они посылают в город клецки, сало и гусятину, но внучка должна ходить в церковь, не пропуская ни одной обедни. Если молодые хотят пользоваться поддержкой, пусть отец скажет ребенку, что бог существует, а все безбожники попадут в ад. Ничего не поделаешь! Приходится терпеть. К счастью, у Лизхен недоверчивый ум отца и французское его плутовство. Они понимают друг друга с полуслова.

— Лизхен, — говорит Камм дочери, сажая ее на колени, — помнишь, я тебе говорил, что бога нет, что рай только глупая сказка для детей. Лизхен, смотри мне в глаза: я ошибался, я говорил тебе неправду. Он в самом деле сидит на небе и все абсолютно видит и знает.

Старики стоят возле и смотрят зятю в рот, как картежнику на руки. Маленькая кивает головой:

— Хорошо, папа.

Камм узнает свою породу. «Счастье еще, — думает он, — что ребенок холоден ко всем этим штукам, как собачий нос».

Вот уже три года, как Камм без работы. Стирает, печет хлеб, научился штопать чулки. Нет конца упрекам. От вечиых разговоров, что вот ои, иесчастиый, толкиул семейство в иищету, что партия использует людей, пока они работают на фабрике, а потом покидает их в нищете,— с ума можио сойти:

— Что ты получил за свои лишения? Они тебя даже самым маленьким чииовником в партии ие назначили! — Ото всего этого спасается в работу. Зимой ходит по деревиям, как бродячий агитатор, — подымается иа Фегельсберг, забирается в Шпессарт. Ои первый, осмелившийся выступить как коммунист в селе старых Вальдеизов, когда-то партизан великих крестьянских войн, теперь богатых мужиков, живущих замкнуто, в злой скупости, вдали от людей. Каждый из иих, по существу, богат: имеет до сорока моргов — ио ни лошади, ии работника, чтобы их обработать. Инфляция пожрала деньги, а без машии и удобреиия — как выколотить урожай из жестокой и холодиой земли? Обмаиутая в вере отцов и своей собственной, общииа прогиала из села и священиика и вербовщиков разиых партий, охотииков за голосами перед президеитскими выборами. Камм еще не приобрел ни одного сторонника среди озлоблеииых староверов, ио ему одному кланяются суровые старики в широкополых средневековых шляпах и их хозяйки в белых чепцах, похожих иа иакрахмалеииые бумажиые змеи.

В самых отдалеииых горных селах, где почти иевозможно пахать из-за частых дождей, смывающих вниз все удобрения, зиают его лицо, которому ие то 18, ие то 40 лет, сумку с газетами и ковыляющую походку.

— Этот ие любит смотреть, как прорастают бобы, — говорят о нем камеиотесы из базальтовых рудников, дикие люди, батраки, лесные воры, любимые друзья княжеских оленей, пользующихся иммуиитетом в зеленых прирейнских лесах, как будто бы оии — дипломаты. И правда, у Камма нет даже огорода, садика за городом с беседкой и грядкой салата, иа которой так охотно копошится иемецкий пролетарий после трудового дня. Пастор в Гризхейме, с которым оии схватываются по воскресеиьям после проповеди, сказал о ием однажды:

— Злой, кусающий рот, — и еще: — Малеиький ядовитый паук.

Но все горные тропинки опять приводят в долину. После долгого странствования надо идти домой. А дома ждет злая, набожная жена, красивая рослая крестьянка с всегда потупленными глазами, властная, жадная, горячая. Двадцать раз уходил Камм, чтобы не возвращаться — и двадцать раз поворачивал назад из-за Лизхен — «своей крови». Если он уйдет, кто ее охранит от попов, от бабки, от лживой материнской правды?

Самое ужасное начинается, расплата и наказание, когда дети уже спят, дверь на замке, окна закупорены, — весь мещанский дом услужливо молчит и смотрит сквозь пальцы.

Вот она уже раздевается. Железный корсет, неистово стянутые, огнеупорные, непрободаемые нагрудники. Чужая по духу, враждебная каждой его мысли, каждой книжке на его столе, счастливая его поражениями, радующаяся вместе с его врагами, — но бессовестная в кровати, как ни одна уличная девка. Куда им! Какая проститутка додумается до того, что за спущенными шторами, на законном основании, у себя дома, втихомолку выделывает добродетельная мещанка, которую муж обязан любить и удовлетворять, если уж он, прости господи, ни на что другое не годится по причине своих идиотских коммунистических идей! Кто не работает, тот не ест.

Чем сильнее схватка, — тем глубже после нее поражение. Насытившись, женщина отваливается, как налитой клещ, чтобы сейчас же, едва оправив волосы и измятые юбки, показать, что «это» ничего не меняет в их отношениях. Все остается по-старому.

— Не забудь мне напомнить, Ханс, что завтра надо купить молитвенник для Лизхен, слышишь? Ветхий и Новый завет.

1924

Уголь, железо и живые люди

БИЛИМБАЙ

(Рудник)

I

Дорога похожа на извилистый, жесткий корень, на котором «коробок», таратайка, подскакивает ежеминутно и с грохотом. Мокрая земля со своим красноватым, железистым румянцем во мху, в холодной росе, в первых незаметных фиалках. Стволы сосен, светлея вековым загаром, стоят над холмами, как рукояти огромных лопат, воткнутых искателем, и так забыты. За ними веселая синеглазая речка, как будто прошедшая мимо этих лесистых пригорков, даже не взглянув на них, отвернувшись к далеким приисковым деревням. На самом деле она потихоньку вернулась, просочилась известковыми скважинами, пробилась через глины, увлажняя их тихими подземными слезами и, наконец, толкая перед собой жидкую земляную кашу, выползла в глубокий подземный коридор-шахту. Стены поддержаны обрубками столетних деревьев, перекрыты могучим тесом. Старинный мачтовый лес продолжает расти, вбитый в эту темную подземную землю, без листьев и корней, без головы и давно без ног, — одними стволами, широкой грудью своих столетних кирас. Он не только стоит и держит землю над собой, — он наступает на обвалы, продолжает тянуться усеченной вершиной к свету, которого никогда больше не увидит. Вода ручьями стекает с подпорок, шелестит в темноте, дробится в воздухе, течет вдоль рельс, собирается, стоит, бежит дальше, опять

исчезает. И вдруг целый ряд стволов, пригвожденных к стене, падает на колени, сломанный пополам, обессиленный, в холодном поту всепроникающей воды.

В конце каждого коридора — маленькая пещера, освещенная керосиновой лампой. Она не коптит, ее дыхание чисто и не отравляет воздух. Но свет мал и слаб, смотрит, как глаз больного из-под надвинутой на лоб подушки. Еще издали в облаке пара виден желток этого тусклого огонька, слышно непрерывное, хриплое, равномерное дыхание забойщика и зубастый стук его кайла. Он стоит на колене, выбивая из-под ног упершейся стены мягкую глиняную скамейку, с которой она должна будет соскользнуть. Выше, над его головой, из стены торчат три рукояти, указывая место, где будет заложен динамитный патрон. Эти три стержня — три железных пальца, которые шахтер втиснул между зубов этой железной баррикады.

Подготовительная работа закончена. Вся мягкая порода выбита. Каталь, набросав ее в корзину, потащил прочь свою вагонетку, согнутый вдвое, мокрый, отпихиваясь ногами от скользких стен, почти волочась животом по лужам и маленьким оползням. Забойщик закуривает, сидя на куче щебня. Спички отсырели и не горят. К пару сырости примешивается пар человеческого тела, которое наслаждается минутой покоя, дымится, как в бане, и курит вонючую «козью ножку». В совершенной тишине, издалека, равномерно, как сердце через толстую одежду, стучит кирка соседнего забойщика. Ничто не похоже на эту подземную тишину. Журчанье и шумок незаметно осыпавшейся земли слышится, как будто уши залиты водой, и только железный дятел в соседнем дупле долбит безостановочно — тук-тук, тук-тук.

Папироска докурена. В густых ручьях пота лицо забойщика бело, без единой кровинки, — остыл. Чтобы было светлее, зажигает запасную свечу, вставляет в кольцо и ногтем прицепляет к стене.

Динамит, серый и мягкий, легко режется ножом, похож на дрожжи. Собственно, вставляя в него фитиль, полагается раньше проткнуть дырку, иначе капсуль может взорваться в руках рабочего. Забойщик смеется:

— Мы столько рискуем, работая в этой яме, — немного больше, немного меньше.

Фитили заложены; чтобы не потухли в сырости, их

хвостики разлохмачивают: делают на конце серебристые одуванчики из стальной проволоки.

Ожидая взрыва, рабочие садятся покурить шагах в 30-ти, «на свежем воздухе», где острый сквозняк просвистывается в шахту по «трубке». Невыразимым холодом и затхлостью веет из колодца, соединяющего этот штрек с поверхностью земли. При свете свеч блестят мокрые бревна, которыми он выложен, и мокрые ступеньки деревянной лестницы, отвесно спускающейся в пустоту. По этим гниловатым, сырым и кривым деревяшкам рабочие, смена за сменой, идут в шахту и выходят из нее. Оторвавшиеся камешки с особенным, стукающимся при падении о стенки, совершенно неописуемым шумом срываются в черную трубу. Свеча в руке вяло горит, обжигая ее воском. Тяжелые сапоги, мокрые, глиняные, осклизлые, осторожно переступают со ступеньки на ступеньку. От времени до времени в степи открываются темные отверстия, в их глубине трепещет отдаленный свет; если прислушаться, сквозь непрерывный осенний плач подземных вод доносится глухое долбление кирки и, если забой близко, —горячее, окутанное паром, захлебывающееся дыхание забойщика. Это дыхание — точно оно вырывается не из человеческой груди, а из живой шахты, где по стенкам легких тоже струится темная сырость, где в глубине дыхательных ходов вместо лампочек мерцают тусклые туберкулезные очаги.

Через несколько минут три сильных, но как бы ватных взрыва. Штейгер смотрит на часы. Торопиться нечего. Дым только через полчаса дойдет до нас и лениво потянется вверх по холодному, темному колодцу.

— А правда ли, что нам хотят рабочий день двинуть с шести на восьми?

Секретарь билимбаевской компартии, товарищ Волегов, сам бывший горняк, пришедший в партию со дна этой самой ямы, которую сперва помогал выдирать у бывшего ее владельца, а потом защищал с винтовкой в руках, отвечает не торопясь.

— Будем отстаивать, — может быть, и не двинут.

— А если придется встать на восьмичасовую?

— Встанем...

У молодого забойщика голос срывается, как пустая бадья, летящая в шахту на размотанной цепи, пока не разобьется вдребезги.

— Ты сам здесь работал, знаешь, что не можем мы восемь часов. Не можем... Вентиляции почти что нет. Все ползет. Лестница, весь колодец, почитай что гнилой. Чинить надо, — а на какие деньги? Выйдешь, — присаживаешься на дороге, пока домой-то дойдешь. Нет, брат, ползти некуда. А прозодежда? Не резина, а холст один. Спирт нам полагается после работы, — где он? Не видали. Знаем, ты бумажки-то исправно пишешь, да толку-то мало. Давай хоть папироску, сукин сын, поживимся от тебя маленько. А восьми часам не бывать! Так и запиши.

Один из рудокопов идет посмотреть за дымом. Уже близко, пора уходить. Колодцем спускаемся еще ниже, на самое дно. Здесь потолки так нависли, что головы не поднять. Все чаще под ногами свежие кротовые кучи оползней, все больше надломленных, скривленных сосен, на которые с неимоверной силой напирает жирная грязь. Наконец приходится ползти на четвереньках между толстых скрещенных столбов, лежащих на боку и сосновыми плечами поддерживающих друг друга. Здесь рудокоп копошится под самым животом земли, навалившимся, почти раздавившим людей, их фонарики, стук их лопат и игрушечный отголосок взрывов. Дышать нечем. А снизу, под наслойкой из досок, — уже не каплями, не ручейками, но белесоватыми, невозмутимыми полыньями, везде на одном уровне, стоит глубокая, ровная, вечная вода: шахта достигла уровня реки. Напрасно забойщик преследует исчезающую руду через жидкие прослойки глины, через эти тела жирных допотопных моллюсков, расползающихся под его киркой. Напрасно он все глубже вгрызается в пустой кварц, шаг за шагом двигаясь вместе со своей каменной могилой, непрерывно расширяя ее перед собой и за спиной снова застраивая тесовыми перекладинами. Достигнув поверхности речных вод, богатейшие залежи руды исчезают под ними. Чтобы идти дальше, нужны новые машины, электричество, всевозможные технические усовершенствования, огромные деньги. А денег нет, и не скоро будут. Между тем старинный этот рудничок, где прежде работали ссыльные политические, где во время войны пытались пристроить на каторжные работы немецких военнопленных (что не удалось из-за их организованного, мужественного сопротивления), эта маленькая

яма, подпертая гнилым деревом и освещаемая керосиновыми коптилками, снабжает рудой Билимбаевский чугуноплавильный завод и является одним из живых производственных колесиков, работающих на возрождение Урала. Его хотели закрыть, — рабочие не дали. В неимоверно трудных условиях они продолжают свою борьбу с водой, глиной и переутомлением. Чтобы не повысить себестоимость, отказались от электрификации.

Наткнувшись на подземное озеро, забойщики, как улиточный домик, волоча за собою свой каменный мешок, пошли на разведку. Весь рудник, руководимый особым охотничьим чутьем в темноте и тверди еще не тронутых подземелий, угадывает мощный пласт, залегший где-то поблизости над уровнем воды. Его ищут, — и, вероятно, найдут. А пока все расходы, все бесплодные поиски подземных разведчиков, все напрасные блуждания в сырых, черных, ползучих глубинах ложатся на плечи самих рабочих.

Забойщик за шесть часов своего нечеловеческого труда получает 1 руб. 12 коп. К этому минимуму он может, путем величайшего напряжения, приработать сверх нормы 30—35 коп. Каталь получает еще меньше, копеек 50—70. И то еще не всегда деньгами, которые, в связи с денежной реформой, часто запаздывают или приходят в недостаточном количестве. Так, например, пожертвования, сделанные горнорабочими и рабочими-металлистами Билимбая в пользу голодающих детей Германии (более 500 взносов), до сих пор не могли быть реализованы из-за острого денежного голода. Можно себе представить, как живут рудокопы. Правда, многие из них имеют собственную избу и миниатюрное сельское хозяйство. Но эти же крошечные хозяйства привязывают рабочего к месту, ставят его в крепостную зависимость не только от рудника, но и от собственного огорода и хлеба, от козы, пары поросят и пегого теленка с водянистыми младенческими глазами.

В одном из последних забоев, который мне пришлось повидать, снова спросили о 8-часовом рабочем дне. «Неужели правда? Ну, ладно! Если без этого нельзя, — согласимся. Хоть уж много лет мы эту песенку слышим: потерпите-де еще год, другой — и наладим. Пока не наладили. Хорошего мало видели. Ну, допустим, теперь денежная реформа, и взаймы нам англичане не

дают», — говоривший был коммунист, и поэтому ничего не было удивительного в том, что на дне этой мокрой могилы прозвучал отзвук великих мировых событий, — и только глубокая бледность человека, говорившего о социальных судьбах мира с киркой в руке, только полное молчание 30-саженного колодца, только клубы пара, окутавшие его стынущие плечи облаком морозной испарины, придали этим немногим словам особенную каменную серьезность, заставили почувствовать всю ответственность партии, которую она несет на себе за исполнение своей социальной программы, во имя которой люди подземелья продолжают нести свой каторжный труд. Каждый взмах кирки на этих дьявольских рудниках совершается в надежде на скорое наступление жизни более человеческой и справедливой.

«Но одно вы, товарищ, — простите, не знаю, как вас зовут, — запишите. Мы очень болеем грудью. Много чахоточных. Посылают нас в отпуск, лечиться на свои же, уральские курорты. Ванны там с серой, но очень холодно. Солнца нам надо, после этой-то работы. А на теплое море только одного человека в год мы имеем право послать отсюда, и то с заводом вместе. Очень уж мало».

II

Завод Билимбай — старое, стариннейшее промышленное гнездо. Строено было крепостными руками: сперва баре им владели большие, потом купцы нрава дикого и большой предприимчивости. Семь сел крепостных возле завода осело, и много леса к нему приписано. Люди освободились, а бор до сих пор отдан на милость завода. На десятки верст тянутся крепостные леса: ели, сосны, колки веселой белой березы, — в легких зеленых платках дворовых девок, можжевельник-казачок, успевающий шалить в столетней тени, и поближе к жилью — прирученные дворовые породы: рябина, дикая яблоня и белая холодная черемуха — росистая, любимая, из девичьей пробежавшая в сад, да так и оставшаяся, с белыми кистями платка, свесившимися через изгородь. Их вырубают по очереди и без очереди, оставляя на семя одинокие сосны, похожие на колокольни среди погоревшего села.

Старый крепостной барин и завод, и беседку в саду, и конюшню, на коей пороли, и церковь придворную строил под стать своей вотчине: бело, широко, весьма прельстительно спереди — и со всем грязным житейским мусором и людской теснотой на задах, заставленных от чужого глаза колончатым, соразмерным фасадом стиля русского ампир.

Церковь билимбаевская до сих пор сохранила эту роскошь вида, стоит на зеленом холме, как дворец, белая и залитая солнцем, в зеленом шлафроке березовой рощицы, с белыми воротами, выступающими, как кружевные манжеты, из сочной зелени садов. Только утреннего чайного стола не хватает на паперти, самовара и барыни, разливающей чай мраморными своими, строгановскими руками.

И даже главный фабричный корпус сохранил нечто от тех расточительных, падких до внешнего блеска времен. Какие-то венки еще завиваются на фасаде, нечто вроде декоративных колонок жмется у входа в плавильный цех. Но здесь живее другая быль, менее вельможная, менее беззаботная, поровшая крепостных уже не на барской конюшне, но в государевом остроге; портившая не столь девок, сколь молодых и сильных мужиков; пудрившая не летучей пудрой XVIII века, а угольной пылью; поучавшая не размашистой барской ручкой и не охотничьим арапником, но гюремным батогом и крупною, неуклюжей пулей того времени. Память жестокая и неизгладимая о золотом веке посессионных крепостных фабрик, о тяжелой руке первых русских промышленников из «третьего сословия», хозяйствовавших еще на казенной рабочей спине, но нередко и на вольнонаемных рабах, и с тою беззастенчивой рациональной жестокостью, до которой далеко было даже старому барству с его капризным, но неряшливым и непоследовательным самодурством.

Очень устарели машины билимбаевского завода. Многое в его устройстве и оборудовании покажется смешным европейски-образованному инженеру, но сейчас старик завод, несмотря на выслугу лет, еще раз призван на действительную службу и в годы тягчайшего для революции экономического кризиса помогает строить и производить. Его старое машинное сердце стучит медленно, но все еще ровно и крепко.

Медлительные локти 50-летних водяных турбин двигаются не спеша, с некоторой старомодной величавостью. Чугунная затейливая решетка, которой они обнесены (таких теперь нигде нет), несколько походит на решетки, какими на старинных барских кладбищах бывали обнесены могилы почетных, давно вымерших семейств. Но ничего, Алексей Алексеич Кашин, хранитель и полновластный хозяин домны, маленький человечек с добродушнейшим лицом, весьма любимый рабочими за совершенную свою уступчивость, но до тонкости знающий дело, умеющий отличить малейшие оттенки угля и руды, спец; ему стоит одним глазом сквозь свое синее стеклышко, засаленное, как и обшлага его тужурки, заглянуть в белый зев печи, где, как листики, как лепестки, трепещут и растворяются в белом молоке чугуна пудовые глыбы металла и угля, чтобы отличить качество сплава, чтобы узнать, не слишком ли много было брошено в этот железный крюшон березы и ели, этих легких, нестойких пород, которым далеко до белого жара, до чистого, неподражаемого пламени, заключенного в твердом, как железо, маслянистом и сочном, как кедровый орешек, безукоризненно стройном теле столетней сосны.

Так вот, Алексей Алексеич, состоящий при домнах уже 35 лет, тот самый Алексей Алексеич, что при Колчаке вместе с белыми должен был куда-то в неизвестность и разор бежать от своих машин, однако же, отбежав верст 17, застрял и совершенно неожиданно оказался на месте как раз вовремя, к выходу чугуна, влекомый к этому черному плавильному котлу страстью более сильной, чем обывательский страх и вздорные политические предрассудки, Алексей Алексеич утверждает, что его машины еще поработают и себя покажут. С гордостью указывал он на поток воды, омывающей какие-то особые, очевидно, очень нужные и доброкачественные «перья» старого двигателя, к стыду моему — увы! — очень напомнившие лопаточки обыкновенной водяной мельницы. При электричестве вода, текущая на дне турбины, кажется неподвижной, как лунный свет на полу.

К счастью, Алексей Алексеич не мог угадать этих моих, к делу не относящихся, в высшей степени безграмотных впечатлений и гордо повел нас к самому сердцу домны.

Это — каторжный труд: в котел, до края наполнен-

ный рудой, углем, снова рудой и опять углем, — над исполинским чаном, из которого поднимается столб жара, дыма и огня, уходящего затем в открытый колошник (колпак, трубу, дымоход. Ал. Ал., простите, но так понятнее), рабочие непрерывно подбрасывают новые пуды и десятки пудов руды и горючего. Подвешенный как бы к подвижному железному плечу большой совок ходит над пламенем от одной кучи к другой, везде просительно протягивает руку и со всех сторон собирает железную милостыню. Уголь, разбежавшись к огненному обрыву в подвешенном чане, опрокидывается в него в столбе искр, — нескромный, феерический самоубийца. Только по особому приказу старшего мастера добавляется флюс — особые химические составы, очищающие руду. Они как бы нарывают в огне; собирая вокруг себя всю больную, гнойную кровь металла, золу и вредные составы, соединившись со всем, что есть в сплаве худшего, эти очистительные элементы вскипают прежде, чем созреет чугун. Их выпускают наружу вместе с кипящими отбросами, которые они выводят наружу, как бы жертвуя своим самостоятельным бытием.

На горячем пепле эта лава стынет, как выпавшие из котла красные внутренности огня. Возле печи стоит тропический жар. Но спины рабочих обдувает ледяной сквозняк. Ночи Урала холодны, почти морозны. От взмокших рубах идет пар. Лица в поту, тело то растворяется в нестерпимом жаре, то стынет и трясется, как после долгого холодного купанья.

Что хорошо для домны, железную рубашку которой снаружи все время поливает холодный душ, то смертельно для рабочих.

Оплачивается этот труд по 4, 5 и 6 разряду с некоторой сверхурочной добавкой, то есть мизерно, и тем не менее нигде на заводах, до сих пор виденных мною, не пришлось встретить такого глубоко сознательного отношения к жестокой политике, проводимой сейчас рабочим государством по отношению к своему правящему классу, обреченному на каторжные работы впредь до налажения хозяйства. Рабочие отлично понимают, что за счет их скудной зарплаты, ценою все большей интенсификации их труда заполняются зияющие прорехи бюджета, недостаток денег, отсутствие нового оборудования, удешевляющего производство.

За их счет, их потом и трудом удешевляется черный металл. Производительность отдельного рабочего во многих местах, в частности, на Билимбае, достигла довоенных норм и даже через них перешагнула. Каким образом, какой ценой? Ведь штаты рабочих сокращены. Где раньше стояли трое, теперь работает один. Машины за десять лет износились, их продукция должна была пасть? Палки, которая прежде выколачивала «прибавочную», не стало. Рудники истощились, и понизилось качество руды; а между тем старинный билимбаевский самовар, садясь набок, пыхтя пыльными ноздрями своих воздуходувных машин (одна из них вовсе старая, лежачая мамонтиха, более не употребляемая), орудуя печными заслонками, через которые наблюдает течение вдыхаемых домной и выдыхаемых ею газов, не бросающихся к выходу только из уважения к нашей труддисциплине, — билимбаевский самовар не только исполнил свое «квартальное задание», но, вместо заданных 46 на сто пудов руды, ухитрился дать 46,47 чугуна на выход. Технические усовершенствования? Да, отчасти. Но гораздо больше — неслыханное мужество рабочих, несмотря на все протесты и неудовольствия, на своем горбу вытаскивающих Россию из экономической трясины. И не надо забывать, что это мужество — на голодный желудок. Лебеды и крапивы 1919—1920 годов уже нет, но и мяса рабочие не видят месяцами.

Одно, о чем они спрашивают, отложив на время молот, лом, гигантские щипцы, вытирая лоб угольным рукавом: «Скоро ли?..»

Что им ответить?

Между тем наступает час «выхода», повторяющийся ежедневно и тем не менее всегда радостный и тревожный в заводе. С особенным, только ему одному свойственным, спокойным величием течет кипящий чугун в приготовленные ложницы, наполняя их сот за сотом, медленно подергиваясь первой пурпурной тенью.

Рабочие то подгоняют огонь к своим грядкам, то заграждают его течение.

Похоже на игроков, особыми длинными лопаточками собирающих на игорном поле потоки жидкого золота.

РЕВДА

I

«В Ревду воровская шайка злодейственно, — доносили в 1774 году священники духовному правлению, — вступила генваря 28; чтоб не впасть тем злодеям в руки, для сохранения себя отъехали в Екатеринбург, где и пробыли до 28 февраля».

Единовременно доносил Петр Демидов, владелец Ревдинского завода, в берг-коллегию: «По случаю усилившейся злодейской около Ревдинского завода толпы бывшие в оном приказчики и сторожа, оставя Ревду, спаслись бегством по лесам, но таковыми разбойническими усилиями Ревдинский завод злодеями действительно разграблен и опустошен... в прежнее действие привести вскоре никак не можно, ибо немалое число мастеровых и рабочих людей при многократных сражениях злодеями до смерти побито или к означенным передалось».

Однако преждевременно сиятельный был обеспокоен. Уже 20 генваря доносил отважный капитан Ерапильский, что, «быв уведомлен от пришедших к нему с Шайтанки трех мастеровых о слабости занявших оный завод воров, предводитель коих, отставной солдат Белобородов — полковник Пугачова, теперь претерпевающий во всем бедность, имея последнее средство разжиться грабительством, решился сделать небольшой над ними поиск, вследствие чего отправил туда... конных до 20 человек — здешних мастеровых, и в резерв — сер-

жанта Маркова, 100 человек при двух солдатках, да с Ревдинского завода до 50».

«Злодеи собрались противиться, а наши, увидав их, расположились в боевой порядок. Бунтовщики, сколько им робость и страх дозволяли, расположились против наших кучами, прикрывая взятую с собой пушку, но как наши люди были к ним очень близки, то уже и не дождались исполнения своего расположения, принуждены были с ними схватиться. При начальном с нашей стороны залпе злодеи рассыпались по лесу и также стреляли, что принудило и наших расстроиться, и особливо и по неспособности места... при всем том, не без урону злодеи к продолжению сражения остались, и многие из наших не только их подстреливали, но и брали в полон. Но, хотя 21 числа полковник Бибиков, приняв рапорт, и счел возможным всем, бывшим в сем деле по мере их храбрости, за верность и усердие ее императорскому величеству нашей всемилостивейшей государыне, из казны награждение дать повелел, однако, на злодеев еще партию... с военною командою и казаками двинуть. А вся оная компания составилась из нижеописанного числа людей и орудий, а именно: поручик Костин с двумя обер-офицерами; военной команды 60, здешних мастеровых 216 и из крестьян до 202 человек при 4 малых фальконетах и 2 пушках.

23-го числа, в 7 часов, выступили все на злодеев, которые, наконец, из лесу выступили вдруг, но рассеяны были... выстрелами пушек по лесу, однако артиллерию свою имели также прикрытою. Наши, наступая на них в должном порядке... преследовали рассыпанных воров до самого завода, и беспрестанно стреляя из пушек как на оных, так и на собравшиеся толпы, около четырех часов. Злодеи же из лесу против наших показаться не смели, но одна большая пушка у них от собственного сильного порыва разорвалась, то и принуждены были, от нас отстреливаясь, отступить; однако ж, кроме 8 человек, они не могли легко наших ранить. Сколько же побито сих извергов по человечеству нельзя без внутреннего движения и сказать; но зло, причиненное ими государству, заставило бросить их в презрении...»

Так двести с лишним лет тому назад была погромлена одна из частей уже погибавшей пугачевской воль-

ницы, а с нею деды и прадеды рудокопов, угольщиков и мастеровых людей, и поныне питающих старую Ревду.

Сто лет спустя, обстоятельный и многограмотный мужик Умнов, сперва казачком бегавший при заводской конторе, потом в господский дом взятый за отменное перо и чудный, церковные стены сотрясавший бас, записал в изумительном своем дневнике еще одну страницу Ревдинской крепостной фабрики. Жил он долго, писал не часто, но все важнейшее, чем отмечен был его тяжкий век, внес в книгу. Все, кроме освобождения крестьян. Мимо окаянного 61-го года прошел в гневном молчании, даже близким своим запретив говорить «про это». Начинали тогда историю с француза. И вот:

«1812 г. Была отечественная война. Наполеон I приходил в Москву.

1830 г. Сентября 1 на 2 часа шел снег и продолжался целую неделю.

1835 г. Апреля 13 спихнуты баржи, отправлены в ход 17 дня.

1836 г. Его высокоблагородие Алексей Петрович Демидов выехал в С.-Петербург.

1840 г. Мая 2, в четверток, пополудни зачался пожар. Выгорело домов 510.

1843 г. После полуночи сгорел на охотном дворе манеж (стоящий 4000 р. с.) и господский театр.

1844 г. Апрель 22. С утра шел снег и продолжался до 17 мая».

И наконец:

«1848 г. В понедельник Фоминой недели зачался бунт — в 15 мая было решение, стреляли боевыми зарядами, убито мужчин — 160 чел., женщин — 5 ч. и 2 девочек и мальчиков двое. Раненых собрано 48 мужчин, и всего было убито и ранено 256 ч. Солдат было 200 ч., командиров: берг-инспектор и горный исправник, а командовал полковник Степан Парфеныч Кураев...»

Так кратко сказано об этом отклике великого 1848 года, запоротого на барской конюшне, возле пожарной каланчи, близ угольного сарая, хлопающего на ветру оторванной ставней, над устьями двух каторжных рудников, ныне залитых водой, против Сороковой горы, синеющей справа, против лохматой горы Волчихи, на которую, 10 лет до того, поднимался Гумбольдт, определив ее высоту в 2271 парижский фут, по-нашему — 2420.

Второй Умнов, отец нынешних двух, которые оба были добровольцами в Красной, оба коммунисты и из старого, страшного гнезда давно выселились, утопил летопись в описании драк, несметного пьянства, в приказчичьих заметках про пожары, погоду и убытки. Обрывает он рассказ, вышедши из поножовщины великой мобилизации, проводив своих рекрут на станцию в пьяном бреду, с черемухой у картуза, с неистовой гармошкой и последней дракой на перроне, под плясовую, вой баб и матерщину. Дальше нет. Умер в 1915 году.

С сорок восьмого — еще век. Советская Ревда — на старом месте; контора и фабзавком — где, по Умнову, в белом доме-дворце жили грозные владыки Демидовы. Псарня и прачечная, устроенные под садом, обвалились, от дома жив только нижний этаж, верхний обгорел до круглых бровей над узкими окнами. Но вход в завод как раз между старой конторой и запасными воротами, у которых расстреляли тех 260 человек.

Ближе всех ко входу — кирпичное отделение. Женщины жалуются: не любят его ни заведующие, ни спецы, ни завком, редко кто-нибудь заходит в этот рукодельный цех, всю фабрику роняющий своими кустарными приемами и пачкотней. По температуре этот цех — среднее между оранжереей, в которой пухнут мягкие кирпичи, и кухней, где их стряпают. Все, от начала и до конца, вредно для человеческой жизни.

В первой мельнице, где два сумасшедших колеса дробят каменную муку из огромных обломков кварца, работают два напудренных, белых мельника, сгребая в кучу и просеивая через решето песок, который машина непрестанно отскабливает железным ногтем от грохочущей, скачущей, дымящейся ступы. Дышат им и задыхаются. Во второй дробилке машина четырьмя чугунными ногами, поставленными в ряд, топчет более мелкий щебень. Во рту и горле — шершаво и сухо, как промокательная бумага.

В отделении — огнеупорную глину, похожую на грязный творог, месят, смешав с толченым каменным сахаром. Нестерпимый воздух сырого, едва достроенного дома, не просушенного и так сданного внаем. Смесь мокрой извести, сырости и холода. Работают исключительно женщины. Наконец, кухня: низкое двухэтажное здание, баня, теплица, тюрьма, прачечная, подавив-

шаяся своими собственными испарениями, — все вместе. Полки, уставленные рядами сырых кирпичей и труб, — полых, с отверстиями по бокам, — всяких. Здесь не теряют ни минуты. На огромного обжору, на ненасытного едока — самое мартеновскую печь — стряпают десятки стряпух. Для ее огненной утробы, испепеляющей все самые стойкие перегородки, катают на столах глиняный хлеб, раскатывают сырые колбасы, густым белесым тестом наливают кирпичные формы.

За первые 260 пирогов повариха получает в день, в долгую 8-часовую смену, $52^1/_2$ копейки. Столько же за 60 труб плюс надбавка за все лишнее. В скобках: в этом цехе работают исключительно вдовы и одинокие с 3—4 детьми на руках. Почти все — члены партии. Две пожилые работницы 45—49 лет записались еще во время войны. Старшая из сестер потеряла двух сыновей — добровольцев в Красной.

— Сколько вы вырабатываете?

Розовый «уполномоченный» отвечает из глиняной ямы: «Триста» — и укатывает с тачкой глины, предназначенной для особой мясорубки. Вернувшись: «80 пудов глины перетаскаешь и... Мыла вы нам почему не даете?» Заведующий заводом организованно отступает. Товарищ Наташа, которую весь завод знает и любит, грозит ему кулаком из своей дыры. «Зажали наше мыло. Неправильно, неправильно, обязаны дать. Не лопнет ваша себестоимость от корочки мыла...»

Обжигательные печи. Одни наполняются, и возле них приготовлены магнезитовые кирпичи, красные, как мясо, другие — горячие, как преисподняя, стоят взломанными или разгружаются. Похожи на корку, в которой запекают ветчину. Вокруг сухая и душная жара. Говорят, нет летом работы более утомительной.

II

Он действительно имеет право пренебрегать кирпичной кухней, всякими углевыжигательными самоварами, порубкой дров, — всей этой примитивной работой, еще только ждущей своей механизации, — гордый черный цех прокатки и литья. Техника не знает труда более сложного и квалифицированного. Человеческие руки не

только не вытеснены машиной, они-то и связывают в единый производственный процесс отдельные его фазы, требующие от рабочего величайшего внимания, быстроты и уменья.

Нагревательная печь накаливает слитки металла, прежде чем они лягут под механический нож; но мастер, подведя под восьмипудовый обрубок лопату, похожую на гигантский ключ от сардин, поддерживаемый с боков двумя помощниками, одним взмахом, надвинув щит на глаза, сажает ее в белую печь. Он же ведет быстрые и опасные роды металла, которые могут быть испорчены малейшей проволочкой. Наложив страшные щипцы на красный и мягкий череп новорожденного слитка, он одним движением вырывает его из пылающей матки и бросает в железную колыбельную тачку, обшитую стальными пеленками. Рядом, в черной детской, полной грохота исполинских гремушек, молодой металл делится на куски, и рулевой, оператор, защищенный от горящих плевков особой будкой, издали руководит взмахами своего ножа.. У печи — рабочие в перерыве между двух судорог, опрастывающих ее всегда полное чрево.

— Получаем? Старший — двадцать семь рублей в месяц, остальные — восемнадцать и девять.

Девять, это — мальчик, подымающий заслонку, маленькая юркая ящерица, едва успевающая отпрыгнуть то от шипящей свинки, то от пылающих инструментов, бросающихся к воде, чтобы потушить свою красную загоревшуюся голову.

— За месяц сапог сробить не может. Сапоги — двадцать четыре. Берегись!..

Черная очередь к огню. Сотни слитков лежат в ряд. Спина со спиной чугунные овцы, которых толкач проталкивает в печь ударом железного сапога. Из нее они передаются в первую прокатную машину, которая из визжащего красного обрубка вытягивает воспаленный, все еще пылающий, но прямой и длинный ствол. Схватив за загривок щипцами, его тащат под резец. Три удара, — сзади остается красный, сквозь первые пепельные тени похожий на окурок сигары, огненный отброс. Из следующей прокатной машины выскальзывает уже узкая, гибкая, красная змея. Но едва выглянет из пресса ее бешеная пурпурная головка, рабочий берет ее за шею двумя пальцами клещей и втискивает назад, в следующую нору,

еще более тесную. Хвост стальной гадины свищет вокруг его ног, судорожно обвиваясь вокруг железных крючьев, предохраняющих мастера от пылающего прикосновения. А из желоба уже ползет вторая, третья ждет, наполовину выскользнув из черного кольца, извиваясь в руках помощника.

Но одна из полос застревает в горле машины. Бьет колокол. Остановка. Ее остывшее, уже помертвелое тело, скрутившееся судорожными узлами, как змею на конце шпаги, выбрасывают из машины. Мастера сумрачно отмечают потерянные секунды. Машина безучастно отдыхает. Мимо проносят на носилках искривленный горячий слиток, похожий на обгорелого человека.

В мастерской скандал. Заведующий заводом товарищ Юшков вывесил объявление: мотки проволоки весом меньше 2 пудов не принимать. Рубить не на три, а на четыре части, это значит: лишний момент напряженного внимания, более короткий, быстрый темп работы.

Облепили Юшкова со всех сторон и напали так, что у него все взъерошенные белые волосы встали дыбом. Через шум он выкрикивает в придвинутые уши и прямо в белые лица, с потоками пота, стекающего как через щетину, сквозь редкие, блестящие, как бы вымытые им бороды; в лица, освежеванные жаром, красные от огня печей, возле которых сменяются каждые полчаса меловые, с отливом в костяную желтизну, лица старших рабочих, несменяемых, незаменимых, облизанных зноем, с мумизированной кожей, которая уже не пропускает ни пота, ни краски, ни волнения.

— Пусть объясняет, как хочет, — не согласны!

Между тем заказчик, могущественный трест, вернул несколько вагонов неполновесной проволоки. Интенсификация труда, а если нет, — разорванный контракт. Выбирайте!

Старая бунтовщицкая кровь нелегко уступает. Они тоже знают производство. Доводы и возражения, как шипящая проволока на столб, кольцо на кольцо наматываются на Юшкова. Что скажет фабзавком? Козырина! В старину они так же звали: Козырина, Горланова! Эй, Мокрецова с братьями! Старинные в Ревде имена, не раз их поминает умновская летопись по драке, по бунту, неистовой гульбе, по расправе, чиненной над «добрым» приказчиком, да так, что доказать барин ни на кого не

мог, хотя всю деревню перепарывал. Теперь — мастер и заведующий, председатель завкома и чернорабочий, стоят друг против друга, — ближайшие товарищи и ожесточенные враги в этой трудовой схватке. Стенка на стенку. Между ними — завком.

— Довоенные нормы хотите? А где мясо? С пустым брюхом, на одной картошке?

Товарищ Юшков не уступит. Не может уступить.

— Нельзя? Врете, я сам на этих станках работал!

— Зато тебе и спускаем, что работал. Другому давно бы морду набили.

— А у нас советская или старая?

— Нет, не согласны. В рекаи (РКИ) шли своих граммофонов с наказом, — будем говорить.

За Юшкова — синяя толстая тетрадь протоколов Уралпромбюро... Сухие циферные отчеты за истекшую четверть года. Неумолимые итоги, короткие в три строки приказы по трудовому фронту, спокойные замечания и еще более сухие и редкие, почти незаметные на этих деловых страницах, сдержанные похвалы.

Над головой Юшкова, коммуниста, хозяйственника, красного директора, угрозой висит графа прокатки, где не хватает 27,25% исполнения, несмотря на суточную производительность сверх нормы, несмотря на 29 трудовых единиц, брошенных на бухгалтерские весы ценой величайших усилий.

За прокатный цех: его переутомление, молодость и сравнительная неопытность мастеров, тягчайшие условия труда, плохое питание, и, наконец, триста лет непрерывного, неустанного, сперва рабского, потом хуже чем рабского, и, наконец, добровольного и по-прежнему неумолимого труда.

Вечером Мокрецов, один из самых измученных и ожесточенных рабочих, сидя у себя за воротами, изредка прерываемый назойливым звоном одной из трех колоколен, у которых пропитой голос старых фабричных котлов и лицо, как торт с объеденными украшениями, загибая пальцы, излагал все огромные минусы своей и заводской жизни. Изредка он нагибался и отгонял свинью, упорно подрывавшую ближнюю березу, зябко завернувшуюся в свой зеленый оренбургский платок. От неловкости, от того, что нечего было ответить на все эти «почему» и «доколе», зачем-то вылез глупый вопрос:

— А вы сами свиней не разводите?

— Так ведь их тоже чем-нибудь надо кормить!

Мимо прошла гармонь, мимо проехала бочка с удобрением, со зловонием, медленно идущим вслед за дрогами, как родственник идет за своим покойником.

И холодные вечера на Урале.

Потом Мокрецов спросил:

— Вы все это будете печатать?

— Буду.

— Хорошо, пусть все знают.

Спустя немного в его голосе, как кончик папиросы, которую он потушил плевком, потухло все злорадное.

С глубоким сознанием ответственности:

— А может быть, сейчас иначе и нельзя.

ШАЙТАНКА

Жара дышит, как ветер. Под полуприкрытым веком дверцы мерцает его закатившийся, неподвижный белок. Согнутые пополам, надвинув на глаза стальные козырьки, рабочие руками бросают в белую щель куски старого железа, бесформенную заваль, сваленную кучей. Как охотники, загнавшие в яму огромного белого зверя, к которому еще не смеют подойти и издали добивают камнями. Но все старое и мертвое, попав в тело мартеновской печи, вскипает ее дыханием, становится частью белой крови, текущей по огнеупорным жилам стальным молоком. Старые металлы молодеют, ржавчина становится оттенком пламени. Отжившие, пораненные, исковерканные формы радостно растворяются в огне, чтобы выйти из него для новых воплощений.

В течение шести часов полную печь кормят и оберегают, как беременную накануне ее гигантских родов. К концу смены старые мастера по оттенку бесцветной лавы, по силе зноя, давно превзошедшего все доступные человеческому телу границы, угадывают время полной зрелости сплава. Рот печи снова открывается, мальчик дергает веревку, продетую сквозь ее верхнюю губу, и на пол, металлический, как палуба броненосца, течет ее воспламененная слюна. Она быстро остывает, принимая какой-то неописуемо бледный, лунный цвет. Мастер смотрит и отрицательно качает головой.

— Нет, еще не готово.

Рабочий, отбив кусок остывшей стали от пола (так зимой скалывают лед), бросает пробу назад в огонь дви-

жением рыбака, швырнувшего обратно в море полузадохшуюся окоченелую рыбу.

У печи — все сильные, молодые, здоровые люди. Как ни жарит мартен, жить под чистым уральским небом все-таки легче, чем в вонючей тесноте нашей Выборгской.

Удивительна присущая высококвалифицированному рабочему способность каждую паузу, каждую передышку в труде использовать для максимального отдыха. Пока печь в тяжкой пищеварительной истоме осиливает дымящимся животом последнюю груду металла, обливая ее желчью огня, они, закурив, стоят поодаль, придав своим отдыхающим телам гибкую и небрежную, в поясе едва перегнутую ленивость, которая каждую минуту готова выпрямиться и войти в работу, и между двух затяжек табака, все видя и замечая, дремлют, стоя с открытыми глазами. Так же, верно, с рукой упертой в бок, с неопределенной усмешкой, стояли они где-нибудь на перекрестке деревенской улицы, когда, страдая от бесчеловечного обращения господина владельца, Ефима Александровича Ширяева, искали от него так или иначе избавиться. Часто, собравшись в кучу, говорили между собой: «Довольно было бы богомольцев за того, кто убил бы Ширяева». И в конце концов господин был убит по наущению и с ведома фабричных известным на Урале разбойником атаманом Рыжанко.

Последняя проба. Старший печной, подручные, наборщик шихты, — все на своих местах. Сам в кожаном, по горячим углям шагает директор. Инженеры заглядывают в печь с уверенностью молодых врачей, однако очень оглядываясь на безграмотную, но опытнейшую повитуху — старшего печного. Из сплава достают ложку самого чистого и ослепительного сияния, чего-то ни с чем не сравнимого, кроме несуществующей человеческой души. Это блистательное нечто, эта белая радость льется в маленький чугунный стаканчик с легким шипением стального шампанского, по нем бьют обухом, оно розовеет, и под страшными ударами молотобойца показывает всю свою твердую мягкость.

Кипящее вино руды обратилось червонцем.

Набат.

Артели бегут по своим местам со свистом, с улюлюканьем, — как раньше на пожар, или бить конокрада,

или спускать на Чусовую, заигравшую весной, первый караван баржей.

Все окна освещены, в них ходит большой свет, как прежде в играющем бальном зале демидовского дома.

И не свечи проносят мимо них — целые деревья из света, и по дорожкам из пламени белые павлины играют жаркими искристыми хвостами.

Ее величество сталь выходит белоснежным ручьем, молочная, пенистая, играющая, и встречена такой игрой огненных фонтанов, таким фейерверком, какого самому графу Петру не придумать было в честь царицы Екатерины Алексеевны. Как на большом пиру, наполняет руда один пудовый кубок за другим, шумя и вскипая со дна, как источник, и убирая чугунные края венками искр. Точно великаны собираются поднять эти в ряд поставленные, вместо льда пеплом охлажденные, чаши за мощь и радость труда.

Нигде и никогда не бывает металл дальше от своего темного рождения и ближе к нему, чем на празднике выхода. Ничто в минуты кипящего просветления не напоминает о шахте, о сырой и черной билимбаевской яме, и уже через несколько минут на обугленном полу остаются исчерна-сизые, тусклые слитки, покрытые тем налетом металла и угля, от которого на руках горнорабочих образуются несмываемые перчатки.

Представление кончено, барский театр сгорел, и, одев старое посконье, крепостные актеры разбежались: кто в кузницу, кто на скотный, кто на барский двор.

Сталь переходит в следующую фазу своих трудовых воплощений.

ЛЫСЬВА

Ветер отчесывает волосы дыма с фасада заводской конторы, которая возвышается над площадью, как лоб, пожелтевший от лихорадки. Перед ним тяжеловесная церковь, напыщенная святая София, из грязного кирпича, крытая даровым домодельным железом, ничего не стоившим жертвователю.

Кинематограф «Триумф» показывает ей свой экран, обложенный известкой, как белый нездоровый язык.

Под сенью рынка, злобно и мелочно торгующего в тени трехэтажного кооператива (кстати, лучшего на всем северном Урале), мирно пасется стадо коз и хрюкают свиньи.

Низкие облака идут домой с утренней смены, не успев смыть угольной пыли с лица. Стоя среди мусора и ухабов, стальной гриб водокачки хмуро отмечает их приход. Брезгливо отступив на несколько верст от этой грязи и суеты, покоится Урал, пологий, синий и седой.

Тревога в конторе, тревога.

Старший бухгалтер с видом спокойной безнадежности (папки его подтянуты как пустой живот) толкает упирающуюся дверь Ивана Дианыча.

— Денег? Слава богу, пятьдесят рублей в кооперативе одолжили. Живем, ничего.

Осаждают Мыльникова: хоть два рубля в счет майской получки...

К широкой кисти листопрокатчика приделана крошечная рука, которая выступает, как взволнованный свидетель.

— Что было, то я проел. Дети голодом сидят. Думаю, развернуться как-нибудь из положения можно же? — Рука делает несколько беспокойных движений над письменным столом.

Денег нет. Как-то этот разговор кончается.

Но телефон: жестепрокатный цех бузит!

— Завком? Кильдебаков?

Иван Дианыч держит трубку, повернув боком широкий ломоть загорелой шеи, свою круглую деловитую голову с хитрым мягким носом. Ах, лукав этот Дианыч, и осторожен, и настойчив, хоть губы у него от улыбки гнутся концами вверх, как хорошие стальные коньки для фигурного катания. Башковитый мужик, говорят рабочие.

Из окна видно: люди бегут к жестепрокатному. Женщины связанными, маленькими шагами, — по шпалам, мужчины — через рельсы и лужи, не разбирая, с руками, глубоко засунутыми в карманы. Грязное, мокрое, скверное утро. Что же, жестепрокатный так жестепрокатный.

Рост человеческий измеряется шириной плеч, мощь завода — работой его основных цехов: доменного, мартена и прокатного.

При Колчаке Лысьва потеряла много людей и похоронила две мартеновские печи. Людей положили в братскую могилу, станки удалось спасти, — их нашли под откосами, далеко от завода, и вернули в родные цеха, — но печи погибли. Зрелище величайшей печали: в самом сердце живого завода — бескрышные стены, груды лома, обломки погибших машин, среди которых пробивается трава и осмеливаются расти какие-то жалкие полевые цветки. Между развалин лазит Герин — инженер, в неизменной кепке, с навостренными ушами, серо-коричневый в своем плаще, как умное насекомое, окрашенное под цвет ржавого железного листа, по которому ползает. Все они тут гуляют — от директора до ученика фабзавуча — по этому угрюмому пустырю, одержимые горячкой восстановления. Иван Дианыч (улыбка — полукруг вниз, концы вверх), любовно осмотрев машинное кладбище, предается вслух необузданным мечтам:

— Третью печь пустим еще в этом году. Спрос на нас есть... Потом сломаем весь этот балаган, правый конец восстановим, крышу...

Возле здоровых печей, из которых только что выдоили парное железное молоко, дымится толпа изложниц, с их оттопыренными железными ушами, надерганными рукой подъемного крана. Жар вибрирует над грудами шлака, к которому рабочие успели примостить свой чайничек. Кран бегает далеко, в другом конце этого длинного зала, над которым еще не целиком восстановлена крыша. Скрежеща, он снует высоко под потолком, похожий на исполинский челнок, пробующий заткать его пробоину.

У номера второго идет завалка. Печной приоткрывает дверцу, и рабочие как бы сами бросаются в огонь вслед за лопатой, нагруженной железными отбросами. Они откатываются, ослепленные, с пылающим лбом, с соленым вкусом пота на губах. Старинный, варварский, давно вышедший из употребления способ работы, от которого мы по бедности пока не смеем отказаться. Белокурый крепкий человек отнимает руку от глаз, вскипевших на этом жаре, как яйца, брошенные в самовар. Его рыцарская рукавица, отдыхающая на лопате, дрожит. Это Ермаков, Александр Терентьич, построивший печи двадцать восемь лет тому назад. Только раз за всю жизнь уходил он от них — с Красной, в восемнадцатом году — и уж от Вятки шел обратно отбивать у белых эти четыре пещеры мартена, которые нянчил в дни их недолгого машинного детства, на которых сжег три четверти своей жизни. Но невредимыми застал только две.

Сутунка занимает целый дом. Это — длинная, злая гадина, плоский огненный солитер, который без конца проходит через стан, становясь все длиннее, тоньше и раздраженнее. Она летит через весь цех, приподняв шею, цепляясь за все шероховатости пола своим телом червя, подтягивая хвост к голове и свиваясь золотыми петлями. Ее тащат щипцами сперва обратно в стан, потом через все здание к стальным валам, вделанным в пол и образующим как бы ручей, которым распаленная сутунка плывет к резцу. Ножницы откусывают от нее кусок за куском, медленно втягивая в рот длинное тело горячей змеи. Один из рабочих скользит, но ставит свое тело на ноги судорожным напряжением мускулов, извернувшись, как кошка, выброшенная из окна. Падение — смерть. Замедление — смерть. Неловкость — смерть. Этот цех приговаривает только к высшей мере наказания. У ме-

талла, извивающегося в 800° жару, нет оттенков; у него один цвет — цвет ожога. Но высшее мастерство возвращает людям беззаботность. Они неторопливы, уверенны, сдержанны и только никогда не опаздывают. Каждый делает свое — перескакивает через красное железо, чтобы взять его за шиворот и послать двадцатипудовую ленту в машину, как летом бросают в реку большого ленивого пса; схватывает сутунку и подтягивает ее к ножницам, причем пылающее железо тащится сзади, обнюхивая дырявые легонькие лапти, бегущие перед самым его носом. Но все вместе связаны, как волокна провода, по которому бежит трудовой ток. При размеренности всех движений, которая чужому может показаться сонливой, рабочие все время напряженно наблюдают друг за другом, и именно в решающую минуту — не раньше и не позже — чья-нибудь рука непременно разделит тяжесть, отведет огонь, предотвратит удар.

Через год вместо двух станов будет три.

ЖЕЛЕЗОПРОКАТНЫЙ И ЖЕСТЕОТДЕЛОЧНЫЙ

Сперва — как он вообще выглядит, этот великолепный и мучительный цех, где люди всего искуснее над грязными шумными машинами с вонючим дыханием и никогда не мытым черным ртом, с ядовитым пóтом, выступающим на чугуне и стали. Цех — колесо.

Первый из огромных маховиков стоит возле входа, за двумя станками, из которых один работает, второй, разобранный, пустует. Со своими четырьмя короткими столбами он напоминает допотопную могилу.

Второе колесо в сумраке паров, плывущих от прокатных станов. В грохоте трудового дня он порождает странную иллюзию сырого вечера, ползущего с болот, туманного и густого. В неопределенном мерцании испарений вращается медленное и бесшумное колесо нажима. Может быть, у него тоже есть свой голос, но в шуме этого цеха он тонет, как скрип штурвала на корабле, когда с людоедским лязгом развертывается и падает якорная цепь.

Великолепная артель у этих станов. Крупные, сильные люди, достигшие полного расцвета всех своих сил, почти все выше среднего роста и той мускульной стройности, которую машина воспитывает в своих прибли-

женных. Старший дублировщик отдыхает, поставив на пустой ящик свой железный сапог, которым во время работы прижимает к полу горячую жесть. Белокурый его лоб, наполовину прикрытый черной, без козырька, шапочкой, истекает пóтом. Едва слышен голос, высыхающий в шуме, как капли воды, которыми обрызгивают воспаленные суставы машин.

— За смену пропускаю от восьмисот до тысячи пудов, маломерки до четырех тысяч.

— Сколько?

Ветриков кричит прямо в ухо:

— Рубль шестнадцать за смену.

От его рубахи, покрытой широкими мокрыми пролежнями, исходит запах, как от железа во время химических реакций. У стана — катальщик Кураев, один из превосходнейших рабочих этого цеха. Легкий стук его клещей о металлический пол заставляет поторопиться замешкавшегося печного. Его белые лапти и онучи (белая крестьянская береза в рабочем лесу) осторожно избегают летящих навстречу тетрадок красной жести. Кураев отрывает от поданной стопы первый лист. Это — уже совершенство движений: искры едва успевают золотиться и потухнуть на куске металла, с бешеной скоростью вылетающем из машины и отбрасываемом назад, под валы, этим бойцам с расстегнутой грудью, в валенках и старой красноармейской шапке, сдвинутой на затылок. Через мгновение он висит на рычаге, меняя степень нажима, и рвет его, как медведь дерево. К концу своих тридцати минут, после которых его заступает Ветриков, Кураев течет, как в бане. Одна рука в кожаной рукавице неколебимо тверда на клещах, но другая, обнаженная, желтея, как и залитое водой лицо, начинает медлить и дрожать. Машина, как наглый курильщик, обдает его голову облаком горького пара, и коммунист, доброволец восемнадцатого года, хрипит среди хрипа, скрежещет среди скрежета, кричит вместе с кричащей жестью:

— Нет, лучше на фронте, чем здесь гореть...

Но это — только минута, только один из молниеносных оборотов машины, одно из слов, неразличимых в победоносном вопле металла. Пусть только посмеет частица, пушинка какая-нибудь приклеиться к оголенному

листу, Кураев смахнет ее беззаботным движением руки, едва защищенной рваной перчаткой.

Бешеное умножение продолжается. Каждая раскатанная полоса складывается пополам. Из одной — две, из двух — четыре, из четырех — шестнадцать. И после каждой прокатки, как после допроса, остывающий металл возвращают в печь на пытку, и после каждого нагрева машина вынуждает у него все новые и новые уступки. Там, где уже абсолютно нечем дышать; среди яда и грохота, между кипами готовой жести, на которые из станов наслаиваются все новые листы; между умалишенной каруселью маховика и мостовым краном, покачивающимся над этой преисподней, как пьяный гигант, к стене прибит белый листок: «Помните о Ленине».

Горизонт здания теряется в тумане угольных испарений. Как бы надвигается ночь, озаренная кострами, на которых кипит масло.

Прокатка кровельного: очаги с железными бровями, низко надвинутыми на глаза из темно-красного пламени. Колесо и кран. Толпа рабочих ведет 250-пудовую вагонетку, как конюха — горячую лошадь.

Палкин — уполномоченный цехом. Коммунист. Короткий, узкий нос, сточенный, как напильник. Круто сломанная кость подбородка, опаленная кожа со свежими следами ожогов. Усы над верхней губой, рыжеватые, как окалина на металле. На ходу он дожевывает хлеб, переступая с лаптя на лапоть, и неспокойно трогает рукой фартук в дырах.

— Мастер не годится. Мастер груб и незнающ. Вон, вон, вон!

— А кого ты мне дашь?

Хитрый мягкий нос Дианыча в полном соответствии с его круглой шапочкой. Но Палкин понимает все тонкости: слабого на это место поставить нельзя. Между двух грохотов они договариваются. Над рулями нажима, едва их не задевая, проносятся краны, неся охапки готового кровельного. На одном из них в свое время потел, нацеливаясь на жирные болванки, этот самый Иван Дианыч, ныне директор Лысьвенского завода.

Рядом с прокаткой чистая комната паровой машины. Сюда сбежала и спряталась тишина. Здесь отчаянные люди, ведущие огромный завод без гроша в кармане (о

деньгами каждый дурак справится), с великолепной наглостью обсуждают вопрос скорой электрификации.

Но еще три строки о жести, чтобы кончить беглый очерк этих цехов, составляющих мощь производства и почти одновременно заболевших острой лихорадкой недовольства, вызванного снижением зарплаты.

Итак, жесть. Она еще раз возвращается в тяжкий, мутный огонь обжигательных печей, выходя из него с просветом на середине каждого листа. Обугленные края чернеют вокруг неопределенного серебристого изображения, которое металл вынес из пламени и не сумел сохранить.

В отделку!

Товарищ Шадрин, с умным маленьким личиком стареющего рабочего, сидит на табуретке перед валами и, как кассир, считающий деньги, бросает в машину одну железную бумажку за другой. Он работает с необычайной быстротой, от времени до времени прерываемой дымным кашлем.

— Сижу здесь с четырнадцати лет. Раз, раз, раз,— летят подачки, но сколько ни бросай застановщик, он всегда останется у машины в долгу.

Своими раздутыми масленистыми губами негра вал с неутомимою жадностью глотает железо.

— Ранен был три раза, вернулся домой в семнадцатом, в гражданскую в мае пошел стрелять и стрелял до самого двадцать первого.

Кашель. Клубок гари, выброшенный машиной, рассеивается. Шадрин затирает угольный плевок.

— Хотя месяц в развитие получаю, то сразу мне легче. Пора переходить на другую работу. Горшков, делай!

Горшков — комсомолец, бравший Пермь и Омск, многие города уральские бравший, повисает на стволе, регулирующем наводку валов. У него крупное лицо, выпуклые губы, глаза без тени, большие прямые руки. Весь человек вообще сосновой прямизны.

— Партия? Всяка работа проделанная доказала, что при наличии большинства в нашей партии нам будет лучше жить. Потом Ленин сделал призыв.

Товарищ Шадрин за смену прогоняет через стан тысячу пудов железа. У него двое детей, и он получает за день 93 копейки, считая, конечно, приработку. Но ведь

с ней так: чуть возрастет производительность труда, норма повышается, закрепляя за собой завоеванный уровень. Сверхурочное становится обязательным, а надбавка забирается куда-то еще ближе к пределу человеческих сил.

Но скорее назад, в жестепрокатный цех. Там работы уже остановлены, и началось общее собрание.

Кто хочет видеть завоевания великой революции, пусть пойдет в завод в дни беспорядка: не в мирные трудовые недели, а именно в часы, отмеченные в трудовом календаре бузой, волынкой, или как ее еще называют. При первых признаках возбуждения, овладевающего фабрикой, ее хозяева во всем мире посылают за солдатами. Через окно, у которого председатель фабзавкома сейчас наблюдает беготню лысьвенских рабочих, когда-то наблюдали ее старые инженеры, с перекошенным лицом вися на телефоне, проволока которого на другом конце была намотана на казацкую шашку.

Правда, товарищ Маслянников (профсоюз) не совсем спокоен. У товарища Кильдебакова (завком) вид человека, разорванного пополам распрей рабочего с рабочим государством. Дианыч пока что усмехается, — рогульки его улыбки кверху. В жестепрокатном станы уже стали. Стало колесо и не дышит. — совершенно мертвая вещь, ни в одном атоме не сохранившая следа своего бесконечного кружения.

Начинает директор — о валах, приходящих в негодность.

— Что ни валок, то женский род. Не успеешь оглянуться, а он уже с трещиной.

О том, что новые заказаны и идут в Лысьву; что мастер при них будет знающий, выписанный из Чехословакии; что профессор Пыжнов — превосходный специалист и враз сэкономил заводу 1500 пудов мартеновских слитков — все эти рассуждения перелистываются, как предисловие: умное, но никем не читаемое. Рабочие ждут паузы, чтобы начать молотить.

Рваное пальто и шапка в пятнах, сидящие высоко на колесе, дают вопросу ту логически нелепую и вместе с тем единственно правильную формулировку, в которой он и должен обсуждаться.

— Вот у нас жалованье сбавили, а работы, между прочим, прибавили.

— Мало жалованья? Хотите опять получать миллиарды?

Это тоже нелогично. Никакого прямого отношения к делу не имеет, — но под ложечку.

— Если теперь полетит он (рубль), мы не удержимся.

Дуновение задумчивости и ответственности. Как столб, вбита отправная точка. Положение, из которого все исходят, которое никем, никак, ни при каких условиях не оспаривается. Краткая социальная аксиома: власть советская должна быть.

Прислонившись спиной к этому крупному колу, Дианыч наглеет. Задевает больные струны — конкуренцию с Югом, притязания далекого северного соперника — Гужона — на более низкую себестоимость. Этого не надо было говорить. Спор вспыхивает снова, пока на частностях.

— А лесничим сбавили?

— Сбавили. Долго я пыхтел над ними!

Дианыч думает, что отделается лесничими. Ну, нет. Шутки в сторону.

— А почему в Англии продукт производства дешевле, а зарплата выше?

Внимание. Колеблется синий чад. Крупные снежинки сажи садятся на лица.

— Эдаких надо маленько счистить!

— У нас в литейном техноруки — руки в брюки. Десятками ходят...

— Один стан шлепал без спеца, — ничего, не хуже других.

Опять голос, ведущий к колдоговору, сегодня перезаключаемому на самых невыгодных для рабочих условиях.

— Своих-то не надо давить!

— Ставки сбавили, а цены на продукт подымаются.

— Рабочие усердием свое возьмут, а еще не сбавлять! У нас и так руки опали.

Глубокая горечь прорывается наружу, упреки справедливые, на которые трудно отвечать. Дианыч барахтается. Но из рядов ему — беспощадно и высокомерно:

— Ты записываешь на бумажку, а у меня в башке все избито, — а то бы я тебе накрутил...

Сзади — вздорно и запальчиво:

— На одии стол по одиому спецу.

— Врешь, я сейчас одии иа три стола сижу. Потвоему, так иабавить придется. Нет, милый.

— В потолке-то избито да измучеио. Ои вои как заливает. Почему десятиик семьдесят рублей получает, а который человек горит, — убавили?

— Несогласиы иа ваш договор, не хотим! Вон!

Чериым лесом стоит иегодоваиие. Смотри, Диаиыч, дальше иельзя, — иазад. Круглая голая голова все еще посмеивается, ио глаза виимательио ловят каждый бросок. Привык мальчишкой бегать среди горячих листов, ие обжигая пяток.

Уступка.

— Мастер, можем мы обойтись без десятииков?

— Давай цифры!

Их зачитывают.

«Маломер: 1020 листов — семиадцать рублей сорок восемь копеек; 1100 листов — двадцать три рубля десять копеек; 752 листа — одиииадцать рублей одна копейка».

— А где артель Сухаиова?.. Где три рубля, так иам ее ие иадо?

Накоиец буря разражается.

— Недопустимо! Сбавили полцеиы!

— Завком, что смотришь?

Товарищ Кильдебаков стоит, как после потасовки, в своей избитой кепке.

— Мы, как добросовестиые граждаие, подияли производство. Нельзя оплату трогать! Несправедливо! Коекак домой дойдешь, — рубаха пополам трескается.

— Крупчатка была два рубля сорок копеек, а теперь три рубля пятьдесят копеек.

— Зачем иам союз? Ои с иами должен идти, а играет с администрацией. Глаза завешали!

У Дианыча даже иос иесколько иабок покривился.

Раздосадоваииый каталь, сидя высоко на машине, встает, и, потягиваясь по-медвежьи, когтит рукавичные угольиые лапы иа ближайшей балке. Его спииа, стяиутая кожаиым кушаком, выражает избыток силы и усталости. Наверху, иа плече молчащей машины, три пробуждеииых раба Микеланджело, подперев голову, слушают с леииво курящимися папиросами. Миого кричит старик: борода — уголь пополам с седой рудой. Круглое

злое лицо, которым он лягается, как копытом. Полосатый кафтан, как-то равномерно загрязненный.

— А когда мы вас перевыбирать будем? Два месяца как в ленинский набор вошли, а ни до чего еще не допущены. У нас есть кого посадить. Мужики с головами. А этих старых заправил назад к молоту, тогда запросят прибавы, пойдут с нами в одно.

— Нехорошо, видно. Сам жмурится, стыдно глазам-то.

— Стачку!

— Валки новые без рук работать не будут.

— Стачку! Угрожаете закрыть завод, — нет, рабочие никогда не позволят!

Сверху, с колеса, шапочка без козырька и меховой кочковатый воротник в третий раз подымает общее над частным. В третий раз люди, бросаясь за этим спокойным и негромким голосом, натыкаются на светлую, стеклянную стену ответственности.

— Тяжело будет перенести рабочему классу! — Этими пятью словами колдоговор, пожалуй, уже принят. Приняты многие месяцы удвоенного труда, бурных жениных попреков, тяжелой зимы и возрастающей цифры долгов. — Тяжело будет перенести рабочему классу! — Это значит: помните, ни одного лишнего дня этой тягости, ни одной копейки, отнятой здесь и отданной на ненужное. Берите, но не забывайте, чего стоит каждый день и час неслыханных тарифов. Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, всей этой стае мелких цифр, накладных расходов, обременяющих каждый пуд угля и руды, ложащихся непосильной ношей на всякую лысьвенскую ложку и плошку.

Прекрасная речь Маслянникова. Все, что можно сказать в защиту настоящего — во имя будущего. Его слушают и на него смотрят. На кожаную фуражку, отливающую металлом, на черную рубаху с белой пуговкой у ворота, на высокие сапоги горняка — эту военную форму заводского Урала, какую-то, черт ее знает, неподкупную, что ли, негнущуюся, строгую. При виде ее всегда вспоминается или фронт — годы кожаных курток, или вход в шахту — черную, как нёбо у злых собак.

Если судить по ругани и крику, — буза еще продолжается.

— Народ обессилеет и не станет работать!

Но до сих пор не видно было всего цеха, безмерно большого, налитого испарениями, туманом, синеватой пустотой. Теперь он вдруг есть. Скорлупа неудовольствия и нервного внимания, отделявшая собрание от всего остального, разжалась, перестала быть. Дымом уходит в дым, в курящееся ничто. Шум проснувшихся забот разнимает последние паутины. В резолюции... принять, но просить через фабзавком...

Пожилой рабочий, утомленный стоянием, направляется к своему станку. У него на голове дырявый котелок. Крыша цеха тоже дырявая, — еще не смогли починить.

Разряды полетели, прибавочные полетели, спецодежда, масло в цехах, вредных для здоровья, — все сдвинулось и переползло на ступень ниже. Колдоговор! Основные цеха взволновались. Что же говорить о механическом заводе (посудном), где вся работа делается бабьими руками и притом по самым низким разрядам, от первого до пятого.

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Рано, часов семь. В эмалировочном сухо и тепло. Жар равномерно разлит по всему светлому, просторному зданию. Не сразу почувствуешь его страшный гнет, который сперва ложится на плечи, как хорошо слаженный удобный ранец. Горячий пол очень постепенно разогревает подошвы, пока во всем теле не разольется горячая усталость, готовая к каждому столу прислонить тяжелую глиняную голову. Только бы уснуть!

Между тем труд здесь непрерывен, мелочен и заботлив. Посуда, такая ленивая, такая склонная к стоянию на одном месте, — уже на полках для просушки, усаживающаяся, как в буфете, какими-то оседлыми рядами, — требует от рабочих большой подвижности и внимания. Беготня с ней. Стоя лицом к особому умывальнику, прижав живот в отсырелом переднике к его краю, макальщица в течение восьми часов опускает в густую эмаль кастрюльки, горшки, тарелки, миски, ложки, все эти обыденнейшие вещи (у всякого они есть, и никто их не замечает, как прислугу), которые не хотят войти в долгую кухонную жизнь без белой подкладки, без этого ослепительно чистого передничка, выдаваемого чернора-

бочей посуде один раз — и на всю жизнь — в день ее скромного рождения. Восемь часов подряд макальщица сажает в эмалевую ванну тяжелые и легкие предметы, бережно и осторожно, как грудных детей, чтобы они не глотнули воды. Затем в течение двадцати, пятнадцати секунд трясет влажную посуду, одной рукой опираясь на косяк или придерживая тяжесть щипцами, тряся, размахивая и переворачивая ее в воздухе, пока синее платье и белый фартук, которыми одета новая вещь, не растекутся равномерно по ее пузатому телу и не подсохнут. Все эти маленькие, на вид такие тщедушные, а на самом деле неутомимые женщины ругаются на чем свет стоит. Мало того что зарплату уменьшили, — еще и фартуки отобрали. Хуже, чем отобрали. Макальщицам, работа которых несколько чище, чем у их помощниц, прижимающих мокрые горшки к груди и бедрам, — им спецодежду оставили, как знак отличия, как привилегию за тяжелый и квалифицированный труд, разламывающий плечи, поливающий ноги огнем, который едва затихает к утру, после нескольких часов неутолительного сна. И вот между мастерицами и помощницами возгорелась гражданская война. Обтиральщицы ходят сердитые, нетерпеливо подняв на плечо доску, уставленную сырой посудой, уперев руки в бок, бранчливо шлепая босыми ногами.

На Шурочку — свой фабзавком — только фыркают. С Кильдебаковым разговаривают воинственно, но он им отвечает с той щепоткой насмешки и превосходства, на которую так обижаются женщины и которую втайне любят. Одним словом — как мужчина.

Они ему:

— Должны постараться вы. Мыла нет. Эмаль самая едучая, садится прямо на тело. В баню придешь, как шкурка снимается.

— Поневоле из газеты вычтешься...

— Нигде леготы не видно!

Но едва Маслянников или Кильдебаков за дверь — Шурочку на клочки:

— Мыла! Спецодежды! Слишком хладнокровное отношение, — не знаем, сколько зарабатываем. Пятнадцатиминутный перерыв на обед, так что и ноги не успевают отомлеть!

Делегатка им:

— Вы упрек зачем на меня накалываете? Я тут ни при чем.

— А мы, может, сердце отводим.

— Да, на завком не можете горе изъять, так на меня!..

— Ты мимо меня ходишь, я к тебе по-соседски и подступаюсь.

К жалобам женщин, особенно этого цеха, относятся не очень серьезно. Между тем даже старая макальщица, на месте которой не каждый мужчина выдержит, получает по пятому-шестому разряду.

— Эх, бабы!

У печного волочащийся гладкий шаг, и развинченной грации, с которой он подталкивает к печи и вынимает из нее противень, уставленный шаткой посудой как бирюльками, — дивится весь цех. Обе смены жмутся около него, приходя и уходя с работы, — якобы с жалобами.

Красавец щурится, свистит и всех выслушивает:

— Эх, вы, яги!

ЦЕХ ШТАМПОВАЛЬНЫЙ

холоден, шумен и черен. Сквозные двери его длинного сарая стоят открытыми друг против друга. Между ними — сквозняк и рельсовая дорожка, та самая, которая в 1905 году стоила рабочим бурной забастовки и устройства которой вынудили у господ Шереметевых неделями ожесточенной и победоносной борьбы. Справа и слева от прохода скользящие ремни льют водопады сил на сотню станков, придающих грубым горшкам их форму. Станок почти бесшумно берет вещь в работу. Встретив сопротивление ее шершавых боков, он сдирает с них грубую кожу и взвизгивает только тогда, когда готовая штука сваливается в корзину.

Вдоль окон сидят женщины. Машины, которыми они пришивают ручки к чайникам, чашкам и горшкам, очень напоминают швейную. Только вместо нитки строчит огонь, вместо иглы — толстый металлический палец, каждое прикосновение которого сваривает металлы.

Товарищ Шилова работает у своего аппарата семь лет. Семь лет — много или мало? Лучшие годы жизни, всю молодость, все, что человеческая жизнь может вложить в семь весен, в семь зим — любви — удач — потерь,

Семь лет на то, чтобы пришить миллионы ручек к миллионам сковород и ночных горшков. Искры летят на ее суровый фартук, платок и маленькие руки. Товарищ Шилова сидит на чугунном табурете, который трясется, как лафет пушки во время пальбы, и с годами вызывает какую-то сложную женскую болезнь. За смену, за каждую тысячу штук получает 85 копеек.

— Если быстро натужиться, наработаешь. А если с отдыхом, — а он нужен, понимаешь, маковка, нужен, — то и не наработаешь. Но у нас несравнительно — нельзя замедляться.

Машина неистовствует, каждое прикосновение — ожог и блеск отдаленной зарницы на грязной стене.

— Эх, горит на нас все.

Товарищ Мушкина — мужественная женщина. В ее лице цех сработал себе тонкого, стройного человека, со станом и грудью восемнадцатилетнего мальчика. Одна из немногих, несмотря ни на какие сокращения, не отказавшихся от выписки газет, за которые платит 2 руб. 30 коп. Шьет чайники.

— Через великую силу гнешь их больше тысячи. Нет, Марусенька, на крупной посуде никак не можно!

Все эти станки — аристократы машинного царства. Стоя на месте, они не связаны в своих движениях, разнообразных, как движения рук. Возле них штамповальная — груба, настойчива и монотонна, как дикарь, закрепощенный фабрикой. Ничего не видя, ничего не понимая, она с животной страстностью наносит свои удары, придавая железным кускам смысл и форму жизни. Она сидит на корточках, как первобытный гончар, и с шумом сбрасывает со своих колен черную, тяжелую посуду.

Кривой, оборванный человечек в лаптях и старой кофте послушно кормит ее железными лепешками.

— Нет, — говорит, — в партию нам рано. Пусть жисть вперед покажет.

И, недоброжелательный, жует трубку, как корешок.

— А вы, товарищ?

Прерываемый громом молота, припадающего к куску железа, отданного в его власть, заугленный человечек произносит великие имена:

— ...но их окружили под Октюбой — сорок тысяч казаков пошло в плен.

Освобожденный из колчаковской тюрьмы, воевал он, Секирин, в Грузии. Коренной вотяк, старая узловатая коряга, выкорчеванная революцией из северных болот, он подводил под республику мятежный Дагестан. Тверскому, говорит, отряду мы сделали пересечку и крепость Гуниб ходили выручать — и выручили. Двадцать второго года сделалась демобилизация. Теперь жена, трое детей и жалованье в месяц идет по пятому разряду — 17 руб. (с премиальными до 30).

— Ну, брат, останавливай, надо направить!

Штамп в последний раз с неукоснительной силой опускается на кусок подставленного железа и, помедлив, его отпускает. Тарелочка со звоном скатывается в корзину, помеченная его варварским поцелуем.

Не всякая усталость горит гневом и дымит словами. Человек с плечами, раздавленными трудом, может вдруг опустить все ветки, стать тяжелым, залиться печалью, как водой. Ядовитые цеха — без них не обойтись. Как ни механизирован труд, — кто-то должен дышать серой, стоять в лужах, в течение двух часов разъедающих подошвы, должен присутствовать при купании жести, переходящей из ванны в ванну. Наука говорит: самое большее — три года, четыре. Больше человеческие легкие выдержать не могут. Но там, где статистика ставит многоточие и подводит итоги, вовсе не пустой лист бумаги, а живая жизнь людей, даже не подозревающих о каком-то роковом пределе и мирно продолжающих дышать желтым ядом четыре, пять, сколько придется лет. Этот труд, как и всякий другой, оплачивается по ставкам, повысить которые сейчас невозможно. Отнято масло, являющееся единственным, хотя и не очень сильным противоядием, разряды урезаны. Как ни странно, но в этих цехах, самых тягостных, новый колдоговор прошел как-то менее шумно. Есть предел, за которым притупляется чувствительность. Сквозь облако пара, вызывающего кровотечение из носу и острую боль в сердце, жизнь должна выглядеть совсем не по-нашему. Сера и олово делают все относительным, разоружают волю к борьбе. Головокружение, такое мучительное вначале, превращается в однообразное и привычное опьянение.

Пощады этим цехам! Они первые должны быть открыты воздуху и свету. Им самое солнечное окно, самый

сильный поток свежего воздуха в новой, будущей фабрике. А пока эти жизни донашиваются, как старое платье. Его уже нечего беречь, в праздник никто не наденет, а на каждый день еще хватит.

Ни людям, ни даже металлу воздух круглой залы, прикрытой влажным куполом, не проходит даром. Подъемник двумя руками купает жесть в горячей сере и воде. После ванны — проползание через горячее олово, из которого она выходит блестящей, красивой и мертвой, а люди — с розовыми пятнами на скулах, с волосами, склеенными потной слюной. Последнее превращение — апофеоз металла, наглого и дешевого, созданного для консервных банок, грошовых игрушек и ложек, дерущих рот в бесплатных больницах.

Проходя через алебастр и опилки, он попадает в быстрые руки товарища Горбуновой, которая на минуту превращает жесть в царственные зеркала. Первое, что кусок видит, — это белый платок, бесподобные брови и плечи женщины.

Но ведь жесть мертвая и ничего не понимает.

Если муж был красноармеец; если он убит в гражданскую войну; если после него осталось двое детей; если в день зарабатываешь 60 коп.; если фартук на животе промок и сгорел на сере; если стоишь чистильщицей в ожигательном цеху, то есть вылавливаешь из бака с кислотой всякую посуду, чистишь ее песком, опять окунаешь в воду, опять чистишь, так что из-под ногтей кровь идет, несмотря на резиновые соски; если весь день дышишь густой и зловредной вонью и стараешься при этом так себе, не очень (кто же станет особенно стараться на этой однообразной, мокрой, глупой, бабьей работе?); если в цех ходит комиссия, справедливо доказывая, что при всем напряжении своих сил чистильщица Сорокина могла бы за свои 60 коп. пропустить еще несколько сот горшков; если при этом сама Сорокина вошла в ленинский набор и отлично понимает, что отдать надо, но все-таки бережет и жалеет какую-то крупицу своих сил, — из чувства самосохранения спрятанную в ее мускулах и костях на черный день, на случай крайней нужды и болезни, — понятно, что лицо у Сорокиной отнюдь не веселое, а от вечных комиссий в душе стукают друг о друга бешеные крышки кастрюлек. Кто с ней ведет переговоры?

Переговоры ведет Балкова, уполномоченная цехом. А кто такая товарищ Балкова? Это — человек небольшого роста, который питается одним хлебом, обмакнутым в помоеобразный кофе без ничего, цветет, как лето, носит набок свой черный платок, отчего имеет вид разумной зайчихи, с одним, несколько приподнятым ухом, а также пользуется доверием всего цеха.

Это — настоящая новая работница, с мужем и прежней семьей, оставшимися где-то на перекрестке исторических дорог, которыми прошли голод, тиф, Колчак и революция. Один из тех самостоятельных людей, которые без посторонней помощи нашли дорогу к партии и книгам, спокойно бедствуют, работают, делают жизнь своего цеха более выносимой и, не замечая, весело тащат на плечах большой и нужный кусок заводской жизни.

КЫТЛЫМ

(Платина)

I

Кытлым по-вотяцки значит котел. Он и есть котел, большая горная чаша, поставленная в вечные снега. Облака перелезают через его зубчатые стены, оставляя на них клочья своих пенистых, пышно взбитых подолов. Кроме туч, издавна ходили горами охотники — на пушнину, на медведя, на птицу. А впрочем — немного: из-за трудных дорог, из-за лесных пожаров, из-за помещика, ревниво оберегавшего свой кусок тундры. Какой прок в этом Воробьеве? Сидит он на земле, рядом с господином дю Парком, и воюет из-за дороги. Если, говорит, ты землевладелец и дворянин, — руби себе отдельную. Многие дни, таким образом, дворянин и кавалер проводил в кусту, поджидая дю-парковский бубенчик, вороную тройку и кузовок, чтобы всадить в него добрый заряд дроби, а промахнувшись по соседу, то хоть французова борзого кобеля, бегущего рядом с повозкой, хорошенько ошпарить. Со своей стороны дю Парк от кытлымской жизни очень уставал. Сидит, сидит в своем дому безвыездно и вдруг, обложившись подушками, нет-нет и пролетит по запретной воробьевской дороге, рыская по ухабам, надвинув на уши меховую вотяцкую шапку и защитив седалище особой периной. Однако пробивали сию перину дробинки господина Воробьева. Был он добрый охотник и свою амуницию лил в собственном дому из беловатого металла, в изобилии находившегося на пустырях, а

также во мшистом болоте, составлявшем большую часть его бесполезных угодий. Конечно, не сам же дворянин бегал по дебрям, собирая свое серебро не серебро, но раздавал мальчишкам по копейке, за что и наносили они его в помещичий дом кульками, из которых барыня большую часть на помойку приказывала выбрасывать. Не терпела сей домодельной дроби в супружеских карманах: будучи неблагороден, этот металл отличался чрезмерной тяжестью и самые прочные новые карманы в полдня продырявливал. Так или иначе, но воробьевская дробь была жестка, глаз же и рука метки, вследствие чего дю Парку действительно пришлось прорубить дорогу через непроходимое болото. Господин Воробьев все равно радовался, ибо француз денег на постройку пожалел, тонкий настил из бревен вскоре прогнил и обвалился. В первый же год один славный жеребец совершенно сломал себе левую переднюю ногу, провалившись в болото. В том же году приказчик господина Воробьева неожиданно скрылся, приобретя — по пьянству своему и невежеству — у крестьян мешок белой дроби за 50 коп. Дуракам счастье. Вскоре распространились слухи об его богатстве, приобретенном неизвестно каким образом. Жизнь в тайге еще года два мирно сосала свою медвежью лапу, пока вдруг господин Воробьев не совершил неслыханной сделки. За три рубля серебром приобрел он у охотника секрет. Первое: что металл, коим били искони рябчиков, а также тарантас и борзого кобеля соседа дю Парка, не что иное как чистая платина, белое золото, драгоценнейший из драгоценных металлов. И второе: во всех соседних ложка́х, на Северном и на Сосновке, где ни плюнь, везде лежат ее богатейшие россыпи. Со всех соседних гор пенистые речки сбегают в кытлымский котел, и каждая из них несет с собой платину, чтобы небрежно ее спрятать и забыть, кое-как прикрыв тонкой настилкой моха, забросив камнями или просто опустив на дно светлого ручья. Большие деньги дали Воробьеву англичане и французы за его голое каменье. Говорят, до пяти тысяч рублей наличными, квартиру с дровами, освещением и сухим отхожим местом, еще пожизненное обеспечение в виде должности «для особых поручений» при компании. Затем Кытлым, отгороженный от мира подоблачными горами, лесистый, болотный, трущобный Кытлым потряс мир славой своих

платиновых месторождений, легендой о богатствах, разбросанных на десятки верст, об этих речках, играющих миллионами, о болотах, на которых варвары стреляют диких уток пулями из чистого золота. Не чьи-нибудь, — всесильные уркартовские руки взялись за создание платинового королевства на Урале. Вошел в компанию и русский капитал, но в незначительном количестве. Ему милостиво было разрешено присоединиться к триумфальному шествию акционеров. Пять драг перевалило кытлымский перевал. Каждая из них стоила более трехсот тысяч золотом. Их везли медвежьими тропами, и железные фургоны на каждом шагу проваливались в трясину под неимоверною тяжестью двигателей, колес, ящиков и котлов.

Машины совершали свое путешествие с роскошью, которой прежде отличались только свадебные поезда мелких ангальтцербстских принцесс, ехавших к нам на царство откуда-нибудь — из Риги или Ревеля, в золотых каретах, с коленями, обернутыми собольим мехом, которого они в отечестве не видели, и с последними ценами на нюхательный табак, мясо и овощи, занесенными в девический дневник. Но шествие машин! Перед каждой повозкой по двести лошадей, а вечером лагерь, разбитый возчиками, напоминал привал странствующего Могола. Еще год спустя тайга горела на сотни верст кругом, запаленная часовыми, которые бросали в темноту горящие ветки, чтобы разогнать свой сгустившийся страх и мрак коротких волчьих ночей. В 1904 и 1905 годах компания начала высасывать из земли сказочные дивиденды. Чуть ли не в первый год окупились все машины, все расходы по доставке их в Россию. В то время как страна переживала свою первую революцию, — в год неслыханного финансового краха и полного развала всего хозяйства, — раз в неделю бешеная тройка неслась через тайгу, унося из Кытлыма его семидневную добычу — около миллиона рублей. Не этими ли легкими деньгами ссужала затем Европа наше императорское правительство, побиравшееся у ее дверей? Апогея своего хищническое хозяйство достигло в годы, предшествующие войне: 1912, 1913 и 1914. Буквально на кытлымские миллионы и миллиарды подготовлялась мировая война, за которую нам теперь предлагают заплатить еще раз. Добыча достигла фантастической цифры — двадцати-

двадцати одного пуда в год. Россия завоевала мировой рынок, доставляя 90% всей добываемой на земном шаре платины. Платиновый ливень становился все гуще, все тяжелей, все обильней. Опытные геологи произвели разведку соседних гор. И хотя результаты этих экскурсий хранились в величайшей тайне, слух о том, что все вокруг Кытлыма— и глина, и леса, и болота, и камень — все чистая платина, распространился очень скоро. Безумие овладело кругом. Открытие Тылая, Косьвы, Сосновки, Ободранного Ложкà быстро следуют друг за другом. Вокруг равномерно работающих драг садится армия старателей, варварски ковыряющих землю. Половина из них разоряется вдребезги, попадает в лапы скупщиков и полиции, пьет, режет, находит и, не имея средств, чтобы вести более тщательные работы, ревниво прячет свои находки, заваливая мохом и листвой одинокие шурфы, похожие на могилы. Однако не все, дышавшие воздухом платиновой лихорадки, становились ее жертвами. Россия в те годы уже была заражена ядом более сильным. Как ни пенился кытлымский котел, — в самом его сердце сидели люди, делавшие искательскую работу, как всякую другую, лишь бы купить на выручку кусок хлеба и несколько книг: на первых драгах, пущенных в ход компанией, работали, строили и учились будущие кытлымские партизаны, его комиссары и хозяйственники.

И наконец геолог Дитковский — большевик, которого компания спокойно посвящала в свои планы и открытия, не подозревая, конечно, что этот чудак, обуреваемый идеями социального равенства, — а впрочем, знающий специалист, — через каких-нибудь три года нанесет жестокий удар царственной концессии.

До сих пор иностранцы забыть не могут 1917 года. Такие прибыли! Такие перспективы! Благожелательное правительство, присущая колониальной России дешевизна рабочих рук, тайга и 500 рабочих, оторванных от мира, находящихся в полной власти предпринимателя. И вдруг — всему этому конец.

Зачем Колчаку было идти в Кытлым? мостить болота трупами, дышать гарью лесных пожаров, чувствовать со всех сторон уколы партизанщины, проваливаться в трясину со своими пушками и обозами? Но по полевому телеграфу, по стальной бечевке, висевшей от сосны к

сосне, из Парижа и Лондона шли длинные и повелительные приказы.

— Черт возьми, адмирал, для чего же мы вас нанимали?

Телеграф икал от иностранных слов, от этого взбешенного urgent, urgent, urgent, с которым Европа стремилась к серебристой платнне, мирно дремавшей в земле, под оборванным пологом из моха, хвои и снега. Пришпориваемые из-за границы белые в декабре 1918 года действительно приблизились к Кытлыму. Рабочим, осмелившимся на целый год лишить кучку иностранных проходимцев их сказочных барышей, был преподан жестокий урок. Расстреляли: Орехова, Сергеева, Иканина, Шумаева, Наймушина. Потом еще: Грибенкина, Ярославцева, Исмогиловых — отца и сына, молотобойца молодого Касаткина, Зенкова, пекаря Коробкова, Хомутого, Белоглазого, Дылдина, Новоселова, Старцева Александра, Крюкова слесаря, старателя Полозникова, Покрышкина, Рогачева, Мансурова, Сергеева Ванюшку и Колодкина. Видя такие расправы, народ приисковый озлобился и поднялся уходить. Тронулись целые горные села с детьми и скотом. Вся Сосновка встала, несмотря на зиму и лютый снег. Однако везти огромные обозы было нечем, содействия им дали всего пять лошадей, — кытлымцы сами запрягали. Семьи вернулись, мужики пошли. Тогда-то Дитковский и организовал свой отряд особого назначения. Правда, ребята у него были — рылокрылы. На все войско десять винтовок, остальные — без оружия, с одним лбом. Спустились в долину, но оказалось поздно, — пересекли их Соликамским трактом. Выход из котла закрылся. Пришлось зимой прямым сообщением идти по двухаршинному снегу. В связи с плохой дорогой отряд наполовину рассыпался. На Косьве, после встречи с первой дутовской разведкой, бросили обоз. Отряд разделился, конница и пехота по одной линии, а семнадцать человек с Дитковским — по другой. Рассказывает об этом товарищ Ермаков, рослый человек с круглой крепкой головой, обсыпанной белокурой стружкой: «Время вышло, где нам опять встретиться? Сажень за сто, однако, слышим — свищут пули. Продолжаем идти дальше, не замедляясь. Спутников никаких не попадается, и нас никто не достает. Снег. Лес. Съели лошадь. Снег оглубел. Поставили мы на месте

коней, которые дальше идти не могут. Остались при них старички. Сказал Дитковский Саканцеву: «Ты будешь начальник над этими лошадьми. Мы выберемся и за тобой прибудем». Заместо лошадки мы несколько обрубили. Лыжи натесали, сырые, но употребить можно. Пошло нас дальше тринадцать человек. Сам не знаю как, но идем. На шестые сутки слышу выстрелы. Все были в таком состоянии, что не понимают. А Дитковский: «Как хотишь, пулеметы трещат!» Ну, ладно. На это направление держимся. Еще сутки целые идем. Утром опять: слышим отлично. Идем, идем и на дорогу Молчановскую пересекаем. Тут уже лыжи к черту, а Дитковский опять нам дает направление: кто знает, дескать, кто здесь!

Вдруг стрельба на нас. Ребята от жалости плачут, а берут свои лыжи тяжелые. Однако слышим скрип. Идет обоз. Куда? В Косьву. Кому? Армии. Какой? Красной. Тогда он дал две буханки хлеба на тринадцать человек, но больше воспрепятствовал. Сажень не доходя, где их начальник был, Силин, разводящий, сообщает: «Так и так. Идет какой-то отряд». Встретили нас как следует. Пулеметы рассыпали, цепь. Видим, баба печку затопила — шаньки пекти. Пока Дитковский документ доказывал, пали на снег, огонька хорошего сделать не смеем, наклонились, на дыму греемся, черные все и страшные. Выходит начдив и кричит: «Тех-то давай». Подняли беспамятных. Врач им бульону вливал. Живое мясо, а не солдаты!»

Через год республика во второй и последний раз заняла Кытлымский прииск.

II

Процесс добывания платины безобразен, нелеп и возмутителен. Подумайте, тайгой, непроходимыми болотами и перевалами, в трущобы волокут великолепные машины. Водворяют их в горном котле, где десятки верст болотной грязи замешаны миллионами пудов камня. Посредине роют яму с грязной желтой водой, на которую спускается плавучая платформа. На этом плоту двухэтажная землечерпалка, приводимая в движение электричеством, со скрежетом и визгом пережевывает от 90 до 140 кубических сажен камня, грязи, мха, песка и воды, чтобы в конце концов оставить на влажном вой-

локе шлюзового отделения едва заметную горсточку металла. Драги скребут и глотают день и ночь, пожирают горы земли, обломки камня, деревья и рощи; вся долина превращается в кладбище ради нескольких крупиц, которые человечество почему-то решило считать драгоценными. Если на минуту забыть об этой относительной ценности, — создается картина сумасшедшей расточительности.

В стране, где производство страдает без электрификации, почти три тысячи киловатт брошены в болото, в яму, полную глины и помоев, зимою необитаемую, летом покрытую облаками и тучами комаров, вредную, холодную, обложенную вечными снегами. Целый материк пахотной земли ковыряется домодельными плугами, а пять гигантов, плавая в мутных ямах, как слабоумный в собственных испражнениях, перекапывают трясину с упрямством маниака, пожирая свои собственные берега и заваливая их за собой ровными грядами обглоданных, переваренных и изверженных наружу камней. При этом драги играют в какую-то странную игру. Окруженные с четырех сторон толщами болот, на сотни и тысячи верст обложенные землей, они на своих унылых лужах изображают мореплавание. Кричат голосами настоящих кораблей, бросают и выбирают якоря со своей палубы, которая мечется от берега к берегу, смотрят на сушу высокомерным капитанским мостиком. Серые широкоскулые черпаки непрерывно спускаются к воде, подняв на голову железный мокрый подол. У самой воды они приседают и, перекувырнувшись, ныряют с небольшим плеском. Неутомимые, упрямые стальные жабы, выплывающие на поверхность с полным ртом, набитым грязью и камнями. Собственно, вся драга состоит именно из этих черпаков и огромной металлической кишки, которую они набивают землей. Потоки воды с яростью хлещут навстречу каждому новому ковшу. Они обливают цилиндр, который медленно подставляет под душ свои дырявые бока. Песок, как сквозь сито, просеивается сквозь них на особые латки и под водой оседает на войлочных тюфяках. Пищевод драги, не торопясь, подталкивает камни к выходу, пока резиновый ремень не выносит их к берегу, длинный и узкий, как хвост, из-под которого сыплются съеденные драгой обломки гранита. Это тот же старинный золотоискательный станок, но

только в гигантских размерах. Горы земли перевариваются в брюхе драги, целая река выполаскивает из них несколько фунтов платины.

Отделение, в котором производится окончательная промывка, называется шлюзовым и от остальных работ ограждено решетками. Дверь на замке и под печатью. В конце каждой смены ее снимают. Контролер-коммунист садится на перекладину, над самым промывочным столом, свесив вниз непромокаемые ноги и руку положа на револьвер. Второй — у двери. Почти безлюдная драга наполняется рабочими. Артель, зашитая в брезент и кожу, как водолазы, входит в эту львиную клетку, в которую заперты всего-навсего невидимые, потерянные в грязи, платиновые зерна. Из мокрой водяной постели подымают засоренные тюфяки и окунают их лицом вниз, в главный бак. Вода бьет фонтанами и плюется пеной, пока крадут и перебирают ее жесткие одеяла, пока выбивают из них семена, оставленные рекой. Краны заперты, поперек желобов опущены заграждения. Водворилась бы тишина, если бы драга не продолжала работать с шумом землетрясения, если бы черпаки не ползли снизу вверх и сверху вниз, визжа и чавкая, как железные свиньи.

Лихорадка искателей бьет все отделение. Артель, сама не замечая, пьяна близостью воды, прикоснувшейся к золоту. Пьяна видом столов, с которых катится вода, унося легкие камни и оставляя тяжелую, непомерно тяжелую грязь. Пьяна вдребезги, скрытно, без вина, — угорела артель, как угорел весь Кытлым. Ведь все здесь запойно и неизлечимо трясутся старательской трясучкой. Коммунисты от нее обкладываются книгами, читают Ленина поздно ночью, после долгого рабочего дня, когда электрические аллеи Кытлыма блещут в трущобной уральской ночи; коммунисты глотают Ленина, как хину от лихорадки. Все больны. Крестьянин, пришедший на Кытлым ради высокой зарплаты, чтобы подработать на лошадь, на новую баню и плуг, и на другой год возвратившийся на прииски, сам не зная почему, притянутый платиновой похотью. И он пьян, и рабочий-коммунист, который был в государственном университете, блестяще учился, но, не имея средств для того, чтобы содержать свою семью, упал назад, в казарму, безнадежно, — и он тронут и навсегда помечен платиной.

И странный рабочий — не рабочий: или разжалованный за грехи чекист, или сосланный уголовник, ожесточенно заливающий горло горячим кирпичным чаем, желтым, как моча, и ковыряющий советскую власть с выдержанною злостью вычищенного, — и он принадлежит Кытлыму. И сотни рабочих, спящих на вонючих и клопиных нарах своих казарм оглушенным сном, поставив промокшие слюнявые сапоги на общую плиту, вытянувшись на своих досках, накрыв голову полушубком и выставив голые ноги, промороженные дражной водой, — и они все дышат платиной, из-за платины, ради платины. Кто же свободен от нее? Кроме небольшой кучки рабочих-коммунаров, которые спасаются, следя за великими мировыми событиями сквозь мутное и кривое стеклышко еженедельных докладов; кроме этих людей, которые со своих болот, со своих драг, за десять верст бегут на собрание ячейки, чтобы прочесть отчет областной конференции, этот единственный, для верности приделанный к столу экземпляр, кроме этих немногих людей, которых партия отвоевала у платины, — кто же еще свободен?

Может быть, только Гурьян Мальцев, старейший игрок и авантюрист Кытлыма. В шлюзовом отделении только он сохраняет спокойствие. Его нельзя не узнать: оттопыренные ночные уши и на влажном столе светлые, чувствительные руки игрока, осторожно и страстно перебирающие песок. Он один видит невидимую платину в куче грязи. Скребок его играет с необычайной смелостью. Вычесав последние камушки и бросив их течению, он вдруг весь остаток, все, что уцелело от бесконечной промывки, равнодушно размазывает по столу, дает слизать и унести воде. Потом щеткой, простой кухонной щеткой, чистит края своего латка, и осторожно, как белые кошки, его руки гонят серебряную мышь назад, под гладкий, мягкий, скользящий поток воды. Все еще платины не видно, а он с ней поступает все бережнее, играет с ней в воде, как с любовницей, щекочет ее, как ребенка, гонит и ловит, как дичь. Можно часами смотреть, — и вся артель смотрит как очарованная, — за этими удивительными пальцами, у которых изощренное осязание, как у десяти белых слепцов, бегающих без поводыря, как у десяти белоснежных гончих, идущих по следу серебряного оленя. Наконец он держит ее, платину,

и треплет ее, и рассыпает, как распущенные волосы. В воде собирается синевато-белая горка с тусклыми искрами. Она лежит спокойно, и никакое течение ее не унесет; тяжелая как железо, — еще тяжелее. Люди дрожат, когда контролер ее подбирает совком и сушит на огне и встряхивает, как лабазник муку.

Гурьяну же совершенно безразлично. У него бескорыстное лицо игрока без счастья, игрока, переставшего играть. Всю жизнь Мальцев искал платину и много ее находил. Мелочь он не трогал, за большую добычу схватывался с казной и оставлял у нее на зубах половину, а другую терял на следующей неудачной ставке. Мальцев бегал от огня и убегал. А это ведь совсем не легко.

Тайга горит вокруг Кытлыма ежегодно, — никто не знает отчего. Пожар бежит и возвращается. Объест сотню верст и без совести вдруг вернется, чтобы обрушить мачтовую сосну, чтобы сломить зеленые пальчики елки, клятвенно поднятые, хотя ноги ее в огне. Пожар — у него свои прихоти, как у зверя. Сегодня не тронет, а завтра задерет. Растянувшись на обгорелой земле, заложив руки под голову, он спокойно докуривает какой-нибудь ствол, искривленный, как трубку, и смотрит за своими детьми, за огненными белками, прыгающими по соседним верхушкам. Пропустит мимо пешехода и всадника на испуганной лошади, пропустит, — и дым его саженного чубука мирно плывет над спаленной тайгой. Но нельзя верить огню. Он — смерть. От ничего озляется и вдруг высовывает красное, чудовищно-злое лицо из ствола упавшей березы, из белого ствола, в котором копался целый день, пережидая дождика. Как матрос, бросается вверх по стволу, перебирая красными руками, чтобы поднять на верхушке и размотать по ветру свой длинный дымный флаг. Вокруг — побоище. Тысячи деревьев с обгорелым корнем, с ободранным стволом, охнув, падают поперек таежных тропинок. Есть леса, как едва зажившая рана, подернутая тонкой зеленой кожицей. Вместо старых сосен растет молодой лиственный лес. От времени до времени мертвые деревья издают скрипучий стон, — им падать. В память пережитого пожара лес разбрасывает маленьких черно-белых бабочек, черно-белых, как особые марки, изданные в память несчастья. У них крылья белее бересты и чернее угля. Такими ожившими лесами огонь овладевает с особенной

радостью. Он возвращается, как орда завоевателей в только что взятый, сожженный и покинутый город, чтобы переловить спасшихся, чтобы схватить беглецов, неосторожно вернувшихся на развалины. Он отыскивает свои старые стоянки, свои дозорные костры, поросшие розовым шиповником, места побоищ, где еще не успели сгнить гигантские остовы деревьев. Куропатка не уйдет, заяц не выскочит, лошадь не вынесет.

Гурьян видел пожары и уходил от пожаров. Ходил по платиновому следу, — и за ним ходили. Но в 1917 году, в революцию, его охватила великая тоска перемен. Старатель перестал быть старателем и пошел искать где лучше. Воевал, попал в Сибирь, ничего не нашел, оглох, вернулся. Может быть, старый охотник искал обновления жизни как случайности, как новой богатой россыпи. Копнул в одном месте человеческую породу, нарвался на грязь, на камень, на воду — и не стал искать дальше. Во всяком случае, к старательству Гурьян не вернулся. Революция оскопила платиновую лихорадку. Старик пришел и стал на советскую драгу. Его лицо игрока с совершенным спокойствием наклоняется над пенистой, влажной, взрытой постелью платины. Он берет ее бестрепетными руками, обнажает и моет, как новорожденную.

Около шестисот рабочих живет в Кытлыме, в его казармах, таких грязных, гнилых и тесных, что о них не хочется писать. 600 человек, отрезанных от мира, на иждивении дрянного кооператива, где нет ни крупчатки, ни изюма, но зато дамская пудра и краска для волос. 600 человек в горах, в болоте, на оглушительных драгах. 600 человек всегда мокрых и часто больных, ибо климат Кытлыма жесток и изменчив. Как же они?

Казармы тяжело ропщут, и нечего греха таить, — еще мало ропщут, потому что совершенно правы. Нельзя, невозможно держать рабочих в старых, от компании унаследованных бараках. Это значит сэкономить гроши и проделать такую контрреволюционную агитацию, какая не снилась никаким белогвардейцам. В двух шагах от казармы живет платиновый вор, старатель, заведомо накравший несколько фунтов, — живет чисто и светло, в каменном доме, ежедневно выпивает с семейством двух толстых коров, гонит бражку и тянет двухрядную гармонь. А рядом коммунист, партизан Дитков-

ского, умиравший с голоду, сидя на золоте, в 1920, 1921, 1922 годах, получивший суставной ревматизм или туберкулез на драге, мирно гниет в немыслимой казарме и не может себе наробить на избу. Леса горят кругом, на сотни верст, на миллионы рублей, не справляясь ни с какими разверстками Главлеса, а рабочий не может добиться бесплатного или очень дешевого теса на постройку.

Действительно, нелепость какая-то. Сидят люди в тайге, где деревья тысячами мрут от старости, где их рубить некому, некому с земли подбирать (так называемая очистка лесов, к которой мы пока только стремимся как к идеалу, состоит в том, что упавшее дерево очищается от ветвей для того, чтобы оно вплотную прилегало к земле и таким образом могло скорее сгнить), а рабочий забит в клопиную щель, потому что мы вдруг решили спасать подорванное революцией лесное хозяйство. А что будет, если где-нибудь рядом с Кытлымом появится хотя бы уркартовская концессия, даст рабочим сапоги, в двадцать четыре часа нарубит светлого строевого леса, поставит глазастые солнечные дома, привезет прозодежду и консервы?... Люди сбегут или нальются ядом зависти... Один старый кытлымский рабочий, тоже из партизанских сотен, говорил мне об этом с потрясающей серьезностью, как о надвигающейся контрреволюционной опасности. Ведь мелочь: по Уралу бегают так называемые горнозаводские железные дорожки, игрушечные штуки, расхлябанные, медленные, которым ничего не стоит сойти с рельс из-за коровьей плюшки, из-за семечковой скорлупы. Валятся они под откос ежеминутно. Нету ни одного порядочного уральца без шишки или шрама на лбу. Но не в этом суть, а в том, что эти знаменитые дороги ежегодно стоят республике несколько миллионов рублей золотом. Есть такой декрет, кем-то и где-то изданный: на трубы локомотивов непременно надевать особые намордники от летящих искр. Никто их не имеет, никогда не одевает и купить не может из-за отсутствия «таковых сумм». Бюрократическое кольцо замыкается с чувством глубокого удовлетворения, и старые керосинки продолжают свою колоссальную кампанию поджогов. А рабочий за бревно платит 18 рублей, получая в месяц, скажем, 11 рублей 50 копеек (ученик), он может радостно трудиться, откладывая в месяц минус 6 рублей 50 копеек.

У нас всегда работают скачками, с судорожным напряжением в какую-нибудь одну сторону. Добились изумительных результатов на производстве. Не только своими силами наладили старые, но пустили две новые драги. Силовую станцию с 1400 киловатт усилили до 2900, и при более коротком рабочем дне сохранили максимальную производительность, установленную компанией в 1913—1914 годах. Что еще важнее, из прииска Кытлым стал производством. Платина загнана в кровь, вместо хищнической авантюры, движущей силой стало ясное, трезвое и интенсивное хозяйство. Добыча потеряла острый шальной привкус. Она ведется в атмосфере спокойного обладания и чистыми руками. Они не крадут, — вот и все. 60 человек спокойно бедствуют, сидя на этой ничьей — советской,—всем и никому не принадлежащей платине. Ее плоть убита, ее грешный, с ума сводящий запах, ее до крови лакомая белизна все-таки умерщвлены 5 лет тому назад, когда кытлымские рабочие, еще не разбираясь в программах, голосовали по шестому номеру. Уже тогда, мучимые тайною мыслью о национализации, они не дали правлению отвести Дитковского.

— Промолвка тогда пошла: быть голосованию о большевиках. Видим, дело идет к шуму, к завязке дело идет. Акционеры ему нажим дали, стали выгонять. Заступился народ, провели его председателем совета. Сделали подписку рук, он нам нужен был — драги взять в свои руки. Вся подпись пошла за него.

Здоров Кытлым с этих пор, — за этим смотрит Шляхтин, секретарь ячейки, партизан Соловьев, начальник милиции, бывший матрос-каторжанин, человек исключительной стойкости и чистоты, товарищ Гаврилов, пом. директора; но все, что касается быта рабочих, в полном пренебрежении. Рядом уживаются самая строгая дисциплина, чувство ответственности и фантастическое неряшество, все границы переходящее пренебрежение к тому, что при самых малых затратах люди могут и должны получить новый быт. Не в упрек Кытлыму будь сказано, — он нисколько не хуже в этом отношении такой промышленной столицы Урала, как великолепный Надеждинский завод...

Старателей вокруг Кытлыма сидит и работает до 200 человек. Это наш приисковый нэп.

Во-первых, нет денег на новые драги, хотя даже дорога, соединяющая Кытлым с силовой станцией, проложена по сплошной платине. Это целый материк, целая медвежья Америка, погруженная в болото. При свете бессонной уральской ночи ее леса и воды, камни, травы и трясины стоят в немеркнущем белесоватом сиянии, светятся платиной, серебрятся белесым снежным блеском неизмеримых богатств, погруженных в жидкую землю, у нас пока нет денег, чтобы за каждый рубль, брошенный в это болото, взять сотню или тысячу. Нет свободных трехсот тысяч, чтобы дать в долг этой земле под чудовищные ростовщичьи проценты, под поручительство четырех горных рек, четырех гор чистого дунита и всего Кытлымского котла, полного платины. На мелкие прииски, расположенные высоко в горах, вообще не стоит тащить драги. Месторождения поверхностны и не окупят, может быть, механизации добычи. Всюду, где мы сейчас не можем или не хотим ставить драги, работы производятся артелями старателей.

Болота распространились на вершины самых высоких кряжей. Болота на Косьве, на Конжаке и на Сосновке. Старые горы страдают размягчением черепа. У них жирное, мокрое темя, замешанное камнями. Лошади карабкаются, как собаки, с камня на камень, низко опустив голову и вынюхивая, за что бы зацепиться копытом. Только в конце июня, когда уже коростель тарахтит и тянет в лесах, и рябчики садятся парить яйца, тайга начинает пропускать пешеходов. Тогда товарищ Соловьев вскидывает за спину винтовку, берет серебряный свисточек для приманивания дичи и начинает объезжать старательские гнезда. Идущие с прииска девки, которые про все знают и молчат, встретив его на болотине, узнают и кланяются с веселыми глазами. Старый контролер на Косьве, бывший приказчик Абамелек-Лазаревых, тонкий, ни разу не пойманный вор, с елейным святым лицом, угощает его ухой. Но лошади у старичка нет. «Мы проедем прямо на прииск, — говорит Соловьев и дает своей сибирке нагайкой, — а вы идите пешком, здесь ведь не больше трех верст». И хотя лошади идут легкой рысью и ровным шагом, старичок поспевает на «американку» минут через пять после нас. На его шаф-

рановом лбу едва проступает несколько капелек лампадного масла, иконописные уста усмехаются, и артельный старшина бархоткой своих цыганских глаз слизывает с них пыльцу молчаливого уговора.

Соловьев привязывает лошадь легким узлом, чтобы всегда допрыгнуть, трогает револьвер и идет смотреть стан.

Медленно работает эта артель и с животным упорством. Ленива на розыски. Платину тащит, как медведь малину: лишь бы найти богатое месторождение, сесть на нем и огребать, не двигаясь с места. Старший велит вести разведку, рыть новые шурфы, мыть пробы, но старатели, все молодые крестьянские парни, едва слушаются, копейки не хотят поставить на неизвестность, истощенное поле будут рыть с бычачьим упорством, только бы не менять старое на новое. В этой охоте за невидимой добычей, где все в инстинкте, в чутье, в отгадке, они, упираясь, плетутся за своим старшиной, ценя его тайные знания и смертельно ненавидя за воровскую подвижность, за беспокойство, за непоседливость. Так коренной мужик ненавидит кочевника.

Сегодняшняя добыча выше среднего и почти вдвое больше указанной во вчерашних ведомостях. Но доводчик лжет со спокойной наглостью: участок-де слаб, с десяти кубов всего столько-то золотников платины. С десяти кубов или с пяти? Соловьев не повышает голоса, но парни, в послеобеденной истоме разбросавшие ноги вокруг костра и наблюдавшие за весами контролера с деревянной пристальностью, вдруг садятся и переводят на него жадные глаза.

— А кстати, — говорит Соловьев, — у вас будет новый контролер, коммунист.

По ту сторону жаркой реки кустами пробирается красноармейская шинель с портфелем и револьвером. Из-под вспотевшей фуражки видно загорелое лицо с квадратным подбородком. Артель не шелохнется, — вся шайка, живущая по-звериному, без потребностей, без каких бы то ни было интересов, кроме тех, которые умещаются на роговой скорлупе карманных весов, едва переваливается на бок, чтобы оценить, сколько стоит олицетворяемая им опасность.

С чужими артелить трудно. Старые опытные мужики зарываются в землю всей семьей, с сыновьями, с же-

нами сыновей, впряженными в тяжелые старательские тачки. Их рабочий день кончается с наступлением ночи. Двужильный труд упорен, мелочен и терпелив; не прерывается ни говором, ни песней, ни отдыхом. Бабы с замкнутыми алчными лицами рвут землю, как сухие сосцы больной коровы. Мужики с остервенением рубят породу; они ненавидят эту продажную землю, которая отдается всякому и подолгу остается бесплодной.

Совсем старые старатели-одиночки похожи на алхимиков. Высушенные солнцем, ставшие легкими, как оброненное птицей перо, от вечных перемен счастья, они сидят на краю шурфов, свесив ноги к воде, со скептической миной, и понукают к тяжелой работе неопытных учеников: «Ниже копай, Митюха, ниже, под водой бери!» И Митюха, обливаясь потом, подгоняемый своей молодой жадностью, вынимает куб за кубом, моет сито за ситом и, не найдя ничего, набрасывается на болото с новой яростью. А старичок курит и усмехается суете сует. Даже великое счастье не даст ему ничего: ведь они с жизнью давно перестали играть всерьез. Она нигде не записывает его жалких долгов, но и своих проигрышей не платит.

Никого бог не обманывает так, как верующего. Чаще всего это не русский, а вотяк. Он бежит за платиной с бесконечной преданностью, терпеливо снося ее пинки и измены. Десятками лет терпит неудачи, уверенный, что когда-нибудь судьба сжалится и сразу исправит все причиненное зло. В конце концов старый старатель с радостью принимает и любовно копит все новые и новые поражения; каждое из них увеличивает головокружительную сумму, которую счастье забрало у него в долг. Каждая потерянная надежда дает право на выигрыш. Каждая обида приближает дни чудес. Так проходят десятки лет униженного, ничем не вознагражденного трудолюбия. Старатель вполне одинок — и все еще отгоняет от себя непрошеных компаньонов. К чему чужие люди? Он не хочет дарить им ни одной доли из того клада несчастий, который когда-то превратился в самородок неслыханной величины. Но болото по-прежнему — болото. Вода день ото дня холодней, и глаза, запухшие на искусанном комарами лице, тщетно ищут в грязи серебряного урожая. Наконец в жаркий день, когда топь дымится и преет, и, покрытая зеленью, полощет горло

влюбленным птичьим криком, вотяк стоит перед иконописным контролером на толстых, раздутых ревматизмом ногах, просит места в больницу и плачет.

Он уверен, что на дне последней ямы, которую он сегодня принужден оставить, теряет свое нареченное счастье. Судьба останется там, в дыре, где плавают свалившиеся в нее лягушки, широко разбросав по воде весла задних лапок, и лопаются ленивые болотные пузыри.

Пичугин, знаменитый сосновский старатель, похож на конокрада. У него цыганские, неизреченной хитрости глаза и борода цыганская. Когда он облизывает кусок папиросной бумаги, чтобы скрутить папиросу, то похож на большую черную бутылку с приклеенным к губе белым рецептом. На допросе держится с мудрой осторожностью. Как умный зверь, едва обнюхав вопросы, он отступает от капкана, неизменно ступая в свои собственные следы. И, отойдя на безопасное расстояние, смотрит оттуда с ласковым виляньем в глазах и с настороженными волчьими ушами.

Едва за товарищем Соловьевым закрылась дверь, он оборачивается ко мне с бесшумным смехом старой охотничьей собаки, с улыбкой, у которой добродушие висит вдоль белоснежных клыков двумя слюнявыми обвислыми губами.

— А знаете, сколько у меня на самом деле платины? Двадцать фунтов. Найдет Соловьев, — его, а не обнаружит, — пусть не пеняет.

Обычно старатель, как только разбогатеет, сейчас же ставит себе каменный дом с зеленой крышей. Пичугин удержался в старой избе, семья его неизменно хлебает пустые щи, и с женихом дочери он на всю округу ведет жесточайший торг из-за приданого.

— Как же вы живете в этой грязи, Пичугин? Неужели не хочется на волю?

— Зато сынам и внукам хватит.

Он с любовью подумал о семействе, которое из поколения в поколение будет жить в скупом мужицком достатке, с этой платиной, спрятанной под полом, как придушенный младенец, с куском кислого хлеба, обеспеченным на сто лет, с правом для трех поколений пройти жизнь с медленностью и спокойствием сытого клопа, ползущего по стене.

— А знаете, товарищ Соловьев, ведь у Пичугина двадцать фунтов. Он сам мне только что признался.

Цыган снял шапку, отыскал портрет Ленина, повешенный в углу вместо икон, повел глазами, полными веселья, чувства безопасности и насмешки, и, перекрестившись:

— Что ты, матушка, выдумываешь? Вот те Христос, никогда я ничего не сказывал. Разве кто-нибудь может доказать?

УГОЛЬ ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ

(Кизелстрой)

Зеленые леса открылись посредине, как книга. И чтобы она не захлопнулась, между двух листов положена синяя закладка — ясная, веселая уральская речка Косьва. Горные плечи ее берегов, — все, что кругом дымится синим дымом пространства, — уголь и руда, руда и уголь. Этот естественный склад пока еще мало исследован, — промышленность слаба и не пожирает половины того, что ей уже теперь могли бы дать мощные Егоршинские копи, колодцы Кизела, Губахи и Челябинска. О расширении пока думать не приходится.

Через 20 лет Медвежьи горы Кизела станут великой промышленной столицей: сейчас это — тайга, где вместо угля собирают малину и вместо руды рубят стройную строевую сосну. Пока во всем районе работают только Кизеловские копи. Правда, это огромное предприятие, имеющее в своем центре три колодца, сильную шахту в Половинке и три — в Губахе, верстах в 20 от Кизела. Такими расстояниями считаться нельзя, подземные работы здесь измеряются десятками верст, годовая добыча — миллионами пудов. Кизелкопи — целое подземное царство со своей столицей — «Лениным»[1], опускающимся на 200-саженную глубину широкими и пологими ходами; со вторым колодцем, где пласты ложатся капризным и тонким слоем, с низким потолком, с шахтами, в которых работают, не разгибая спины, упав на колени,

[1] Название колодца. *(Прим. ред.)*

с опущенной головой, нанося углю коварные удары снизу вверх. У Кизела есть свои центры и окраины — отдаленная Половинка, свои подземные шоссе, по которым носятся электровозы с типичным трамвайным звонком; проселочные дороги, свои тропинки, затерянные в черной подземной тайге, где в вечной ночи бредет близорукая лошадь. Есть площади, окруженные $2^1/_2$-саженной стеной богатейшего топлива, блестящего, как кираса, правильного, как гранит набережных, охвативших берега угольного озера. У Кизела свое время, своя вечность, непохожая на денную. Там нет солнца, нет дня, нет ночи. Есть только труд, всегда черный, всегда ночной, разломанный на 3 равных восьмичасовых куска, из которых каждый весит сотни пудов. Наверху, где зеленое и белое, свет и лето, начало дня отмечено падением росы. Роса подземная не высыхает никогда. Земля непрестанно потеет; штольни увлажняются все больше и больше по мере того как опускаются. Перила становятся ледяными и влажными, как порочные руки; к молчанию земли присоединяется сперва равнодушное и звонкое падение капель, потом легкий лепет, потом громкая болтовня расходившихся ручьев, и, наконец, холодное и угрожающее шуршанье вод, непрерывно льющихся в глубину. У Кизела подземного — свое время, свои росы, свои воды и, наконец, свой огонь. Под землей пламя и вода живут дружно, они помогают друг другу против людей. В самых мокрых забоях огонь спокойных горняцких лампочек вдруг начинает дрожать, тревожно пригибая к решетке свой желтый язычок: его тревожит едкое выделение подземной гари. Назойливое тепло поливает людей двойной влагой: водой и потом.

И воздух у копей тоже особенный, ни на что не похожий. Как бы ни заблудился шахтер, если он станет и прислушается в темноте, то среди плеска, шороха и молчанья различит едва слышное шипение воздуха, вытекающего из воздуходувной трубы невидимыми дырочками. Потух фонарь, — все равно, протянутая рука в темноте найдет и нащупает эту глотку, эту длинную, вытянутую чугунную шею, по которой воздух вдувается в подземелье. Она вездесуща: в «ходовой» штольне, рядом с бешено заломленными перилами, поднимающимися к свету из пропастей, в болоте мокрых забоев, в тупиках, где вода и молчание, в жару штреков, сжигае-

мых невидимым жаром; везде, где человек заносит кайло или вонзает в уголь гарпун скрежещущего механического лома; везде, где он в изнеможении подымает фонарь, чтобы сосчитать над своей головой непройденные ступени; везде, где труд железными когтями машин выдирает уголь из пустой породы; везде, где он отдыхает, облитый потом, с грудью, вздыбленной разрывающим ее дыханием, готовой треснуть от прилива крови на скрипящей клетке ребер, ставших горбом, — везде рядом с горнорабочим идет в бой против черных сверкающих стен этот его неизменный союзник — животворящий воздух.

Машина, нагнетающая живое дыхание под землю, живет высоко, в одном из светлых аристократических этажей, в покойной, чистой комнате. Люди сделали все возможное, чтобы она, драгоценная, не чувствовала своего плена. Дом ее залит светом. Потолок высоко поднят над головой. Уголь покрыт бетоном и не смеет переступить порога этой белой тюрьмы. На целую версту мокрый и тяжелый мрак согрет сухим, здоровым теплом заживо погребенной машины. Земля, тяжело напирающая со всех сторон, сквозь вечный свой сон смутно различает непрестанный, могучий и радостный трепет силы, исходящей из одиночной камеры компрессора. Вечная ночь, шатаясь и жмуря свои залитые сыростью глаза, отступает перед божественным сиянием электричества, брызжущим из дверей этого одинокого жилища.

Но силовые станции Кизела изношены и перегружены. Их энергии едва хватает на то, чтобы проветрить работающие легочные мешки Кизелкопей. Все чаще становятся перебои, остановки, поломки, которые, правда, удается выправить после нескольких часов лихорадочной работы, но все чаще на дне копей забои и штреки плавают в густом, зеленоватом дыму: это — ядовитый газ взрывов, медленно переползающий со ступени на ступень, на четвереньках ползущий вдоль стен, мотая из стороны в сторону низко опущенной дымной гривой. Фонари штейгеров тревожно отступают перед ним. Есть в этом сладковатом, ванильном и горьком запахе что-то насильническое, хватающее жизнь за горло душными и злыми лапами. А на станции опять заминка, — вентиляция не действует, копями овладевает головокружение. На «Володарских», где работают не подымая головы,

где люди, как елки на рождестве, с упертой в потолок, мучительно-согнутой верхушкой, фонари тревожно бегают от забоя к забою. Нет тока! Напрасно углекопы наваливаются грудью на рукоятки радиолаксов. Их оружие слабеет и бессильно выпадает из раны, нанесенной угольной глыбе. Жаркая лень расползается по забоям, раздраженные и задыхающиеся люди курят, лежа на угле. Кровь часто и громко ударяет в висок, как заваленный шахтер, который обстукивает стены, ища и не находя выхода. Бросая работу, старики прикрываются рукой, как будто их ударило по глазам, и ползут сажен на сто выше: напиться и подышать. Молодые, раздраженные недостатком воздуха, сбрасывают рубахи и подставляют голову и грудь сернистой воде, текущей со стен, от которой кожа сперва краснеет и собирается, как слюна от лимона, а потом раздается и дает трещину.

Опять нет тока!

Насосы пресыщенно и неохотно тянут воду, которая шумит и прибывает. Вся гора в припадке астмы.

Первые припадки удушья в Кизелкопях начались еще во время гражданской войны. Может быть, тогда их меньше замечали за голодом и тем равнодушием, которое его сопровождает. Кроме того, работали не так напряженно, как теперь: только бы не погибнуть самим и не дать погибнуть копям. Но теперь, когда вся шахта от каталя и до директора участвует в борьбе за увеличение производительности труда; когда на угольном рынке вдруг появился кузбассовский кокс, пробежавший тысячи верст по железным дорогам и ухитрившийся сохранить свою дешевизну, когда копь в две недели принуждена была скинуть чуть не три копейки с пуда, чтобы устоять, — теперь всякая остановка в работе — катастрофа. Время стало ценным, и ценность эта непрерывно растет. И вдруг копь, охваченная тошнотой, принуждена бросить лопату и ползти к выходу, чтобы не потерять сознания.

Воздуха, воздуха, воздуха.

Наконец на днях Половинка едва не стала совсем. Инженеры с часами в руках держали пульс больных машин, высчитывая час их остановки. Висели на телефонах, нарочные загоняли лошадей, электрики круглые сутки не выходили из копей, занятые срочным ремонтом.

Маленькая станция еще продолжала хлопотать, но все неравномернее, все слабее. В минуту крайней опасности, когда вода и удушье начали заливать нижние забои, по дряблым старушечьим проводам Половинки хлынула мощная омоложающая волна электричества. Откуда?

Два года тому назад, в самое голодное и тифозное время, верстах в 20 от Кизела, на той же необъезженной горячей речке Косьве, которая очертя голову бежит с гор, была заложена мощная районная электростанция. Прежде всего она должна была прийти на помощь одряхлевшим машинам копей, но задумали ее и выстроили не ради тех 600 киловатт, которыми она уже сейчас прикармливает Половинку и Губаху, и даже не ради тех 6000 киловатт, которые у нее возьмет весь трест в целом.

Строя этот силовой колодец в Медвежьих кизеловских горах, республика обеспечила себе дешевую энергию для целого промышленного округа с радиусом в 300 верст. Возникновение Кизелстроя, или, как гласят ее инициалы, ГРЭС, не только обеспечивает удешевление тех 40 млн. пудов угля, которые товарищ Сажин в этом году надеется извлечь, но рождение ГРЭС предопределяет возникновение в ближайшем будущем нового угольного района, целого ряда копей, рудников и заводов с высокомеханизированным производством и дешевой продукцией.

Со стеклянной крыши ГРЭС видно на много верст вокруг. Слева, на горе, покрытой щетиной лесов, светлеет широкая просека — воздушная дорога, по которой электричество пойдет к Кизелу. Через 5 лет эти леса исчезнут; там, где сейчас, как земляника в траве, краснеет крыша больницы, этой жалкой походной больницы с деревянными койками, на которых за два года померло больше 300 рабочих-строителей, на место этого барака, может быть, станет завод или железнодорожная станция. Справа тянутся стиснутые ряды рабочих бараков, где люди спят, едят и задыхаются в грязи, где семьи валяются вперемежку с холостыми, не имея, таким образом, ни минуты покоя, где вообще живут так, как живет пролетариат по всему Уралу, если не по всей промышленной России, нищенствуя и нечеловеческими

усилиями вытаскивая из нищеты советскую промышленность. Что же будет на месте этих казарм — завод, новая шахта или дворец труда? Если в годы этой нищеты русский пролетариат не поскупился заплатить 300 человеческих жизней за великолепную станцию, которая в течение ближайших десятилетий будет ему выкармливать новорожденные заводы, то что же будет, когда он немного отдохнет, отъестся, отстроится и подучится? Можно ошалеть от гордости, бегая вокруг этого великолепного серого здания, уставившегося саженными окнами на лохматую тайгу, изрубленную, отброшенную на тот берег, напуганную громом топоров и машинными голосами.

Станция еще не совсем подчистилась. Вся площадь вокруг нее завалена следами и остатками строительных родов. Изможденные китайцы-рабочие, пошатываясь, сносят мусор на носилках и сжигают его. Из воды еще торчат мокрые головы свай, которых не успело снести половодье: это воспоминание о самой трудной части работы, когда надо было рыть канал длиной в 200 метров на 5-саженной глубине, чтобы ввести реку внутрь станции. Устройство бетонного лотка велось ниже уровня реки, при сильном напоре горных вод, на пайке и жалованье лютого 21—22 года, почти без помощи машин, без спецодежды и без денег, притом в Кизеле с его суровым, переменчивым климатом, в котором до сих пор, несмотря на лучшие условия жизни, 90 процентов детей родится с ясно выраженными признаками туберкулеза. Внутри здание заканчивается. В зольном отделении, несмотря на тихий пепельный дождь у подножья четырех котлов и сильную примесь серы в угле, светло и хорошо дышать. В котельном — радостное столпотворение свежих лесов. От пола, осыпанного бетонной пылью, до стеклянного потолка, до самого верха двухрядной залы стоит белый сосновый лес, облепленный людьми, и трепещет под тяжестью машинных частей, доставляемых наверх. Только половина дворца занята четырьмя котлами (Бабкок-Вилькокс, морского типа 17 года, площадь нагрева 350 квадр. метров), другая половина пустует, готовая принять вторую шеренгу котлов. Светло, огромно, как в детской у гигантов: выдержит любое расширение, любой рост. Вагонетки с углем пока еще забегают в самое здание, чтобы опрокинуть в рот печей свои

жалкие 5—6 пудов. Печные с неудовольствием убирают мусор, занесенный в светлый машинный дом грязными подолами вагонеток-поденщиц. Скоро они будут изгнаны. Уже достраиваются башня и железный рукав, при помощи которых уголь механически будет поступать в топки. Полки чернорабочих осторожно проносят тяжелые части машин. На мостках, среди дерева и сырой известки, пил, молотов и гибких деревянных ребер, поют плотники. Маленькая временная кузница гремит целым водопроводным заводом. Стройный монтер в высоких уральских сапогах осторожно пробирается наверх, где в особых баках выстаивается запас выдерживаемых вод. Только поднявшись на самый верх, чувствуешь всю великолепную, 18-саженную высоту этого здания. Но и тут к торжеству и лихорадке последних работ примешивается полевая горечь деревни, хвойный шум о пашне и хлебе, а не об этом барском доме, в котором будет жить одно электричество. Каменщик потихоньку ропщет, отделывая свой карниз: «Вкруг все здание обошел за эти два года. Из наших тут старик Якимов был, с ним на полустанке фундамент вели под самый цоколь и на бетонах. Простыл, говорю, и помер».

«Я хочу назад в Казанскую, — кто из земли родился, в землю и надо. Если все пролетарцами будут, кто же хлеб сделает?» Так накануне трудовой победы на вершине своей постройки работает и жалуется о земле мужик.

Турбогенераторы. Черные, блестящие, каждый на 8000 вольт, покоятся, как лев и львица. Их помост держат бетонные столбы, опутанные ветвями воздуходувных труб. У каждой машины свое биение и свой голос, но ничто не сравнится с ровным гулом силы и спокойствия, которым турбины наполняют весь дом. Им некогда ждать, пока высохнут полы. Им ничего не нужно, кроме фундамента, способного нести их царственную тяжесть и неприметную вибрацию, способную расшатать скалу. Пусть внизу бетонщики заканчивают мокрый пол; едва переступив порог, едва сбросив тяжелую дорожную одежду, турбины уже начинают работать среди голых стен, у подножья огромного окна, наполненного небом.

Рабочие в этом отделении — не крестьяне на фабрике, а настоящие пролетарии. Бетонщики-штукатуры.

Товарищ Шеврин брал Перекоп, а потом рыл канал на Кизелстрое. В армии ему больше не быть. Ревматизм расслабил и раздул его кавалерийские ноги. Товарищ Аняпов бился за Полоцк, потом строил перекрытие в зольнике, наводил полы, крепил фундамент ГРЭС. Теперь эти два солдата в холщовых передниках каменщиков, густо посыпанные минеральной мукой, готовят пол, на который через пару лет обопрутся новые 16 000 вольт.

Теперь о святая-святых Кизелстроя, о его главном распределительном щите, о щите собственных нужд, о замкнутых камерах, в которых живут «Umformer'ы»; как описать невежественному и самонадеянному журналисту тихие залы, где ни к чему нельзя прикоснуться, где стены покрыты сплетением синих, красных и белых жил, проводниками движения, силы и света. Нужно быть техником, и техником высококвалифицированным, чтобы оценить стол измерительных приборов, понять дрожание стрелок с их одинаковым отклонением, выразительный язык циферблатов, окружающих розовый мрамор щита толпой белых подсолнечников. Светлые и безлюдные комнаты, небольшие хрупкие машины, от которых веет теплым ветром силы, налагают особый отпечаток на занятых возле них людей. Глядя на молчаливые фигуры у столов, каждые полчаса заносящие в книгу жизни трепет этих непостижимых для профана вольт и амперов, на лица, синеватые от напряженного сияния, сутулые плечи и тонкие руки математиков, пожалуй, не скажешь, что и они — старые солдаты революции, по четыре года таскавшие винтовку. Вот товарищ Олехов, дежурный по щиту, коммунист 18-го года, солдат 5-й армии, прошедший с ней от Глазова до Байкала.

Вот Пшенников, заведующий управлением всех приборов, дравшийся в Уфе, и много еще других, два года по щепке, по волоску собиравших эту станцию, занявших наконец каждый свое место в бесшумных залах, где благоговейная тишина как бы разрезана этими 6000 вольт, которые ее пересекают стволами проводов, тщательно завернутыми в шелк.

Товарищ, стоявший во главе Кизелстроя, так же как люди, занятые у щитов, соединяет в себе редко соединимые вещи: коммунизм и опыт блестящего инженера.

Это товарищ Тишевский, старый член ЦК и один из лучших польских электротехников.

Среди груд мусора, сжигаемого теперь возле станции, есть небольшой деревянный дом, который часто по мере надобности перетаскивали с места на место. Это завком Кизелстроя. Товарищи не только работали в этой переносной скорлупе, но многие из них там же жили, чтобы в любой момент быть возле постройки. К сожалению, недостаток места не позволяет мне остановиться подробнее на работе каждого из них, работе исключительно трудной (начатый в 1922 году Кизел достроен в 2 года не только хорошо, но и безукоризненно быстро). Вот один из этих людей, ухлопавших на ГРЭС все свои силы, вышедший инвалидом из двухлетней трудовой войны. Это товарищ Полыгалов (член или предзавкома). Характерно, что товарищ Полыгалов совершенно не замечает, как он измучен и нервен. Его трудовой и партийный стаж: в партии с 17 года, с августа — в Красной гвардии, потом в 30-й дивизии Блюхера. Поход от Богоявленска уже помвоенкомом 263-го полка, в 21-м году Полыгалов — военком отряда по борьбе с бандитизмом, в 22-м году — на Кизелстрое, в 25-м — или отпуск и санаторий на год, или конец.

ПОДЗЕМНИКИ

Есть предел, где рвется последняя нить, связывающая человека с поверхностью земли: теряется врожденное чувство направления.

В забой № 46 надо ползти на животе, цепляясь коленями и руками за столбы, которые шагают куда-то в ничто, упершись деревянным затылком в гору. Где белый кусок света, сомкнувшийся над головой, где выход, где поверхность? Навстречу ползет ручей пыли, щебня и теплой духоты. От времени до времени по деревянному желобу рушатся сбрасываемые сверху большие обломки угля. Головы поднять нельзя, — потолок лежит на плечах, между грудью и скользящим, текучим, осыпающимся угольным ложем едва помещается прицепленный к куртке фонарь. Земля, преследуемая людьми, бежит вверх, вбок и, наконец, поверженная набок, жаркая, черная, уступает кирке углекопа, который входит в ее недра, как коршун в раздутое брюхо павшей лошади.

Михаил Матвеич — заведующий шахтой. (В лице — твердое и пушистое. Он известен своим уменьем ладить, жить и работать с татарами.) Михаил Матвеич вешает свой фонарь рядом с другими, прицепившимися к балке черным когтем, вниз головой, как светлые летучие мыши. Кто говорит, кто спорит, кто закуривает? Лица нет. Прямо в мрак вделаны глаза, красная влажная губа и узкая, как рассвет, полоса, обозначающая лоб. Это забойщик Василий Михайлович Котельников.

— Два раза руками трубы свертывал, — словом, ко-

роткий и сердитый разговор о том, как не ладится работа.

Прежде артель была занята на широком, удобном Ленинском пласту и еще не успела приспособиться к узкому, скошенному. Выработка ее сразу упала до смехотворной цифры. Было бы легко объяснить неудачу чисто внешними причинами. Кто хоть четверть часа пробыл в этой горячей щели, без всяких объяснений поймет, что достичь нормы или превысить ее здесь бесконечно труднее, если не невозможно. Но пока рабочие чувствуют, что дело не только во внешних причинах, но и в неумении приспособить к новым условиям свое дыхание, удары своего сердца и движения рук; пока «вина» на их стороне, — никто ни слова не скажет. Такова своеобразная горняцкая этика. Завтра человеческое тело справится со своей невыносимой тягостью, играя перешагнет через поденщину, — тогда, и только тогда, забойщики потребуют более справедливого вознаграждения.

Второй углекоп отворачивается от стены. Его лицо наполовину в угле, а наполовину бело, как будто этой стороной оно приросло к горе и только что от нее откололось. В губах папироса, или это уголь тлеет? Ламповый огонек мучается и прыгает под своим колпачком. Его душит запах неясной гари. Курильщики осторожно заплевывают пепел папирос.

Внезапно встав, согнутый пополам забойщик подымает топор руками, которые кажутся непомерно длинными, и гневно вонзает его в низкую балку. Фонари просыпаются и беспокойно облизывают потолок коптящими язычками.

— Добровольцем на фронте с восемнадцатого года. Прибыл домой в девятнадцатом, был арестован по доносу. Вылетел из партии...

Это старая-старая обида за то, что пришлось грузить картошку вместе с «элементами», за молокососа, который надзирал. Еще долго звучит гневное ворчание рубщика. Издали освещенный забой кажется клеткой, в которой с молотом в руках мечется заживо погребенный.

Конец пласта, забой № 25. Сырость, влага и мрак. Здесь работает изумительный человек, товарищ Деревнин. Он еще молод, лукавые белые зубы блещут сквозь угольную маску. Ему едва минуло 34 года.

Это — фанатик, доброволец горы. Это — подземник, которому не нужен дневной свет, не нужен ветер, неприятны зеленые покровы, одевающие землю тенью, влагой и шелестом. Ни за какой блеск солнца он не променяет глубокого молчанья шахт, этого мрака, который везде неотлучно следует за фонарем рудокопа.

Революция вызвала Деревнина из-под земли. Красные и белые оспаривали друг у друга право поставить этого человека под ружье. Он поочередно дрался то с одной, то с другой стороны; обе оставались ему совершенно чужды, непонятны и ненужны.

В теплушках, на разведке, в лазарете, на уроке политграмоты — то с преподавателем-коммунистом, то с лихим начетчиком из Осваги — забойщик не переставал думать о горе. Хорошо, если бы всю эту суету и мучительство залило тихим мраком подземелья. Ветер земли беспокоен — то ли дело глубокое, сырое дыхание колодцев. Успокоительная толща стен вместо пустоты открытого пространства, безопасная теснота подземных улочек вместо этих никому не нужных праздных полей с вьюгами, пулями и опасностью. Тут зима, худые шинели, жгучие от холода ружья в замороженных руках. Там вечное тепло земли, забой, где в крещенские морозы воздух жарок, как в засуху, где никогда не кончается время урожая, но всегда, изо дня в день молотят и жнут на черных полях, сбросив рубахи и обливаясь потом.

Можно себе представить, как он воевал.

Сам говорит: «Вогжался так себе, шибко не приходилось...»

Несколько раз мобилизованный и вечно состоявший в бегах, товарищ Деревнин, наконец, ухитрился окончательно спрятаться туда, куда людей веками ссылали, как на казнь за тягчайшие преступления: в угольные копи, в Кизел, в свою милую яму.

Там наверху был трус. Здесь Деревнин — страстный солдат подземной армии, настойчивый, неутомимый, выносливый рядовой. Там робкий и близорукий, здесь зоркий охотник, ни разу не бросавший кайла. Идя впереди штурмовой колонны углекопов, он искренне считает себя укрытым, спасенным, достигшим наконец полной безопасности.

— Здесь видишь, что над головой висит, — и отойдешь, а там разве можно отодвинуться?

Страшно не любит посторонних посетителей. Всегда боится, что это за ним пришли — тащить наверх, к свету. В тени угольной скалы его настороженное лицо вечного дезертира белеет, как кусок тонкой бумаги, вырванный для куренья.

В Володарской копи, — гораздо ниже пологой, гладкой ходовой штольни, по которой так незаметно падаешь на стосаженную глубину; гораздо ниже подземного скита — тихой, сырой динамитной камеры, где отшельник китаец при свете электрической лампады где-то глубоко под землей плетет из белой бересты влажные, чистые, свежие лапти и от времени до времени боязливо, как лист к солнцу, протягивает к динамиту свою голову в меховой ушастой шапке на длинной сухощавой шее; гораздо ниже влажных деревянных ходов, где такой воздух и такие пухлые клочья пены цветут на потолках, точно по ним только что прошумело наводнение, — еще гораздо, гораздо ниже, в забое № 61, карликовой зале, где ни один человек не может выпрямиться во весь рост, где стены тверже агата, где узкий, упрямый угольный пласт прячется в каменную щель из гранита, где свет меркнет в тумане мельчайшей угольной и водяной пыли, — можно видеть настоящих хозяев Кизела. Они как раз окончили подбойку. Крепкий выступ, подрытый снизу, все еще стоит и не валится. Механические сверла работают с рвущим, но ровно пульсирующим шумом, от которого дрожит свет и лопаются барабанные перепонки. Похоже, что в этом подвале заблудился паровоз, и, упершись в стену, продолжает идти полным ходом, не трогаясь с места.

Товарищ Моторгин стоит перед радиолаксом на коленях, со своей сгорбленной спиной, покрытой стеганой душегрейкой, с мокрыми подошвами черных лаптей, и продолжает шарить в открытой под утесом щели железной рукой машины. Иван Егорыч — человек уже пожилой, лет 50. У него низко упавшие плечи, борода, как бы вымоченная в угле, совершенно черные руки, на которых ногти розовеют, как кончики пальцев в прорванных перчатках. Среди разорванной одежды белеет кусок груди с такой глубокой, бледной впадиной посредине, как будто бы это не грудь, а ступенька, стертая ногами многих

поколений, или место, где рабочие выбили ямку своими головами, устало прислоненными к стене.

Этот товарищ стыдливо, с чувством величайшей внутренней неловкости, вспоминает о своем исключении из партии. От времени до времени он прерывает рассказ, пристально наблюдая работу двух каталей, которые убирают и никак не могут убрать всей груды навороченного им угля. Слабый свет блестит на их шуршащих по полу лопатах, на козырьках кожаных фуражек. Иван Егорыч продолжает:

«Партия, мы ведь все стремимся к этому. Но я человек пожилой, придешь домой с горы, — прикладываешься. Я всеобуч проходил, месяц целый старался, да ведь другой раз в праздник сутки целые не работаешь, а харкнешь — и все у тебя сажа идет».

Одним словом, старик не соблюдал партдисциплины, пропускал собрания, не ходил на занятия, может быть избегнул несколько обязательных субботников. Перерегистрация его механически вычесала. Вероятно, ненадолго: за нарушение дисциплины можно и должно выбрасывать молодых, — и то в шахте их небрежность имеет много смягчающих обстоятельств, — но не Иван Егорычей. Людям «сверху», — коммунистам веселой, светлой земли, — никогда не понять безграничной усталости подземников. Надо видеть смену, когда она подымается наверх по окончании работ; один горняк за другим высовывается из люка, задувая свое бледное пламя. Сами они совершенно похожи на затушенные, померкшие фонари. У каталей, которые сталкивают уголь по желобам, сидя на них верхом, держась руками за деревянные края и ногами, спиной, задом, всем телом толкая вперед упирающийся уголь, — у каталей сзади к одежде пришит еще кусок бараньего меха. Они бегут в этой своей прозодежде через солнечный день, подслеповатые и сонные, как вынутые из-под земли усталые белые звери. Нелегко тут с дисциплиной!

Один из простых и блестящих приемов, при помощи которых была поднята производительность Кизеловских копей, заключается в том, что на помощь вымирающему племени старых забойщиков Сажин сумел двинуть целый слой молодых рабочих сил. Как командный состав Красной Армии в большинстве своем вышел из рядов старых фельдфебелей, — так сотни и тысячи каталей, пере-

веденные в категорию забойщиков, пополнили и усилили их ряды. Где-нибудь в глухом углу копей еще сейчас можно наткнуться на молодого рабочего, который, разгрузив свою вагонетку с необыкновенной быстротой и выиграв таким образом несколько минут, как сумасшедший набрасывается на любую стену, долбит ее и крошит, пока его усталая лошадь пытается вздремнуть, низко опустив голову к безобразным коленкам. Это каталь, чтобы подучиться и стать забойщиком, пробует на черной кости свои молодые щенячьи зубы.

Но чем меньше настоящих стариков, тем они ценнее. Это люди, для которых время и история почти не существуют. Земля лежит над их головами, как море, на дне которого нет ни бурь, ни перемен. Даже уменьшение рабочего дня с 12 и 10 до 8 и 6 часов, это великое облегчение, которое коснулось каждого живого существа на дне Кизела, — даже оно безразлично этим патриархам угольного царства. Никакая мера времени не ускорит и не удлинит их труд. Они владеют искусством ритма, который уплотняет или растягивает рабочий день, как резину. В 4 часа они могут вместить 6, в 6 — 8-часовую добычу. Мастера и искусники, у которых работа бежит по солнечному кругу, как хорошо выезженная лошадка в туго натянутых вожжах.

Молодой инженер шага не ступит во время разведки без этих стариков, обоняющих уголь на расстоянии, чувствующих его, как старые люди погоду, по ломоте в пальцах. Ну, куда они денутся без Татарникова, 27 лет подпирающего головой штреки и забои Ленинской копи? Как проживет Кизел без своего старого штейгера, этого высокого старика, которого знает и чтит вся копь. Характернейшая фигура! У него вытянутое темя, проступающее горкой сквозь круглый старомодный картуз, огромный лоб, над самыми бровями прорезанный тремя глубокими рытвинами. Далеко наверху, вокруг чутких, прижатых к черепу ушей, редкий лесок желтоватых волос. Пристальные глаза, однако, почти бесцветны, как свечи, зажженные днем. Длинное тонкое тело продето сквозь кожаный пояс, как салфетка через кольцо. Если поднять выпуклую крышку этого черепа, — там, конечно, вся копь, нарисованная теми ломкими, угловатыми знаками, которые делают карты горняков похожими на рисунок, сложенный из спичек.

Насчет революции и партии старики слабы. Очень неосторожно прийти к ним в забой и спросить: товарищи, а кто здесь партийный? Покроют сочным и ветвистым матом. То же самое относительно участия в гражданской войне. Такой Никита Фадеич только усмехнется: мобилизовать его! Разве есть на земле место, где он нужнее со своими знаниями и опытом, чем именно здесь, в забое?

Из всех велений революции до Татарниковых дошло, пожалуй, только одно, — сделавшее забойщика единственным законным владельцем копей. И как ни сторонятся старики всякой политики, как ни жмутся, как ни увиливают от прямых вопросов, этот ввод во владение совершился почти помимо их воли. Полноправный хозяин заранее заботится о наследнике, потихоньку готовя его и приучая к хозяйству, — так точно, еще тщательнее, ревнуя глупых молодых к своему старинному тонкому ремеслу, готовят старики поколения молодых забойщиков.

— Мы старые собьемся, — тогда худо будет. Молодых-то кто будет учить?

Наемник так не скажет. Ему безразлично, кто бы ни долбил стену после него.

Между тем именно на низших ступенях горной иерархии политические убеждения играют величайшую роль. Инженер может быть беспартийным, начальник спасательной команды — просто мужественным, находчивым и знающим человеком, но трудно себе представить, какое огромное значение имеет принадлежность к партии на младших командных должностях. Именно штейгер-коммунист наращивает вокруг старых забойщиков свежий слой рабочих, не только технически квалифицированных, но и зрячих политически. Там, где во главе копи стоит штейгер-коммунист, старое племя подземников, образующих совершенно замкнутую касту, которой нет никакого дела до остального мира, обречено на безжалостное вымирание. Молодые унаследуют их знания, примут из их рук вечный фонарик и кайло рудокопа, доведут начатый ими штрек до конца, но непримиримая ненависть к солнцу, это совершенное равнодушие к земле и ее легким делам уйдет в могилу вместе с ними. Совсем иной новый дух в копях, управляемых живыми людьми.

Володарская, например, и по роду работ и по качеству угля считается одной из самых трудных. На протяжении всей копи нет места, где бы человек мог выпря-

миться. Ее нижние этажи плавают в воде или задыхаются от жары. Все самые тяжелые стороны горного дела сказываются здесь с особенной резкостью. Тем не менее в забоях, самых душных и низких, в ответ на политический вопрос реже услышишь матерщину, чем в сравнительно легкой Ленинской. И здесь устают, но и усталость и страдания носят, если можно так выразиться, более квалифицированный и сложный характер.

К товарищу Миндулаеву надо идти тихим лесом, угольной тайгой, обитаемой мраком. Он сидит в тупике, соединяемом с соседним штреком низким и извилистым ходом. Обернись, — в нем так темно и тихо, как будто мрак за спиной тихонько закрывает одну черную дверь за другой. Никогда, за всю свою жизнь, не видела я человека с более веселой речью и более утомленным, землистым взглядом. Коммунист с 19-го года, красноармеец, старый шахтер, разбуженный революцией, взятый ею наверх, попробовавший вольной человеческой жизни, пристрастившийся к солнечному свету, к вину, взявший себе жену из белого племени надземных людей, но в силу профессиональной и партийной дисциплины возвратившийся в шахту. Зарабатывает он мало, несмотря на все старания, — спускается под землю в 6, выходит наверх в 4 и 5 часов. Каждое свое слово товарищ Миндулаев держит на привязи, каждую раздраженную шутку тушит, как окурок, чтобы она не наделала пожара. Сидя в этом забое, нужно или страстно любить свое дело, или отупеть, или быть терпеливым и добрым в работе, как татары, или держать себя в таких ежовых рукавицах, в таком повиновении, как этот алчный до жизни и радости человек, добровольно отделивший себя от солнца стосаженными толщами.

Говорят, по-настоящему храбры только трусы, идущие вперед, несмотря на истерическую дрожь своих нервов.

Так вот, если Кизел в этом году действительно выбросит на рынок 45 миллионов пудов угля, уронив себестоимость с 14 до 11 копеек, если при этом окрепнет и возрастет его партийная организация, то только благодаря работе таких людей, как товарищ Миндулаев, продолжающих колоть свой уголь и крепко верить в коммунизм, несмотря на разочарование переходного времени, скепсис и усталость.

— Пора обойтись как-нибудь иначе. С девятнадцатого года ждем облегчения. — Но рука его сильно и медленно прогуливает ручку радиолакса. Возле самого лица, как бешеный конский хвост, вьется струя пара. Ветер встает от движения машин, пыльный и загрязненный углем. Поставленные на пол фонари смотрят, присев на корточки, — золотые жабы этого сухого подземелья.

На широком и твердом лице товарища Суслова, старшего штейгера Володарской копи (коммуниста с 17-го года, фронтовика и горнорабочего), за 2 года подземных работ еще не совсем потух загар 20—21 года. Наверху, при солнечном свете, он выглядит как солдат после тифа, — крепкий организм слегка только тронут бледностью шахтеров. Под землей при свете фонаря, это — заблудившийся партизан, крепкий, приземистый и широкоплечий, как сосновые обрубки, поддерживающие потолок. Он не только безупречно знает копь с технической стороны, но наизусть помнит ее людей. Ленинский набор для такого штейгера, как Суслов, то же самое, что работа в горе во время пожара или наводнения. Под землей, рассеянные по забоям, зарываясь в уголь во всех возможных направлениях, копошатся 300 человек. Каждого из них штейгер знает как самого себя. Знает трудоспособность забойщика и условия его труда; знает, сколько влаги на стенах его забоя, сколько пыли и жары во вдыхаемом им воздухе, сколько сажен породы над головой, сколько дома детей, есть ли корова или коза, и какие мысли — тяжелые или легкие — перебирает этот человек за свою смену. Ленинский набор на копи, это — тревожный сигнал, призывающий всех, без различия возраста и национальности, всех подлинных рабочих выйти наверх и стать в ряды партии. Штейгер должен помнить каждого рабочего, услышавшего этот призыв и поднявшегося наверх, и каждого, оставшегося внизу.

— Человек остался в горе, — для горнорабочего нет слов, более волнующих. И только штейгер может определить, вызвано ли отсутствие рабочего несчастием, или просто усталостью, слабостью и неохотой. Он один знает, как далеко идти до света со дна сырых и черных ям, как много нужно времени, чтобы среди грохота машин и за великим молчанием земли расслышать робкий голос жизни, призывающий откуда-то сверху. За каждого оставшегося внизу, за каждого побежденного устало-

стью, должна бороться вся копь. Это — старое правило горняков. Никто не имеет права на отдых, пока сквозь толщу рухнувшего невежества, предрассудков и нищеты не будет услышан слабый ответный стук. Штейгер-коммунист ведет и направляет эти работы. Вот результат последней из них: до ленинского призыва на 270 рабочих Володарской копи приходилось всего 37 коммунистов, сейчас их 150.

Товарищ Малышев, работающий в забое № 61, — один из тех, кого удалось отвоевать у шахты. С 18 по 21 год он провел наверху, был пулеметчиком в Красной Армии, прошел с боем от Вятки до Иркутска, участвовал во взятии Сиваша. Из партии выпал, можно сказать, благодаря «белогвардейским хитростям». Отступая от Канска и желая «подкопаться под пролетариат», белые нарочно бросили в городе множество спирта. Товарищ Малышев был одной из жертв этой противнической провокации. А в пьяном виде, как известно, совсем другое обстоятельство.

Работая в копи, о возвращении в партию как-то не думал.

— Если бы, — говорит, — вы видели мою комнату, то не стали бы удивляться.

Что же это за комнаты, мешающие товарищам вернуться в партию?

Все рабочие казармы Кизела перешли к тресту по наследству от знаменитых князей Абамелек-Лазаревых. Строил их архитектор, одаренный богатой фантазией. Посреди каждой улицы, на расстоянии приблизительно 10 шагов от входных дверей, он с большим искусством расположил ряд отхожих мест, совершенно отравляющих воздух. В конце возвышается каменное здание, так называемый «арестантский поселок», где жили каторжане, в цепях отправлявшиеся на работу. Во время войны к ним присоединились военнопленные, которых пытались использовать как чернорабочих. Но они оказались несговорчивыми и предпочитали класть руки под колеса электровозов, только бы избавиться от каторжных работ. Затем, в виду сопротивления белых невольников, копь наводнилась невольниками желтыми. Около 3000 китайцев заполнили кизеловские казармы. На теплые еще нары одной смены валилась следующая, только что вернувшаяся с работ. Туберкулез и сифилис быстро выко-

сили ряды желтых артелей, да и к работе под землей эти дети солнца оказались плохо приспособленными.

Революция избавила их сиятельства от дальнейших забот о рабочей силе. Но проклятие старого каторжного поселения все еще тяготеет над новым советским Киселом. Тени этих гнилых, отвратительных построек отравляют жизнь тысячам рабочих семейств. У их порога чернеет застарелая грязь, те же сточные воды просачиваются в сени, та же голь и безносая нищета наваливает свои отбросы под окнами, забитыми досками, железом и тряпьем. Ни стула, ни порядочного стола, ни полки, ни умывальника, ни одной книги на сотни общежитий. Только старейшие рабочие пользуются отдельной квартирой (одной крошечной комнатой с миниатюрными сенцами), где они отсыпаются после работы, завернувшись с головой в одеяло и лежа прямо на полу. Для семейных рабочих корова — настоящее спасение. Но киселовцы лишены возможности держать даже мелкую птицу, так как при домах нет ни коровника, ни сарая. Одним словом, вопиющее убожество, которое только отчасти и с трудом может быть объяснено недостатком средств и хозяйственным кризисом. Если, несмотря на прозябание в настоящей клетке (3X3), тщетно пытаясь поднять голову, придавленную книзу потолком забоя, рабочий говорит голосом человека, долгие годы просидевшего на необитаемом острове, что он счастлив был вернуться в партию, — «все молодые вступают, нельзя же остаться отсталым», — то это значит, что партии удалось вынуть из подземной трясины действительно крупного и живого человека.

На Ленинской копи, — может быть благодаря совершенно случайному составу рабочих в эти дни, — настроение показалось мне менее устойчивым. Но и там, где-то на самом дне, есть удивительная шахта № 3. Это — обширный мокрый коридор, из которого наверх пробивается новый соединительный ход. Он должен механизировать целую подземную область, заменив ручную и конную откатку угля электрической. Но пока это яма, холодная, как лед, со стенами, облитыми сернистой водой, где рабочие в промокших лаптях шлепают по ржавым лужам. Многие из них придерживают рукою лицо: работа на этих глубинах вызывает страшные невралгические боли головы и зубов. Во главе отряда стоит товарищ

Осипов — штейгер и коммунист, в партии с 1905 года. До революции он участвовал на двух нелегальных съездах, в 1907 году был выброшен предпринимателем на мостовую, с 18 по 19 командовал 2-й ротой отряда особого назначения, воевал с белыми и одновременно восстанавливал разрушенное ими хозяйство. Едва справившись с противником, солдаты бросали винтовки, чтобы в течение 52 субботников поднять сгоревший железнодорожный мост. В 20-м году, когда топливный кризис достиг наибольшей остроты, партия посылает старого горняка назад, под землю. Он работает одновременно на производстве и в местном совете. Внизу — отливает затопленные шахты, чинит и выправляет крепления, мобилизует отряды углекопов-новобранцев, наверху — ведет ожесточенную борьбу с тифозной вошью, безграмотностью и голодом. Но копь ревнива и исключительна; она не терпит совместительства. Или совет, или шахта. На этот раз, как и прежде, товарищ Осипов выбрал подполье, если не политическое, то трудовое. На его 53-летнюю спину эта работа часто ложится непереносимым бременем. Но:

— Чересчур я обессилел от постройкома и совета...

Товарищ Осипов не единственный коммунист на дне шахты № 3. Товарищ Юферов — тоже большевик, и ему, как старому штейгеру, пришлось выбирать между работой наверху и копями. Зарабатывает он в месяц немногим больше 30 рублей. Его семья делит небольшое помещение с 4-мя холостыми рабочими.

— Покуда мира хватает — и вообще тягости довольно.

На вопрос о том, какая же последняя мысль, какой внешний толчок заставил его вступить в ленинский набор, товарищ Юферов дал ответ, от которого мрак этой ямы повел черными бровями, а воды, мокрые лапти, зарплата, все колышки, которыми измеряется рабочий быт, потеряли вес и значение.

— В партию я вошел, чтобы буржуазия заграничная смотрела на нас не так, как на ничтожество.

Желая освежить лоб, подземник сбросил меховую шапку. Показалась вся его голова, зачесанные назад волосы, широкие светлые виски над азиатскими скулами и выпуклый лоб, как маслом натертый мыслью и блестящий.

НАДЕЖДИНСКИЙ ЗАВОД

(Черновой набросок двух цехов)

I

ДОМНА

Уголь глупее чугуна и руды. Он безропотно приближается к доменной печи. Если передняя из вагонеток случайно остановится, задние с тупой поспешностью на нее наступают. Почему задержка? И уже схваченная за скобы двумя каталями, глупая угольная торба радостно раскачивается над жерлом, в которое ее спихнут. До последней минуты она не понимает, что с качелей упадет в огонь. Ее опрокидывают с грохотом. Уже падая, уголь пробует схватиться за края котла.

Есин, каталь, с одним рыжим бакенбардом, опаленным огнем, легким движением лопаты сбрасывает вниз кулаки рассыпанного угля. Сзади тупо ждут очередные вагонетки. Прислонившись к ним, второй засыпщик старается перевести дух.

Есин и его помощник еще раз раскачивают железный ковш и так ударяют его лбом о подвешенный над печью стержень, что он, теряя сознание, выпускает из рук последние глыбы угля и, оглушенный, несется дальше по воздушной дорожке.

Гораздо труднее заманить на эту шумную башню осторожную руду, боящуюся света и людей, еще не забывшую ни ударов кайла, взявшего ее в плен, ни челюстей дробилки, с которых машина слизывает размол каменным языком.

Руде дают отлежаться под навесом, в сырости и тени, на досках, которые она окрашивает в красноватый цвет своей земли. Затем ее насыпают в вагонетки и катят к воротам домны. Незаметно, так, чтобы не испугать, ее потихоньку взвешивают на весах, спрятанных под полом.

Ничего не подозревая, сырое железо спокойно подымается в голове доменной печи, в специальном лифте, через сетки которого виден весь этот царственный завод, с его железнодорожными путями, трубами, дымом, горами лома и глины, с небоскребами основных цехов, с ревом, свистом и шипеньем неизвестных машин, запертых каждая в отдельное здание и буйствующих внутри него, как сумасшедший, старающийся проломить стену размеренными, непрестанными ударами железного лба.

И вдруг, уже ступив передними колесами на гремящий помост, увидев над перилами крыши далекие болота и синюю дымку лесов, вдохнув ледяной ветер и легкий дождь угольной пыли, почувствовав под ногами предательский жар домен, заметив людей, ожидающих ее с засученными рукавами, вагонетка пятится назад, делает попытку вырваться, сойти с этих рельс, ведущих ее прямо в огонь.

Катали, задыхающиеся и черные, хватают ее с двух сторон и, как барана за рога, волокут вперед, удерживая ее стальные копыта в колее рельс, покрытых угольной грязью, как проселочная дорога после дождя. Наконец вагонетка над люком. Последняя хитрость: ее несколько нагибают, одна из стенок оказывается дверцей, которая, распахнувшись, роняет белоснежную руду на подстилку из угля. Катали бешеным усилием выдергивают ее обратно и отводят к лифту, которым уже поднимается следующий молчаливый пассажир.

Есин опускает на котел тяжелую круглую крышу и, всей тяжестью навалившись на рычаги, выпускает огонь доменной печи из его тюрьмы.

Голодное пламя в одно мгновение проглатывает «калошу» (три вагонетки угля, две руды), прорывается наружу через узкую щель и жадно облизывает края трубы, пол вокруг нее, тянется и к каталю, слишком близко подтолкнувшему свое угольное стадо.

Есин тревожно наблюдает за особым рычагом, мерником, по самую рукоятку воткнутым в глотку домны

и показывающим степень ее сытости. Мерник делает глотательное движение и приподымается выше. Печь сыта.

Но огонь продолжает бушевать на крыше домны. Раскаленный воздух со свистом вырывается из щелей. Посредине костра жалко чернеет маленькая круглая крышка с неплотно привинченными краями. А вдруг опуск?

Домна стара. В ее брюхе давно выгорели углубления, образовались мешки, в которых задерживается огненная каша.

В течение последних пятнадцати лет огонь, объевшись угля и железа, несколько раз вырывался наружу в припадке неудержимой огненной рвоты. Он потоком стекал с этой крыши, сжигая людей, камень, металл и воду, пытавшиеся стать на его пути. Но нет, стихло. Огонь, отяжелев, опадает, за ним запирается железная дверь.

Эта работа, опасная и грязная, происходящая на открытом воздухе, при непрерывных скачках температуры, — от тропической доменной жары к сибирскому ветру, — считается неквалифицированной и оплачивается скудно. Катали получают по пятому разряду, то есть 22 рубля в месяц.

С виду товарищ Есин, с его рыжей бородой, плечами широкими, как весы, и могучими кулаками, кажется воплощением человеческой силы. Между тем огонь и холод в борьбе за поочередное обладание его телом давно разрушили его мускульную силу. Он все еще прекрасный работник — благодаря знанию множества незаметных приемов, позволяющих свалить тяжесть труда обратно, на плечи машин. Но под угольной маской, под налетом искусственной красноты лицо Есина часто бледнеет, и пот, который стекает за ворот его никуда не годной прозодежды, холоден и тяжел, как сырость на стене. Загар, который доменное солнце наводит на эти лица, бел, как известка, с синеватым оттенком снятого молока.

Товарищ Пельник работает далеко внизу, среди огромных труб, окружающих подножие домны. Это — дыхательное горло печей. По одним горячий воздух нагоняется внутрь, по другим отбросы горенья, у которых огонь отнял все, что в них было живого, несутся к свету, обезумев от желания снова жить. Но по дороге к освобождению эти отработанные газы должны еще и еще раз заплатить домне богатый выкуп за свое освобождение.

У них нет больше кислорода, отобранного до последней капли. Они нищие, у которых не осталось ничего, кроме тепла. Это тепло они и должны уступить печи; их заставляют идти к солнцу бесконечно длинной дорогой, колодцами, полными огнеупорного кирпича. Этот кирпич газы согревают, оставляя ему весь жар и пурпур горения, вынесенный из пламени, и, только сделав эту последнюю работу, вытянувшись, с поднятыми над головой дымными руками, они, наконец, уходят в небо.

Но товарищ Пельник занят не на этих каналах. Он охраняет дыхательное горло домны, по которому воздух нагнетается в ее легкие. Этот воздух, уже изнемогая от жары и жажды, со свистом несется по катакомбам труб. Он грязен, выпачкан углем, тяжел от приставшей к нему минеральной пыли. Его надо очистить, прежде чем он войдет в белую пещеру огня. И вот у подножья черных колодцев расположены особые «блюдца» с глубокой, спокойной водой. Воздух жадно пьет, припав лицом к этой прохладе, к этой желанной воде, которая тихонько смывает с его лица угольную грязь.

Товарищ Пельник от времени до времени открывает оконце в толстой кишке трубы и, отвернув лицо от горячего вихря, сбивающего его с ног, белого, как клубы пара, выскочившего на мороз, опускает в живот машины длинную металлическую руку и выгребает из черных внутренностей кучу пепла и угля. В одно мгновение человек сварен, дышит со свистом широко открытым ртом, полным кислых осадков.

За это полагается вознаграждение по пятому разряду. Товарищ Пельник стоит на своем посту 15 лет, из них полных 5 лет на службе Советской республики.

II

У ДОМЕННЫХ И В ЛИСТОПРОКАТНОМ

У печи крестьян не отличишь от коренных рабочих. Одинаковые на ногах лапти вместо прозобуви. Одинаковые холщовые рубахи, прожженные и замасленные, и лица в угле, и руки в ожогах, и глаза, прикрытые синими очками или глубоко увязанные в складки кожи, как серебро в угол платка. Казанского татарина еще легче узнать. Свой мешок он накидывает на плечи, как

нарядный халат, и стоит, ожидая выхода чугуна, как ждал бы муллу у мечети.

Направляя огонь по изложницам, крестьяне, еще не ушедшие от земли, делают это медленнее, и железная штанга в их руках трогает огонь, как грабли свежее сено.

Подымая молот, они все еще подымают его, как цеп, и молотят железную рожь, из которой сыплется зерно — искры.

Придерживая щипцами конец горячей трубы, которую сверху с какой-то неистовой злобой бьет маленькая машина, крестьянин держит ее, как деревенский кузнец заднюю ногу лошади, которую кует. Несколько медленнее, чем следует, и маленькое чудовище, поджимая рычаг, как злобно помахивающий хвост, успевает несколько раз ударить своим широким ртом железного головастика по пустой наковальне, прежде чем рабочий пододвинет ему новую трубу для заливки.

Там, где настоящий фабричный рабочий быстро, как оспу, прививает вещи небольшой знак, нужный для дальнейшего производства, крестьянин медлит несколько секунд, и из его добросовестных рук металл выходит с овечьим клеймом на боку.

К заводу рабочий привязан, как к инструментам, которые имеют ценность только в его собственных руках. Рабочий отступает, когда фабрика попадает в руки Колчака. Уходит, чтобы вооружиться и затем отнять у вора орудия своего производства. Наиболее отсталый крестьянин остается на фабрике при всякой власти. Он привязан к ней, как к полю, которое просит плуга и родит независимо от перемены власти. Для рабочего — революция продолжение великой производственной борьбы. Для плохо орабоченного мужика — революция засуха, неурожай чугуна, град, побивающий озимые молодой стали.

Выбрав в свой кооператив дрянного организатора, у которого картошка дороже, чем на рынке, такой крестьянин боится поднять скандал, боится протестовать и выступить с открытым обвинением. Если зарплата низка, разряды безжалостны, если нарушаются многие условия охраны труда, прекращается выдача даже плохой прозодежды — неорганизованный деревенский рабочий видит в этом всем не государственную необходимость, не

кризис, не переходный период, а стихийное бедствие, продолжение старой, дореволюционной напасти. Необычайно резко расслоились рабочие листопрокатного цеха. Одна из чистокрестьянских артелей принимает сутунку у самого входа во дворец проката. Она согревает ее и бросает в первую машину. Железо, красное от злобы, распластывается и возвращается в руки мастера. Он сбрасывает его на грохнувший железный пол. Назад в печь — и в следующую прокатную машину. Но попав между железных скалок, металлическое тесто нескоро от них отрывается. Его все снова и снова возвращают назад. То по одну, то по другую сторону станка лица рабочих освещаются отблеском железа, на мгновение выскочившего наружу и с лязгом идущего назад, в прокатку. Каждый раз оно оставляет машине кусок своей золотой шкуры. С давних пор на Урале укоренился прием, улучшающий его качество: листы разнимаются клещами и пересыпаются угольным мусором. Полосы больше не склеиваются и дают хороший ожог. Сверху машиной руководит нажимальщик, пожилой рабочий, поворотом рулевого колеса увеличивающий или уменьшающий пытку железа. В то время как люди внизу все-таки имеют возможность подбежать к баку, сделать глоток воды и освежить лицо, рулевой неизменно стоит на своем капитанском мостике. При прокате мучительны не только жар, грязь, угар и сырость, но грохот, лязг, скрежет, вой, визг, ежеминутные крики красных железных черепах, с размаха ударяющихся спиной об пол, глухой гул машин, стук молотов, доносящийся из соседнего отделения. Нет голоса, способного перекричать палаческую глотку проката. Из всех звуков рядом с ним могут быть услышаны только самые слабые, самые незаметные, умеющие, как мышата, пробежать между ног разъяренных гигантов грохота и, несмотря ни на что, достигнуть человеческого сознания. Это — тихий короткий свист мастера, которым он зовет обратно к печи или станку своего подручного, в изнеможении присевшего на скамью. Тихий сигнал труда и дисциплины, которому никогда не отказывают в повиновении, как бы ни одеревенели руки на клещах, какими бы ручьями ни текла по лицу потная вода. Это не только приказ; свист, похожий на иволгу, в этом железном лесу значит еще: приди и помоги.

Случайно или нет, на прокатке листового железа работает целое село фабричных крестьян, переселившихся в Надеждинск с Будинского завода. Все пожилые люди, имевшие собственные домики и хозяйства при старинном вятском заводе. Крестьяне, не бегавшие ни от белых, ни от красных, и выброшенные теперь на пролетарскую улицу разорением своего барина — завода, пустившего их по миру, как раньше дедушка проигрывал в карты. Они не могут забыть ни старого режима, ни своих покинутых деревень, долго живших под кнутом, но сытно, в собственном домике, при собственной корове. Были биты, но сыты. А теперь? Глухая, незаживающая тоска о земле, о плуге, о первых остреньких зеленых иглах, лезущих из земли весной, мучает их среди машин. Окаменелые мужики без земли, которых крепостное право 200 лет заставляло работать машинами, но искусственно не позволяло выдернуть корней из земли, из навоза, из господа бога, из игрушечного, призрачного крестьянского надела посессионной фабрики.

Эта деревня у станка ни одного человека, ни единого, не дала в ленинский набор. Молча отказала.

Товарищ Леготкин вернулся к станку из армии после $3^1/_2$-летней службы, после тифа, сделавшего его непригодным для фронта. На узкой груди, стиснутой и исковерканной трудом, как нога китаянки, Леготкин носил орден Красного Знамени, полученный за пленение 5 белых офицеров во время разведки. В партии он тоже был, потом ее потерял, как теряли жизнь, память, вид на жительство и собственное свое имя в тифозных теплушках. Теперь его листопрокатная артель крепко встала между ним и партией, которая не обернулась, не заметила потери, не имела времени нагнуться и поднять упавшего за борт человека. До того ли ей было?

Леготкин делает свою каторжную работу, подкалываемый и поддразниваемый мужичками.

— Кавалер ордена. Воевал — много они тебе за это дали? Живешь хуже собаки. Все обещивали, а где исполнение?

Только молот бешеными ударами перерывает назойливую чесотку, донимающую Леготкина.

Есть еще один бывший коммунар в листопрокатном — товарищ Фурин, тоже потерявший партию благодаря ка-

кой-то старой, незажившей обиде. Она все его существо обезобразила, всю жизнь перекрестила, как шрам через лицо. В ленинский набор не пошел, несмотря на 3 года добровольной службы в Красной Армии...

Но на всех собраниях этот старый рабочий и честнейший по существу большевик с 18-го года говорит и голосует за партию.

ГОРЛОВКА

(Донбасс)

I

Глядя из окна железнодорожного вагона, можно подумать, что Донбасс решил застроиться целым рядом пирамид. На его полях, гладких как стол и покрытых пыльной скатертью полыни, отделенные друг от друга промежутками в несколько верст, возвышаются ровные остроконечные конусы, геометрически правильные одинокие горы.

На вершине каждой из них, бережно подогнув тонкие ноги, сидит большое железное насекомое; оно беспомощно и слабо, — маленькие, трудолюбивые вагонетки, похожие на муравьев, ежеминутно взбираются к нему по рельсовой дорожке и кормят грудами земли и камней, добытых на дне шахты.

Вся гора состоит из породы, годами изо дня в день осыпающей ее искусственные склоны. В этой промышленной области фабричные трубы давно переросли пирамидальные тополя, эти зеленые живые колонны юга. Горы пустой породы, выброшенные на поверхность угольными копями, вполне и безраздельно господствуют над черноземной равниной. У их подножья голая степь перерезана густой сетью железных дорог. Она соединяет между собой угольные и металлургические оазисы, облегчая движение черных караванов, кочующих между углем и рудой, доменными печами и шахтами. Это — великие торговые пути южной металлургии.

Горловка — один из самых крупных угольных колодцев Донбасса. Гора ее земляных отбросов строилась десятилетиями. Черный конус лежит на широком фундаменте красноватых пород, потухших и охлажденных, как лава. На вершине сера, навоз и угольный мусор еще продолжают гореть. Ночью красноватый блеск этого тихого, никогда не прекращающегося тления делает террикон похожим на потухший вулкан, по склонам которого бродит пламя, этот жадный старьевщик, отыскивая себе пищу среди мусора. Но если искусственная гора, несмотря на свое зловещее зарево, совершенно безвредна, то под землей, на глубине своих трехсот сажен, копь так же опасна, как в 1890 и 1917 годах. В недрах угольных пластов заключены особые озера — пустоты, полные болотного газа, из которых метан тонкими, как волос, трещинами просачивается в штольни. Подземные пожары отравляют нижние забои угольной кислотой. По временам она скопляется во всех углублениях, как дождевая вода в низине. Шесть лет тому назад один из забойщиков, товарищ Сеничкин, пришел к штейгеру и отказался идти в забой, где его фонарь без всякой видимой причины два раза потухал, охваченный пламенем, и где в воздухе ему почудилась особая духота, пахнущая смертью. Но в те дни малейшая остановка в работе строго каралась администрацией бельгийской компании. Избегая ненужных трат на розыски и обследования, инженеры уже в течение многих месяцев сообщали совершенно фантастические сведения о количестве скопившихся в шахте гремучих газов. Маленький человечек, некий коногон, тоже знал, что гремучий газ и метан — только случай, только неизвестность; а расчет и безработица — осязаемая и беспощадная реальность. В ламповом его стекле была трещина, большая черная царапина. Старший стволовой ее заметил и посоветовал вернуться. «Где там!» — он погнал свой шумный поезд туда, где у забоя уже стояло тихое озеро болотного газа. И, когда подслеповатая лошадь коногона завернула за угол, это озеро встало и подняло на огненных плечах шахту со всеми работавшими в ней людьми. Воспламенение угольной пыли придало взрыву необычайную силу. Семь ударов последовало друг за другом с небольшими перерывами. В истории горного дела есть случаи беспримерного и бескорыстного мужества, ко-

торые пережили даже революцию. Таким случаем была работа начальника спасательных команд Донбасса, инженера и ученого Черницына. Три отряда пошли за ним на дно отравленной газами шахты, чтобы спасти рабочих, может быть заваленных породой и камнями и ожидавших спасения. Ни один человек не вернулся на поверхность земли. Первыми почувствовали зловещую дурноту люди из отряда Черницына, далее других выдвинувшегося вперед. Ему самому удалось вернуться, призвать на помощь второй отряд, подобрать и уложить на носилки упавших; оставалось сделать еще несколько десятков шагов сквозь бурый туман ядовитых испарений. Но тут силы оставили вновь пришедших. Чувствуя головокружение, они опустили на землю свои носилки и попробовали уйти от смертельного обморока. Он свалил их на полпути. Только Черницын еще раз дотащился до главного ствола. Здесь этот человек, два раза избежавший гибели, со слезами на глазах просил третий и последний отряд вернуться за потерянными товарищами, тела которых лежали так близко и, вероятно, еще сохранили признаки жизни. Он сам повел последних восемь добровольцев назад в рыжие сумерки шахты, — и только теперь, шесть лет спустя, тела этого героя и его товарищей были извлечены и похоронены новой Советской Россией, успевшей родиться и возмужать, пока смертельные испарения потихоньку рассасывались где-то на трехсотсаженной глубине.

В течение этих шести лет рабочие Горловки продолжали бороться уже не за спасение нескольких товарищей, а за жизнь самой шахты, которой угрожала полная гибель. Трудно себе представить, в каком виде пролетариат Донбасса в 20 году принял свои копи. Все их оборудование было совершенно разрушено. Болотный газ захватил важнейшие шахты. Вентиляционные приспособления погибли; угольная пыль разлетелась по копям, как облако моли в нежилом доме, угрожая придать самой незначительной вспышке ужасающую силу, которой прославился взрыв 17-го года. Водоотливное хозяйство дошло до состояния, близкого к полному разрушению. Во главе этой развалины стал рабочий Коробкин, настоящий белый медведь, вылезший из шахты, последовательно бывший рассыльным, ламгоносом, ко-

ногоном, забойщиком, красногвардейцем и коммунистом-партизаном, и, наконец, директором Горловских копей. За каждый ремонт, за каждый аршин бронированного кабеля, за каждую новую гайку или стекло для лампочек нужно было бороться: или сделать их самим, или достать и провезти через фронтовую полосу. Рабочие опускались в шахту — и в какую шахту, — отравленную газами, залитую водой, полную угольной пыли, непроветренную и неосвещенную, рискуя каждый день взлететь на воздух или захлебнуться в подземных водах. Вспомним шахтерский паек 21-го года, который когда-нибудь будут показывать в музеях, в феврале 21-го года состоявший из $1^3/_4$ фунта муки (в день на семейство), $^1/_8$ фунта табака, 1 фунта сахара, $^1/_4$ фунта мяса, $^1/_{21}$ фунта сала и $^1/_{21}$ фунта овощей и 4-х папирос в месяц. Смены, проработав в забоях два-три часа, возвращались назад из-за голодной слабости, валившей их с ног. Несмотря на все эти тягости, перелом к выздоровлению все-таки совершился. Производительность главного горловского рудника № 1, составлявшая 2 280 535 пудов в 1921 году, в 1922 году подымается до 4 321 921 и в 1924 году — до 5 440 164 пудов. Производительность на одного рабочего забойщика за 1921 год — 4150 пудов, за 1923 год — 4812 пудов. Средняя денная производительность забойщика за 1921 год — 195 пудов, за 1922 год — 285 пудов, за 1923 год — 289, средняя денная производительность подземного: за 1921 год — 45 пудов, за 1922 год — 53, за 1923 год — 61 пуд.

Добыча угля на рудниках №№ 1, 5 и 8 за 21 год не превышала сумму в 5 850 025 пудов. В 23 году это количество уже утроено, добыча равняется 15 430 431 пуду.

Но и сейчас, при сравнительно благоприятных условиях, работа в Горловке может считаться одной из самых трудных по Донбассу. Шахта уходит под землю совершенно прямым стволом длиною в 260 сажен, от него под таким же прямым углом отделяются боковые ветви — квершлаги. Между двумя параллельными квершлагами лежит массив, толщиною в 50 сажен. Но уголь не добывается или почти не добывается по горизонтальной линии. Его слои под острым углом подымаются к поверхности. Чтобы следовать за ними, угле-

коп должен покинуть и удобный квершлаг, и узкий коридор, в него впадающий, так называемый «штрек», и выбиваться наверх узкой, круто наклоненной щелью, уступами уходящей ввысь.

У человека, идущего в забой не снизу вверх, а сверху вниз (через выше лежащий центральный ход), создается впечатление, что он, протиснувшись сквозь узкий люк и нащупав ногой ближайшую деревянную подпорку, за которую цепляется его тело, вдруг попал на нижнюю палубу огромного корабля, почти поваленного набок сильной качкой. Если бы эта качка вдруг прекратилась и подземный корабль принял естественное положение, то вместо знаменитого забоя «Мазурка», где люди выплясывают такие фантастические фигуры, вися над пустотой на тонких перекладинах, получилась бы низкая зала вышиной аршина в полтора, с потолком, на всем протяжении подпертым деревянными столбиками. Но вся эта штука лежит на боку, «полы» и «потолок» обрываются вниз под острым углом, и крепления, поддерживающие крышу, служат перекладинами бесконечной лестницы, по которой подымаются и опираясь на которую работают забойщики.

Чтобы один, стоя выше, не бросал угля на голову другому, работающему ниже, в породе сделаны особые уступы. Таким образом, перед каждым рабочим лежит особая глыба, в которой он выдалбливает нечто вроде черной камеры, но с провалом вместо пола, с дырой под ногами, через которую отколотый уголь грохоча летит вниз, к люку, и прямо в откатывающие его к подъемной машине вагонетки. Через эти же люки, вечно закупоренные углем, должен поступать в забой свежий воздух. Можно себе представить, сколько углекислоты и опасности скопляется у ничтожных отдушин, соединяющих забой с внешним миром.

Фигуры забойщиков почти невидимы за густой пылью, составляющей воздух подземной трущобы. Настоящей вентиляции нет. Нечистое дыхание подземелья отсасывается машиной, поставленной над устьем вентиляционного колодца. Струю этого душного, отравленного воздуха не раз встретишь в шахте, когда она, бешено хлопнув дверями тихих подземных конюшен, преградивших ей доступ к работающим забоям, со свистом уходит под потолок. Тяжелая, сухая струя газов обматы-

вает и сжимает грудь, как большая теплая змея, согревшаяся на солнце и вывалявшаяся в пыли. В забоях воздух в полном смысле слова отсутствует. Летучий уголь прикасается к глазам, и глаза учатся смотреть, посыпанные едким порошком. Легкие работают в мешке из угольной пыли, кожа, пропитанная потом и напудренная сажей, делает людей изваяниями из угля, одежда становится чугунной. На расстоянии двух шагов шахтерская лампочка, это выдержанное, невозмутимое существо, сохраняющее присутствие духа, пока в воздухе сохранилась хоть капля кислорода, светит растерянным светом, звездной каплей, упавшей в кромешный омут.

Забойщик висит на тонких сосновых перекладинах, перекрывающих провал. Весь забой, с его чадом и мраком, пропитан острым запахом человеческого пота, который течет из-под белых подмышек, смачивает обмытые им светлые предплечья и машинным маслом растекается по черным, как чугун, бокам. Растянутое поперек черной клетки черное тело бьет вокруг себя, издает свой равномерный рабочий крик, это «гха-гха-гха», и рушит уголь, который, срываясь, подымает новые облака пыли. Кусочки его роятся и жалят, как черные комары черного подземного лета, москиты угольной Африки. Товарищ Гондарь держит свою кирку за самый конец длинной деревянной рукоятки. Лезвие его обушка то блеснет, врубаясь в уголь, и шахтер меняется в лице при виде светлых брызг, посыпавшихся из оцарапанной породы, то мелькнет, оскалившись, далеко откинутый за спину. Непобедимая пыль становится все гуще. Переводя дух и хрипя от усталости, Гондарь опускает оружие и гневно оплевывает сваленную у его ног добычу.

Нет дна этой яме, раскрытой под ногами, нет ей насыщения. Опять обушок свищет и заносит над голыми плечами свой стальной выгнутый клюв. Уголь крепко сопротивляется и только изредка сбрасывает на голову забойщика предательский камень или, когда Гондарь, выронив зубок, спускается вниз и разыскивает его в кучах мусора, — уголь брызнет ему на мокрые плечи струйкой осколков. Но еще удар и, потеряв равновесие, он летит вниз водопадом, целым каменным наводнением. Уклонившись в сторону, рабочий как бы продол-

жает отмыкать кран за краном, черная плотина рвется, и потолок, грохоча, падает вниз. Пыль за ним встает и дымится, как по следу проскакавшей кавалерии, фонари тлеют лагерными кострами, наполовину затоптанными конницей.

Очистившееся пространство надо немедленно поддержать новыми креплениями. Рабочий бросает кайло и берется за топор. Бревно пляшет под ударами, воздух звенит и вскрикивает, переливается пыль, свет меркнет, и, раздвигая свой подземный ковчег, шахтер вставляет свежий кол в разинутую пасть угля, не позволяя сомкнуться над своей головой его избитым челюстям.

Для крепости еще тонкая досочка (затяжка) втискивается между крышей и креплением — легко, как трамвайные кондуктора вкладывают в сумку свои толстые контрольные тетради.

Ничто здесь не держится. Все надо подпирать, вклинивать, сшивать большими деревянными стежками. Все скользит, сыплется и изменяется. Забойщик, хозяин всех вещей, одним ударом, как повелительным словом, указывает им место и службу: крючок фонаря пришибает к балке, топор висит на перекладине, держа ее острым зубом, как верный пес, дерево стоит и не гнется, и зубок не выпадает из обушка. Проверив крепость и послушание своих немых помощников, человек ногами упирается о стойку, грудью ложится на соседнюю, и, повиснув лицом вниз, держа в объятиях дерево, которое его несет, начинает очищать новый участок. Опять гроза обвалов и громы падающего угля.

И он и фонарь его, — все стало призраком. Пыль их душит, свет мигает, с трудом протирая засоренные глаза, и кажется не ярче белых, смоченных по́том лопаток, под кожей которых, как живые шары, ходят взбухшие мускулы.

Ниже товарища Гондаря работает еще несколько человек, отделенных друг от друга небольшими уступами. Можно себе представить воздух забоя, когда девять потоков угля сыплются вниз, девять пыльных туч курятся одновременно, и из девяти глоток отхаркивается сажа, черная пена плевков и облегчающая душу матерщина.

II

Немногим лучше работается на пласту «Сорока». Тот же поток угля, бегущего по желобу то с робостью, то с громом обвала; та же пыль, трудное дыхание, отсутствие воздуха и равномерный стук стальных дятлов, выдалбливающих угольное дупло.

Четыре забойщика, непохожих, — как вообще люди непохожи друг на друга, — рубят уголь, сидя верхом на тонких перекладинах. Нижний из них — старый солдат-«преображенец» — большим ухом, любопытно открытым, как раковина речной улитки, едва улавливает голос самого верхнего, почти мальчика, бывшего гимназиста, заброшенного молодым авантюризмом сперва в ряды Красной Армии и РКП, а потом в Горловскую шахту. Майн-Рид и революция, «Дети капитана Гранта» и большевики, и, наконец, отрезвление на дне Горловки после года тяжелого взрослого труда. Между солдатом и мальчиком — настоящий старый забойщик, горловский рабочий, воевавший за свою шахту со Шкурой, две недели просидевший в ожидании расстрела «в одних кальсонах» и вернувшийся назад под землю, как возвращаются многие настоящие углекопы.

Скука его томила наверху, — пустое и светлое денное время, вызывающее сплин у подземников. Они не умеют жить без угля и без обушка, без шахтерского фонарика, освещающего уединенный кусок подземелья тем ровным светлым пятном, которое люди оттуда, «сверху», так любят на своем письменном столе зимой, среди молчаливых книг.

Четвертый — коммунист, и голос его выходит из самой верхушки затопленного мокротами горла. Это — старый красноармеец, встречавшийся с Калединым у Матвеева-Кургана, шагавший по фронтам, пока все они не кончились, вернувшийся на производство с пятью ранениями и тоской по родным шахтам, не заглушенной ни годами великой революции, ни войной. И не удивительно: человек с 12 лет коногоном водил под землей поезда вагонеток с тем неподражаемым, соловьиным, разбойничьим свистом, от которого шахта смеется и шевелит всеми своими тенями. Лошадь бежит во всю прыть, так что ее сильные задние ноги, забрызганные грязью, как белые ворота несутся в темноте, а встреч-

ные углекопы, прижавшись к стене и пропустив мимо себя поезд, одобрительно машут фонарями:

«Эх, партия пошла с ветерком».

Рано или поздно старый коногон и запальщик, бурильщик и каталь все равно вернутся в шахту.

Каждый из четырех по-своему держит обушок, посвоему молчит, думает и работает свои 8 часов. В двух, однако, вопросах эти четверо, при всей разнице возраста и политических убеждений, безусловно и отчетливо совпадают. Во-первых, в стихийной и кровной своей связи с рабочим государством.

Каждый иначе формулирует эту социальную аксиому. Маленький авантюрист, мечтательный провинциальный мещанин, из которого каторжные работы сделали человека; забойщик, для которого отдых в 50 лет невыносим, как олицетворение скуки; преображенец, колющий уголь угловатыми и торжественными движениями, как будто вокруг него не шахта, а Дворцовая площадь в дни долгих высочайших парадов; и коммунист, заколдованный подземным миром. У одного революция легла глубоко под поверхностью сознания, как темный и богатый пласт социального опыта. У другого она стала частью самой шахты, как лицо Ленина, одним из рабочих в недолгие минуты отдыха написанное углем на сводах глубокого и опасного горизонта; третий носит в себе это советское гражданство как противовес, уравновешивающий всякое колебание экономических тяжестей, как бы велики они ни были...

Но зато рабочие оставляют за собой право широчайшей критики, вернее — самокритики. И чем она резче, чем ближе к производству и его нуждам, тем определеннее выступает новое, пореволюционное лицо России.

Знаменитое «а вот при старом режиме то-то и то-то было лучше» стало совершенно невинным полемическим приемом. Попробуйте у этого же рабочего, в пылу справедливой деловой критики обмолвившегося «старым режимом», попробуйте его расспросить о недавнем прошлом поподробнее. Обнаружится поразительная вещь: он это прошлое совершенно выронил из памяти, оно перестало существовать в его сознании, как нужная реальность. Прошло всего шесть лет, а люди уже с трудом вспоминают дни господства белых, и только у ста-

риков или у товарища Исиченко, старого рабочего-каторжанина, выманишь что-нибудь о царизме, да и то живыми островками в памяти сохранились драгуны и виселицы 1905 года, дни расстрелов и величавых похорон.

И второе. Массы, отстоявшие свои рудники с оружием в руках, засеявшие их своими костями в годы голодной войны, совершившие то, что специалистам казалось невозможным, требуют теперь одного — и к этому сводятся все жалобы, все недовольства и недоразумения, — такого же щепетильного, безукоризненного внимательного отношения к своему быту, какое сами они уделяют машине, производству и всем его нуждам. В жизни рабочего нет мелочей. Ни одному из них не придет в голову сумасшедшая идея пренебречь мелочами машины, электрической станции или парового котла. Невнимание к мелочам карается на производстве самым безжалостным образом и притом немедленно: взрывом, увечьем, ранением. Рудник или шахта воспитывают осмысленное и неутомимое внимание. В Горловке, на таких опасных копях, где от малейшей неточности зависит жизнь нескольких тысяч человек, мелочи — все, или почти все. Ими занимаются лучшие, наиболее квалифицированные рабочие. На них в течение двадцати пяти лет сидит такой специалист, как товарищ Гуцев, заведующий ламповым отделением, наблюдая за тем, чтобы ни один из тысячи колпачков не пропускал ни крупицы воздуха, чтобы тысячи затворных колец с абсолютной точностью до одной десятой доли волоса прилегали к своим стеклам. И если в шахте все благополучно, то это значит, что товарищ Гуцев, десятилетиями сидя возле своего закопченного очажка, как цветником обсаженного семейством зажженных фонарей, ни разу не пренебрег одной из великих мелочей, организующих и оберегающих труд. Здесь не признают рока, случайности объявлена война. Есть гайки, винтики, гвозди, ничтожнейшие куски меди, железа и стали, сваленные в ящиках шахтной кладовой, оберегаемые пожилым рабочим, как будто бы это были сокровища; есть пыльные гвозди ремонтной мастерской, которые в свой день и час должны занять незаметное место в теле машины, чтобы сделать ее сильной и здоровой и тем предотвратить нелепую катастрофу.

Над главным стволом шахты стоит копер, опускающий на дно ее людей, вагонетки с углем и породой, рабочих, инженеров и лес, дерево и кипяченую воду, — словом, все необходимое для ее существования. Устройство машины чрезвычайно просто: подвешенные к двум концам стального каната, переброшенного через колесо, две клети с ужасающей быстротой опускаются в шахту и снова подымаются на поверхность. Скорость их падения совершенно нечеловеческая. Стены колодца текут вниз каким-то влажным водопадом, кровь бросается в голову, в ушах вата, и только свет подземных лампочек по-прежнему равнодушен и желт, как будто бы вокруг них все вымерло. Далеко от подъемной машины и двух ее клетей с невыразимой быстротой, менее чем в одну минуту достигающих 260 горизонта, в спокойном и теплом машинном отделении стоит приборчик, напоминающий издали тихие старинные часы. Это индикатор, который тончайшим перышком отмечает на листе бумаги колебание скоростей, самый отдаленный намек на опасность. У подъемной машины, таким образом, два полюса. На одном, верхнем, стоит инженер и самым тщательным образом наблюдает капризные холмики скоростей, у другого, внизу, старший стволовой глухими ударами колокола собирает команды рабочих, следит за погрузкой, за тем, чтобы никто не соскочил до остановки и не случилось ни одного из тысячи несчастий, возможных при каждой посадке.

А в котельном? Разве не диктатура мелочей у этих печей, в которых трепещет легкий вереск огня, — где лопаты ходят мерной и размашистой качелью, и жигало, повертываясь, входит и выходит из печи, как копье? Техника такая, что любой из кочегаров, зазевавшись, мог бы взорвать половину Горловки.

И в своем новом быту забойщик и кочегар, коногон и лампонос гораздо легче переносят снижение заработной платы, если за этой мерой стоит государственная необходимость, чем неряшество и небрежность, натирающие кровавые мозоли на его психике. Все эти занозы давно известны: это — жилищный вопрос и кооперация, заводская больница и курорты. Хуже всего обстоит в Горловке дело с домами для рабочих. Они достались нам от бельгийцев, а бельгийцы строили так, чтобы к 19-му году, то есть к моменту ликвидации их кон-

цессии, все постройки развалились. Так и случилось, — рабочие остались в рассыпающихся халупах. Семья в 6 и больше человек или 3-4 бездетных семейства занимают землянку из одной комнаты и маленькой кухни. Стены — какие-то прутья, обмазанные глиной. Пол земляной, крыша двускатная, без потолка. В сотнях домов она так ветха, что ветер сносит песок, еще с осени терпеливо натащенный хозяйками, и на очаге выпадает снег.

Все крыши протекают. Стены расписаны сиренью и зеленью сырости. После работы люди просыпаются у себя на постелях, потому что на них «идет дождь». При этом от старости дома по самые окна вросли в землю и стоят неровными рядами, как грязные бородавки, разъеденные сыростью. При ядовитом воздухе Горловки, прилепившейся вокруг никогда не потухающей, снедаемой внутренним пожаром горы, все кругом отравляющей продуктами разложения, — эти жилищные условия являются великолепным рассадником туберкулеза. В местной больнице можно видеть, во что превращается легкое углекопа к моменту смерти. Это — бледный мешок, на котором уселся пласт угля в палец толщиной. Если в жизни рабочего были периоды, когда он уходил с подземных работ, то на легком они помечены тонкими жировыми прослойками. Так на жалком обрывке человеческого тела записана вся его героическая борьба с углем и сыростью, с голодом и переутомлением.

Недостаток в жилищах так велик, что десятки сезонных рабочих не имеют даже собственных нар и после работ валяются на полах в нарядной, котельном, в бане, — если удастся обмануть бдительность уборщиц. Тем не менее к этому кризису горловские рабочие относятся спокойнее, чем можно было ожидать. Это объясняется тем, что в поселке ведутся энергичные строительные работы. Пообедав и поспав после шахты, рабочий обязательно идет смотреть, как выводятся светлые каменные стены новых домов, как прорубают в них широкие окна, как настилается серебристая огнеупорная крыша из уральского цементированного асбеста. Люди часами любуются на погреб, на коровник, на летнюю кухню, на весь этот новый рабочий дом, где каждая семья будет пользоваться отдельным очагом, отдельной

входной дверью, отдельным шкафом для просушки мокрой одежды. К сожалению, Донуголь жаден на постройки, бережлив и осторожен, как Плюшкин.

В этом году он заказал Госстрою только 20 домов для семейных (действительно хороших, крепких домов) и 4 общежития для холостых рабочих. Это при двадцатитысячном рабочем населении, при семи тысячах углекопов, голодными глазами считающих каждую новую балку, каждый гвоздь, идущий на постройку. Или в этой области будет проявлена такая же исключительная энергия, какую партия развивала на фронтах голода и гражданской войны, или гнилые, туберкулезом промоченные и проплеванные дома под самым носом у ГПУ будут продолжать свою контрреволюционную агитацию, которую они ведут вот уже 6 лет. Старые горловские хлевы как самые неисправимые враги советской власти должны быть поставлены к полутороаршинной стенке нового, из здорового камня и дерева построенного пролетарского дома.

Больница и медицинский надзор. Из своих семи тысяч углекопов Горловка может ежегодно послать на отдых 150 человек. Это немного. Но хуже то, что только 4 или 5 % настоящих шахтеров попадают в Крым или на Кавказ. Большинство оседает на Донце, в доме отдыха, где сырые сосновые леса мало способствуют излечению. Больница бедна. Всех, кто вообще может ходить, она отправляет домой и долечивает на ежедневных приемах. Только тяжелобольной может рассчитывать на койку и то не всегда. Случается и так: забредет в Горловку рабочий, уже больной, дотащится до больницы, — места нет. Наймется в шахту, поработает несколько дней и потом свалится где-нибудь в углу сборной комнаты, да так и лежит трое суток, путаясь под ногами чередующихся смен со своими хриплыми вздохами, мучительными плевками и кучей заугленного тряпья. Между тем человеческая развалина, нашедшая убежище в самом сердце копей, — тоже не кто-нибудь, а товарищ Трофимов, шахтер, два года добровольно воевавший в Красной, уволенный со службы после тяжелого ранения, полученного на фронте, — словом, один из тех углекопов, которые воевали и ставили на ноги могучие шахты Донбасса, один из тех, которые и теперь тащат в гору производство, несмотря на проклятую бедность,

повисшую на горбу. Смены приходят и уходят, шумит живой рабочий прилив, гудки выкрикивают часы работ, из бездонного мешка земли ежедневно высыпаются сотни тысяч пудов угля, шахта с громовым маршем победы и труда шагает через головы своих павших бойцов. Кто-то обязан заботиться о том, чтобы их вовремя поднимали на носилки, чтобы для их последнего часа всегда находилась постель, накрытая тишиной и покоем. Или такой случай: внизу, на самом дне копей, в одном из забоев 260 горизонта, рухнувшей крышей тяжело побило забойщика. Несчастие случилось около 7 часов вечера. Как на зло, клеть подъемной машины благодаря маленькой неисправности не могла тотчас поднять пострадавшего на поверхность. Но, кроме главного ствола, каждый горизонт имеет еще от 5 до 7 запасных входов, так называемых гезе́нков. Это — труба, мокрая и узкая, в которой едва помещается человеческое тело. Со дна ее встает сумрачный ветер шахты, мокрый, с острым конским запахом. Ноги едва достают широкорасставленные перекладины. Малейший камень, сорвавшись вниз, приобретает страшную силу удара. Между тем со дна, видимые в этом колодце как звезды сквозь подзорную трубу, шевелятся и лезут вверх фонари испуганных забойщиков. При малейшей тревоге они бросаются вон из шахты, гонимые призраками 17-го года.

Внизу, в маленькой дощатой комнате, на подстилке из сена лежит человек, лица которого не видно: это раненый забойщик. Мы спустились в шахту около часа ночи. Фельдшер прибыл всего на четверть часа раньше нас. С 7 до 1 часа! Где же он пропадал в течение 6 с лишним часов? Эти факты приводятся здесь вовсе не для того, чтобы набросить тень на Горловку, наоборот, ею сделано очень много для улучшения рабочего быта; но сейчас, куда ни обратись, с кем ни заговори, — в забое и в кочегарке, в очереди кооператива и на партийном собрании, — рабочие повторяют одно и то же: раздражающие «мелочи», не вызванные общегосударственными причинами, могут и должны быть устранены.

Кооператив. Каждый шахтер и сам отлично знает, что его рабкооп в долгах, как в репьях, и только в этом году начинает становиться на ноги. Но знает и другое: что на первых порах скудные средства были са-

мым нелепым образом потрачены на покупку дорогих и ненужных пиджаков, вагонов бумаги и косметики. Что знаменитый коммерсант, совершивший все эти сделки, ухитрился потерять 5000 руб.; что в Горловке в этом году существуют хлебные очереди, которые стоят с вечера всю ночь, до самого утра. Что шахтеры, вернувшись с работ, ходят и ищут загулявшего раздатчика, чтобы получить свой фунт хлеба. Знают и о том, как в срочном порядке были выстроены по всему поселку хлебные ларьки, которых не удалось открыть из-за отсутствия весов. Да ведь любой рабочий с радостью одолжил бы свои собственные, и на складах рудоуправления они имеются. Черт возьми, если бы рабочий с таким же легкомыслием относился к своим обязанностям, его бы в шею выгнали с работы. Нельзя же в самом деле устраивать 18-й год с ночными очередями, с женщинами и детьми, спящими на земле у порога хлебных лавок. В забоях, на собраниях, в сборной — вой стоит от этих мелочей, от этой вши нашего быта, принявшей размеры слона.

Все это — минусы. Но только слепой не увидел бы за ними гигантских шагов, которыми идет вперед новая бытовая культура. Особенно с тех пор, как ленинский набор призвал в ряды партии лучший слой рабочих, имеющих производственный стаж от 5 до 30 лет, из них 50% красноармейцев-добровольцев, часто людей с более высоким политическим образованием, чем партийцы 17 и 18 годов, которым некогда было учиться. На первое января на 4758 рабочих приходилось 144 коммуниста и кандидата; на первое апреля при общем количестве рабочих в 5149 человек уже 242 коммунара; на 1 августа 5472 рабочих, из них 536 коммунистов, не считая 22 анкет в портфеле товарища Горького, секретаря кустпарткома, поступивших только теперь, через несколько месяцев после массовых вступлений. 22 долго обдумывавшихся, спокойно выношенных анкеты.

Одно воскресенье, прожитое в Горловке, разворачивает целую картину нового быта. От собрания юных пионеров, с их неожиданными полосами глубокого внимания, когда оратор говорит понятно и требует комнажима на папу и маму, до новых крестин, во время которых на сцене сидят пожилые уже рабочий и работница, и нянька, к радости всего собрания, укачивает за

спиной президиума готового голосистого младенца, которого покрыть может только ускоренный свадебный «Интернационал», заставляющий ежеминутно и с радостью вставать и садиться всех свидетелей; от комсомола, — славного, голенастого, веселого комсомола, который в жаркие дни довольно нерадиво душит толстенный том экономики и не знает, как быть со своей горячей кровью — без любви противно, а жениться, ни чему еще на научившись, тоже нельзя, — и до работниц, которые большинством голосов проваливают на собрании регистрацию брака на том простом основании, что замуж выходить можно только по большой любви, а пока что в часы, свободные от тяжелого труда, должно жить радостно и молодо. Только семьи тут припутывать не нужно, и нечего обращать в пожизненную каторгу каждую случайность.

Разве все это не новая жизнь? А теплый, молодой, жизнерадостный и по-молодому серьезный кустпартком, где трезво и без чиновного чванства работают, где к комсомольцу приходит пожилой рабочий поговорить о всех своих нуждах — и партийных и семейных. О том, что ему, старику, трудно дается «История партии» хоть читает ее честно третий раз, а еще труднее развестись с женой, так как вещей накопилось много — что лежит в сундуке, то ее, а то мое, — как же мы добро разделим? И комсомолец Шишов — умный, лукавый, быстрый комсомолец наших дней — слушает, вдается в детали, переспрашивает насчет полушубка и тихонько привязывает «отца» к партии. И удивительное, осмысленное и полное уважения, совсем новое, изнутри и снизу выросшее отношение пожилого рабочего ленинского набора к новой работнице, вступающей в его ряды с молодым голосом, который так легко обидеть, пробующей защитить себя и свою жизнь от сплетнического, злого, бабьего гнета старой семьи.

Испитое и битое, затравленное или озорное лицо дореволюционного поселка неузнаваемо. Мы сидим в центре и не подозреваем, как много вопросов величайшей важности, — вопросов совести и любви, вопросов детских и взрослых, касающихся каждой одиночки и коллектива; вопросов сейчас, сегодня, из жесткого старого кирпича устарелых жизненных форм вытесывающих, выгранивающих наше коллективное завтра, раз-

решается там, в Горловке, в городке, где люди вдыхают запах углекислоты, смешанной со зловонием выгребных ям. И делается это все не сверху, а без ведома всякого верха, часто вопреки косной и омещанившейся воле маленьких чиновных людей.

Изумительна Горловка в воскресенье вечером. Ее угольная гора стоит гигантским треугольником, вписанным в теплое лунное небо. Здания рудника — как темная гавань, к которой причалили корабли с их дымными трубами и ослепительными огнями. Злые подземные огни тлеют по склонам горы, и от времени до времени вагонетка, взбежав наверх, опрокидывает на них град камней. Тогда огонь, старый поджигатель, красноглазый цыган, выплевывает облако дыма и переползает на новое место со своим камельком.

А внизу, где когда-то пьяная и озверевшая от нищеты гуляла старая Горловка, заливаются гармоники. А внизу — качели, к которым огромный фонарь поворачивает то одну, то другую белую щеку света. Внизу — сад, в котором цветы на весь поселок кадят запахом юга и роскоши. Оркестр и комсомольцы, клубы и собрания, старинные шахтерские песни и «Интернационал», озорной свист загулявших коногонов — и мальчишки, обсасывающие у щелей обрывки новой пьесы, капающей из театра в сад, как капает мороженое с промокшей пятикопеечной бумажки.

Внизу, в тени промышленной крепости, темные улицы и сытый, мирный собачий лай, много молодых и влюбленных, много детей и много беременных женщин, запах свежего хлеба, и на каждом столе арбузы — красные солнца с черными родинками на сахарных холодноватых щеках. Покой и движение, тень и свет и, невыразимая никакими словами, широкая, отдыхающая тишина двадцатитысячного рабочего города.

И видишь: это победой и миром полнится советская страна.

СОЛЬ

Бахмутская долина, это — кусок черного хлеба, густо посыпанный солью. Под одеялом чернозема лежит сплошной, почти без прослоек, чистый, как лист бумаги, безукоризненный соляной пласт. Его мощность достигает 22 сажен, то есть она почти в десять раз превосходит в ширину богатейшие угольные залежи Союза. Вся площадь соляного королевства равняется 54 верстам, и еще несколько лет тому назад оно пользовалось своеобразной независимостью. Крестьяне, его населяющие, почему-то говорили по-украински, разводили арбузы и ездили на своих медленных великолепных волах. Но из 9 колоссальных рудников 7 принадлежало голландцам и французам и только 2 — русским капиталистам. Но дивиденды голландцев растревожили опасного конкурента: новая буржуазия, образованная и либеральная, уже тогда носившая в кармане адвокатского фрака диплом оксфордского университета и проекты российской конституции, серьезно повела борьбу за более справедливое использование французско-голландской соляной колонии. Сам блестящий Терещенко, парламентарий и коммерсант, будущий министр Керенского, имя которого, звонкое как трещотка, с таким ликованием предавали хуле питерские мальчишки, прыгая во главе бурных июньских демонстраций, заложил прекрасно оборудованный рудник, ныне «Свердлов».

Иностранцы не жалели денег на оборудование своих южнорусских колоний. Барыши были так огромны, что в кратчайший срок окупали все расходы по механиза-

ции производства. Не пожалел их и Терещенко. Но его предприятию, основанному на широком и прочном фундаменте, рассчитанному на неторопливую и длительную эксплуатацию, суждено было кончить грубейшим хищничеством. Уже достроены прекрасные — лучшие в Донбассе — дома для рабочих; идеальная силовая станция и мельница для размола более дорогих сортов соли. На глубине 7 сажен шахта наткнулась на первый пласт. Нужно было, не задерживаясь на этой второстепенной залежи, сразу пройти несколькими саженями ниже и начать разработку колоссального 22-саженного пласта. Но началась война: цены на предметы первой необходимости сделали дикий прыжок вверх, — наступила эра благодатной спекуляции, в которой Терещенко не мог не принять самого деятельного участия.

Начатый было ход на второй горизонт забили камнями. Все работы по расширению и научно-правильному оборудованию, прекратились. Началась охота за деньгами.

Соль образует идеальные своды, ее подземные постройки считаются вечными. Никакая София не сравнится с безумной смелостью ее снежных куполов, — нужно полное пренебрежение всеми законами горного дела, чтобы подвергнуть шахту опасности обвала. Что же, спекулятивное хозяйство исковеркало всю внутреннюю архитектуру «Свердлова». Оно даже не дало окрепнуть и устояться свежему бетону, который должен был защитить рудник от напора подземных вод, прибывавших по 8000 ведер в час. Несмотря на предупреждение опытного рабочего Рудченки (теперь управляющего двумя рудниками), через три дня после заливки все дренажные трубки были закрыты, и, минуя их, ринулись за первыми партиями соли. А через 48 часов бетон сдал, хлынула вода, и до сих пор клетки подъемной машины опускаются на дно «Свердлова» под проливным дождем. Правда, и у нас нашлась ученая инженерская комиссия ВСНХ, чуть ли не в этом году предлагавшая закрыть и затопить «Свердлова» ввиду... ограниченности нашего соляного рынка, не способного взять больше 13 миллионов пудов. Затопить соль — значит навсегда ее потерять. Вода выщелачивает стены, и рудник обваливается.

Но, как говорит один старый свердловский рудокоп, «рабочий честно момент учитывает и так вам гвоздь забьет, что и комиссии не поздоровится». «Артема» (соседний рудник) с его 22-саженным пластом, с запасом соли на 100 лет, считая по 7 миллионов в год, и галереями не длиннее 200 сажен, ввиду всяких технических соображений пришлось бросить, а «Свердлова» отстояли. Рабочие заволновались, запротестовал председатель треста, да и рынок с его условной емкостью сверх ожидания уже в этом году проглотил без остатка больше 20 млн. пудов. Сейчас этот единственный в своем роде рудник, с его механическим оборудованием и полной электрификацией, поставляет республике соль по самой низкой цене — 4 копейки за пуд. («Шевченко» и другие — по 9—7 и 6 копеек.)

«Шевченко» — огромный и все еще безмерно богатый соляной колодец — является образчиком добродетельной косности и несколько тупого усердия, при помощи которого европейская буржуазия диккенсовых времен наживала свои капиталы.

Старой Жаннетте — первой фабричной трубе «Шевченко» — сейчас больше 50 лет. Ее мельнице — шумному первобытному сооружению, перемалывающему соль в неуклюжих ступах толстыми кулаками, тоже за полвека. Она работает, шумя старомодными ремнями и жерновами, развевая пыль вокруг себя, как мельничиха, идущая к обедне со своими крахмальными юбками, надетыми одна поверх другой.

А старая водоотливная машина — честный чугунный батрак, за 30 лет непрерывного труда ни разу не бравший отпуска ни по болезни, ни по усталости. Он работал не торопясь, медленно подымая и опуская неутомимые плечи, методически наполняя свой живот водой и отрыгая ее вон из шахты. Целое соляное море прошло через его луженые внутренности. Всякому, осматривающему рудник, необходимо повидать этот удивительный инструмент, образчик бессмысленной и великой, в своем усердии, рабочей силы. Идти к нему нужно через помещение его молодого помощника, небольшого электрического «Зульцера», поставленного в этом году, — корректной, сдержанной, скупой на движения машины, бесстрастно работающей в этом подзе-

мелье, как какой-нибудь техник-иностранец, не знающий языка и потому молчаливый.

За ним ухаживает и смотрит высококвалифицированный рабочий, такой же современный и новый в этой старомодной шахте, как его насос. Это товарищ Белоус, красноармеец во время революции, человек с тонким интеллигентным лицом и изощренным слухом музыканта. Он наблюдает, чтобы машина ровно и монотонно пела свою трудовую песню, однообразную, как вьюга. На грязной замасленной табуретке, рядом с ветошкой, которой камеронщик вытирает масляный пот машины, лежит открытая книга: это «Космополиты» Бурже.

Ниже люк, лесенка куда-то вниз, узкая труба, выложенная кирпичом, по которой лепеча бегут во мраке вечные ручьи. Кое-где пол уходит из-под ног: вода наливает жидкие ямы желтоватой грязью, бежит, и дальше — бесконечная, неуемная, непобедимая вода.

Наконец глубокий сырой колодец. Здесь отдыхает огромный насос — «наш старый громила», как его зовут рабочие, — смазанный маслом, как крестьянин в воскресенье; его медные части блестят, как большие и дешевые деревенские часы. Поршень неподвижнее трубки в руке уснувшего человека.

Эти старые машины, исполнительные и верные, как слуги крепостных времен, избаловали и распустили целое поколение рабочих. Люди привыкли во всем и вполне полагаться на машину. К чему наблюдать и контролировать, когда все вертится само собой: поршень качает воду, а мельница трет соль. Рабочие часами уходили из мастерских, уверенные, что старики и без них будут суетиться так же честно. Машины незаметно старелись и слабели, но никто не замечал маленьких странностей, старческих причуд, к которым успели привыкнуть за полвека.

Так, например, бабушка рудника, почтенная мельничная машина, пристрастилась к особым освежающим компрессам, без которых решительно не желала работать. Каждую зиму для нее набивали особый ледничок, и в течение всего лета старушка пользовалась ледяными примочками, которые специальный рабочий, знакомый со всеми причудами своей старой барыни, прикладывал к валу, к самому коренному подшипнику.

И когда весной этого года товарищ Рудченко, прнияв «Шевченку» в состояннн полного развала (дело дошло до того, что богатейшнй рудник давал всего 8000 пудов в месяц прн 275 рабочнх и иеслыханном расходе топлнва — от 700 до 1000 пудов), вдруг воспретнл и ледник, н компрессы, и особого камерднnерг для прнкладывания оиых, — весь поселок взволновался.

— Как, мельиицу лншнли ее старейших, заслужеиных преимуществ!

Пожнлой, хорошнй рабочнй прншел в коитору и заявнл новой адмиинстрации с велнчайшей горечью:

— Я двадцать пять лет стою при этой машнне, а через тебя она должна погибнуть. Не могу, давай расчет.

Весь авторитет соввластн был поставлеи иа карту: из Бахмута приехала спецнальная комнссня ннженеров и торжественно установнла, что «уклон», обнаруженный в теле мельницы, вполие законен, и известная иеправнльиость частей даже полезна, предохраняя от порчи подшнпникн.

Тем ие менее красный днректор, этот тяжеловесиый и иастойчивый человек, с тяжелым грузиым лнцом, испачканным землей, как клубин свежевыкопаиного картофеля, бегающнй по пронзводству с расстегнутой грудью и босыми иогамн, днямн и ночамн пропадающий на фабрике, как бродяга в лесу, все-такн иастоял на своем: иа 6 суток остановил машнну, н что же? Знамеиитый «уклон» оказался старческой болезнью, искрнвленнем от которого десятнлетня страдало все производство. Старнна оказалась побежденной, леднк исчез в области преданнй. Дальше бороться с рутнной и распущенностью было уже легче. Ветхне паровые котлы, разъедеииые соленой водой, нспорченные неряшливой, иеравномериой топкой, проснлн срочного ремонта и разгрузки. С нних сняли второстепенные обязанностн, переведя на электричество все, что только можно было перевести. Руднк, 40 лет ведрамн таскавшнй пресиую воду из отдалениого колодца так, что бабье его горе с вьюгамн и обмерзлыми ведрами успело войтн в старинные песни, вдруг получил водопровод. И людн и котлы напилнсь хорошей мягкой воды. Затем иачалось введеиие иовой трудовой дисцнплииы. Прогулы, отношеине к машиие, как к няиьке, которая за младенцем и сама

за собой присмотрит, — все это кончилось. Кто-то вздумал вставить проволочку «для сопровождения фитилей» — проволочка попала в подшипник и испортила шейки валов, — виновный был немедленно отстранен от работ. Техники, деморализованные старинным расхлябанным хозяйством, тащившемся, как дорожная карета прошлого века, по осенней грязи, и авторитет которых в глазах масс нуждался в искусственной поддержке, тоже подобрались. Месячная добыча увеличилась. С октября по август рудник погрузил почти 3 миллиона пудов, себестоимость, взвинченная до 10 с лишком копеек, пошла вниз. В мае — 10, в июне — 8 копеек. И эта цена чрезмерна. Рудченке придется ее сломать по крайней мере пополам, чтобы не попасть на длительную консервацию.

Вода, угрожающая шахте, лежит выше нее, между потолком соляных дворцов и поверхностью земли. Самый рудник сух, как солонка, если только можно назвать рудником дивный белый город, соединенный с землей тесным и мокрым колодцем. Упав на глубину 80 сажен, клеть останавливается перед какой-то обширной площадью, покрытой талым, грязноватым снегом. От нее берут начало широкие пустые улицы, — только в столицах, и позднею ночью, когда прекращается уличное движение, длинный ряд фонарей так смутно и одиноко шагает посредине безлюдных проспектов, как здесь, на этом подземном Невском. Но оттененная вечной темнотой ночь здесь похожа на черную драгоценность, в черном, как она сама, футляре.

Небоскребы без окон, гигантские постройки со слепыми стенами, целые кварталы, вдруг закрывшие каменными веками глаза своих окон и такие безмерно высокие, что где-то наверху, между карнизами, теряются неподвижное небо, Млечный Путь несравненной белизны и одинокие звезды из кристаллической соли.

Как ни велик подземный город, он все еще продолжает развиваться и расти: 176 галерей, где потолок только начал подыматься от земли, чтобы через полгода достигнуть высоты старых, уже выработанных ходов. В низком подвале бурильщики рвут нависшую крышу динамитом. Каждая смена высверливает по 50 гнезд, следующая становится на гору сброшенной взрывом соли, третья подымается на место второй, и так без

конца, пока весь колодец не наполнится горой взрыхленной соли. Вагонщики грузят ее и увозят, пьяные сладким и тяжелым запахом динамита, который пропитывает белый поток и держится в нем, как дым сигары в волосах. Позднею ночью, когда в шахтах смолкает артиллерийский гром, вальщики, самые опытные и мужественные рабочие рудника, придерживаясь за тонкую бечевку, черными мышатами подымаются на вершину сыпучей горы и ширмами, длинными, заостренными ломами, сбивают вниз рваную соль. Способ бурения на «Шевченке» так же устарел, как его машины. И мастер-бурщик, вроде товарища Орлова, 30 лет ломавший каменную соль тяжелым, вышедшим из употребления варварским сверлом, в своем роде не уступит ни Жаннете, ни старому насосу. В его жизни тоже не было передышек. Как лодка наперерез волнам, как пила поперек ствола, так буровая скважина должна быть пробита поперек пласта и той волнистой линии, которую прибои веками откладывали на соляном дне. 30 лет товарищ Орлов шел против окаменелого течения. Вся его жизнь — железный перпендикуляр, вбитый в упрямую породу.

Совершилась революция, приходили немцы с дисциплиной и хорошей водкой. Орлов колол соль. Был Петлюра, Деникин был, — жал долго и крепко.

— Заливал за шкуру сала.

Орлов продолжал бурить. Между «Артемом», «где был кадюк», и Бахмутом красным «Шевченко» сделался ничей — нейтральный, без власти и без имени. Орлов бурил, пока наверху с винтовкой в руках сторожила вторая смена. Продолжал работать и каждую ночь спускал коммуниста на дно рудника в белоснежное, как дворец просторное, подполье. Бурил и ночью, простившись с бабой и детьми, бежал спать на советскую станцию «Соль», чтобы не попасть под нож случайной банды. Иногда спекулировал солью, пришивал себе особые мешки к подкладке прозодежды, ссорился за эти мешки с заградительными отрядами и бурил, бурил, бурил. Белые ограбили рудник, увезли весь запас угля, необходимый для водоотливных машин. Через два часа шахта должна была пойти ко дну. Рабочие велели женам тащить в кочегарку весь их запас угольного мусора, припасенного на зиму, все лишние дере-

вяшки выломать из жалкого дома — и ушли на работы. Орлов спустился вместе с ними. Наконец, как дым, прошел Деникин, сгнил Петлюра, голод отошел в прошлое. Уже остановился старый насос, станет скоро и старая, скрипучая мельница; даже сверло в руках Орлова — ржавое и тупое — одряхлело, и место его займет новый электрический бур. Но те же твердые старческие руки, построившие столько подземных дворцов, все белые залы и блестящие триумфальные арки из кристалла, все улицы и площади, своды и лестницы соляного города, пометившие ударом своего мастерского кайла, впервые испробуют на стенах «Шевченки» новое трудовое оружие.

Может быть, он все-таки устал. Когда старик, закончив дневной урок и поджидая десятника, сидит на соляной льдине, сложив руки на коленях и сгорбившись, голова его на тонкой худой шее, как электрический фонарь днем: сухая черная ветка с потухшей, как бы оторванной виноградиной света. Но, стряхнув дремоту, парой шуток, как камешком, отогнав от себя Бабенку, плутоватого и смешливого своего помощника:

— Ты, — говорит, — парень не при своих чувствах. Видно, жену начал вишать и то не за шею, а за поперэк. Дурак ты еще. — И, оглядевшись кругом, с гордостью и спокойствием: — Вот нам золотое дно какое нашли, а сами поутикалы. Боялысь, штоб их не повишалы. Воны знають, шо украинци сами смирнийши люди.

— Без них управимся!

Еще раз, далеко с вершины белой горы, мудрый и насмешливый старческий голос:

— Дивчина, чи молодычка? Вы уси бабы мягкие, падать вам не больно, — а все-таки, дочка, держись поближе к стенке, — не ушибешься.

1924

ДЕКАБРИСТЫ

ДЕНЬ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Несмотря на измену Трубецкого, восстание, с чисто военной точки зрения, имело много шансов на победу. И если оно было подавлено с такой легкостью, если уже вечером 14 декабря, то есть в самый день революции, вожди ее сидели в Петропавловской крепости, без всякой необходимости выдавая друг друга, марая нумерованные листы теми страшными, беспомощными и подлыми признаниями, которые истории угодно было сохранить как великий урок для последующих революционных поколений; если через 6 $1/2$ часов карательные отряды Бенкендорфа уже спускали мертвых и раненых под лед на Неве и при свете бесчисленных костров отскабливали кровь на Сенатской площади, то случилось это, конечно, не по вине масс, принявших участие в восстании.

Заговор был для правительства неожиданностью. Расследование по доносам Майбороды и Шервуда хотя и велось, но медленно и ощупью. Власти не подозревали серьезности дела, по следу которого уже бежали ищейки. Потом розыск заслонили смерть Александра и неурядица с престолонаследием. Только 14 декабря успел Чернышев доскакать до Тульчина и схватить там Пестеля. Восстание в Петербурге в это время было уже в полном ходу. Если Николай Павлович ничего, или почти ничего, не знал о декабристах, — они о нем знали все, что только можно было знать, имея свободный доступ ко дворцу, неся караульную службу в его внутренних покоях, имея агентов в свите Дибича, сек-

ретном отделении Милорадовича и в канцеляриях Сперанского. Общество задолго до выступления было предупреждено о каждом шаге правительства. Оно могло ждать спокойно, собирая силы, и начать действовать в самый благоприятный момент.

Восстание началось блестяще. Братья Бестужевы и поручик Щепин-Ростовский утром 14 декабря проникли в казармы лейб-гвардии Московского полка и, подняв по очереди шестую, третью, пятую и вторые роты, меньше чем в полчаса вывели весь полк. Характерно, что за два дня до революции князь Щепин-Ростовский ничего не знал о существовании тайного общества. Уже одев кандалы и давая свои показания перед сооруженной Михаилом Михайловичем Сперанским следственной комиссией, Щепин имел такое же смутное понятие о политических целях декабристов, как и в самый день восстания.

Полное политическое невежество не помешало, однако, князю блестяще порубить всех старших офицеров своего полка, пытавшихся отговорить солдат от бунта, и со знаменами и барабанным боем привести свою часть на Сенатскую площадь. Дрался он решительно и метко, как делали его предки, удельные князья, стаскивая со стола какого-нибудь Изяслава или Ярослава, вполне уверенный, что достаточно проткнуть насквозь Фредерикса и превратить в решето генерала Шеншина, чтобы в стране водворился совершенный порядок. Порядок же в переводе на язык бравого Щепина означал: восстановление гвардии во всех правах. Если Щепин, первый офицер, поднявший знамя восстания, за 48 часов до выступления в первый раз в жизни услышал слово «конституция», то каков же был политический уровень солдат, которые так единодушно поддерживали восстание и так густо полили своей кровью историческую страницу 14 декабря. Надо помнить, чем была казарма тех времен, с ее командирами, которые во время учения ложились животом на землю, чтобы лучше следить «игру носков» у марширующих солдат. Не то что повода, — намека на повод было достаточно, чтобы на каждой солдатской спине обозначились старые рубцы, чтобы сразу зашевелилась и, как гной из раны, хлынула тяжкая, застарелая, сквозь строй и палки бегавшая, солдатская злоба. В Петербурге не за-

были еще двадцатого года и трех тысяч солдат, запоротых «Ангелом». Не все ли равно, какою ребяческой ложью, какими выдумками о несчастном цесаревиче Константине, нарушенной присяге и гонце, перехваченном где-то между Питером и Варшавой, привлекли декабристы на свою сторону солдат Московского полка. Бунт вспыхнул сразу и разгорелся так, что в нем исчезли и сами декабристы, и нелепая путаница с присягами, и растрепанные фигуры смятых и сброшенных с дороги офицеров. По Гороховой масса восставших проплыла уже такой огненной рекой, что, оглядываясь на нее 20 лет спустя, вспоминая события сквозь охлаждающую дымку сибирских метелей, Штейнгель говорил, что «в крике Московского полка неслась по Гороховому проспекту буря — и площадь обагрилась кровью». По дороге Щепин зорко следил за тем, чтобы идущие солдаты не разговаривали с прохожими и не привлекали их на свою сторону. Переворот ни в коем случае не должен был превратиться в революцию. Как сами декабристы скрывали настоящие мотивы восстания от солдат, так солдаты, в свою очередь, должны были оберегать восстание от вмешательства всякой не лейб-гвардейской черни. Недаром говорил умнейший из декабристов, что «в России гражданства нет. Внезапная свобода подаст повод к безначалию и неотвратимым бедствиям. В одной Москве 10 000 дворовых, готовых взяться за ножи».

А в Петербурге их было, наверно, не меньше.

Без боя заняли москвичи такой важный пункт, как Сенатская площадь, — этот проходной двор, с десятком запасных выходов, прекрасную позицию, в двух шагах от Зимнего дворца, откуда можно было обстреливать здание генерального штаба, мосты, сенат. Только самоубийцы или люди, не имеющие ни малейшего представления о военном деле, могли дать себя запереть и задушить в этом дырявом мешке. Николай и его генералы прекрасно понимали опасность положения. Царь велел готовить кареты для своей семьи, растерялся до того, что перед дворцом, на площади, запруженной экипажами знати, съехавшейся для поздравления и совершенно неожиданно угодившей на бунт, — среди крика кучеров, столпотворения саней и всеобщего смятения решил «выиграть время», кому-то что-то объяснить, —

словом, стал читать народу свой манифест. «Но сердце замирало», — признается Николай Павлович в своих записках. И было от чего замирать: в передней почти никого, кроме генерала Воинова «в совершенном расстройстве», которого силком пришлось гнать назад, к возмутившимся войскам. Сил никаких — одна рота Финляндского полка, только что пришедшая на гауптвахту. Ею царь кое-как занял главные ворота дворца. Прикрытие жалкое. Наконец, после томительного ожидания набежала еще какая-то случайная рота, и даже не рота, а один батальон преображенцев. С нею Николай боевым порядком двинулся к Адмиралтейскому бульвару. Но по дороге оказалось, что ружья у людей не заряжены. Пришлось остановиться еще раз. Войска саботировали. Артиллерия явилась без зарядов. Часы ползли, пока ездили за ними в лабораторию, пока дозвались конной гвардии, за которой скакал один генерал за другим, пока забили первые пробки в примыкающие к площади улицы и переулки, пока попробовали отрезать Исаакиевский мост. Правительственным войскам пришлось перестраиваться на тесном пространстве между памятником Петра и грудами камней, приготовленных для постройки Исаакиевского собора, в нескольких десятках шагов от каре. Восставшие одним-двумя залпами могли запереть эти ворота, через которые преображенцы медленно, всего по 6 человек в ряд, просачивались на площадь. Этого сделано не было, царский полк без всяких затруднений выстроился в две линии перед густой и неправильной колонной, стоявшей спиной к старому сенату. Положение Николая еще раз неожиданно и резко изменилось к худшему, стало почти катастрофическим. Пришло известие, что в Измайловском полку «происходит беспорядок и нерешительность к присяге». В тылу как будто появился новый противник, который в любой момент мог разнести жидкие цепи конной гвардии и семеновцев или, оставшись в городе, занять дворец и крепость. Николай велел генералу Левашеву скакать обратно в полк и «буде какая-либо возможность двинуть его хотя бы против меня, но из казармы вывести во что бы то ни стало». Он верно рассчитывал, что измайловцы ему гораздо менее опасны здесь, на площади, в нелепом каре, которое спокойно позволяет себя окружать, теряя время в

крике и стрельбе по воздуху, чем где-то в тылу, среди волнующихся казарм и взбудораженного населения. Спрятавшись за забором, рабочие Исаакиевского собора дружно забрасывали камнями его войска, — по этой бомбардировке царь мог судить о настроении очень широких масс. Граф Милорадович, один из самых энергичных царских генералов, был убит Каховским при попытке уговорить мятежников. Митрополита с крестом они тоже прогнали. Пока царь метался между площадью и главным штабом, поджидая артиллерию, которой все еще не было, из соседних улиц хлынула вдруг вся масса лейб-гренадерского полка, со знаменами и без офицеров шедшая на Сенатскую площадь. Николай не сразу разглядел врагов, подлетел к ним вплотную и фактически оказался во власти восставших. Им стоило протянуть руку, чтобы схватить его за воротник. Но князь Трубецкой недаром 6 лет заседал в думе тайного общества: он не терял времени по-пустому и так сумел подготовить эту революцию, что ни один человек не знал, что ему делать в день 14 декабря, как защищаться и на кого нападать.

— Мы за конституцию, — кричали обступившие Николая войска, подразумевая при этом супругу цесаревича Константина. Есть, между прочим, какое-то неслыханное издевательство в том, что солдат повели на смерть с именем этого подлеца в качестве боевого знамени.

— В таком случае вот вам дорога. — И царь указал рукой на площадь. Вся масса восставших ринулась в эту мышеловку, где в течение пяти часов уже мерзли приросшие к месту москвичи. Войска Николая услужливо расступились и молча заперли за ними барьер своих штыков.

«К счастью, что сие так было, ибо иначе началось бы кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна» (из записок Николая I). Между тем со стороны Галерной декабристы получили новое подкрепление: гвардейский экипаж под командой Арбузова прорвался на площадь со стороны Галерной и стал рядом с москвичами и гренадерами. Николай двинул артиллерию — артиллерия оказалась без зарядов. Конная гвардия два раза бросалась в атаку,

но ничего не могла произвести в темноте и от гололедицы, а главное, не имея отпущенных палашей.

А каре все топталось на месте, не делая ни малейшей попытки вырваться из круга, не используя ни одного из своих преимуществ. Начало смеркаться, усилился мороз, с невских льдов пахнуло стужей; голодные, усталые, промерзшие до костей солдаты плохо стали видеть своих противников. Целый день прождали они Трубецкого, не смея ничего начать без диктатора. Рылеев бросился его искать по городу и сам больше не возвратился. Выбранный начальником Оболенский велел прекратить бесполезную стрельбу. Каховский, утомленный убийством Милорадовича и Стюрлера, бросил бесполезный пистолет. А каре все стояло, «ноги инсургентов, так сказать, приковались к занимаемому месту», «в каре было разногласие». «Дурное распоряжение дало всему предприятию вид безумия и нахалу». Старая лиса Михаил Михайлович Сперанский уже отошел от окна, у которого простоял с неподвижным лицом долгие часы, мысленно поставил большой крест на померещившейся ему в сумерках этого дня конституции и прикинул в уме до последней степени изящный черновичок смертного приговора декабристам.

Прискакал кто-то из иностранцев, посмотрел-посмотрел на замерзающее каре и отошел прочь с пренебрежительной усмешкой.

— Que diable! Si on a voulu faire une révolution ce n'est pas comme cela qi'il fallait s'y prendre! [1]

А они все стояли, как велено было, с окаменелыми ружьями в руках.

Уже в совершенной темноте получил Николай артиллерийские заряды, которых дожидался целый день. Три пушки были выкачены перед Преображенским полком. Впереди смутно виднелась черная беспомощная громада, подставлявшая под дуло свой неправильный, смятенный и растянутый фронт.

Николай сам подал команду, и первый выстрел ударил высоко в сенатское здание.

[1] Черт возьми! Если уж хотели делать революцию, то не так за нее нужно было браться! *(франц.)*

БАРОН ШТЕЙНГЕЛЬ

Жизнь и злоключения барона Штейнгеля продолжались, собственно говоря, 129 лет. Неправильно отделять их друг от друга, 53 года отца и 76 сына. Они сливаются вместе и лежат перед нами, пересекая историю целого века длинной печальной чертой, похожей на великий сибирский тракт. Жизнь поразительная и печальная, какой не было никогда до сих пор. Обрывки ее записаны в некоторых сочинениях самого Штейнгеля — «О кнуте», например, или об устройстве мещанского сословия в России. Но большая часть рассеялась по судебным книгам захолустных судов, утонула в неразобранных делах правительствующего сената, обратилась в прах вместе со всею бумажной рухлядью того времени. Давно сгинули имена крючкотворов, через руки коих проходили безнадежные тяжбы Штейнгеля, несправедливые против него приговоры и никого не достигавшие жалобы.

Вообразите себе придворный театр маленького маркграфства — Аншпах — Байрейтского. На сцене представляют «Эмилию Галотти» или другую бюргерскую пьесу, главное лицо которой — бедный, но честный чиновник. В особенно значительных местах зрители тихонько поглядывают, кто на местного аптекаря, кто на самого князя, ища подобие выведенного господином Лессингом притеснителя в своем ближайшем начальнике. Атмосфера насыщена гражданской добродетелью. Представители третьего сословия занимают задние скамейки. На них сюртуки табачного, темно-зеленого и

песочного цвета. Они с важностью посматривают на молодых дворян, мешающих представлению своей болтовней.

Они еще молчат, еще полвека будут молчать, но выпрямленные спины, но сознание своей безукоризненной чиновничьей порядочности, чистота нравов и ученость уже оскорбительны для крошечного двора и крошечной аристократии этого малейшего из малых немецких княжеств. И вдруг герой «Минны фон Барнхельм», человек, послуживший моделью для «Натана Мудрого» или Тельгейма — попадает в Россию XVIII века. Он заеден сибирскими клопами, поражен черной оспой. Камчатский капрал Угренин (он же Козлов) — против Фридриха-Иоганна Штейнгеля. Жена унтер-офицера Секерина, матроска и потаскуха, скачущая по камчатским снегам в превеличайшей повозке со своим любовником, растаптывает ногами честное семейство, неподкупность и трудолюбие немецкого чиновника.

Решение Штейнгеля поступить на русскую службу с самого начала не предвещало ничего хорошего. В Петербурге Фридрих-Иоганн, не знавший русского языка, не решился вступить ни в один порядочный полк, но выбрал какой-то сборный астраханский, под началом графа Строганова. А кто же в Петербурге не знал, что Строганов в немилости, что имя Строганова противно Румянцеву, что ни один из офицеров Строганова не дождется награды. И не получил Штейнгель награды, хоть служил с отличием и храбростью против турок, таскался по песочному прикаспийскому краю и украинским степям и с реляциями о победах летал в Петербург.

О, скучная армейская лямка, солнцепек и непогода, гамаши в проселочной грязи и курные избы, и щи с капустой, шлагбаумы дремлющих от скуки провинциальных городов, пыльные площади, где производится учение. И походы, походы, походы. По окраинам, по диким местам, где псковскому мужику страшно, а не то что Штейнгелю из игрушечного городка Байрета.

Но есть в сыром куске, в этой неразбуженной, нетронутой России что-то страшно притягательное для таких людей, как Штейнгель. Она возбуждает в них какое-то вожделение, какую-то дикую охоту рыть, строить, перестраивать, управлять. Снега казались этому

истинному, в лучшем смысле слова, чиновнику огромными неисписанными листами. Боже, он видел во сне перо — большое, как столетние сосны где-то на уральских кряжах, ползающее по этим белым пеленам, выводящее гигантские всероссийские буквы каких-то самых разумных, самых порядочных приказов. Чернильница в сорок сороков и вокруг нее армия чиновников, макающих туда свои перья.

Все, о чем мечтали Штейнгель-сын и Рылеев на балконе трактира «Лондон», называя оный балкон «Америкой» — обновление государства при помощи корпуса честной и интеллигентной бюрократии, набранной по способностям из низших слоев, — все это уже смутно предчувствовал Штейнгель-отец. Удивительные ощущения волновали его во время полковых экзекуций, когда кнут палача наносил багровые полосы на послушно склоненную, широкую и белую крестьянскую спину. Он видел этот кнут вырванным из рук нелепого самодура и врученным не ему, но тому просвещенному, трезвому, не берущему взяток чиновнику, идеал которого так томился в сердце Штейнгеля, так беспомощно искал себе применения в павловской и екатерининской России. Бог с ним, с мундиром. На восток отправлялись первые ученые экспедиции, восходила слава сибирских руд, гремела Камчатка. Штейнгелю померещились широкие возможности. Соблазненный генералом Кашкиным, двинулся он в Пермскую провинцию, вместо того чтобы возвратиться к себе на родину. В Екатеринбурге барон встретился с дочерью богатого купца Разумова и погиб безвозвратно, применив к этой рослой и веселой российской девице, мазавшей косу коровьим маслом и лущившей каленое семя, дух великой просветительной литературы и принципы Натана Мудрого о равенстве сословий. Ему представилось, что Варенька есть то дитя природы, воспитанная в простоте, свойственной времени и месту своего рождения и своего звания, о котором мечтал сентиментальный век. За неравный брак Штейнгелю пришлось идти в капитан-исправники, ехать в город Обву, но в любви он не ошибся. Варвара Марковна очень скоро научила детей ругать отца проклятым немцем, где только могла хватала и бросала в печку его любимые книги, ненавидела и гнала немецкий дух, отличавший несчастного Штейнгеля от русских

чиновников, сделавший его помелом и посмешищем того людоедского круга, — но любила нежнейше до последнего дня. Честно валялась за мужа в ногах у разных начальников, вырывала, бесчувственного, из рук пьяных солдат, не позволяла раздражаться, цеплялась за ноги и за руки, когда доведенный насмешками до ярости старик, ничего уже не разбирая, кидался на мучителей. Стирала его рубахи в остроге и с верным плачем и криком шла за мужем до дверей сумасшедшего дома, куда его, наконец, запрятали.

Почему же такой нелепой, такой безобразной вышла жизнь? Скатываясь все ниже и ниже, все дальше забираясь в Сибирь, Штейнгель руководился не одной случайностью. Его толкал на восток особенный инстинкт торговой предприимчивости, еще слепой и неосмысленной. Четверть века спустя Штейнгель-сын прошел тот же путь, но уже с открытыми глазами. Он пересек Сибирь, чтобы встретиться с представителем первой русско-американской торговой компании в Охотске, и идти ему было легче. Стоило протянуть руку, чтобы ухватиться за крепкую нить деловых отношений, протянутых от Петербурга до Камчатки. Но в 1786 году через тайгу только прорубалась торговая дорога; поколение, которое этой дорогой должно было воспользоваться, даже еще не родилось. Штейнгель был его преждевременным, совершенно одиноким предшественником. Он тащился по Сибири в обозе колонизаторов. А эти колонизаторы набирались из последних отбросов. Проворовавшиеся офицеры, бывшие камер-лакеи, полицейские, просто проходимцы — один другого грубее, жаднее и невежественнее. Совершенно безнаказанные, эти наместники один после другого вытаптывали край своими солдатскими сапогами, строили остроги, заводили российские суды, драли и брили рекрутов. Население терпело, нищало и постепенно истреблялось. В тундры ехали не для того, чтобы зевать. Рвали все, взяточничали все, все вместе. Система грабежа и вымогательства держалась круговой порукой. Притом у каждого наместника была своя особенность. Один сжег камчадалку-старуху, живую, за колдовство, в коем ее подозревали. Другой — путешествовал вверх по реке Камчатке на нарочно устроенной яхте, которую тянули на себе камчадалы от зари до зари в поте лица своего,

между тем как сей камчатский капрал пьянствовал и веселился со своей любезной. Мог ли Иоганн Штейнгель смотреть на это равнодушно? И может ли быть положение мучительнее того, в котором он очутился? Вернуться назад невозможно, связи с остальным миром порваны, впереди ледяное поле, которое на несколько месяцев оттаивает, и тогда в пустынную гавань входит английский или американский корабль. Но Штейнгелю запретили встречаться с иностранцами. Из своего угла он должен был видеть качавшийся на волнах корабль Кантонской торговой компании, слышать, как невежественный пьяный урядник ведет переговоры с англичанами и закоснелым языком лопочет то, к чему сам Штейнгель готовился целую жизнь. Наконец корабли подымают паруса и уходят. Уж он под судом, уж его таскают по острожкам и крепостям, давно отрешили от всех должностей. Штейнгель без мундира, без косы, с кучей детей и длинным хвостом недоказуемых, но и неопровержимых обвинений. Штейнгель идет пешком через какие-то дебри, комары жалят его лицо, ночью нельзя развести огонь на болотистой земле. Ребенок умирает от оспы, умирает единственный друг — кормилица-камчадалка. Наконец большой город. Но в Иркутске уже ждут новые бумажки, приговор верховного вместилища правосудия, в силу которого заочно осужденный немец лишается чинов, приговаривается к телесному наказанию и заключению в дом умалишенных. Тюрьма, смирительные рубашки. И вдруг смерть Павла Петровича, помилование, собственная изба у заставы, где Штейнгели живут, стряпая для продажи очень вкусные сдобные пирожки. Маленький Штейнгель уезжает учиться в Петербург в кадетский корпус. Варвара Марковна утирает старику нос. Старик стоит на крыльце и плачет. Но в промежутке между печеньем пирожков и продажей кваса он все еще пишет и отсылает в Петербург неведомо кому проекты наилучшего устройства Камчатки (на немецком языке). Эта склонность к преобразованиям и составлению проектов погубила в последнем счете и Владимира Ивановича.

Как не верить в переселение душ? После смерти Иоганна-Фридриха дух его целиком переселился в сына. Новый выдумщик вступил на жизненное поприще. Провидение определило его в морской кадетский кор-

пус как бы для того, чтобы еще лучше показать необходимость всяких перемен. Первый пласт жизненного опыта у Штейнгеля: сибирские капралы, отец, прыгающий по снегу, а за ним стражники, мальчишки и любопытные. Второй пласт: кадеты, оборванные и босые. Взявши их за руки и за ноги, двое дюжих барабанщиков растягивают учеников на скамейке и со стороны так бьют розгами, что тело раздирается в куски. Училищный повар Михайлыч и краденые белые булки. Учитель Балаболкин с вечной каплей на носу, пьяный и развратный в наказаниях. Пятая книга Эвклида, зазубренная наизусть без смысла и понимания. Побои, унизительная служба у старших гардемарин, по ночам поручения с записочками. Короче — первая школа, как служа наживаться, кривить душой и грабить, из которой мальчики выходили невеждами, без жалости к младшим, с низостью перед вышестоящими. Так Иоганн-Фридрих, он же Владимир Иванович, прибавил к прежнему опыту мерзость российских школ. Этот честный немец родился Агасфером. Он блуждает по разным ступеням различных ведомств, меняет службу, переодевает мундиры. Какой-то неутомимый следователь путешествует по России, собирая огромный обвинительный материал против всего ее государственного строя. Он видел окраины — Сибирь и Астрахань, — прожил там долгие годы под видом старика Штейнгеля, вместе с колодниками и ворами прошел весь крестный путь ее неправых судов и грязных острогов. Потом, обернувшись маленьким мальчиком, разведал невежество и запущенность училищ, пошел в армию, где видел несправедливое производство, протекцию и сословную исключительность.

Наконец, с очками на носу шагает Штейнгель вслед за своим генералом, неся за ним бумаги, чернила и походный письменный прибор. Он на службе московского главнокомандующего Тормасова. Никто не признает теперь в этом почтенном чиновнике — оборотня, обрыскавшего уже всю страну от Кронштадта до Берингова моря в поисках все новых злоупотреблений, зол и обид. Он строит. Москва после пожара лежит в развалинах. Как некогда отцом, сыном овладевает лихорадка деятельности. Штейнгель счастлив со своими планами, лазает по лесам новых домов, заводит чистоту, пожарную команду, трезвых будочников. Аракчеев обращает свое

внимание на этого умницу, который не хуже его самого умеет вставать в 6 часов, у которого бумажки в таком порядке. Аракчеев сидит с ним за маленьким ломберным столом, покрытым бумагами, напротив дремлет генерал — слушает звонкий голос Штейнгеля, вдохновенно летающий вверх и вниз по кривым лестницам самых запутанных дел — и дает себя провести этой безобидной внешностью, этим усердием. Не так Александр. Всего несколько раз видел он Штейнгеля. Знал о нем мало, и то по доносам вельмож, взятки которых не были им приняты и дрянные родственники не определены на службу. Может быть, пробежал бегло какой-нибудь проект. Этого достаточно. Царь узнал Штейнгеля, как будто видел собственными глазами весь его сорокалетний бунт, там, в Сибири, и всю жажду ломки, преобразования, да, да, революции, милостивый государь, которая скрывалась за всеми этими, повергаемыми к стопам, самыми верноподданническими проектами. И, не задумываясь, поставил точку на Штейнгелевой карьере. Аракчеев брал его к себе, Новосильцев выпрашивал для министерства иностранных дел — Александр отказывал резко. И письменно и устно, и в будние дни и даже под пасху. Владимиру Ивановичу пришлось уйти со службы и после некоторых блужданий поступить в должность к богатейшему московскому военному поставщику. Частный капитал узнал своего человека, и оценил, и обласкал. Но Иоганн-Фридрих все еще переворачивался в гробу, по ночам Штейнгель слышал, как старик кашляет и кряхтит и не хочет идти в рай, пока все остается по-старому. Не мог Штейнгель отказаться от борьбы.

Что он не хотел брать взяток, что спасал от разорения и ссылки каких-то невинно осужденных — это еще ничего. Но у Штейнгеля была другая черта, гибельная. Он должен был додумывать до конца свои мысли. Голова его была устроена, как чудные часы, которые можно завести только один раз. Заведены, ключ вынут, и часы идут, пока не кончился весь завод. Ни остановить, ни вернуть стрелки обратно — нельзя. Чтобы устроиться снова на государственную службу, Штейнгель написал и передал Аракчееву докладную записку «Нечто о кнуте». Знал, кому пишет. Но золотые пружинки логики пошли в ход. Защелкали колесики, кружки

потянули за петельки, граненые зерна хрусталей разошлись по своим местам: и высказались с неудержимой правотой все тайные мысли, продуманные гораздо раньше. Батоги, которыми били отца, розги камчадал, линьки морского училища. Все палки и плетки собрались в огромный пучок и выскочили прямо на письменный стол к Аракчееву. То же самое с проектом о городских мещанах. Чик, чик, — и вышел план реформы, от которого затряслись стены. Уж после гибели Штейнгеля резали, резали его мысль чиновничьи ножницы, — и то хватило на целое царствование.

Человеком 42 лет, довольно полным и даже обрюзгшим, имея в Москве квартиру и оклад, приехал Штейнгель в Петербург по делам своего Варгина, когда в удивительный аппарат его мышления попала новая, ему самому неприятная идея: никакими бумажками, никакими чернилами не остановить этого бешеного российского произвола. Нет легальных способов борьбы. Следовательно, — протикал логический хронометр, — нужно изыскать методы нелегальные? Это выскочило само собой, как кукушка из часов. Рылеев взволнованно встал со своего места, схватил Штейнгеля за руку:

— Хотите быть членом нашего тайного общества?

Тут завод кончился. Штейнгель пришел в себя и кое-как прекратил разговор, который не возобновлялся до 1825 года.

Приехав в Петербург для определения детей своих в школу, Владимир Иванович попадает в самую гущу заговора. Всякие тайные общества — вроде масон — были глубоко противны его холодному, как ключевая вода, рассудку. Штейнгеля тошнило от шутовских обрядов и клятв. Революция поразила этого рационалиста с иной, необычайной стороны. Он остался членом общества, плененный строгостью и чистотой политических линий, которые так умел воспринимать его мозг. «Не мог не прилепиться мыслью к изящности такого правления, которое обеспечивало бы личную безопасность». Жалкая судьба отца, собственное беспорядочное скитание забыты и отброшены. Из темной личинки этих двух, слитых вместе жизней выходит совершенно готовый социальный тип. Мятежник не по чувству, но по голому расчету, в силу почти математически-точных рассуждений, которые можно записать и проверить с

карандашом в руках. Штейнгель — революционер, умеющий хранить секрет своей партии, как нотариус — завещание, а банкир — деньги своего доверителя. Недаром Владимир Иванович был связан с русско-американской компанией. Чистокровный янки, буржуазный революционер начала XIX века не ответил бы следственной комиссии лучше, чем сделал это Штейнгель. Почему не донес? Потому, что был «депозитором чужой тайны». Это уже третье сословие во весь свой рост.

Другие терялись. Чем ближе к катастрофе, тем студенее голова Штейнгеля, тем ровнее стучит секундомер его мысли. Он не терпит неряшества, российского «авося» в деле заговора, как не терпел его в своей бухгалтерской книге. Штейнгель против цареубийства, но уж если бить, то без промаха. Благочестивый и аккуратный Владимир Иванович был единственным среди своих друзей-атеистов, который предложил схватить августейшую фамилию в церкви за золотой решеткой, всех сразу, как кур в клетке. Ни пасхальные колокола, ни заутреня не помешали ему додумать до конца этот разумный план. Еще 14 декабря ни у кого не был готов манифест. Штейнгель его написал за два часа до восстания.

Для декабристов, попавших в тюрьму, тишина алексеевского равелина была первой минутой отдыха. «После долгого томительного дня наконец я остался один. Это первое отрадное чувство, которое я испытал в этот долгий мучительный день» (Оболенский). Для одних началась агония — большинство отдыхало, освобожденное, наконец, от своих революционных обязанностей.

Штейнгель в это время решал последнюю свою алгебраическую задачу: смерть. Его мозг, как машина, схватил за темное крыло эту шмыгавшую из камеры в камеру тень и, как она ни вырывалась, всю ее втащил в жужжащие колеса, переварил, размолол на мельчайшие атомы и выбросил вон смятую, обезвреженную, уже не опасную.

«На второй или третий день по заключении, ходя из угла в угол каземата с напряженным духом, я испытал себя, в состоянии ли я умереть на эшафоте с полным присутствием духа, и проследил весь процесс. Казнив себя таким образом, я лег и заснул».

Бывали дни, когда следственная комиссия, когда лошадиные копыта Левашова не могли выдержать Штейнгеля. Его спрашивали. Наконец-то! Всю жизнь он говорил, и его никто не хотел слушать. Теперь не только слушали, но ловили на лету и записывали каждое слово. Не давали молчать. В камере была приготовлена стопа наилучшей бумаги и прекрасно очиненное перо. Штейнгель знал — ни один листик не потеряется, не попадет под сукно. К вечеру того же дня, перебеленные лучшим писцом, его бумаги будут отвезены во дворец. Все, что было заброшено, сдавлено в течение стольких лет, — вырвалось теперь наружу, обрушилось ливнем блестящих идей, планов, проектов на головы оторопелых судей. Мозг Штейнгеля был в огне, напрягал все свои силы, истекал творческой энергией, жадно утоляя в могильной тишине равелина страшный свой голод. Этот заключенный вцепился в своих слушателей-жандармов, сдавливал их за воротник и не хотел отпускать. Его жизнь и жизнь отца выходили у него через глотку. Штейнгель умер бы, если бы еще раз ему приказали замолчать.

Николай Павлович слушал. Многое потом использовал. Но между тем придумал для Штейнгеля особенную казнь. Этого, прилепившегося к революции за изящество ее форм человека, у которого сквозь толстую немецкую кость просвечивали мозговые извилины несравненной тонкости, — но не пугайтесь — ничего страшного, — его на несколько лет оставили без бани. Посадили в тюрьму и не позволили мыться.

Когда заключенный в первый раз увидел свою камеру, то встал на колени перед окном и молился свету. Штейнгель понял и принял унизительный вызов, брошенный его ясному человеческому разуму. Старый рационалист не позволил себе разрушиться в одиночке. Из крепости он вынес свой ум неповрежденным. Когда Свартгольм сменили на каторжные работы и вечное поселение, у Владимира Ивановича еще раз достало сил начать с начала. В Нерчинске, в дикой глухой стороне, Штейнгель сейчас же устроил себе умственную гимнастику, выдумал трапецию духа и влез на нее с ловкостью молодого человека. Работая днем на рудниках, старик по вечерам брал уроки латыни. Мускулы его

памяти напряглись, старый материалист уже мог прощупать их железные узлы сквозь грубый рукав арестантского халата. Собравшись с силами, он сел писать письмо графу Орлову. Штейнгель обратился к нему с челобитной, но, как всегда, логика понесла, пока и сам сочинитель, и его бумага, и его смиренная просьба не повисли где-то на краю обрыва. Не то что колодник, — никто не смел в России разговаривать подобным языком.

«Есть же бог, вечность, потомство, — писал Штейнгель всесильному временщику. —Страшно посмеваться ими». Это 70-летний старик, которому давно простили, как трупу.

Такие люди, как Штейнгель, не уходят из жизни бездетными. Речь не о настоящих, кровных его детях. Но разум этого склада — как бдительный ламповщик. Он не даст угаснуть последнему огарку, пока не увидит, что от его мигающего фитиля тонкий пламень перекинулся на будущее. Слишком немец, рационалист и купец, чтобы не верить в разумную и неизбежную преемственность идей. Декабристы-аристократы умирали безнадежно.

Они шли в пустоту. Штейнгель — единственный, который был совершенно уверен в том, что будущее за ним и его классом. Он никогда не притворялся героем, не становился в позу, не изображал российского Брута. Но от этого спокойного, трезвого и делового немца Николай Павлович услышал вещи, гораздо более для себя страшные, чем все кинжалы Каховского и покушения Якубовича, вместе взятые. И притом высказанные с прозрачной ясностью и простотой. Коротко, как параграф латинской грамматики, и точно, как бухгалтерское вычисление. К прошлому вернуться нельзя, потому что «Россия так уже просвещена, что лавочные сидельцы читают газеты, а в газетах пишут, что говорят в палате депутатов в Париже». Русский лавочник с газетой в руках! Действительно, для старой крепостнической России это оказалось непоправимым.

Уж он вернулся в Петербург, раскаялся, сподличал даже (помолился на могилке императора Николая) — полиция не верила ничему. За 76-летним наблюдали, как за опасным преступником. И Штейнгель еще раз

посмеялся над этим грубым солдатским режимом. Чувствуя приближение смерти, он написал и спрятал от сыщиков свое настоящее политическое завещание. «Записки».

— Кто осудит страдальца, если бросит наудачу несколько слов в океан времени, с последней надеждою — авось перехватят внуки...

Но и эта надежда обманула. Внуки не перехватили. Они не были Штейнгелями и не посмели поднять руку на империю.

О КАХОВСКОМ

Вот что потребовал Рылеев от Каховского. Ои хотел, чтобы этот человек убнл царя, а в случае иеудачи прнннял на себя всю внну н ие подозревал прн этом, что в Думе решено его выброснть за граннцу сейчас же после покушення, а еслн попадется, то отдать под суд н суднть, как последнего преступннка. Суднть даже после переворота, даже в случае самой полной н блестящей победы. Таким образом, покушавшнйся непременно попадал на внселицу — если не на инколаевскую, то уже иаверное на трубецкую. В обонх случаях общество отрекалось от своего агента.

Нн одна капелька грешной крови ие должна была забрызгать белые княжеские штаны.

Еслн Трубецкой ставнл Рылеева в фальшивое положение, позволнв вербовать молодых людей, «готовых на все» за пределамн союза, где-то на отлете, с черного хода, то эта фальшь удесятернлась, перенесениая на Каховского.

Весь план князя Сергея Петровнча основывался иа том, что убнвает царя ие общество. Значнт, и не член общества: аваитюрнст илн наемннк. Но на примере Якубовича декабрнсты попробовали, что́ значнт агент, не связанный с партней нн ндейной блнзостью, нн дисцнплиной. Каждый день он выдумывал иовый план покушення. Никто ие мог поручиться, что этот героическнй хвастун ие иачнет действовать без ведома общества, ннкого не предупреднв и нн с чем ие счнтаясь. С величайшим трудом удалось уговорить его подождать.

У Якубовича выклянчили сперва месяц, потом год. Рылеев был близок к тому, чтобы пойти и донести на него в полицию. Значит, обществу нечего было делать с авантюристом. Рылеев увидел: нужен верный и послушный товарищ. Каховский принят им в общество, сделался ревностным членом, привлек многих. В день 14 декабря гренадеры, как один человек, прибежали на площадь. И Панов, и Сутгоф, и Кожевников, и Глебов сдержали слово, данное Каховскому.

Провалилась и вторая часть плана Трубецкого. Нельзя было держать этого беспокойного человека вдали от остальной отрасли. Петр Григорьевич был энтузиаст, очень беден, очень несчастлив в любви и ожесточен против общества, не пускавшего таких, как он, дальше передней. Заговор внес свет в эту душу, всеми пыльными окнами выходившую на задворки, на теневую сторону, на черные дворы и мансарды старой Галерной, где прозябают мелкие чиновники. Работа в обществе отняла все унизительное, что было в обидах Каховского, повыдергала длинные, нарывающие занозы, которыми мучилось его самолюбие. Сквозь призму своих букашечных страданий Каховский увидел огромное социальное зло, раздавливавшее его малую поручичью жизнь вместе с целой Россией, и всей душой бросился в движение. К человеку же, который его разбудил и ввел в среду революционеров, к Рылееву — привязался горькой любовью титулярного советника, отвергнутого всеми генеральскими дочками.

Раз сделав Каховского членом общества, Рылеев не мог помешать его сближению с остальными товарищами. Ближайшие друзья Кондратия становятся и его друзьями. Он входит в их тесный кружок, делается его равноправным членом. И тут Петр Григорьевич замечается: он единственный бедняк, единственный не светский человек среди этих блестящих офицеров гвардии, являющихся на сходки прямо с придворных балов, из приемной герцога Вюртембергского, из дворца. Он один бежит пешком, куда другие приезжают в собственных каретах. И ему, нищему, человеку без имени, без состояния, эти богатые люди, эти аристократы, поручают самое трудное и славное дело — убийство царя. Они отказываются от известности Зандта, от имени Брута в пользу его, Каховского, владельца жалких 200 душ в

крошечном смоленском имении. Польщенный, испуганный, полный благодарности Каховский упивается своей ролью. Звание тираноборца позволяет ему быть на равной ноге с молодыми князьями, даже ставит его на высоту, с которой их аксельбанты и родовые имения ничего не значат. А между тем глаза Каховского невольно смотрят пристальнее других; у него наблюдательность бедняка, зоркость нищего, замечающего всякую мелочь в хоромах, куда его впустили с улицы. Из всех декабристов, может быть, самый наивный, безусловно верный своему слову и верующий — нищета всегда верит в революцию сильнее богатых, — Каховский не мог совсем ослепнуть, не мог лететь к своему подвигу, закрыв глаза, как бы этого хотелось Рылееву, как ему самому хотелось. Не мог не заметить в своих товарищах разницы темпераментов и социальных окрасок, им самим еще не ясных. Глаз постороннего, завистливый, подозрительный, прошедший школу жизни, глаз Каховского раньше всех должен был остановиться на трещинах, на скрытых противоречиях, которые разделяли его друзей-баричей. Он заметил, как Бестужев ходит к Одоевскому, садится у камелька и дразнит его насмешками над немецкой философией. Не было для этого холодного дельца радости большей, чем выманивать романтиков на их любимое поле и выжать им на голову губку уксуса, когда они разболтаются. Тихонько позванивала шпора, и розовые щечки Бентама морщились от кислоты. Каховский узнал: Трубецкой не любит Рылеева, эту смесь «торгашеской» американской компании и пламенных стихов, этого мечтателя, который, однако же, первый заговорил о деньгах и потребовал у князя отчета в 10 000 растраченных им общественных денег. Не могли не быть на разных полюсах тот же Марлинский и Никита Муравьев, идеолог северян, автор Конституции, человек, усовершенствовавший тюремную азбуку перестукивания, составленную и распространенную уже в равелине. От одного повела свое начало романтическая русская повесть, от другого — этот расчерченный квадрат с буквами, тихая речь мельчайших стуков. Заключенные научились ударять в стену косточкой согнутого пальца, встав спиной к окну, не спуская глаз с глазка, слыша войлочные туфли жандарма в коридоре, шорох его рукава у закрытых дверей. Стены тюрем на Петро-

павловском островке, которые теперь рассыпаются, — памятник величайших человеческих страданий и прилежной мысли, которая сквозь камень прижимала свои тишайшие уста прямо к чужому сердцу, говорила ему и наполняла освежающим шепотом, музыкой своего неуловимого разговора. Каховский не мог не слышать, как зло и несправедливо судили в их кругу о южанине Пестеле. Как раздосадован был Рылеев его предложениями, как безукоризненный Трубецкой стучал кулаком по столу при одном упоминании этого имени: «Он бредит, Пестель бредит».

Каховский успел узнать своих друзей по болтовне, за которой никогда не следовало дело. Между ними и им легло столько ночей, когда договаривались до последних предпосылок революции — и столько трезвых будней, к которым ночное красноречие не имело ни малейшего отношения. Революционная фраза стала хорошим тоном аристократического кружка: как дым табаку, как крепкий горячий чай в 3-м часу ночи. После сходки лакей проветривал и подметал комнату, — и страшные слова вылетали вон вместе с чадом и окурками. Общество никого не стесняло. Трубецкой мог сделать блестящую карьеру, а Пущин — бросить ее и стать мелким чиновником в суде, чтобы там, на месте, бороться со взятками и злоупотреблениями — это было их частное дело. Встречи друзей даже приобрели особенную прелесть от полной их противоположности. Энтузиазм, ни к чему не обязывая, смывал грязь с души. Чем больше расходились, тем больше иронической нежности вносили в эти отношения. Декабристам было не к спеху с революцией. Они могли ждать. Но Каховский ждать не мог.

Рылеев раз навсегда запретил ему говорить с остальными членами общества об его ближайшей задаче, о цареубийстве. Каховский соглашался: конечно, заговорщик должен скрываться перед посторонними. Но почему все остальные болтали, никто в этом отношении не стеснялся? Возили сплетни из придворных кругов, рассказывали о новых скандальных историях, порочили царя и его правительство вкривь и вкось, и только он должен был молчать? Каховский ревниво прислушивался к резким выпадам своих друзей против Александра. Нет, не осторожность удерживала их от последней откровенности. Они попросту ничего не знали о его договорах с

Рылеевым. Они ощупью бродили вокруг, почти дотрагивались до его тайны, чуть не натыкаясь на нее впотьмах. Еще другое. Принимая его, Рылеев прямо назвал цель общества: истребление всей царствующей фамилии и введение Правления Народного. Каховский же, присоединяя новых членов, ни в коем случае не должен был им говорить об этой цели. Как же? Ведь он втягивал в заговор своих лучших друзей, чувствовал себя ответственным за их будущее. Тревога не оставляла его до конца.

«Господа, не погубите лейб-гренадеров нерешительностью». — Каховский думал дальше. Почему же эти люди, рисковавшие жизнью для общества, не должны были знать правды? А он, рисковавший больше всех — разве он действительно знал эту правду? По разговорам друзей было трудно что-нибудь проверить. У каждого своя точка зрения, свои планы... Разноголосия и спор по всякому поводу. «Может быть, — успокаивал себя Каховский, — эти рядовые члены такие же пешки, как и я сам? В Петербурге есть высшая отрасль, есть верховная дума. Нужно увидеть, узнать диктаторов, услышать от них самих, какими силами, где и когда будет произведен переворот, и что станется с Россией после него...»

Как понятен острый интерес Каховского к этому «потом». Во-первых, желание вырваться из неизвестности. Знать определенно, за что идешь на виселицу? Во-вторых, отстранить от себя призрак какой-то неминуемой гибели, наводимой на Каховского уклончивым разговором Рылеева; когда офицер не хочет сказать солдату утром перед боем, куда ему идти обедать и спать после сражения. Когда на все вопросы о завтрашнем дне начальник отмалчивается или отвечает небрежно, явно не допуская возможности никакого завтра, — он этим разлагает волю своего подчиненного. «Что тебе до вечера? Что до завтрашнего дня? Доживи до них, тогда поговорим». Вместо точных сроков, вместо краткой дислокации, Рылеев старается размягчить чувства. Он умащивает Каховского, ласкает и нежит его, как жертвенного барашка. Вся история, все ее страницы служат для каждодневных иллюстраций. Воображение разожжено, голова кружится от высоких сравнений, душа пухнет от этой сладкой дурманящей пищи. Но Каховский не романтик, не поэт и не артист, хотя и говорит о себе в письме к Николаю: «Мы

в молодости более управляемся сердцем, чем рассудком». Это верно, но чувства его зажигались иначе и другим огнем, чем у его товарищей, людей пушкинской эпохи, с которыми навсегда отгорел, уже перешедший за свою золотую половину, ясный эпический день дворянской культуры. Он шел из разоренного дворянского гнезда, из затоптанного мелкого землевладения. Целесообразность и польза толкали его на покушение гораздо больше, чем примеры античной доблести.

Каховский пробует даже доторговаться с Рылеевым о политической цене своей жертвы: «Идти убить царя — мудреного ничего нет, и всех зарезать не штука, но, низвергнувши правление, надо иметь возможность поставить другое. Мной хотят воспользоваться как орудием». Эта мысль еще за порогом сознания. А за ней уже ползет другая — тоже пока без лица и прескверная: «Они собираются играть Россией, как играют мной». Кучка князей, захватив власть, начнет хозяйничать по-своему в стране. Вот откуда отвращение Каховского к крупнейшей и единственной революционной мысли, перенятой Рылеевым у Пестеля, — мысли о Временном правлении, вышедшем из восстания и захватившем власть, под защитой которой собирается великий собор от всех сословий. Каховский боялся, что революционная диктатура обернется диктатурой придворной, среди которой он задыхался уже теперь, до переворота.

«Правление может назначить число депутатов, но каких именно, богатых или бедных, оно в сем распоряжаться не может». Вероятно, Каховский сделался бы горячим защитником Временного правления, на сто лет опередившего свое время, если бы слышал, с каким бешенством его благонамеренные друзья нападали за него на якобинца и еретика Пестеля. Стараясь составить собственное мнение, Каховский достает и зачитывает том Лафайета, доводит Рылеева до отчаяния своей косностью: «Он не соглашался... а, напротив, представлял, что Общество все должно сделать для блага отечества, но ничего не брать на себя». Маленький клубок сомнений и разногласий катится дальше, к нему прилипают оброненные слова, недомолвки, взгляды, интонации. Клубок вырастает в гору. Гора эта обрушилась уже в Петропавловской крепости и раздавила Рылеева. Но об этом потом.

Любопытство Каховского начинает мучить его друзей. Он преследует их назойливыми, упрямыми, однообразными вопросами: «Кто члены общества, как их зовут, есть ли среди них люди с именем, в чинах, пользующиеся доверием страны?» Он надоел Рылееву своими вопросами: «Кто тут замечательные люди?» (А. Бестужев.) Декабристы не видели в этих розысках ничего, кроме привкуса тщеславия. Выскочка, которого, как запасное блюдо, постоянно держат в подогретом состоянии, втерся в круг людей вышестоящих и жадно вынюхивает их имена.

Настроение Рылеева все продолжает описывать полные круги между роспуском общества и революцией, между цареубийством и мирной высылкой за границу. Он ведет подготовку на обе стороны, подзадоривает Каховского, «назначая его для нанесения удара» — и кстати, присматривает в Кронштадте корабль для августейших пленников. Каждое из качаний разбивает Каховского. Его нервы лопаются, как стакан, в который по очереди наливают кипяток и ледяную воду. Его уже не приходится уговаривать — он сам рвется вперед, истерически требует быть представленным думе, торопит, настаивает на покушении во что бы то ни стало. Теряя власть над своим партнером, Рылеев увеличивает дозы ревности, которую испытывал Каховский к Якубовичу. Как только Петр Григорьевич ослабевал, — а он ослабевал все чаще, — перед ним тотчас рисовалась бравая фигура усатого и ненасытного в своем мщении кавказца. И, почувствовав эти шпоры, Каховский тащился дальше.

От членов общества не укрывалось ни состояние Каховского, ни тревога Рылеева, все больше выпускавшего его из рук. Летом, проходя под окном, князь Одоевский уже слышал голос, с раздражением повторявший, и видно не в первый раз: «Для блага моего отечества я бы готов был и отцом моим пожертвовать... только необходимо нужно тому, кто решится пожертвовать собой, знать, для чего он жертвует, чтобы не пасть для тщеславия других». Еще больше встревожился Бестужев. Он был плох насчет немецкой философии, но зато хороший солдат, и решил обрубить постромки. Каховский считал Бестужева своим искренним другом. Он, пожалуй, так и умер бы, не узнав правды и не переменив мнения, если бы не последние очные ставки. Покинутый, оплеванный

друзьями, которые дружно, в семь рук тащили его на виселицу, Каховский, как мог, сохранял искру последней благодарности к Бестужеву, единственному, как он думал, пожелавшему его спасти. Между тем на суде никто не говорил о Каховском в тоне такого ледяного равнодушия, как Бестужев. Когда сегодня, через сто лет, читаешь страницы его показаний — гладкие, грамотные, спокойные,—лицо горит от пощечин, и все внутри корчится от нестерпимой обиды. Другие обвиняли Каховского, обременяли его, и без того обремененного насмерть, ложными показаниями. Все это ничто по сравнению с совершенной холодностью Бестужева. В лице многих декабристов соединялись два начала: последняя фронда дворянства и первое революционное движение молодой буржуазии. Этой двойственностью отмечены прекрасные черты Рылеева и Штейнгеля. Но она имеет и обратную сторону. В отношении к Каховскому тоже соприкоснулись идущие друг другу на смену эпохи. Им пренебрегали, как крепостники своей отпущенной на волю душой и как богатые пренебрегают бедным. Вотчинник и растущий кверху делец — оба оставили следы своих грубых пальцев на его искривленном от боли лице. Положим, Бестужев не церемонился и с Рылеевым. Но это только небрежное пожимание плеч насчет человека своего круга. Так можно было посмеяться в хорошей гостиной: он «один из самых ревностных членов общества — человек весь в воображении. Но, кроме либерализма, составляющего, так сказать, точку его помешательства — чистейшей нравственности». Называя имя Каховского, Бестужев не поворачивает даже головы в его сторону, не узнает его, не видит. Между ним и столом Бенкендорфа стоит не живой человек, не товарищ по партии, — а воздух, пустое место, ноль. Если бы Каховский служил у Бестужева, ну в лакеях, в поварах что ли, а потом проворовался и ушел на другое место, и прежнему хозяину пришлось бы тащиться в суд и давать показания по этому грязному делу — вот тон Бестужева. Сам в цепях, но против Каховского — Бестужев с Бенкендорфом заодно. Они шушукаются, они оказывают друг другу маленькие услуги по части розыска. Жандармский генерал и адъютант герцога Вюртембергского могли ссориться, и даже очень крупно, — но против третьего — стена. Гладкая, ледяная стена солидарности, о которую напрасно колотился Ка-

ховский. Смотрите, как это сказано: «Каховский... мне не очень нравился, ибо назначался для нанесения удара. Я хотел удалить его и, видя, что он надоел Рылееву своими вопросами... подстрекнул его и довел до того, что Рылеев отказал ему от общества». Даже слова похожи: «отказал от общества», или «отказал от места».

В один прекрасный день Бестужев повел Каховского гулять. И в Летнем саду, в тихой боковой аллее, где бегали дети и на лавочке скучала какая-то няня, — в полчаса, просто и деловито раскрыл ему глаза на настоящее его положение в обществе. Этот разговор, в точности сохранившийся в показаниях обоих его участников, похож на быструю операцию. Едва началось — они не успели дойти до ближайшей Дианы, выставлявшей из кустов свое белое колено, — и уж конец. Каховский не почувствовал боли. Он занемог только на следующий день.

Такая странная, легкая пустота внутри — и этот голос, мелькающий как точеное блестящее лезвие.

— Представь, Рылеев воображает, что найдутся люди, которые не только решатся пожертвовать собой для цели общества, но и самую честь принесут для нее в жертву.

— Что ты говоришь?

— Тем, которые решатся истребить фамилию, дадут все средства бежать из России. Но если попадутся, то должны показать, что не были в обществе, потому что оно через сие пострадать может.

— И даже если победим?

— Цареубийство, для какой бы то ни было цели, всегда народу кажется преступлением.

— Если это преступление теперь, и во время свободы будет также видеться, то лучше не приступать?

Теперь уже Каховский хотел знать до конца.

— Наверно и люди на сие не найдутся?

— А Рылеев, — возразил Бестужев, — все толкует о тебе, что ты на все решился...

Слезы душили Каховского. Честь, которую он, может быть, добровольно и отдал бы во имя «отечества», у него хотели стащить, украсть, как носовой платок из кармана.

— Напрасно, если он разумеет меня кинжалом, то, пожалуйста, скажи ему, чтобы он не укололся. Я давно замечаю, что он тонко меня склоняет, но обманется. Я го-

тов жертвовать собой отечеству, но ступенькой ему или его умникам к возвышению не лягу.

Бестужев засмеялся. — Какой же сумасшедший захочет это сделать? — когда и самые товарищи его не признают и на него же изольют хулу и казнь. А прочие будут в славе, в силе и на первых местах.

Бестужев попал прямо пальцем в рану. «Каховского поразил не самый поступок, — но наказание за оный — худая за то слава даже в свободном правлении». Пока была вера в партию, Петр Григорьевич не колебался. Во всяком случае не больше, чем должен был колебаться сто лет тому назад русский дворянин и офицер, в первый раз, на протяжении целой истории, поднимавший руку на царя во имя республики.

Но после этой прогулки все развалилось. Интересы общества и интересы революционной России больше не совпадают — может быть, между ними вообще не было ничего общего?

Тут Каховский вспомнил о своей материальной зависимости от декабристов. Недавно купленный лиловенький фрак вдруг облепил ему грудь, как будто он был сшит не из сукна, а из чугунных листов.

А даровые обеды у Гака, устрицы и вино, за которое платили другие? А поездки в Смоленск, а жизнь на чужой счет целыми месяцами? Его прикармливали с хозяйского стола, за него ручались портному, ему совали карманные деньги. Эти господа давали ему на чай, а он, Каховский, брал подачки и ничего не замечал, ничего не понимал. Да как же было не брать?

Ведь он несколько раз порывался уехать из Петербурга, когда «обширные намерения при ничтожных средствах» и вечное дерганье из стороны в сторону подорвали веру Каховского в революционные намерения общества. Да и петербургская жизнь была ему не по карману. Он собрался потихоньку и пошел к Рылееву прощаться. Но Рылеев не отпустил. Если когда-нибудь нежная дружба и чувство глубокой духовной близости связывало этих двух людей, то наверное в ту незабываемую ночь.

Рылеев говорил о революции, о том, что она близка, что ей каждый день может понадобиться последняя жертва. «Все почти готово, членов достаточно — остается приготовить солдат». «Это будет, — и Рылеев взглянул на образа, — непременно будет в 26-ом году». Потом о На-

таше, маленькой дочке, потом о стихах — и снова о революции. В эту ночь романтики ясно слышали ее легкий шаг и предрассветное дыхание в белом свете белых петербургских ночей. О любви, о революции, о девочке и опять о любви. Конечно, Каховский остался.

А когда выходил, и на лестнице уже, глядя сверху вниз, увидел тонкого Рылеева, его хрупкую шею, о которой пел Мицкевич, и руку поэта на подсвечнике, и особенный блеск, который пролила ему на его крутой лоб молодая бессонница, — то назвал его братом и совсем не заметил, не придал никакого значения ассигнациям, всунутым в руку дружеской рукой. Он, не считая, опустил их в карман. Общество, которое его держало наготове, давало Каховскому средства к существованию. Чего же проще?..

После прогулки с Бестужевым, Каховский написал письмо к членам думы и требовал настоятельно быть оной представленным. Рылеев сжег письмо и отказал. Убедился, что все правда. Возненавидел Рылеева. Ушел из общества.

Но Каховский был глубоко предан движению. Как только разнеслась весть о кончине Александра и общество обновилось новым духом, он «опять соединился в него, не будучи в силах удержаться, не участвовать в деле отечества». Но прежние отношения уже не могли восстановиться. Каховский подозрительно прислушивался к каждому слову, каждое предложение долго рассматривал на свет, как фальшивую бумажку, и потихоньку сличал с тем, что в его смутном политическом понимании представляло интересы беднейших классов, мелкодворянской, канцелярской, захудалой Руси, от которой уж рукой было подать и до «Униженных и оскорбленных», и до шубы Акакия Акакиевича, и к которой принадлежал сам Каховский. Среди флигель-адъютантов и князей бодрствовал представитель тех безыменных пешеходов, которые утром, в худом пальто и с папкой бумаг под мышкой, бежали через туман и слякоть к своим департаментам между седьмым и девятым часом утра. Он крепко задумал после переворота «в случае злых намерений для отечества от думы — восстать против нее». Все эти мысли очень знал Рылеев, удалялся от Каховского и, как мог, старался скрывать свои намере-

ния. А качка все продолжалась. Дня за три до восстания опять едва не распустили общество по домам.

Сборища офицеров, которые приходили за планом, за приказами — это не мирная болтовня у себя в кабинете. Рылеев уже прикоснулся к живой революции, плыл по ее течению. И логика событий, казалось, заставляла его рвать с Трубецким и Бестужевым, с Оболенским, со всем правым большинством как раз по вопросу о цареубийстве. «Если государь император не будет схвачен нами, — рассуждал Рылеев, — непременно последует междоусобная война. Для избежания междоусобия должно принести его на жертву. С истреблением же всей императорской фамилии... поневоле все партии должны будут соединиться или по крайней мере их легче будет успокоить». Мысль была верная. Если бы Рылеев позвал к себе Каховского и объяснил ее так же внятно, как он это сделал в крепости для Бенкендорфа, Николай Павлович не сошел бы живым с Сенатской площади, а может быть, и со своего дворцового крыльца. Но Рылеев не посмел сказать. Наоборот. Они еще раз вместе с Бестужевым накинулись на Каховского «дня за два или за три до 14 декабря».

— Теперь же все в недоумении, все общество в брожении, — кричал Каховский. — Достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться на нашу сторону. Правда ли, что положено обществу разойтись? — И когда оказалось, что правда: — Я говорю вам, господа, что ежели вы не будете действовать, то я донесу на вас правительству.

А его все поливали холодком, умеренностью, старым криводушием: «Цель общества... преобразование правительства заключается не в убийствах, обществу совсем не то нужно» — и одобрение получил самый трусливый план. Царь должен был погибнуть как бы случайно, в суматохе, раздавленный где-то между дверьми во время занятия дворца. Не казнен приговором революционной партии, а затоптан при погроме. Кем, как, когда, — неизвестно...

Но после самого беспорядочного из собраний, последнего — 13 декабря, уже в прихожей, когда все расходились, Рылеев не выдержал. Он бросился на шею к Каховскому, обнял его со слезами и просил убить Николая утром, еще до восстания. Каховский чувствовал, как ему

царапает щеку накрахмаленный галстук Рылеева, жалкое и жгучее прикосновение слез и какое-то равнодушное удивление. Его упрашивают — зачем? Разве он когда-нибудь уклонялся? И первое же слово, сказанное Рылеевым, заслонило, отодвинуло его так далеко, что Каховский с трудом мог узнать растрепанную фигуру, которая откуда-то из бесконечной дали, протягивала к нему свои маленькие, умоляющие руки. «Ты сир на сей земле, ты можешь быть полезнее, чем на площади. Истреби императора». Зачем нужно было еще раз вспоминать про эту сирость? Ведь это значило: ты беден, нищ, гол, тебе нечего терять, пойди и освободи нас от царя.

Каховский не был трусом. Он достаточно доказал свое мужество на другой день в каре. Раз за разом брал он из рук своих друзей их великолепные пистолеты, которых они сами не смели пустить в ход, — чтобы согреть себе пальцы... Им был застрелен Милорадович и убит Стюрлер. Он прогнал митрополита так решительно, что старый лис, Сперанский, полюбовался им из своего окна.

— Полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас — поди на свое место.

Каховский ударил по лицу свитского офицера. Каховский убил бы великого князя Михаила, если бы вокруг не были разор и безначалие, и царя, если бы царь осмелился подъехать к мятежникам. Видя дымящееся оружие в руке Оболенского и генерала, который скакал прочь, прижимая руку к ране, какой-то солдат вышел из рядов, обнял князя и благодарил его со слезами. И солдатское объятие и слезы были по нраву Каховскому. Он один, несмотря на все сомнения, по-настоящему дрался за чуждый и враждебный северянам призрак своего народного правления. Но тут его взял страх. Выступать в самый великий день опять на основании своей сирости... Довольно он глотал ее в течение целой жизни. А предложение Рылеева к тому и сводилось: опять остаться одному, отщепенцем, опять идти не со всеми вместе и не в ногу, а где-то сбоку или даже впереди — нет. Каховский не послушался, не пошел во дворец, а прямо на Сенатскую площадь. Думал, что там от него — если и захотят — не смогут отказаться. Каховский ошибся. Все равно отказались. В тот же вечер, в ночь на 15 декабря. Сейчас же после восстания заговорщики съехались на квартиру к Рылееву, и уж тогда дружеская рука Штейнгеля ото-

двинула от себя почерневший кинжал Каховского, который он так настойчиво навязывал кому-нибудь на память о себе, — и тихонько положила его назад на стол. Декабристы были цветом своей эпохи, самыми тонкими, самыми блестящими людьми того времени. Но удивительно, сколько грубости проявили они по отношению к Каховскому. «Он полагал, что очень тонок, — а на самом деле груб», — говорит где-то Каховский о Рылееве. Правда, груб. Пусть жест с кинжалом был немного театрален и не у места, — но как можно было отказать Каховскому, у которого, чуть не у одного из всех, руки были в крови по самый локоть, в подтверждение общей солидарности. Нужно было одно слово, чтобы успокоить его, разуверить, показать, что товарищи от него не отрекаются. Каховский этого слова не дождался.

Дело его отличается от дел всех остальных декабристов одной характерной чертой: оно состоит почти исключительно из очных ставок. Начавшись в первых числах мая, они продолжаются целый месяц, повторяясь все чаще. Наконец Каховскому дают уже по две в день. Дознания, писанные сухим канцелярским пером, в нескольких местах прерываются криками отчаяния. Иначе нельзя назвать то, что писал Каховский в декабре или 2 и 11 мая:

«Просил и прошу не спрашивать меня ни о чем, и делать со мной все, что заблагорассудится».

«Извините меня, я больше в комитет ходить не могу». — Но после каждого признания, которым Каховский думал откупиться, следовал новый нажим. Очные ставки каждый день выбивали у него из-под ног ту шаткую опору, на которой он еще держался. Так что после последних двух — с Штейнгелем и Бестужевым — Каховский буквально болтался на перекладине. Не было товарища, который не приложил бы руки к этому повешению, не стянул бы потуже петлю, уже заброшенную ему на шею. Все предавали всех, но ни у Трубецкого, ни у Оболенского, ни у Рылеева не находим сцен, которыми пестрят листы Каховского. Его называли убийцей в присутствии жандармов, «не устрашались оскорблять». Кюхельбекер даже выдумал напраслину. Как будто мало было тех «преступлений», которые в самом деле совершил и которыми мог гордиться Каховский. После очных ставок жандармская ласка казалась ему верхом человеч-

ности и великодушия. Генерал Левашов сумел снять пенки с этой благодарности. Каховский рассказал все, что знал. Удар, нанесенный им в спину Рылееву, был для того решающим.

Но главная пружина всех разоблачений Каховского— не месть и не глубокое разочарование в прежних товарищах, но желание во что бы то ни стало, хотя бы собственной кровью, вписать в обвинительный приговор декабристов пестелевский, тульчинский, революционный параграф о цареубийстве, которого так боялись декабристы севера. Каховский ни за что не хотел дать себя повесить из-за Рылеева или Бестужева, Оболенского или Трубецкого. Он твердил — с первого дня и до последнего, от первой очной ставки до последней, с первой страницы своих показаний до той, которая заканчивалась Кронверкским валом, — что и петлю, и смерть, и поругание принимает за свою политическую партию в целом, за революцию, за «отечество», пославшее его на цареубийство. Каховский не устрашился казни, но в ужасе отскакивал назад, когда вместо революционера, исполнившего волю своей партии, ему пробовали навязать звание ее агента, наймита, пособника.

Разочарование самого Каховского было полным. По дороге на виселицу он громко молился за царя. Но на спине всех повешенных, на доске, переброшенной им на спину, поверх савана, большими буквами было написано: «Цареубийца». С этой славной надписью и вошли они в историю русской революции.

КНЯЗЬ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

Князь Трубецкой, глава заговора 14 декабря, избранный диктатором и облеченный всею полнотою революционной власти, проснулся рано, после мучительной ночи, в течение которой «тоска души не давала ему сна».

Сколько раз в продолжение этих часов, предшествовавших перевороту, забывшись минутной дремотой, убаюкивал себя князь последней, до боли радостной надеждой: все мираж, бред, все пустой призрак, который рассеется с первым утренним лучом, проникшим в комнату сквозь задернутый занавес, с первым осторожным стуком чайных ложечек в соседней комнате. Но уже камердинер без шума внес чашку утреннего шоколада, а страшное, от чего метался Сергей Петрович целую ночь, стало давить его еще сильнее своей серой утренней наготой. 14 декабря наступило, и он, полковник князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер 4-го гвардейского корпуса, не сегодня-завтра флигель-адъютант, счастливейший супруг, краса петербургских салонов, приглашенный сегодня обедать не то у сардинского министра, не то у графа Лебцельтерна, должен сейчас вылезать из теплой постели и ехать куда-то на площадь в холод, ужас, неизвестность, чтобы встать во главе взбунтовавшихся солдат и цареубийц, которых искренне ненавидел.

Князь почувствовал вдруг, что запутался бесповоротно, погиб. Этот заговор, который он с таким старанием и ловкостью отодвигал в неопределенное будущее, расстраивал и предупреждал, помимо его воли и желания стал наконец реальностью, надвинулся вплотную.

За окнами уже разлился бледный свет того «сумрачного декабрьского петербургского дня», который вошел в историю как день восстания 14 декабря.

Который час? Семь. Смертная тоска охватила князя. В шесть часов полкн должны были присягать. Значит, те из них, которые не присягнули, уже на улице, уже идут к сенату, уже делают что-то непоправимое, что всем им будет стоить эполет, чести, может быть головы. Пустая детская надежда еще раз потешила его: а вдруг ничего не будет? Солдаты мирно присягнут, он, Трубецкой, поедет во дворец представляться новому государю. Только бы миновало это ужасное 14 декабря. Завтра же общество будет распущено, уничтожено навсегда. Сергей Петрович вообразил веселый огонь камина, в котором мгновенно сгорят все эти ужасные проекты конституции, списки членов, их адреса, их имена. Ему стало тепло от воображаемого костра и при розовом его отблеске открылась перспектива блестящей карьеры, бальных зал, приемных покоев. Скорее бежать к Рылееву, убедиться, что никакого восстания нет.

Рылеева Трубецкой застал еще в постели и был «несказанно рад». Разговора ни о предшествующем вечере, ни о предполагавшемся на сей день не было. Сердце князя несколько отошло; он стал надеяться, что все пройдет тихо. Наконец Рылеев простился и вышел в сени. Пущин у самого порога повернулся, и, стоя так близко, что глаз некуда было спрятать, спросил диктатора в упор:

— Однако, если что будет, то вы к нам придете?

У Трубецкого не хватило духа сказать нет.

— Ничего не может быть. Что же может быть, если выйдет какая рота или две?

Но Пущин продолжал стоять на своем.

— Мы на вас надеемся!

С тем и вышел.

«После сих слов Пущина Трубецкой стал более бояться, что будет еще что-нибудь...» Боялся, что если они придут на Сенатскую площадь, то придут и за ним. А потому, накинув шинель, князь Сергей Петрович убежал из дому. Первые колонны восставших только успели дойти до Сенатской площади и построиться в трагически неподвижное каре, которое смогли сдвинуть с места только пушки, а человек, в руках которого соединялись

все нити заговора, уже предал движение. В течение долгих часов, пока там, на площади, леденея от холода, не зная что делать, без плана, без вождя, без малейшего руководства, отрезанные от города, все сужающимся кольцом верных царю войск, стояли и стыли шеренги восставших солдат. Диктатор, подгоняемый страхом и угрызениями, скакал на извозчике от штаба к штабу, из канцелярии в канцелярию, от одного дежурного генерала к другому, выспрашивая, робея, не смея нигде остановиться, пока не укрылся где-то в министерских закоулках — в пыльной и пустой комнате курьеров.

Уже оправившийся от первого испуга, собравший коекакие войска, шедший с ними к площади царь заметил князя, жавшегося возле подъезда главного штаба. Сергей Петрович забегал туда в надежде, что среди всеобщего переполоха ему удастся где-нибудь незаметно присягнуть на верность новому императору. «На случай, что откроется, — рассчитывал князь, — то мне поспешность моя к принятию присяги во что-нибудь вменится». Во все время блужданий чувство острой ненависти не покидало Трубецкого, пронизывая его от пробора до кончика лакированных сапог.

Проклятый остзеец Пестель! Не будь его, ничего бы не случилось! Все удручающее, опасное, все, что ночной тенью мрачило солнечную дорогу Сергея Петровича, разрушило уют его жизни и в течение 10 почти лет заставляло совершать нелепые, скверные, непоправимые поступки, — все связано с именем этого человека. Мальчишками познакомились они с Пестелем. Ну, были бредни где-то в походной палатке, в чужих краях, где самый воздух пропитан дерзостью. Зачем надо было заносить на бумагу всю эту болтовню, кроить из нее уставы тайных обществ, каждое неосторожное слово, как бабочку булавкой, пришпиливать каким-нибудь ехидным параграфом. В либеральном весеннем воздухе Европы так много порхало этих прекрасных и безответственных слов. В 20 лет кто не был бунтовщиком на парижских бульварах?

Или потом, по возвращении в Россию! Конечно, крутые петербургские морозы жестоко прохватили это поколение, избалованное европейскими оттепелями и свободами. «Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа. Они чувствовали и видели

свое превосходство перед иностранными войсками, видели, что те войска при меньшем образовании пользуются большими льготами, большим уважением, имеют голос в обществе». Солдаты научились даже «следить за ходом европейской политики». При посторонних, на глазах у Европы, неудобно было драть розгами «героев», неудобно было публично спускать штаны с людей, о мужестве которых сложились легенды. Армия привыкла к человеческому обращению, армия забыла, что она состоит из крепостных. Вернувшись домой после своего триумфального шествия, спасители отечества попали на съезжую, на старую барскую конюшню. Великие князья, только что выскочившие из детских курточек, ни в одном походе не участвовавшие, но зато воспитанные в павловской казарме и проникнутые единой мыслью о вытяжке и парадах, решили собственноручно выколотить вольный дух из армии. Полки, в которых офицеры стеснялись бить по лицу своих старых соратников, с которыми на всю жизнь были связаны десятилетием походной жизни, ранами и славой, считались неблагонадежными, попали на черную доску. К ним назначили шварцов. Старых солдат за малейшую провинность ставили в две шеренги и заставляли плевать друг другу в глаза. За пять месяцев командир Семеновского полка успел всыпать своим людям более 14 000 палочных ударов. На рубцы, полученные в боях, на шрамы Лейпцига и Кульма, Лютцена и Гамбурга посыпались новые шрамы, заработанные под палкой и кнутом. Те — за завоеванные города и царства, эти — за расстегнутую пуговицу, за небритую щеку, за игру носков. Помнится, Муравьев рассказывал, как на Исаакиевском мосту старый солдат гренадерского полка перелез через перила, снял кивер, амуницию, снял боевые награды, перекрестился и бросился в Неву.

Тогда, в 18 году, основался «Союз благоденствия». У-у, — каким холодом пахнуло на Сергея Петровича от этих воспоминаний. Что из того, что устав общества был списан с немецкого «Тугендбунда», членами которого числились и министр Штейн и сам Гнейзенау. Ведь устав состоял не из одной, но из двух частей. И в этой второй части были собраны не одни только благопожелания насчет доброго поведения господ членов. В ушах князя зазвенело железо, серое утро стало серее тюремных стен, и из глубины души страх спросил голосом, который

князю пришлось услышать через несколько часов в Петропавловской крепости.

— А что вам известно о Зеленой книге?

Бежать! Сергей Петрович опомнился. Много ли помогло бегство тогда, 6 лет назад. Разве не бросил он это проклятое общество, которое продолжало расти и распространяться, превращаясь во что-то все более и более серьезное, не выхлопотал отпуск, не ускакал за границу иа два года в своей покойной французской карете, посадив в нее прелестную 18-летнюю жену, — все в надежде, что за время отсутствия союз развалится, разбежится, рассыплется прахом. И как чудно все устроилось. Тут без него великий князь Михаил действительно довел Семеновский полк до восстания, буквально принудив людей к бунту непрестанными и неслыханными истязаниями. Каждого десятого запороли, остальные рассыпались по всей России, чтобы рано или поздно все равно погибнуть под розгами. Головка оппозиции была срезана. Вместе с мятежными ротами ушли в изгнание такие смутьяны, как Пестель и Муравьев-Апостол. В Петербурге стало тихо, как на кладбище: слова человеческого не слышно за барабанным боем экзекуций и мерным топотом марширующих полков. Общество тайное присмирело и, как полагал князь Сергей Петрович, действительно начало разваливаться. Воротившись из-за границы, он застал одни обломки. Кто уехал в имение, кто вышел в чины и на улице перестал узнавать прежних заговорщиков. Горячность самого Сергея Петровича давно простыла. Он уже думал «никогда более ие заниматься прежним делом», истребить накопившийся бумажный мусор и вырваться наконец на волю. Уверенный, что не сегодня-завтра общество совершенно сгниет, князь, вместо того чтобы рвать, позволил себе роскошь прощального жеста. Чем более все охладевали и тускиели вокруг него, тем перистее и круче загибалась его собственная революционная фраза. Никогда красноречие Трубецкого не лилось пламеннее, чем в эти сияющие праздничные зимние ночи, когда он летел с бала на бал, пируя до зари, влюбленный и блестящий.

Прекрасные фразы срывались с его губ, как искры любимой, из Франции вывезенной, трубки, летели в морозную ночь, в холод и мрак и там погасали. Где им было поджечь петербургские снега! Зато, посасывая чу-

бук и видя, как равнодушно метель тушит его маленькие горящие фейерверки, князь острее и крепче чувствовал радость жизни, бег своих коней, клубы снега и тяжесть медвежьей шубы, которая и давила и защищала плечи, как гранитная самодержавная порфира, под защитой которой князь хоть роптал, но вел такую изобильную, такую счастливую жизнь.

В 23 году случилось несчастье: Пущин принял Рылеева. С самого своего вступления этот Рылеев оказался деятельным и решительным. Застав общество, которое, «состоя из немногих членов и без всякого действия, готово было уничтожиться», он «споспешествовал его восстановлению и доставил оному многих членов». Мало того что Рылеев сразу засадил Никиту Муравьева за конституцию, Тургенева за «уголовное производство», Оболенскому поручил составить «об обязанностях гражданина». С приходом Рылеева русская революция перестала быть личным делом небольшого, замкнутого и высокоаристократического кружка. В ссору царя и дворянства решительно вмешалось третье сословие. С момента вступления Рылеева Трубецкой непрестанно чувствовал у себя за спиной эту новую силу, напиравшую откуда-то снизу, из канцелярий, из первых крупных торговых контор, литературных и чиновничьих салонов. Купцы! Боже мой, Рылеев чуть не ввел в общество купцов! А когда миновала эта опасность, принялся за «катехизис», читателем коего предполагались уже вовсе простые солдаты. Тут заговорил в князе голос крови и класса. Политика, не доставлявшая до этих пор ничего, кроме тягости, заставила его внутренне распрямиться и вырасти.

Началась большая смертная игра против всех буржуазных сил, которые искали голоса и выражения в союзе с крупнодворянской оппозицией, пробуя внести в ее программу свои поправки и дополнения. Борьба против республики, против цареубийства, против единства сильной политической партии, против вооруженной борьбы с самодержавием, против ее пестелевского и рылеевского варианта, —борьба, из которой Трубецкой вышел победителем.

Надо отдать справедливость князю. Если малодушно, лениво и бездарно все, что он предпринимал против правительства, то сколько блеска, остроумия и коварства

вложил он в борьбу с «левыми». Провокации Сергея Петровича гениальны. Неподражаемы ловкость и находчивость, с которой он одурачил такого осторожного и умного противника, как Пестель. А яма, в которую Каховский стащил Рылеева?

Но прежде всего надо было прекратить вербовку новых членов, на которых опирался Рылеев. Трубецкой настоял на том, чтобы «не брать пустой молодежи, которая будет только болтать, кричать и наделает шуму... Но чтобы искать людей солидных, постоянных и рассудительных, на которых бы можно надеяться».

Затем Сергей Петрович обезопасил себя со стороны нелегальных писаний. Всеми силами настаивал он, что «ничего не должно писать и распускать такого, которое от чьей-либо неосторожности может причинить вред кому из членов общества и открыть самое его существование. Можно писать различные замечания и рассуждения касательно просвещения, нравственности... Но оные должны быть писаны так, чтобы не могли нанести писавшему каких-либо неприятных последствий. Так и было тогда положено».

Под давлением южан из-за границы выписали ручной литографский станок. Князь приготовил этой адской машине смиренную и, увы, бесславную будущность. Она не породила ни одной прокламации, не запятнала себя ни памфлетом, ни воззванием. 25 декабря Трубецкой так показывал высочайшему комитету: «Сего станка до сих пор у меня никто не требовал, и он еще и теперь лежит у меня неразвернутый. Его можно найти возле печки в комнате жены моей, где ванна».

Молодые буржуазные политики и Рылеев с ними не меньше Трубецкого боялись народной, массовой революции. В этом пункте обе фракции сходились, и взгляды свои формулировали с удивительной отчетливостью.

«Бедняк по чувству справедливости может сказать богатому: удели мне часть своего богатства. Но если он, получив отказ, решится, по тому же чувству правды, отнять у него эту часть силою, то своим поступком он нарушит самую идею справедливости, которая в нем возникла при чувстве своей бедности». И отсюда Оболенский выводил совершенно последовательно: «Есть ли право превращать эволюцию в революцию?» Насчет эволюции Рылеев не сдавался, спорил целые ночи напро-

лет. Но от агитации, от издания нелегальных листков, сатирических песен и стихов для народа отказался навсегда. Договорились на том, «чтобы на нижних чинов влияния не иметь до окончательного решительного действия как для безопасности общества, так и почитая излишним открывать нижним чинам тайну цели нашей».

Но настоящая борьба за «тихую, бесшумную» революцию началась с приездом Пестеля.

Глава Южного общества побывал в Петербурге, чтобы добиться полного организационного и идеологического слияния обоих обществ, договориться о скором и одновременном выступлении, о составе директории, которая должна будет занять место свергнутого правительства, о системе выборов в учредительное собрание, об освобождении крестьян с землею, — словом, оказалось, что у Пестеля не только готов план переворота, но есть армия, и очень сильная, которую он в любой момент может мобилизовать. Сергей Петрович сумел скрыть ужас, который ему внушали и конституция Пестеля, и его сношения с революционными обществами Польши, и намерение создать народную милицию из солдат военных поселений. Пестель был осторожен. Надо было избежать острых разногласий с ним, иначе кто мог поручиться, что этот выскочка через головы князей не заведет непосредственных связей с петербургскими полками, «найдет средства завести здесь отделение, которое будет совершенно от него зависеть, и которого действия будут уже тогда сокрыты». Порвать с Пестелем значило всецело отдать дело «преобразования государства» в руки мелкого дворянства, людей, служащих в крупных банках и торговых конторах, литераторов и вообще каких-то разночинцев. Нет, Трубецкой решил инициативы из своих рук не выпускать ни под каким видом. А посему «должно было с ним притвориться... иногда показывать, что входишь в некоторые его виды». Узнать, какими средствами он, Пестель, «хочет всего достигнуть», «не допускать усилиться, но стараться всевозможно ослабить». И только в крайнем случае, если бы движение стало расти через голову, если бы вожжи оказались выбитыми из рук и революция понесла, из двух зол выбрать меньшее, то есть «прибегнуть к единственному средству обличения его перед высшею властью».

Сначала Пестель не совсем попался в ловушку. С Трубецким спорил, о многом умолчал, с Рылеевым говорил совершенно уклончиво и разошелся в гневе. Но поразительный политический инстинкт, какое-то азиатское чутье подсказали Трубецкому, за какими конкретными предложениями южан скрывается самая серьезная опасность. Уступив в мелочах, Сергей Петрович со всей силою ударил по проекту объединения обоих обществ, понимая, что объединение это непременно кончится созданием крепкой централизованной политической партии; аристократическому меньшинству будет зажат рот, и тогда уж не остановить «гибельных происшествий». В конце концов Пестеля надули. Ему оставили все страшные слова, все кровавые принадлежности революции: и царей, восходящих на эшафот, и республику в красном колпаке. За эту бутафорию Пестель заплатил отказом от объединения и обещанием ничего не предпринимать без Петербурга. Кибитка его еще не доскакала до Тульчина, а в Петербурге снова набирали членов общества, не заикаясь им ни о какой республике.

Вскоре вслед за Пестелем отправился на юг и сам Трубецкой. Он перевелся в Киев и здесь окружил Южное общество густой сетью шпионов и провокаторов. Оболенскому, на которого Пестель вначале произвел сильное впечатление, «предложено было сохранить его связь с Пестелем, соблюсти доверенность, которую он имел». Бестужев и Тизенгаузен, долго сторонившиеся общества, «не хотев более иметь никаких подобных связей», вступили в него со специальной целью иметь наблюдение за Пестелем. С той же целью мобилизован был Швейковский, — словом, со всех сторон Пестеля облепили соглядатаи и доверенные люди Сергея Петровича. За Петербург Трубецкой мог быть совершенно спокоен. Там прыгали вокруг Якубовича. Целая организация занималась тем, что удерживала «злодея» за руку, которую тот беспрестанно подымал на государя. Совершенно неожиданно появилась в петербургских салонах эта фантастическая личность, этот горец с решительным характером и черной повязкой на голове, праотец всех будущих Грушницких. Мрачная слава совершенных подвигов сопровождала его повсюду. Члены тайного общества заинтересовались Якубовичем и открыли ему глубину собственных намерений. Блистая очами, герой придал, однако, всему

делу неожиданный оборот. «Господа, — сказал он, — признаюсь: я не люблю никаких тайных обществ... Один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я жестоко оскорблен царем! Вы, может, слышали? — Тут, вынув из бокового кармана полуистлевший приказ о нем по гвардии, он продолжал все с большим и большим жаром: — Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого. Восемь лет жажду мщения!» Сорвавши перевязку с головы, так что показалась кровь, он сказал: «Эту рану можно было залечить на Кавказе, но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. Наконец я здесь и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем, созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта». Слова его, голос, движения, рана произвели сильное впечатление... С тех пор начались для Рылеева мутные дни. Ежедневно Якубович придумывал новый план мести, один страшнее другого. То переодевшись черкесом, «в черном платье и на черном коне», собирался поразить императора на параде, то точил ножи, то комкал в руке коробку яда. Бедный Рылеев не знал, что пламенный горец утихнет при первой награде, полученной от царя, и в самый день восстания перебежит на другую сторону.

Так утешительно складывались обстоятельства, когда Сергей Петрович собрался на святки в Петербург потанцевать на больших елках и балах. Как гром из безоблачного неба, поразило его известие о смерти Александра I. Лихорадка охватила общество. Рылеев очнулся и проявлял необыкновенную деятельность. Трубецкому были предъявлены накопившиеся за два года неоплатные счета его революционной болтовни. Нельзя было отказать в действии ни Рылееву, ни стоявшей за ним молодежи, не оголив перед всеми своей контрреволюционной сущности. Если так затрепетал и заметался умеренный Петербург, — что же должно было делаться у Пестеля? Трубецкой увидел — начинать надо. Иначе начнут без него, и вместо дворцового переворота получится страшный революционный взрыв. Он сам принужден был заговорить с Рылеевым о восстании.

О 17 днях междуцарствия, о 17 днях революционной подготовки Сергей Петрович всю жизнь вспоминал, как о полном своем поражении. Они представлялись ему

в виде вышедшего из берегов сумасшедшего потока, тащившего его вперед помимо воли и в несколько дней заставившего собственными руками разрушить все умные плотины, все леднички и отдушины для охлаждения умственного пыла, которые князь Трубецкой настроил за шесть лет. Сергей Петрович глубоко несправедлив к себе. Увлеченный, сбитый с ног революционным потоком, он не потерял головы, не растерялся, ни одной позиции не сдал без боя, не упустил ни одной возможности, — а их было много, — чтобы внести замешательство в ряды заговорщиков, сбить их с толку, лишить последнего мужества и толкнуть прямо на штыки Николая своим нелепым, гибельным предательским планом. Трубецкой до последней минуты камнем висел на шее восстания, душил его и ослаблял и отвалился только тогда, когда беспорядочные толпы неудержимо потекли на площадь Сената, на это голое лобное место, заранее для них выбранное и приуготованное. Николай только воспользовался плодами чужой победы, победы севера над югом, Трубецкого над Рылеевым и Пестелем. Трубецкому следовало дать флигель-адъютанта и Владимира на шею за день 14 декабря: это было удивительно подготовленное поражение.

Весь план Трубецкого состоял из одного-единственного стояния на месте. «Если полки откажутся от присяги, то собрать их где-нибудь в одном месте и ожидать, какие будут меры от правительства».

Восстание должно начаться само собой, без всякой помощи тайного общества. «Невозможно держать речи солдатам». «Надо совершенно предоставить им — присягать или нет». Офицерам самим, первым, ни в коем случае не принимать на себя роли зачинщиков: «Не начинайте решительно отказываться от присяги, если не будете надеяться, что солдаты вас поддержат». Трубецкому очень хотелось совершенно разоружить своих бунтовщиков, прежде чем они выйдут на улицу. Он неоднократно говорит о том, что боевые патроны совершенно невозможно будет достать из цейхгаузов. На последнем совещании декабристов, 13 ночью, было окончательно решено «выходить без патронов».

Еще важнее казалась Сергею Петровичу другая мера. Он настаивал на том, что в начале восстания солдаты одни, без офицеров, должны бежать от одной ка-

зармы к другой, присоединяя к себе таким образом все новые революционные силы. «Сначала, когда полки будут идти один к другому, то нам не надо быть с ними или, по крайней мере, при первых». И только, если соберется действительно сильный кулак, притаившиеся декабристы должны выскочить откуда-то из подворотни и возглавить солдатские массы.

Какой-то мразью, предчувствием измены и гибели пахнуло на Рылеева от всех этих распоряжений диктатора. Он вмешивался, исправлял, воодушевлял. Через его квартиру каждую ночь проходили представители множества полков, заседания не прекращались ни на минуту, люди собирались беспрестанно, требуя приказания, советов, помощи. Диктатор показывался на полчаса, молчал, отказывался отвечать на расспросы и при этом успевал каждому подсказать маленькое червивое сомнение, крошечную надежду на сделку с правительством, томительную мысль о ненужности и бесплодности всего восстания. 10 декабря, то есть за 4 дня до выступления, Сергей Петрович ухитрился вырвать у своих товарищей формальное обещание, «что они разрушат общество», «объявят всем членам, что оно больше не существует», в случае прибытия Константина Павловича в Петербург.

Сколько ни приходило на сборный пункт офицеров, Сергею Петровичу все казалось мало, надежда на их полки — сомнительной, число — недостаточным. Оболенский, наконец, не выдержал, заметался, затосковал, взвыл.

Весь вечер прыгал он по комнате, повторяя без конца:

— Умрем, ах, как славно мы умрем!

Одиннадцатого на заседании ответственных руководителей разговор начал быть «таким томительным», что Рылеев должен был его оборвать коротким и резким приказом: всем быть на площади во что бы то ни стало.

Военные спрашивали, как же быть с крепостью, с дворцом. «Дворец должен быть священным местом. Если солдат до него прикоснется, то уже ни черт его ни от чего не удержит», — отвечал Батенков от имени правого большинства. Уже не слушаясь Трубецкого, назначил Рылеев всем без исключения присоединиться к своим частям и разделить их судьбу до конца. Вопреки

воле Трубецкого, сделал он ночью 13-го последнюю попытку уговорить Каховского на цареубийство. Все напрасно: воля к победе была сломлена, и на утро лучшие из декабристов бессознательно приступили к выполнению знаменитого «плана». Восстание разбилось прежде, чем было разбито.

Сидя в Алексеевском равелине и готовясь умереть, Рылеев каким-то образом сумел передать другу своему, Одоевскому, стихотворение, написанное на кленовом листке:

Когда же сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле ми голубине?
И полещу, и почию...

Это не крик вождя, разбитого в открытом бою.

Это ни с чем не сравнимая скорбь революционера, который доверился предателю и по совету его бесполезно растратил народные силы и предал на казнь своих сподвижников. Страшно умирал Рылеев, не зная даже, останется ли после него хоть один человек, чтобы начать сначала растоптанное дело.

Как раз напротив Кронверкского Вала и того места, где вешали декабристов, наискось через небольшой канал стоит теперь небольшой белый дом. С его балкона через сто лет после казни декабристов говорил Ленин. Когда Рылеев корчился в петле, дома этого еще не было.

1925

ОЧЕРКИ 1917-1925 г.г.

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Вечером, занесенный первым ноябрьским снегом, дворец кажется нетронутым, также безмятежна белая площадь, за сквозными воротами у костров греется стража, автомобиль, став у строгих металлических дверей, громко дышит и блестит беспокойными фарами. Едва стукнет замок, за створками мелькнет быстрая тень, — и опять надолго гордое невозмутимое спокойствие.

И внутри никакие разрушения, разбитые окна, сорванные рамы — ничто не отнимет у этой постройки плавный ход ее галерей, соразмерность стен и потолков, полукруги зал и прежде всего изумительное, единственное в мире расположение тени и света.

На пороге каждой комнаты вы сразу замечаете окна: они высоки и цельны, и каждое с тяжелыми складками кружева или сукна, отодвинутыми на две стороны, напоминает сцену, живую открытую сцену.

Все остальное — камин, люстры, мебель, возведены и поставлены так, чтобы со всякого места зрителю открывалась новая перспектива, свой собственный кусок декорации: бледного неба, Невы, биржи и крепости. Концертные и бальные залы, вечерние и ночные комнаты из золота и малахита лежат в сердцевине здания. Круглые, накрытые куполом, сосредоточенные и замкнутые в себе.

Зеркала заменяют здесь то, что для внешних, наружных покоев делают окна. Всякая связь со внешним миром разорвана, город бесконечно далек, ни один из

его гудков н колокольных звонов сюда ие проникает. Как на дне морском покоится жемчужная ротонда посредн призрачиого царства лестниц, коридоров и зал. Зеркала, которымн оиа переполнеиа, дробят нскусственийй свет, как соиные, соленые, к самому диу пржатые воды.

Там, где жнли царн последиие пятьдесят лет, очень тяжело и непрнятно оставаться. Какие-то безвкусные акварелн, бог знает кем и как намазанные портреты, модного стиля «модерн» мебель — всему этому трудно поверить в жилнще, построеином для полубогов.

Какие буфеты, письменные столы, гардеробы! Боже мой! Вкус биржевого маклера «из пяти приличиых комиат», с мягкой мебелью н альбомом родительских карточек.

Как хочется собрать весь этот пошлый человеческий хлам, засунуть его в царствеиный камин и поджечь все вместе во славу красоты и нскусства добрым старым флоreнтийским канделябром.

Впрочем, кляксы безвкусия попадаются и в Александровскую эпоху. Между уборной Александра II, по тайной лестнице, ведущей к фрейлинам, есть маленькая комната, которую ие раз проходнли, пряча лнцо за вуалью н плащом. Вся оиа полна обиаженных тел. Венеры, Дианы и Цереры, музы н пастушки, плясуньн и маркнзы собраны в один душный гарем. Эрмитаж будет гордиться этой коллекцией. Ее украшает подлиный Ватто, Фрагонар н Буше. Однако на самом видном месте зияют две французскне картины — ничего не стоящие, аляповатые и грубые, на которых «ню» выставлено, как в мясной лавке. Просто — гадость. Мало того: все рамы двойные, и за целомудреиными, величавыми богиинями спрятаны маленькие, нечистые нгрушки. Все это остатки старинного варварства, н его следы видны повсюду. Но перейдем к тому, что попорчено теперь н недавио.

Первые дни революции мало повреднли дворцу. Несколько разбитых стекол, вот и все. Но затем в дом Растрелли въехал А. Ф. Керенский. Лучшие комиаты, самые строгие музейные залы он заиял под бюро печати, канцелярию, — словом, присутственное место. Все осталось нетроиутым, ио все затерто, закурено, зашаркано, оглушено пишущими машинками н закапано чернилами. В 10-тн покоях, выходящих на площадь — во-

дворился караул. Его меняли чуть не каждый день (наш премьер никому не доверял свою особу), и каждый новый отряд хозяйничал по-своему. Грязные тюфяки на полу, продырявленные картины, бутылки и бутылки, и все это не где-нибудь, но вокруг самой «особы», на ее глазах и с ее ведома.

О частной жизни Керенского во дворце, о бесчисленных признаках бестактности по отношению к собственности Романова мы не станем здесь говорить. Бог с ним. Все это дурно пахнет. Но вот мелочь, пустяк, а какой характерный. У Николая II был собственный бильярд. При отъезде в Тобольск шары слоновой кости, как личное имущество, были уложены и приготовлены к отправке. Министр приказал их вернуть, и, как говорят сторожа, «собственноручно изволили забавляться».

И так во всем. Начиная с уборной и кончая библиотекой. Мы бы хотели знать, зачем вообще нужно было вселяться в Зимний дворец? Зачем нужно было есть и спать по-царски, попирать ногами изящество, роскошь и богатство, которыми имеет право распоряжаться только народ, которые принадлежат будущему, как музей Александра III, как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Не будь Керенского во дворце, народный гнев не тронул бы ни одной безделушки. Разве премьер не знал, что каждую минуту политическая борьба может его сбросить, если не с кресла, то со стула Николая II, что он подвергает величайшей опасности сокровища искусства, посреди которых он осмелился жить. Так и случилось. Толпа искала Керенского — и нашла на своем пути фарфор, бронзу, картины, статуи и все это разбила. Если заяц бежит от охотников в хрустальный магазин, он ведет за собой свору, которая придет по его следам и все перебьет. Тут ничего неожиданного нет. Кабинет Александра II, молельня и т. д. превращены в кучу осколков; мундиры, бумаги, ящики столов, подушки, пасте́ль — все решительно искрошили. Каким-то чудом уцелело под стеклом генеалогическое дерево с миниатюрными портретами на конце расщепленных ветвей. Странно его видеть над всеобщим погромом. Оно возвышается такое бледное, такое хрупкое.

На первый взгляд очень странно отношение ко всему случившемуся придворных лакеев, сторожей и администрации. Никто из них не покинул дворец во время

обстрела. Много ценного сохранено только благодаря мужеству и порядочности этих людей. К новому хозяину они относятся очень терпимо, и хотя большевистские комиссары со своими ружьями, сапогами и манерами кажутся выходцами с того света посреди порученного им дворца, — их ценят за безусловную честность и полное отсутствие личных претензий, которыми «выскочка» так оскорблял и унижал слуг, привыкших к настоящей барской палке. «Изволили много душиться, а душка́ своего не было-с». Так холопская наблюдательность подвела итоги А. Ф. Керенскому.

Но еще более опасное внимание черни привлекает в Зимний дворец уже не «особа», но на этот раз огромные винные погреба. Их завалили дровами, замуровали сперва в один кирпич, потом в два кирпича, ничего не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что возможно. Какое-то бешеное, голое, наглое сладострастие влечет к запретной стене одну толпу за другой. По ним стреляют, их убивают, как собак, их позорит молва, а они только жмутся и на четвереньках, на животе ползут, ползут и ползут. Рабочие, матросы обещали разнести все здание, если не прекратится низменное паломничество. И они правы. Лучше гибель чего угодно, чем зрелище ненасытного, болезненного обжорства, совершаемого в дни величайшей русской революции. Со слезами на глазах рассказывал мне фельдфебель Криворученко, которому поручили защищать злосчастные бочки, о том отчаянии, о полном бессилии, которое он испытывал по ночам, защищаясь один, трезвый, со своим немногочисленным караулом против настойчивого, всепроникающего вожделения толпы. Теперь решили так: в каждое новое отверстие будет поставлен пулемет.

1917

ЧЕМ ОНИ ЖИЛИ

Есть идеология, изношенная до дыр, до лоснящихся пятен на локтях и коленках, состарившаяся немилосердно, вонючая и расползающаяся, какими бывают только прокатные сюртуки из «бюро похоронных процессий» и зловещие, чаем и бензином мытые фраки спившихся официантов. Уходя наконец со сцены, такие изжившие себя, заживо протухшие доспехи не оставляют своим наследникам и реставраторам даже того романтического блеска, того налета красоты, которым обладает все большое и бывшее, отделенное от нас смягчающей пеленой времени. Стиля, даже стиля нет в этой рухляди: ни безудержного изящества Людовиков, ни безупречной печали Марии-Антуанетты, меняющей перед казнью кружевные воротнички и отрезающей маленькими серебряными ножницами, работы Лонге, свои пепельные кудри, чтобы их не коснулась рука палача. И даже не Антуанетта — возьмем монархизм более новый, отзывающий кровью и лошадиным потом солдатчины; Павла с мальтийским крестом, осеняющим не только порывы его необычайной низости, но и редчайшего душевного благородства; наконец, Николая, тяжкого, гнетущего вместе с конем могильную плиту России, но до того линейно правильного, до того насильнически-мощного и законченного, что печать его чистого, ледяного, мертвящего «ампира» и поныне не стирается с иных стройных фронтонов, коллонад и ступеней. Казенное страшное, беспощадное, охрой крашенное, бездушное и бесмысленное, но великолепие. Ему пристала и прямота

пустынных трактов, которыми шли в Сибирь политические, и полосатые верстовые столбы, и голубой цвет жандармских лампасов. Характерно, что именно этот железный зверь повесил нежнейшую Мадонну Филиппо Липпи в Зимнем дворце возле того выступающего к набережной окна, из которого видна была его супруге гибель декабристов. И в этом есть нечто свое: лощеный паркет, светлые холодные стены, вдали за стеклом площадь сената, давно скрывшая за снежными заносами пятна крови, и тут же в наивной раме Мадонна Ф. Липпи. Это — вкус человека, которого остроумная фрейлина двора в свое время назвала «Николай Кострюлькин».

Но даже такой скудной казарменной стильности не оставил своим друзьям последний Николай. И вовсе не Распутин, не хлыстовская пьяная мистика — самое характерное в упадке романовской идеологии. Романов еще, пожалуй, самое интересное в жизни последних русских «самодержцев». Это яркое, жгучее, гангренозное пятно, единственное, бесспорно оригинальное явление их личной жизни. Романов не забудется, как не забылась позорная болезнь Иродиады, чудовищное гниение Людовика. Он переживет и Ники, и Алису, и весь их дворцовый муравейник. Нет, не в Романове сказалась упадочность российского монархизма, который, по словам маленького кинематографического конферансье, «свалился с нас, точно штаны».

Вот передо мной груда телеграмм НиколаяII за 8—11 годы, отправленные им во все концы мира с увеселительной яхты «Штандарт». Первое чувство, которое вызывают эти однообразные, бледно наклоненные на правую сторону строки — чертовское, восхитительное злорадство. Так и видишь над этими женоподобными очерками наших иностранных друзей, господ журналистов из какой-нибудь крупной официозной газеты. Как бы они набросились на эти бумажки в поисках новых трогательных подробностей из жизни «последних великих государей России». Правда, много лет тому назад какой-то неблагонамеренный издатель решил выпустить отдельным изданием «речи и мысли государя императора», но книжечка вышла настолько скандальной, что немедленно попала под сургуч и была целиком конфискована. С тех пор и «мысли и речи» как-то не доходили до непридворных ушей. Но вернемся к телеграммам.

Прежде всего поздравительные: они абсолютно однообразны, писаны по общему шаблону, без признака индивидуальной мысли. Кому бы ни были адресованы деревянные поздравления, они неизменно серы и мертвы:

«Поздравляю с наступающими именинами. Ники». «Обнимаем. Ники».

«Сердечно благодарим, обнимаем. Алис. Ники».

«Жалеем, что тетя скончалась без тебя. Обнимаем».

Попы, кирасиры, тетки, чины, охоты, опять кирасиры, тетки и ратники ополчения, тетки и конная полиция, гренадеры и чины градоначальства, дюшес Вера и молодцы астраханцы — из Лондона, Афин, Штутгарта, бесконечная тягучая паутина казенной чувствительности с неизбежным в конце «обнимаю».

Из Лондона: «Крепко целуем».
Из Гатчины: «С вами всей душой. Целую».
Из Шхер: «Крепко всех обнимаем».

А развлечения! Какие развлечения! Ведь это было время, когда на содержание одних шпионов России тратились миллиарды, но лучший портрет, поэма и музыка не стоили ломаного гроша, когда за жалкие копейки можно было иметь портрет Серова, лестницу, расписанную Врубелем, миниатюру Чехонина, домашний театр в кулисах Судейкина, Головина, Кустодиева или Бенуа и даже не за деньги, а даром, за одну милостивую улыбку, за одно из тех «обнимаю», «целую» и «всей душой с вами», так щедро сыпавшихся на чинов придворной охоты, бравых кирасир и верноподданных пожарных. Но ничего, ничего не сумели взять ни от дивной нашей живописи, ни от театра, ни даже от балета, из которого ее величество лучшего артиста Нижинского выгнала за границу за нескромно обтянутые бедра.

На стенах Зимнего дворца до сих пор красуются позорные следы самодержавной пошлости: головки литографий, красавицы в стиле «Нивы» с толстыми белыми животами и ляжками. И это в Петербурге, в Зимнем, где каждое окно смотрит на классический старый Петербург, на фасады Петра и Растрелли. Все это к слову. Нельзя же не подивиться великой духовной скудости двора, не сумевшего использовать даже для самоуслаждения, даже для внешней помпы сокровища русского искусства.

Но в рассматриваемых телеграммах, кроме исключительной ограниченности, есть еще нота, почти трогательная и во всяком случае трагическая: это — скука. Зеленая, неизбывная скука, от которой на стену можно полезть, от которой люди, томимые пустотой, бегут то в Англию, то в Италию и спастись, конечно, не могут. Везде, всюду следует за ними неумолимое время, жадное, требовательное время с огромной зевающей пастью, в которой мучительно-медленно исчезают лениво пережеванные часы, дни, годы. Убить, убить время! Вот единственная цель существования. И гонимые по миру зудом скуки и ненужности, эти люди обманывают себя и друг друга, стараясь поверить, что им весело, что они тоже живые, что им удалось, удалось убить, «провести» время.

Великой княжне Ксении:

«Мы тоже проводим время прекрасно. Погода отличная». Великой княгине Александре Михайловне: «Проводим время отлично, отдыхаем». Императрице: «Проводим время хорошо. Последние дни сильно дуло». Или: «Погода дивная. Наслаждаемся. Так рады, что все довольны всем». (Sic.)

И в ответ с другого конца Европы такой же гонимый безмерной скукой тунеядец отвечает:

«Погода отличная. Настало лето (или зима) мы проводим время хорошо. Целуем (или обнимаем)» — и так без конца.

Изредка среди мусора пустых слов попадается что-нибудь деловое. В гробовое молчание врывается вихрь истории, и вместо вечного нравственного халата приходится одеть теплый мундир верховного судьи, законодателя, военачальника. Жизнь кулаком стучит в дверь. Нельзя же спрятаться, зажать уши, просто ответить, что «меня нет дома». Приходится решать, кому-то повелевать, кого-то судить. И тогда маленькая дрессированная обезьянка, которой тошно от человеческого языка, на котором ее против воли выучили говорить, становится в позу монарха и отвечает тоном Петра Великого:

Председателю совета министров: «Согласен».

Статс-секретарю Танееву: «Разрешаю».

Министру иностранных дел: «Одобряю».

И все в том же духе. Краткость идиота, потихоньку показывающего язык своим министрам, когда они не видят.

«Согласен», «Одобряю», «Можно». А в общем — «убирайтесь к черту, делайте, что хотите».

За то Владимиру Карловичу Саблеру, главе святейшего синода, реляции пишутся длинные, подробные и милостивые: «Благодарю вас и поручаю передать епископу Иоаникию Кирилловскому и игуменье Таисии мою благодарность за молитвы и выраженные мне чувства».

«Искренне желаю Леушенской монастырской учительской школе» — и т. д.

«Да благословит господь деятельность вновь учрежденной школы при Ферапонтовском монастыре».

Но интереснее всего обращение к ревельскому губернатору, самое смешное и жуткое.

Это — письмо мертвеца к мертвецу, одного призрака, томимого неизбывной скукой и пустотой, к другому, более цепкому, мелкому и злостному. От палача, руки которого чисто вымыты, надушены и спрятаны в перчатки, к другому палачу, пахнущему уже живой кровью и телесным потом. И оба они поздравляют друг друга с гуманностью содержимого ими застенка.

«Передайте правлению и служащим Кренгольмской мануфактуры, а также всем бывшим на закладке больницы мою благодарность за выраженные мне верноподданнические чувства. *Радуюсь такому проявлению заботы о рабочем люде* со стороны администрации мануфактуры. Николай».

О мертвых или не говорят ничего, или только хорошее. Но иногда нужно сказать правду.

1920

СУББОТНИК

Вдоль всей набережной грузят дрова. Огромные поленья берут из рук в руки и, отирая пот, под жарким солнцем, обвеянные невской серебряной прохладой грузчики плетут нескончаемую цепь живого труда. Что делать? Никак не найду свою артель — приходится пристать к чужой.

Начинаю.

— Товарищи, разрешите к вам пристать. Не найду своих, а ведь все равно где работать.

Но они не согласны. Две женщины в фуражках и гимнастерках осматривают меня критически.

— Нам таких не надо. Ходит тут всякий сброд...

Я обижаюсь и сразу впадаю в тон тех славных уличных драк, в которых лет двенадцать тому назад я считалась незаменимым спецом даже среди мальчишек Большой Зеленой улицы. А улица эта была боевая. На каждые два дома по кабачку, и ночью ходили только по середине мостовой.

Принимаю боевую позу.

— Это кто же сброд? — Они смеются.

— Буржуйка! — Я тоже смеюсь, ибо не в бровь, а в глаз.

Но, отойдя на безопасное расстояние, оборачиваюсь и убиваю моих девиц единым духом:

— Эй, товарищ рыженькая! — Они не отвечают. Выдерживаю изумительную паузу и затем: — Эй, содкомши [1], будьте здоровы.

[1] Содкомша — у нас на базаре значит: сод — содержанка, ком — комиссара, вместе — содержанка комиссара.

А солнце печет, от Невы пахнет крепкой сыростью, и на том берегу старинные здания образуют классическую декорацию.

Вот другая артель, малочисленная и веселая цензура. Здесь рады всякой лишней паре рук, и вот я включаюсь в цепь, и через меня течет непрерывный поток воли, ритмических усилий и жизни, опьяневшей от солнца и запаха смолистых дров. Постепенно все движения становятся механическими. Мускулы рук, плеч и спины изобретают гениально простую систему, облегчающую и ускоряющую труд. От напряжения кровь поет и стучит в висках, и мгновенно приспосабливается ко всякой тяжести, ко всякому острому сучку, к лохмотьям отсырелой, прогнившей коры, тело радуется и творит. В нем столько бессознательного опыта, смутно спавшего инстинктивного ума, столько неудовлетворенной жажды физического труда. Теперь все это стало нужным, проснулось от спячки, стряхнуло с себя старинное иго интеллекта, радостно заняло свое первородное положение рядом с усталым, скептическим и высокомерным интеллигентским «я».

Жара все возрастает. От солнца тянутся толстые золотые струны — жилы и наливаются и звенят. Тяжелые деревянные брусья продолжают неистовую пляску от рук к рукам, пот слепит глаза, спина сгибается и разгибается, как стальная стрела камертона. Наконец живой голос прерывает безмолвно-гудящую симфонию труда.

— Перерыв на пять минут!

Хмельные, ничего не слыша и не понимая, ложимся отдыхать на широкий теплый гранит набережной. Камни равномерно дышат теплом и особенным, какими-то блестками пронизанным ароматом металла. Матросы с соседней баржи бегут пить из нашего кипятильника. Разговор:

— Мамзель, вы выпачкали кофточку. Только портите народное достояние. Какая с вас польза: выгрузили полкуба, платье истратили на десять косых.

Щурится и смотрит — обижусь я или нет.

Я не обижаюсь, но ответить все-таки надо.

— А ведь вы, дорогой Жоржик, не правы. Хотите докажу?

Он заинтересован.

— А ну-ка? — Ехидная тишина.

— Вы, уважаемый товарищ, в чем ходите на бульвар? В рабочем платье или клеше? В клеше. А на работу носите самое худшее. А я вот, наоборот, в Александровский сад не наряжаюсь, а на субботник пришла в самой лучшей кофточке — по случаю трудового праздника. И вы же меня обложили.

Матросик молчит. Женщины смеются. Однако моя демагогия никого не обманула. Начинают сначала. Матрос предпринимает глубокий обход.

— Мамзель, а где вы служите?

— Нигде.

— А зачем ходите на субботник?

— Да вот хочу с хорошим человеком познакомиться, замуж пора выходить.

— А я другое думаю. Вчера закрыли все магазины на Невском, а владельцев и владелиц — пожалуйте на работы. А? Вы не из той ли сторонки, доброволица?

Я обижаюсь и в запальчивости намекаю на трехлетнюю работу на фронте. Никто, конечно, не верит. Матросы дружно хохочут.

— Так вы воевали?

— Ну да.

— Муха говорит «мы пахали».

Чувствую, что диалог проигран и сдаюсь. И опять всех соединяет товарищество силы. Разговор замолкает и постепенно, точно в сине-серебряной купели, тает и плавится в трудовом хороводе, в сверкании реки, в ослепительном блеске неба, побежденная, оправданная и очищенная тяжесть труда, косность материи.

Совсем близко, через одну, работает немолодая, очень интеллигентная девушка, вероятно из хорошей семьи, увядшая и озлобленная. Очень тонкое, но ужасно злое лицо. На матроса смотрит изредка, враждебно и подолгу. Эта смирилась, хоть не простила и не забыла революции ничего. Но как ее меняет этот, ей ненавистный субботник, как она молодеет в танце однообразных движений, как расправляется жесткий уголок бровей, загаром и пóтом покрывается надменная черта у переносицы и невольно узкие аристократические руки, перенося тяжесть соседу, на мгновение неуловимо-нежно опираются на его бронзовые плечи, принимают и усиливают их неловкую, но железную помощь. Незаметно они братаются. Эта засохшая между листами никому не нужной книги

девушка и рябоватый, но веселый, но все побеждающий военмор.

Дальше совсем маленькая женщина, никому не давая проходу, стрекоча беспрерывно, каждому проходящему мимо нее грузчику, бросает в лицо горсть острой, жгучей, не всегда чистой уличной соли. Целую охапку задирок, мгновенно разлетающихся или пристающих к лицу, платью и волосам, точно сухие былинки сена во время сенокоса. Она поссорилась с соседками. Соседки эти, работницы и жены рабочих — обе злые и молчаливые, глубоко обиженные тем, что их заставили грузить дрова. Вероятно, жены прежних мастеров, всегда жившие в мещанском ничегонеделании, за спиной своих мужей, привилегированные среди общей фабричной бедноты.

Они работают без всякого воодушевления и цедят мелкие, желчные, колючие слова.

— Стой тут, потей, работай на них, а хлеба не дают. Мерзавцы. — Кто, собственно, мерзавцы, они прямо не говорят: сами, дескать, понимаете, ученые.

Маленькая веселая не выдерживает.

— Замолчите вы, щетки со щелоком, не травите воздух.

— А ты кто такая?

— Я-то — я, а вы вот саботажницы.

— Ах ты, потаскушка вчерашняя.

Но поссориться некогда, опять тишина и напряжение. Правда, день не обходится без происшествий. Веселый матрос, оступившись на трапе, срывается в воду у самого берега. Его с восторгом вылавливают, высмеивают и выжимают. Однако, едва вернувшись на место, он снова захватывает всю полноту власти над нашей артелью, очевидно черты правителя и диктатора прирождены русским матросам. Опять кричит, и подгоняет, и торопит. Особенно достается нерадивым соседкам из фабричных.

— Эй, красавица, товарищ в революционном головном уборе (у них красные платочки на голове). Вы ничего не делаете, товарищи! Пошевеливайтесь, товарищи! Не лодырничайте, уважаемые товарищи!

Последний час проходит, как в угаре. Дерево кажется железом, кружится голова, дрожат руки, и все-таки дело идет непрерывно, точно огромная карусель, охмелелая,

безудержно закружившись, несется со звоном и свистом и никак не может остановиться.

Даже матрос устал:

— Эх, — говорит, — где бы мне найти тещу хорошую, да со своими пчелками, с домашним медом? Вот бы медку напиться теперь?

— Тебе, значит, попадью надо, у них всегда свои пчельники были.

— Попадью. А где их возьмешь теперь?

— А ты сходи на Гороховую 2, там их много; такие вдовушки, лучше не надо.

Наконец кончаем. В руках белеют завернутые в одинаковые пакеты куски хлеба. По всему берегу идут люди с такими же свертками, улыбаются нам устало и радостно и исчезают в белых сумерках. Они — братья.

1920

РОДНИКИ

Горд американец. В шести металлических поясах с пряжками, в прочной непромокаемой одежде, с белой пеной хлопка, выпирающей наружу, крепкий и мускулистый, как голая шея матроса. Ростом выше среднего, он с невыразимым презрением глядит на приземистых, почти в рубище завернутых, желтоватых лицом персидских гостей. Даже стоят они по-разному. Американская кипа прочно, как бы расставив ноги на покойной палубе трансатлантического парохода, принесшего его в Россию из другой части света. Перс все больше кувырком, ко всему прислоняясь круглой покорной спиной. Недаром его трепало и перекатывало в корабельном трюме бурное взбалмошное Каспийское море. Недаром гнулась под ним смуглая и гибкая, как он сам, спина персидского амбала. Но если перед темноватым неприхотливым персом американец по праву кичится почти овечьей мягкостью своего кудрявого руна, то где же ему, с его грубой белизной обыкновенного европейца, до тончайшей шелковистой шерсти настоящего египетского хлопка. Со всех концов мира стекается сырье на эту подмосковную прядильную фабрику. Но ни одна кипа не сравнится со скромными квадратными тючками Египта. Вся старая культура этой сказочной страны, тысячелетнее влияние благодатного климата запечатлелись в культуре этого маленького, изнеженного и все-таки выносливого растения. Как длинны и мягки его волосы, какими шелковистыми прядями они рассыпаются. Сколько прочности, выносливости, силы сопротивления в тончайших волок-

нах, которым солнце и пустыня их родины сообщили едва заметный золотистый оттенок.

А эти кипы, тоже удивительной мякоти, белее и крепче снега, — какая страна вырастила и взлелеяла их для советского веретена?

— Судан, — говорит товарищ Феоктистов, старый мастер, знаток хлопка, в острых, как веретено, пальцах которого сидит целая фабрика по анализу и расценке самых нежных и ценных пород. — Судан.

Эти белые тюки сырья окрашены кровью египетского народа. Потоки хлопчатобумажного снега, из которых русские работницы и крестьянки сошьют рубахи мужьям и пеленки детям; этот хлопок, которым советская страна оденет свое голое израненное тело, собран на суданских полях английскими штыками. Но не все нитки, вытканные нашими пряхами, политы рабьим потом, выросли под проклятием невольников и прикладом белых завоевателей. Вот товарищ Курасова, красавица кипоразбивочного отделения — вся в белом пуху, как кошка, бросает в машину охапку туркестанского хлопка. По белизне он, пожалуй, уступает американскому, он не похож ни на лоснящийся воротничок, ни на бритый чистый подбородок и не золотится, как хрупкая пена Египта, не ложится его длинными кудрями. Но из всех европейских пород он по качеству самый сильный соперник своего американского собрата.

Если египетский на ощупь как шелковистый мех ламы, то наш кажется тонкой верблюжьей шерстью. Так тепел, легок, сух и мягок его пушок. И по длине волоса туркестанское семечко только несколько уступает своей египетской праматери. Выросло оно на свободной советской земле, и слезы, мучения и горькие проклятия не вплетутся в его тонкую белую нить. Легко будет бремя этой одежды, ее чистые края не замызганы кровью целого порабощенного народа.

Как снег с крыши летит наземь тяжелыми комьями, так сыплется хлопок из широкого рукава кипоразрыхлительной машины. Из крейтона он выходит иначе: точь-в-точь белоснежные кошки осторожно спрыгивают на пол, выбравшись из устья водосточной трубы.

Сидя на длинных скамьях, шесть женщин, как кур, очищают пустые рогожи от приставшего пуха. Хлопок, разбросанный на земле, который попирают их босые

ноги (все отделение, вся фабрика, как сковорода греется движением машин, теплом, развиваемым трением ремней и веретен), хлопок, выросший в колониях, знает одно: только у рабов ноги всегда остаются голыми, только господа носят сапоги. Хлопок, который на далеких горячих полях снимали несвободные люди, привык, чтобы к его сухой шапочке, украшенной пушистым султаном, наклонялись потные, утомленные, замученные лица. Хлопок привык к горьким словам и горьким вздохам. Теперь он цепляется за платье, за пальцы чистильщиц, чтобы расслышать их разговор, и кажется ему — везде на земле люди с голыми ногами одинаково ненавидят свою жизнь и говорят о ней в часы постылой работы. Хлопок так и уйдет в машину, так и скрутится в тугую нитку, ничего не поняв, не зная, что значит слово «товарищ» и что такое товарищ Сергеева, собравшая его с полу и бросившая на решетку.

В сортировочном отделении работают инвалиды труда, вдовы, старухи, — словом, беднейшие женщины «Родников». Старые — белы от старости, молодые — седоволосы от пыли. Старые люди терпеливее, молодые оспаривают у нищеты поломанную жизнь. Хлопок думает, что понимает их жалобы, и все нежнее жмется к ногам одной, самой красивой и негодующей. Была она замужем за красноармейцем, без вести пропавшем на фронте. Несколько лет билась она одна с грудным ребенком. Здесь же на заводе вторично вышла замуж, родила мальчика и овдовела, теперь, правда, только на год: муж ушел в Красную до осени. Жить сортировщице приходится на свои семь рублей, на пятьдесят три копейки поденной зарплаты. Где? Когда в «Родниках» нет ни единого свободного угла, когда домохозяева за каждого ребенка берут отдельно два рубля, да еще, как говорится, не позволяют дохнуть. Она и двое детей — шесть рублей — это невозможный для сортировщицы бюджет. Но золовка, тоже красноармейская вдова, которую, когда Сергеева была замужем за ее братом, она пустила к себе в больничную будку, в одну клетку, где сама она и грудной ребенок спят на кровати, а остальные дети и мать на полу и даже под столом. То есть под столом — младший восьмимесячный красавец мальчик, у которого от духоты тело побелело и нездорово напухло, как булка в молоке. Под кроватью пес Перо,

верный и желтый, и Маруська, непотребно пестрая. Но не теснота в конце концов, не низкий заработок ломят кости сортировщице. Она знает, что в новых, уже строящихся казармах получит светлую просторную квартиру. Что при первой возможности, как только хозяйство страны несколько станет на ноги, из первых же копеек прибыли увеличится ее заработная плата. Осенью вернется из Москвы муж, и положение выровняется. Нет, не понять хлопку — иностранцу, пришедшему из рабской страны, никогда не понять почему Сергеева плачет над своими рогожами.

Вчера муж прислал письмо из Москвы, из полка, и привет супруге со всем семейством «от СССР». «Прошу вас, дорогая супруга, без меня наростите, сколько можете, свою культурность».

— А я и слова-то этого «Се Се Се Се» не знаю за горшками да за рогожами.

В это время к работницам подходит старший мастер. Хлопок ежится и втягивает в плечи то, что у него осталось от его кудрявой головы. Как же, идет надсмотрщик, сейчас будет свист плетки и вой.

— Донимаешь ты нас, Феоктистыч, со своей производительностью труда, подымай да подымай, с утра до ночи одна песенка, только и слышим. И ведь знает, сволочь, что мы его любим, все для него сделаем, пользуется. — Работница, которая плачет о своей некультурности и боится за год отстать от мужа, ушедшего учиться в казарму. Работница и «надзиратель», связанные единой классовой солидарностью. Этого хлопку, не выросшему на советской земле, никогда не понять.

1924

ЗА БЕДНОТУ!

Кто бы ни хватал селькора Лапицкого, неизменно дело кончалось Василенкой. С газетными вырезками, записками, со всяким малейшим клочком бумаги его волокли на допрос и расправу к Василенко. Каждый обыск, каждая облава, каждый налет неизменно кончались в его поместительной избе. И там же, в покое и чистоте, гостили приезжающие комиссии, землемеры, следователи, все крупное и мелкое начальство. Это в казенных бумагах так пишется: Василенко. Свои, хуторские, говорят просто:

— Барин, а барин, дайте нам земли!

— Бери свою половину.

Арендаторы землю обрабатывали, засевали, косили, но не снимали урожая.

Половину всего получал «барин». Только сады он берег свои, знаменитые, густые, старинные фруктовые сады. Ни за какие деньги никому не уступал он права эксплуатировать яблочное богатство. Надо было оказать барину такую услугу, какую оказал Новиков, чтобы хоть на год получить в свои руки кусок этих заповедных угодий. Выкинуть Лапицкого и его друзей из комитета взаимопомощи, отстоять для барина украденный у имения, у общества, тоже старинкой, дедами и отцами кабановцев по бревну сложенный амбар, растащить по-воровски дом, только что сколоченный Лапицким, — словом, разрушить и раскидать все дело крестьянской взаимопомощи. Но об этом позже. А сейчас еще несколько слов о барине, которого нельзя не встретить в

каждом темном переулке дела Лапицкого, на которого натыкаешься везде, кроме разве обвинительного акта, где фамилия Василенко вообще не упомянута. За каждым доносом, за каждой крупной взяткой, за каждым взысканием неизменно возникает благообразная, торжествующая фигура барина. Его история, его обогащение в течение четверти века камнем лежат на крестьянской земле. С первого совершенного им преступления — десятки лет оно лежит по ту сторону революции, оно не судимо, и если бы не случайность, не этот отчаянный крик о помощи уже наполовину затравленного, уже приговоренного к гибели сельского корреспондента, услышанный за сотни верст и повторенный над всей пролетарской Россией, — эта старая несправедливость, пришедшая к нам с мертвого берега жизни, — насиловать, угнетать и гноить, — приобрела бы права гражданства и мирно дожила свой век.

В последние годы прошлого века на месте теперешней Кабановки было расположено имение польского богатейшего помещика де Дебехли. Владелец его разорился, и Крестьянский земельный банк приступил к продаже земель. Целую деревню купила Кабановка, купила на выплат, по очень высокой расценке, на основе круговой поруки. Уже в 1910 году крестьянам оказались не под силу и эта круговая порука, и чудовищные проценты. Так говорит товарищ Лапицкий, бывший тогда маленьким мальчиком и на всю жизнь запомнивший эту мужицкую поживу из-за земли, из-за которой он сам едва не погиб 15 лет спустя. Затянулись недоимки, и банк прислал исправника и урядника, которые глубокой осенью в заморозки выбросили на улицу всех неплатежеспособных крестьян. Будущему селькору, сочинителю всех жалоб и прошений, оставленных без ответа, выдается крестьянская челобитная об утаенной, украденной, расхищенной, несправедливо разделенной земле. Он бегал греться у костров, зажигаемых переселенцами у палаток, в которых они жили тут же, в десяти шагах от своих отобранных, опечатанных властями домов.

Это был первый полученный Лапицким детский урок правоведения.

Люди «отчурались» от своих домов и земли, бросали насажденные ими, уже рослые, дающие прибыток плодовые сады, все свое хозяйство, постройки и поле, посы-

лали вперед Ковалева Ивана и других ходоков и сами потянулись за ними в Сибирь, на переселение.

Коллективный договор оказался уничтоженным. Самому Лапицкому в числе других пришлось во второй раз выкупать у банка свои хаты и поля. А вел эти дела и неслыханно обогатился на них, в качестве наместника и представителей всемогущего банка, не кто иной, как искусный чиновник, беспощадный заимодавец и будущий секретарь сельсовета (1921—1922 год, вплоть до занятия этой должности т. Лапицким) Василенко. Над головой Александра Вакховича в те годы стояло созвездие, обещавшее полноту счастья, власти и богатства. Он был женат на дочери одного из крупных банковских воротил, впоследствии «ликвидировавшего» это учреждение, насчитывавшего в числе ближайших родственников земского начальника, и сам обладал изумительной ловкостью и познаниями в области лихомания, ростовщичества и кляузы. Уступив крестьянам «ошматки», сам он за бесценок приобрел лучшие участки погубленных крестьян, самую средину, где стояла деревня, где земля унавожена многими поколениями. Словом, так прилип, живо присосался к своей добыче, что революция над Кабановкой прошла, но его не пошевелила, ни один из его присосков не оторвала. Как он был хозяином всей округи, ее барином, так и остался. Так страшна привычка к повиновению, что чуть не до 1922 года на захребетника продолжали долго и сеять, и косить, и жать, и перепахивать его поля чуть не до вчерашнего дня, до ноября, когда секретарем сельсовета, вместо него, Василенки, оказался выбранным Лапицкий. С каким-то удивительным и простодушным героизмом этот крестьянский мальчик пер на бандита, на барина.

Лапицкий был совершенно беззащитен. Имел свое селькоровское перо и совершенно непоколебимое, но стихийное, непреклонное революционное правосознание. Ему на вид трудно было дать больше 20-ти лет; это человек с ослепительной доброй усмешкой, со всеми повадками правильного, настоящего фронтовика. Никто не учил Лапицкого так защищаться. Никто не давал ему ни малейших советов. Сам додумался, сам догадался. Всякий раз, когда его уже совсем захлестывала вонючая волна, поднимал он над собой свое право — крепко дер-

жал кошелку, полную непреложных, неподкупных доказательств. Беззащитный, замученный, совсем одинокий опирался на свое великое право. И никто не смел ему размозжить голову. Примеры — их бесчисленное множество: попытка арестовать Лапицкого в Жирховке. Его хватают, приводят на сход.

— Кто тебя звал на сход?

Никто не сознается. Наконец человек, пожилой и бедный, берет вину на себя.

— Я звал Лапицкого.

Лапицкого вытаскивают на улицу.

— Не разговаривать уперед!

Уже подана телега, к которой селькора привязывают явные и безнаказанные убийцы.

Волокут и требуют соблюдения формы — протокол, опись бумаг, просмотр вещей, — эта корзинка с бумагами, которую опустошали двадцать раз и все-таки не могли совсем опорожнить. Все снова она наполнялась отрывками уличающих протоколов, расписками, удостоверениями.

Орет на него Домбровский, стучит кулаком по столу, обзывает сифилитиком. Наконец нанес ему самый чувствительный удар: входит в соседнюю комнату и дает приказ, чтобы по всем деревням были объявлены недействительными квитанции, подписанные Лапицким. Этот приказ должен был одним пинком ноги разрушить всю его работу. Нужно было противопоставить силу права этому бессмысленному разрушению. Лапицкий, которому предстояло сесть в яму вместе с самогонщиками и конокрадами, есть их хлеб и выслушивать насмешки воров, им же разоблаченных, несколькими словами охлаждал Домбровского:

— Если вы меня обвиняете, пишите протокол, но здесь я отвечать не буду.

Его выпускают из тюрьмы и под вечер, безоружного, хотят отправить домой «под охраной». Лапицкий чувствует смерть, возвращается в камеру, предупреждает воров.

— Если по дороге меня убьют за попытку бежать, знайте — это убийство. Я скрываться не намерен.

Лапицкого отправляют, наконец, в Бобруйск по этапу. От деревни до деревни идут с ним крестьяне. Передают следующему. Часто «преступник» шагает под

охраной мальчика, которому некогда. Лапицкий уговаривает своего конвойного дойти до конца.

— Вас же будут тягать, что вы расписки не дали.

Но возвратимся к хронологии фактов. В ноябре 1922 года Лапицкий становится секретарем сельского совета. На одном из первых сходов он предлагает гражданам сделать добровольный взнос для заведения правильного делопроизводства. На собранные им десять пудов приобретаются первые книги исходящих и входящих бумаг, тетради для регистрации гужповинности, — словом, канцелярские принадлежности, обеспечивающие правильную отчетность. Все, что у предшественника хранилось «в голове, да столе», отныне заносится на бумагу. Через несколько дней в избе Василенки происходит историческое для Кабановки заседание комитета взаимопомощи. Едва вернувшись из Красной Армии, едва вступив в совет, Лапицкий навязывает кулацкому большинству отчетливые правовые нормы, которые должны обеспечить успех всей работы. Это настоящая деревенская конституция, которую вернувшийся домой красноармеец проводит, опираясь на бедняков, против дезертиров и их укрывателей, против Василенок, занимавшихся шпионажем в пользу поляков, заставлявших работать на себя всех соседей под охраной польских милиционеров, против бандитов и воров, заселивших всю округу. И это делается в доме Василенки, в его присутствии, с полной гласностью. Лапицкий не любит слов; он голосует и требует немедленного занесения в протокол: «Мы, граждане... на общем собрании постановили... чтобы комитет отныне был поставлен на твердой ноге». Иван Полетнев, глава самой крупной воровской банды, кулак и изобретатель первой в округе самогонной машины, великолепно понял, куда клонится вся эта письменность: старый конокрад со всей семьей, со всеми сообщниками, пособниками восстал против попытки установить и зафиксировать такой революционный закон. Вся волчья стая двинулась против «слова» Лапицкого.

— Вычеркнуть это слово неправильное, «на твердую ногу» вычеркнуть. А то это навсегда останется, если напишут!

Но слово осталось, волость его утвердила, и копия этого утверждения за печатями и подписями появилась в ненавистной «книге».

Слово крепко; к нему, как чугунное ядро, привязана расписка. Обеспечив себя таким образом, Лапицкий нанес Василенке три последовательных удара: отобрал в пользу комиссии присвоенный мироедом общественный амбар, обратил три цветущих василенковских хутора, неправдой захваченных и за которые он годами не платил налога, в госфонд комитета взаимопомощи и нанес на черную доску Василенку и его пособников, лишив их таким образом возможности снова пройти в совет. Предосторожность далеко не излишняя: правил же округой Иван Полетнев, из воров вор, да еще в качестве председателя сельсовета. Острее всего барин все-таки ощутил потерю своей «сельскохозяйственной коммуны». Состояла она из самого Василенки, его жены и 18-ти членов товарищества: вдов, сирот, семей убитых, безработных, которые делали черную работу за право «кормиться». Даже мертвые души — красноармейцы, давно погибшие на фронте, — числились в ее списках, получали пайки, охраняли Василенку от налогов и повинностей. Комитет взаимопомощи, во главе которого стал демобилизованный красноармеец Мартынов, отдал батрацкой артели, столько лет трудившейся на барина, один из лучших его хуторов. Второй пошел Мельникову, беднейшему красноармейцу, у которого сил не хватало переселиться, хорошо еще, что успел засеять свою новую землю. Третий — Ямочкин с детьми, пока ничего не успевший завести, кроме картошки; остаток поделили школа и несколько бедняков из соседних деревень. Все насытились, еще осталась пустая земля. Так много ее было нахватано и скрыто.

Предсельсовета, человек нерешительный и связанный кровно с кулачьем, поглядел и заколебался.

— А я печатки не приложу. Сам знаешь. Он меня за хутора эти убьет.

— А ты отдай заместителю, если сам не можешь.

Очень умно было придумано. Трус остался в стороне, заместитель действительно пристукнул, но, пока велась борьба за хутора 60, 61 и 59, Лапицкий успел поднять на себя второго, еще более опасного противника.

Старая воровская семья, из поколения жившая грабежом — Иван Полетнев с братом и племянником — ко-

нокрады, дезертиры и укрыватели дезертиров, чья песенка пелась всеми пройдохами по всем большим дорогам:

Никогда так не страдали,
Как в советскую войну,
Все кусты мы обломали
И всю вытерли лозу, —

семья эта наконец попалась на крупной краже. У Полетневых отняли оружие. Только Иван, глава и организатор шайки, еще спасался в лесах, и Лапицкому долго не удавалось найти яму с обрезами — арсенал, которого боялось все окрестное население. Полетнев-младший пробовал кончить дело миром, писал одному из пострадавших: «Уворованные мною вещи... с 6 на 7 января... 4 пуда сала, 5 пудов муки, 2 пуда крупы, топор, хомут, добровольно уплачиваю гр. Беляеву своим имуществом, собственной коровой... и полная подпись: вор Григорий Полетнев».

По инициативе Лапицкого собрался сход, и население нескольких сел решило добиться окончательного выселения всей шайки из этой местности. Более ста человек подписало протокол, чтобы «уничтожить раз навсегда безвозвратно шайку с главарем, так как в случае их возвращения, то есть бандитов с атаманом, на родину обратно, по отбытию наказания, по всей окрестности населению угрожает неминуемая гибель, пуще прежнего, убийства, грабежи, поджоги и другие преступления... От руководителей Ивана и Игнатия Полетневых и их близких сообщников, которые обязательно делать будут месть нашему населению окрестности... А посему от глубины души ходатайствуем перед советской властью уничтожить раз навсегда в корне эту банду».

Председатель сельсовета Максимов, под давлением сильной полетневской родни, просто вырвал из книги протоколов эту страницу со всеми ста двадцатью подписями и, неискушенный в ведении дел, «уничтожил», зачеркнул запись в протоколе, имевшуюся в книге исходящих. Постановление схода не только не было выполнено, но Иван Полетнев остался на свободе, и один за другим вышли на волю все его сообщники. Между Василенкой и сплоченной, хорошо вооруженной бандой

был заключен оборонительный и наступательный союз; на перевыборах сельсовета они уже действуют единым фронтом.

«Злодеи-кулаки, и их родня на барина тянуть решили. Вся семья их враз гаркнула», — и власть перешла в руки старых воротил. Не теряя времени взялось кулачество за разрушение ненавистного комитета взаимопомощи. Вместо председателя-красноармейца сажают своего человека, Новикова, известного барновского подлизуна, против которого в свое время была направлена первая селькоровская заметка Лапицкого, появившаяся в «Новой деревне».

Этот Новиков прежде всего возвращает Василенке отнятый общественный амбар. Третья часть скопленного фонда передается тому же Новикову для переделки его старой избы под зернохранилище. Что уцелело от этого дележа, разошлось, рассыпалось по воровской родне, «хранившей» общественное добро кто по пуду, кто по пять пудов; иди ищи их по хуторам. Но как ни хозяйничала банда, одного она все-таки ни по бумагам, ни другим способом «выделить» не смогла: 10 хуторов (три Василенки, остальные кулацкие) остались в руках захватившей их бедноты.

Но Лапицкий разоружен. В комитете взаимопомощи торжествует Новиков. Заведомые воры, дезертиры, захребетники, все, кого в свое время задернул сельсовет, пишут первый коллективный донос на Лапицкого, обвиняют его в дезертирстве, распространении краденых книг, изготовлении фальшивых документов. На основании этого доноса старший милиционер Савченко делает у него обыск, хватает бумаги, отбирает книги, в том числе Демьяна Бедного, старые, 1905 года, прокламации, тащит самого Лапицкого, его отца, брата на допрос в избу Василенки. Во время допроса барин упорно вмешивается в разговор, «наталкивает» его на землю.

— Скажешь теперь, кто виноват в земле?

— Кто? Вы.

Оскорбленный Василенко засучивает рукава. С большим трудом удается Лапицкому выхлопотать отпуск на семь суток, чтобы по непроходимому снегу сходить за 40 верст, взять выписку из метрики, взять бумагу от

военкомата, выкинуть, таким образом, из своих документов неточности, нарочно внесенные в них якимослободским военстолом, — снять с себя обвинение в дезертирстве. А главное, — сдать в «Новую деревню» еще одну заметку об «укрытии земли», неправильном ее обложении. Лапицкий никогда не был сочинителем, литератором в обычном смысле этого слова. Страстным журналистом его сделала борьба за революцию и ее право. За селькоровское перо он взялся, как брался на фронте за винтовку и пулемет. В его руках оно стало страшным орудием классовой борьбы; каждая новая заметка, как снаряд, взрывалась над головою торжествующей банды. Подписчиков своей газеты он вербовал, как добровольцев в партизанский отряд. Как на фронте передовые посты, обходил их во всякую погоду днем, ночью, пешком по пустынным дорогам и местности, занятой врагами, рискуя быть подстреленным из-за каждого угла. Писатель-воин, корреспондент, скрепляющий кровью каждую строку своих коротких, как боевые приказы, заметок, подрывник, один работающий в тылу, в самом сердце кулацкой и дезертирской крепости.

Газетный лист — плохое прикрытие; это война без отступления. Селькор всегда на виду, всегда на том же месте пригвожден к стенке, на которой повешена сочиненная им стенгазета. В Кабановке немедленно узнали автора новой заметки. Свои бедняки, красноармейцы выдали ему особое удостоверение, что все написанное — правда. Эта бумажка пошла «под стреху», — архив этой удивительной борьбы. Кабановка притихла, ожидая суда, развязки. Но суд не едет, все остается по-прежнему. Лапицкий пишет в ГПУ и во ВЦКБ, пишет волпродинспектору, пока, наконец, в волисполком не приходит бумага, увы, написанная рукой Лапицкого и за его же полной подписью, — с короткой, ни к чему не обязывающей резолюцией: «расследовать». Положение селькора становится невыносимым. Может быть, весной будет переучет; притаившись, сторонники Лапицкого страстно ждут тепла. И правда, в начале мая приезжает продинспектор Белоруссов. Крестьяне, осмелевшие, уверенные в том, что теперь все изменится, бросаются к нему со своими жалобами. Но, погостив в Кабановке два дня, Белоруссов уехал, оставив все как было. Тогда-то, отослав в «Новую деревню» еще одну за-

метку, и решился Лапицкий идти пешком в Минск к Червякову, в Москву, если понадобится.

Прослышав, что бесстрашный человек, кабановский селькор собирается идти с жалобой, соседняя деревня Жирховка и позвала его к себе на сход. Уже затравленный, взятый на мушку собственными мироедами, Лапицкий без колебания взял на себя ответственность за дело чужой деревни. 21 августа Лапицкий прибавил к своим старым врагам всех врагов жирховской бедноты.

1925

МОЛОКО

При теперешней безработице, при существующих ставках немецкая рабочая семья с величайшим напряжением всех сил борется за жизнь своих детей.

Капли молока сосчитаны, они высасываются с жадностью, если не каждый день, то хоть через день, если не лучшего качества, то второго сорта. Пока берут молоко — есть надежда. Гниет только сегодняшний день. Будущее сосет свою толстую питательницу-соску, и у него розовые щеки. В жалкой игре жизни дети — последняя ставка. С ними смутно связана мысль о том, чтобы в конце концов отыграться: «Пусть не мы — наши дети».

Шаги молочника на лестнице вонючего дома, это — шаги судьбы.

Молочник приходит на рассвете, это — первый вестник наступающего дня. Его звонок подымает людей с постели. Ему открывают дверь спросонок, в одной рубашке, без всякого стеснения. Пусть дверь откроется только на минуту. Сквозь узкую щель он видит все: каковы остатки вчерашнего ужина, есть ли сало, застывшее на тарелках, или кусок черствого хлеба на пустой клеенке, и грязные пивные стаканы, и тощий осадок желудевого кофе — эту иллюзию пищи, этот первый суррогат. Толстый, без единой кровинки в обрюзглом лице и маргарин, появляющийся там, где есть получка, где отец или сын еще работают. Одним взглядом окидывает молочник комнату. — Ага, куча грязной одежды в углу, смрад сохнущих над плитою шахтерских сапог! Эта вонь его носу слаще фимиама. Работают, живут.

— Хозяйка, я вам наливаю первый сорт, не так ли?

И он не ошибается.

С сытостью приходит веселье. Кое-где для статного молочника босые ноги так радостно шлепали по полу к дверям, и с такой веселой усмешкой она открывалась. Какое разочарование! Теплые сонные глаза ударялись о нагрудник моего крахмального передника, как о ледяную броню.

— О господин молочник, как вы запоздали сегодня! Видно, придется обратиться к вашему соседу. Что это — у вас новая помощница? — И захлопнутая дверь гремела, как выстрел.

* * *

Это — лирика. В большинстве квартир не было лирики.

С первого взгляда мне показалось, что эссенский горняк или металлист живут лучше нашего. Воротничок и манишка, чистая обувь, приличная шляпа. Завтрак в аккуратной сумке. У нас, когда рабочие и крестьяне начинают обрастать жирком, — это не бросается в глаза. Растущий достаток идет на валенки, шубы, на теплые платки и рукавицы. Тяжелая, пахнущая овчиной шерстяная и мохнатая роскошь. На Западе к услугам рабочего блестящие универсальные магазины с их ежегодными распродажами. Горы нарядного, пестрого, на живую нитку сметанного тряпья. Цена: пальто — за 5 руб., чулки — за 80 коп., вполне приличные с виду ботинки — за 3 руб. Все это линяет от первого дождя, вянет от солнечного света, смертельно боится воздуха, ветра, дождя. Немецкий рабочий отказывает себе в самом необходимом, недоедает и недосыпает, лишь бы прилично одеться и не выделяться в толпе своим бедным платьем. Культурные потребности его бесконечно выше наших. Он не может и никогда, пока нищета не переломит его костей, не оденет грязной рубахи, не потерпит в своем доме клопа или таракана.

* * *

— Ты, кажется, непременно хотела повидать железнодорожника? Ну вот, четвертый этаж, шесть бутылок молока и бутылка сливок. Он Lokführer (машинист),

двадцать лет на дороге, старуха его — наш товарищ. Иди, иди, старого пса, наверное, уже нету дома.

И правда, его не было дома. Прелестная молодая женщина открыла дверь.

— Товарищ... — Ее лицо без морщин, лицо девушки 30 лет, никогда не рожавшей и не знакомой с жаром кухонной плиты, несколько пухлое и белое — лицо канцелярской служащей, — передернулось и стало враждебным:

— Я вам не товарищ. Идите к маме, она на кухне.

После дыр, в которых только что пришлось побывать, каким раем показалась эта светлая, теплая, просторная квартира рабочего-аристократа.

Кухня белая, как снег. Полки, стулья, шкафы, полотенца, скатерти — все снежное. Облачко упоительно-душистое над кофейником, масло, ветчина и белый хлеб на столе. Рояль в гостиной, бумажные цветы, гардины, ковер, две пышные кровати в спальне, гора пуховиков и опять снежное белье. Фрау Ротте, хозяйка всего этого достатка и изобилия, полная, но встревоженная женщина лет около пятидесяти, с добрым лицом, на котором прыгала искра какого-то невроза: левый глаз подергивался нервной судорогой. Мужа ее не было дома. Он оставлял вместо себя предметы, ненавистные всей семье: старое форменное платье — синюю куртку с красными обшлагами и шпагу, пожалованную за четверть века службы, о которой фрау Ротте сказала с горечью, что с нее у мужа «начинается» человек.

* * *

Бессознательный коммунизм фрау Ротте берет свое начало со времен, когда ей было примерно года три, и мать ее, вдова чернорабочего, оставшаяся с маленькими детьми на руках, по воскресеньям готовилась к приему пастора, от которого зависело получение пособия. Как только на лестнице раздавались его тяжелые шаги, вся семья усаживалась за библию и начинала петь псалмы. Долгие годы, полные ненависти, продолжалась эта комедия.

С тех пор фрау Ротте не может без дрожи смотреть на поповскую одежду. Замуж она вышла рано и, как

говорили соседки, как нельзя лучше: за «Lokführera», человека честного, трезвого, с твердым характером и на хорошем счету у начальства. Тоска ее схватила после первых родов. Муж аккуратно приносил всю свою получку, не оставляя себе ничего. И тем не менее от этих приемных дней в клинике, которые он никогда не пропускал, осталось у фрау Ротте чувство такого ожесточения и неудовлетворенности, которых она не простила и через 30 лет. Г-н Ротте держал всю семью в железном кулаке. Водил в церковь, по субботам порол и не давал в руки ни одной газеты. Иногда фрау Ротте казалось, что она доживает жизнь своей матери. Шаги участкового пастора гремели непрерывно у ней над головой. Кулаком и плеткой гнал старый Ротте своих сыновей к образованию. Все они вышли бухгалтерами и техниками. Хейнрих ведет всю корреспонденцию у Mannesmana, Отто — кассиром крупного банка. Все они — верные слуги своих хозяев, с классовым инстинктом, дочиста вытоптанным отцовскими каблуками, люди чернильного труда, в которых вид рабочей куртки не вызывает ничего, кроме отвращения. Уже во время войны Хейне пробовал было сходить на какое-то рабочее собрание. Бедняга, он забыл вынуть из глаза монокль, который носил действительно по близорукости, и был избит. Никогда не простил он своему классу этого недоразумения и не возобновлял больше робких попыток вернуться к своим. Долгие годы фрау Ротте спокойно смотрела, как муж калечил ее детей и, оскопив их в смысле политики, одного за другим продавал предпринимателю. Только в 1917 году, совершенно случайно попала она на коммунистическое собрание, хлебнула революции и пришла с него домой пьяною. Для старших детей было уже поздно. Но последнего своего сына она спасла: сделала его простым слесарем и отдала в комсомол.

С тех пор, чтобы сохранить семью, старики Ротте уговорились о политике за столом не спорить. Но неслыханную боль причиняет старухе потеря дочерей. В этой семье, которая, как в разрезе, дает все социальные расслоения рабочих верхов, девочки представляют все буржуазные республики, от Шейдемана до Секта. Ненавидят отца, который ни одной из них не дал образования. Ненавидят его монархию и мундир, его голос и кулак.

Но и коммунизм матери им бесконечно смешон. Ши-

рокая отцовская спина все-таки подняла их и подсадила на следующую ступеньку социальной лестницы. Они не глотали фабричного чада и не давились черным хлебом. Правда, хозяин так же мало церемонился с машинисткой, как и с чернорабочим. Красавица, которая пишет на трех языках и знает бухгалтерию, сидит сейчас без места за то, что осмелилась ответить на какую-то грубую выходку своего шефа.

Мать пробовала воспользоваться ее горем.

— Пойдем со мною на собрание! — Минна только выпрямила гладкую, все еще свежую шею.

— Там бывают такие ужасно обыкновенные люди. Девушка, которая получает сто двадцать пять марок, не может себе позволить таких глупостей. Нет, уж лучше я пойду в кафе! — Тогда старуха вышла из себя и с женским чутьем ударила по самому больному, по самому набитому месту.

— Тебе тридцать лет, подожди, через пять лет и тебя скрутит. Ни один из них, богатых, не женится на тебе. Напрасно ждешь. За рабочего не хочешь. Да скоро рабочие тебя сами не захотят. Будешь, как собака одинокая, шляться из конторы в контору. От своего берега ушла, к чужому не пристала. На, посмотрись в зеркало — усталая, серая, вымотанная. Обыкновенная рабочая кляча, поденщица, как всякая другая. Ты хуже отца. Старик хоть убеждения какие-то имеет, хоть лживые. А ты ничего. В придачу к своему труду, который презираешь, тело свое даром готова отдать, чтобы тебя хоть впотьмах, хоть в рубахе кто-нибудь нечаянно «гнедиге фрау» назвал. Не назовет! Ляжешь рабочей и встанешь рабочей шкурой.

— Du Klassenlose!

— Эй, ты, бесклассовая!

Это самое тяжелое ругательство, которое рабочий может бросить рабочему. Сквозь пудру на мучнистых щеках выступила краска...

1925

ОКЛАДСКИЙ

Утром после ареста один из участников «Процесса 16-ти», молодой тогда революционер, был приведен на очную ставку с Рысаковым. Его ввели в канцелярию несколькими минутами раньше, и, стоя у окна, он мог видеть двух жандармов с шашками наголо, ведших Рысакова через двор. Еще ничего не зная о предательстве этого человека, смятого животным страхом смерти, он заметил странную походку, — отсутствующую, сонливую, как бы механическую.

Рысаков шел по двору чужим, неживым шагом. Через несколько минут он стоял уже подле следовательского стола с лицом неподвижным, искаженным и покрытым странными сине-багровыми пятнами. В этом умеренном, молчаливом и податливом мальчике перед смертью проснулась скотская жажда жизни. Победа легко далась 3-му отделению: 19-летний террорист, всю жизнь страдавший неопределенной, расплывчатой и по существу совсем безвредной «серой мечтательностью»; маленький мещанин, про себя ненавидевший товарищей за их крайность, смутно грезивший о какой-то лучшей жизни, которая начнется тотчас после убийства царя, — выдал всех и сознался во всем. Следователи снисходительно пробегали его откровенные бумажки, пропуская возвышенные места и красным карандашом отчеркивая имена, фамилии и адреса. Когда он окончательно обнажился, выскреб из памяти последнюю каплю, вывернул свой последний душевный карман, — его повесили вместе с остальными. Тем не менее в автобиографии этого

человека, перед виселицей дошедшего до последней черты падения, писавшего шефу жандармов за несколько часов до казни с жалкой наглостью: «Я теперь товар, а вы купцы»,— есть одна, совершенно потрясающая фраза о Желябове: «Он видел всю партию и видел свет за ней».

От этих нескольких слов с грязных листков рысаковского признания встает живая тень гиганта Желябова, который даже таких людей, как этот, умел связать с революцией, и в толстой, как бы припухлой голове Рысакова заставлял брезжить предчувствие великой партии и света, за ней стоящего. Рысакова Желябов заворожил, влюбил в революцию, как только настоящие великие агитаторы умеют влюблять слабых и маленьких людей.

Когда брошенная им бомба не взорвалась и царь невредимым выскочил на дорогу,— «Слава богу, я жив»,— Рысаков, этот человек отраженного света, крикнул ему последними желябовскими, а не своими словами:

«Еще слава ли богу, ваше величество?»

Через несколько минут бомба Гринивицкого уложила на месте Александра II.

Какими иными, совсем непохожими на эти, были отношения Желябова и Окладского! Для своих товарищей по «Народной воле» Окладский был прежде всего рабочим. Не своим братом, интеллигентом, а настоящим, подлинным пролетарием, с ясным практическим умом, спокойствием, трезвым суждением и твердой волей. Для поколения революционеров, только еще искавших сближения с массами, ходивших в чужой им «народ», одаренный, преданный партии пролетарий, как Окладский, стал живым олицетворением своего класса, проводником в массы. Еще в 90-х годах он умел использовать это свое пролетарское происхождение, предлагая знакомить и сводить молодых университетских бунтовщиков с «народом».

Над тоской Желябова и его друзей по массовой, по рабочей партии, которой у них никогда не было и быть не могло, и надругался Окладский так страшно, как ни один из предателей, бывших до или после него. Как это могло случиться?

Тринадцатилетним мальчиком, учеником одной из кораблестроительных мастерских, этот человек уже бывал

на политических собраниях, слышал величайших агитаторов своей эпохи — князя, имя которого рабочие шепотом передавали друг другу, пролетарского поэта Низовкина (стихи его пели у станков), Синегуба и даже Петра Алексеева, речь которого на суде стала впоследствии одной из вех революционного движения. Пусть этот старик, ставший палачом одной из самых блестящих революционных эпох, — старик, память которого и сейчас свежа и цепка, как у молодого человека, все держит, все знает и хранит и половину этих имен собрал и нанизал уже впоследствии, — все равно, не подлежит сомнению, почти мальчиком он соприкасался с лучшими людьми движения, слышал о них, рос под их обаянием в атмосфере первых кружков, где имена деятелей «Народной воли» были окружены ореолом революционной легенды. Окладский-подросток бывал и рос в доме Ивановского и его сестры, революционеров, которые отнеслись к нему необыкновенно тепло и еще через несколько лет дали возможность отдохнуть, успокоиться и подлечиться в одной из пригородных колоний. Звали его тогда в революционной среде просто «Ванечкой». И вот сорок лет спустя, совсем беловолосая женщина, товарищ Гринберг, стоит и повторяет это имя у судейского стола. Впервые, кажется, на деревянно спокойную маску Окладского спускается занавеска бледности. Бледнеет он так глубоко, как будто от седых волос и бороды белила наползают на все лицо.

«Ваня, Ванечка!» Какой удивительной нежностью была окружена его юность. Люди — странники, жизнь которых не принадлежала больше им самим, вечные жители тюрем, из которых не было почти ни одного, не прошедшего равелинов страшной крепости, смертники, подпольщики, отпетые в могильной тишине проклятыми курантами, — любили этого мальчика, росшего среди явок и побегов, динамитных мастерских и типографий, всей своей оставшейся любовью. Очень его любили. Так сильно, что не замечали у подростка его беспокойных глаз, этой ласковой развязности балованной маленькой собачонки, о которой пишет одна из старых деятельниц «Народной воли», видевшая его в то время. Опытные, искушенные убийцы шпионов, волкодавы партии, оберегавшие ее от предательств, теряли чутье, не замечали

гаденыша, росшего в Ванечке. Мудрено ли, — ведь он был связан с ними не только своим ребячеством, но и работой.

Несколько эпизодов этой жизни рассказаны самим Окладским очень подробно, почти тягуче. Держась то за спинку стула, на котором тяжело сидит эксперт Щеголев, перебирая бумаги рукой-хоботом, цепляясь за стул Швецова (кстати, руки Окладского совершенно спокойны, ни разу в них не сказалось волнение. Да и весь он невероятно сдержан, тверд, невозмутим. Недаром этот человек, великого инквизитора Плеве выводивший из терпения, любимый и обласканный партнер таких мастеров бархатной растлительной жандармской игры, как Судейкин и Дурново) — так вот, придерживаясь за стул Швецова, Окладский долго говорит, подробно рассказывает свою жизнь, все, что было до — до признаний, якобы вынужденных пыткой, до всей цепи подлостей, последнее звено которой оборвалось только в 1917 году.

Тула, где Окладский жил с Любатович в маленьком домике, изготовлял бомбы и укладывал их в солнечные дни вдоль заборчика для просушки, в то время как сверху, с колокольни, наблюдал жандарм Судейкин, посмеиваясь и не отводя от глаз бинокля. Странная, вымороченная история с этой колокольней и биноклем. Чудо спасает Окладского от ареста. Ему удается бежать в одной рубахе в то время, как полиция производит обыск в пустой мастерской. Рубаха — это тоже как-то слишком ярко, бело, слишком сродни колокольне. Второе чудо: Окладский работает в Киеве, вместе с тремя товарищами: Хогстом, Красовским и Предтеченским. Полиция делает налет на их динамитную мастерскую. Пытается взломать сундук с пироксилином. Окладский вызывается подобрать отмычку. Ходит, примеряет, прилаживает и, наконец, чуть не на глазах у целой толпы жандармов выпрыгивает в окно. В результате несчастный Хогст повешен, Красовский идет в бессрочную каторгу. Один Окладский невредим. Кстати, этот никогда и ничего не забывающий архивариус 3-го отделения делает здесь странную ошибку: забывает назвать одного из главнейших товарищей, якобы работавших вместе с ним, — арестованного при обыске и осужденного Предтеченского.

Желябов совершенно доверял Окладскому. Он привлек его к подготовке александровского покушения. Да и мог ли Желябов, вообще ослеплявший людей тем светом, который бедного и низкого Рысакова на несколько часов сделал человеком, — разве мог Желябов сомневаться в товарище, который его, подслеповатого, плохо видевшего в темноте, за руку водил к железнодорожной насыпи, под которую подводилась мина. Нельзя было не доверять: ведь рядом лежали в овраге, прислушиваясь к шагам сторожа, обходящего дозором участок. Дело было глубокой осенью, работали холодными, совсем темными ночами. Снег пополам с дождем, грязь и вода, размывавшая насыпь, грозившая обнажить уже проложенные провода. Желябов мерз, трясся, холодел, никому не уступая своей работы, пока сам не заложил мины. Кибальчич приезжал ее проверять, но все-таки именно с Окладским Желябов проделал всю черную работу, с Окладским блуждал в темноте, от усталости не находя дороги, иногда до утра отыскивая свой овраг, с Окладским ждал поезда, при нем соединил провода, с ним же пережил глубокое горе неудачи, на его руках перенес болезнь, вызванную переутомлением и нервной реакцией. С ним же, с Окладским, боевым товарищем, начал готовиться к новому покушению.

Не то чтобы Окладский стоял в центре каждого дела. Но с ним свыклись. Он был дома у себя в партии, усыновившей его: на самых конспиративных квартирах привыкли видеть его фигуру, согнутую над работой. Даже на Подольской улице, в мастерской, доступной очень немногим.

Сегодня Окладский стоит и вспоминает: кто же там бывал, на этой квартире? Да, Верочка! Это о Вере Фигнер, которую он выслеживал и, может быть, помог выследить. От этого добродушного голоса, от этой «Верочки», кожа сдирается со всех вещей, красное сукно судейских столов становится нестерпимо мясного цвета. Под влиянием спокойного голоса товарищ Гринберг Окладский вообще пытается лирически вспоминать о преданных им людях. Злобно, молодо ненавидит другую свидетельницу — товарищ Якимову. Кажется, никто не понял его так глубоко, так до конца не разгадал всей его низости, как «Баска», это — сподвижница Желябова

по всем самым смелым его делам. Несмотря на глубокую уже старость, в живом ее голосе, в быстрых, мужественных движениях годы не смогли потушить облика одной из самых замечательных женщин того орлиного поколения. В разговоре с ней даже голос Окладского меняется. Деревянный и спокойный, он начинает стучать в притихшем зале какими-то железными каблуками. Вся ярость обманутого провокатора прорывается наружу. Он узнает, что на Подъяческой улице у Якимовой бывал знаменитый Халтурин, и он, Окладский, ничего об этом не знал, не доглядел, не донес, не успел прибавить к списку своих жертв этого громкого имени. Так обидеться может только маститый предатель, осыпанный милостями, незаменимый, всеведущий, взявший патент за повешение величайших революционеров своего времени и вдруг через сорок лет принужденный узнать, что такой лакомый кусок, как Халтурин, ускользнул между пальцев, достался другому. Он чувствует себя обманутым, развенчанным, недостойным долголетней дружбы Дурново!

Арестованный и привлеченный к суду, Окладский попал прямо в руки тогда еще молодого прокурора палаты, делавшего бешеную карьеру, Плеве. По окончании процесса Александр III обратил милостивое внимание на молодого юриста. Окладский был первой ступенью, по которой этот заплечных дел мастер поднялся на вершину жандармского могущества. Пока молчит Окладский, — а молчит он крепко, и нет ни голоса, ни движения человеческого, которое могло бы разжать эти скупые губы, покрытые редкой белой бородкой, — нам не узнать, когда же началось падение Окладского, когда и о чем впервые говорили с ним и докуда договорился молодой прокурор. Разговоры у них были, и уже в те годы была у Плеве необыкновенно легкая и ловкая рука на допросе. Поглаживая эту недоделанную, неокрепшую еще душу, жандармская лапа в бархатной перчатке, вероятно, скоро нащупала ее больные места. Страх смерти и полное отсутствие до конца продуманных убеждений. Окладский не учился, ничего не знал, не имел в конце концов никакого революционного образования, сжился с революцией, как сживается ребенок с подобравшим его волком. Играл в революцию, сам еще мальчишка, упивался опасностью, авантюрой, процессом борьбы, а

не ее целями и задачами. Дилетант революции, недоросль революции, бравший чувством, но голый и нищий в идеологическом смысле. Совершенно гениален фокус, придуманный Плеве для уловления Окладского. Он обратился прямо к его классовому чувству — слепому, щенячьему, извращенному, но все-таки классовому чувству... Попивая кофе с ликером, Плеве не одну ночную беседу посвятил на то, чтобы доказать Окладскому, как далеко его дело, дело рабочего, от дела интеллигентов, с которыми у правительства особый разговор, — лишь бы «народ» оставался нейтральным. На политическом невежестве Окладского, мне кажется, да на его диком малодушии и сыграл Плеве одну из лучших своих шахматных партий. До сих пор Окладский с ненавистью говорит об интеллигентах: о технике, о Кибальчиче, о Якимовой, даже о Желябове. До сих пор не погасло в нем болезненное желание сравнивать свои и их заслуги. Забывая, что и Желябов и Кибальчич давно им преданы и погибли, он их трагическим теням не перестал завидовать.

На суде, перед лицом смертного приговора, Окладский держался мужественно, почти дерзко. То ли жизнь ему уже была обещана, или это была последняя вспышка революционного авантюризма, не все ли равно? Приговор был вынесен, и пять человек, брошенных в Трубецкой бастион, доживали свои последние часы.

Верный жандармской традиции, генерал Комаров по очереди посетил их камеры, — не удастся ли в последнюю минуту вынуть из петли чью-нибудь ослабевшую совесть? Самое страшное то, что двое из пяти приговоренных (в том числе и Окладский) фактически уже были помилованы, и об этом помиловании не знали. Таким образом, Окладский в эту ночь перед казнью, ценой предательства, купил у охранки свою жизнь, которая ему и без того уже «была дарована». До этого момента все понятно. Испугался смерти, предал, начал опознавать карточки, называть адреса и фамилии. Очень немногим, даже стойким товарищам, дана такая легкая и улыбающаяся смерть, как Перовской и Желябову. Такие люди живут раз в сто лет. Перовская и Желябов, Либкнехт и Роза Люксембург. Окладский не сумел умереть. Обычно за этим моментом следует агония. Несколько десятков имен, один-два громких процесса, и более или менее ко-

роткая жизнь, извивающаяся между новыми подлостями и раскаянием. В биографии Окладского самое неправдоподобное начинается после его измены. У него совершенно отсутствует момент слепоты, момент морального беспамятства, во время которого человек может с одинаковым успехом прыгнуть с пятого этажа, зарезаться, исповедоваться жандарму. Если не считать носков, в которых он на радостях бросился вон из камеры смертников, — этой пары ночных туфель, забытых в Трубецком бастионе, — ничего, никаких следов «перелома». Измена с первых же дней принимает характер мирной, нормальной службы. Провокатора подсаживают к товарищу Гринберг, еще к нескольким товарищам. Он начинает с ними перестукиваться и об услышанном усердно сообщает, прикрывшись, на всякий случай, фамилией своего друга и сподвижника, рабочего Тихонова, которого потом долгие годы преследует подозрение в провокации. Когда человек становится шпионом, для него нет больше границы между «можно» и «нельзя». Одного продать или всех — принципиальной разницы нет. Но и в этой кромешной ночи есть свои оттенки. Ползает человек в грязи и свалится, не может дальше, лежит и воет зверем. Писал же Рысаков, тоже предатель, что не все равно, каким оружием убивать: ножом хуже, задушить — лучше, потому что крови не видно. Это утешение очень жалкого человека, как в подушку, зарывшего голову в толстые тюремные стены, лишь бы не видеть «их», лишь бы не слышать о «них».

Окладский спокоен. Вызванный после первомартовского покушения в охранку, он свои трупы опознает, осматривает и называет. Нигде в докладах директора департамента не говорится о сопротивлении, о дурноте, о колебаниях.

Такой же как всегда. Такой же в 20 лет, как здесь на суде в 66. Спокоен, деловит, если не совсем умен — то смышлен очень, а главное, прост, без трагедий, без нервов, без угрызений. Идеальный слуга. Готовый, воспитанный агент. Не удивительно, что товарищ Кон относит предательство Окладского не к моменту его ареста, а к гораздо более раннему периоду. Слишком готовый человек, слишком законченный охранник сразу вылупился из террориста, какой-то новорожденный, явившийся на свет со знаком архангела Михаила и сразу же,

вместо всех прочих детских игр, засвистевший в полицейский свисток. Вещь небывалая в охранном отделении: едва вынутый из петли цареубийца, назавтра становится своим человеком, непосредственно сносится с прокурором — директором департамента — министром внутренних дел. И Рысаков предавал, — повесили же его вместе с его жертвами. Гольденберг предавал, но кто от Плеве до Лорие счел бы его своим человеком? Азеф предавал, — ему из крупных жандармов никто руки никогда не подал — великий был предатель, а в кабинете Лопухина стоял у дверей, не смея подойти к письменному столу, нужно было — в ногах валялся и руки ловил целовать, а Лопухин его, Азефа, тыкал. Окладского же за все годы службы никто иначе не назвал как на «вы». Его уважали.

Он прожил долгую и счастливую жизнь. Свое дело продолжал спокойно, честно, изо дня в день, от 20-го до 20-го, из десятилетия в десятилетие, как гусеница переползая с одного молодого листа на другой, объедая один и начиная свежий. Что услуги, оказанные им, огромны, беспримерны, — не знал, оценить их не умел, иначе не попросил бы себе жалованья 40 руб. в месяц, как было на Кавказе. Уж сам Дурново назначил ему полтораста.

Дело Окладского маленькое: объедать молодые листки. Гусеница не знает и не обязана знать, что под ней: капустный лист или самые драгоценные свежие побеги. Ее дело — жрать и доносить о сожранном. Но гусеница распухает в танк, гусеница палачествует, гусеница опустошает целые поколения, гусеница оставляет за собой мертвые поля и сотни виселиц, если у нее в маленькой круглой головке со спрятанными глазами, в кругленьком черепе, как паук в углу, сидит мохнатая, многорукая память. Кого хоть раз видел — хлоп. Никогда не забудет. Кого хоть раз видел — узнает через полвека. Куда бы ни бежал преступник, сколько бы ни бежал, по тюрьмам, по архивам, по обрывкам чьих-то оброненных слов, по запаху и звуку, а гусеница-танк все-таки до него доползет. Доползет, узнает и слопает. Уже стоя одной ногой в могиле, а никого и ничего не забыл. Год своей женитьбы Окладский не мог вспомнить или вспомнил с трудом, зато все, относящееся до «дела», как на полке, как на ладони. Крыленко запнется, Щеголев на

минуту задумается. Окладский тут как тут: встанет, назовет №, год издания, страницу, имя, отчество. Теперь, когда придуманы радио, кино, пластинка, записывающая человеческий голос, — Окладский устарел. Но в свое время он заменял охранке беспроволочный телеграф и фонограф, армию статистов и целый полк съемщиков, этот человек, выдававший людей, виденных один раз и чуть не в детстве. Настоящий Голем охранного отделения, механический человек из проволоки и картона, с чужой бумажкой, вложенной в рот, выпала бумажка — и нет человека. Свалил 1917 год охранку, и гусеница, никем не управляемая, уперлась лбом в стенку, беспомощно завертела колесами, растерялась, сама себя выдала.

Необычайно интересна жизнь Окладского после февраля 1917 года. Революция у него отняла все. Приобретенный полувековым предательством домик в Луге, 150 руб. жалования, покойную старость. Революция заставила читать Окладского «Былое». Сидя в своем захолустье, он из № в № мог наблюдать, как до него добирается рука следователей, как, наконец, нашли первые улики, как разматывается узловатая и кровавая нить его предательств. Бежать? Куда? Без денег и, кроме того, маленький домовладелец (а за эти годы Окладский успел стать мелким собственником, рантье охранного отделения, почетным потомственным гражданином от провокации, да еще 60 лет от роду), не очень-то побежишь! Такие люди предпочитают прятаться, их сила в умении выждать и приспособиться. Окладский дважды поступил на советскую службу, тут, может быть, впервые, исполнитель, Голем, говорящая машина, всю жизнь жившая чужой волей, делает героическую попытку стать человеком. Не по чьему-либо велению, не по приказу Судейкина или Дурново — сам добровольно читает рабочим газету «Руль», читает «Руль» и снижает заработную плату, беседует, агитирует и развращает. Можно себе представить, как этот шпион с билетом профсоюза в кармане, ставленник советской власти, читающий «Руль», как он повышал производительность труда! С каким глумом, с каким злорадством. Рабочие ничего не знали, ни о чем не догадывались, но вместо того чтобы устроить погром коммунистов или забастовку, неизменно бежали в ГПУ. От зловония, от тайной подло-

сти, от трупного душка, которым отдавало каждое выступление Окладского, так и не удалось ему спровоцировать массы: из профсоюза выгнали, с железной дороги выгнали. Затем, цепляясь за место и заполняя анкету, Окладский назвал себя старым народовольцем, каторжанином. Одновременно бегал к дочери Дурново, ныне кухарке, и искал работы. На этой анкете был разоблачен.

Сорок лет тому назад Окладский без сожаления предал «Народную волю», предал Желябова, Перовскую, Кибальчича, Баранникова, Якимову, десятки других — почти все они были повешены, сгнили по тюрьмам или сошли с ума, как несчастный Арончик. Зато своих друзей из охранного отделения, половины которых нет уже в живых, которым его откровенность не принесла бы никакого вреда, — Окладский не выдал пролетарскому суду. А не пощадил живого Желябова. Но Дурново, про которого даже царь писал «убрать эту свинью», Дурново, который вместе со своим швейцаром брал взятки с посетителей и после приема делил трешницы, — его Окладский пожалел. Ведь давно сгнили эти генералы и провокаторы, прокуроры и министры, что им разоблачение? Три дня революция вынуждала их у старого шпиона, чтобы пополнить список своих жертв, чтобы собрать их кости, зарытые по крепостным пустырям, чтобы извлечь на свет потерянные, забытые имена. Отказал. Не только ничего не выдал — отрицал заведомые факты, самые очевидные документы и подписи. Мелочный торговец человечиной, построивший себе дачку на крови народовольцев, то заборчик, то крышу, то сарайчик чинивший за счет новой партии проданных людей. Так жадно любивший жизнь, на все готовый, лишь бы не петля, — этот человек героически лгал, спасая и выгораживая призрак, тень своих прежних господ.

Наконец его последнее слово: старик делает несколько слепых шагов, натыкается на стол — и читает с листка. Ничего не назвал. Ничего не сказал. Слепая гусеница с вылущенными мозгами, послушно топтавшая поля жизни, вдруг встала на дыбы, проявила мужество и верность. Между тем Окладский — рабочий, Окладский — рабочий, которого научили делать стойку на людей революции. Рабочий, превращенный в охотничью

собаку, в борзого пса из своры третьего отделения. Рабочий, всю жизнь травивший свой класс и решивший умереть за человека с арапником, за хозяина, который его кормил и учил новым штукам. Рабочий, решивший умереть за самых страшных врагов своего класса, умереть, в последний раз с благодарностью и любовью лизнув руку в белой жандармской перчатке — руку мертвеца.

1925

СОДЕРЖАНИЕ

Лариса Михайловна
Рейснер

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор И. Чеховская
Художественный редактор Ю. Боярский
Технический редактор В. Овсеенко
Корректор Л. Борец

*

Сдано в набор 13/VI 1958 г. Подписано в печать 20/X 1958 г.
А07752. Бумага 84×108¹/₃₂ — 16,75 печ. л =27,47 усл.
печ. л. 26,56. уч.-изд. + 1 вклейка = 26,61 л.
Тираж 75.000 экз. Заказ № 3964. Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Отпечатано на Полиграфкомбинате
имени Я. Коласа Минск, Красная, 23,
с матриц типографии № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького УПП
Ленсовнархоза, Ленинград, Гатчинская, 26.

ЛАРИСА
РЕЙСНЕР